Последний Лель

проза поэтов есенинского круга



ПОСЛЕДНИЙ ЛЕЛЬ

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ
ПИМЕН КАРПОВ
СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ
АЛЕКСЕЙ ГАНИН
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕЛЬ

проза поэтов есенинского круга

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1989

ББК 84Р7
П62

Составитель, автор вступительной статьи
и примечаний *С. С. Куняев*

ISBN 5—270—00476—3

© Состав, вступительная статья, примечания.
Издательство «Современник», 1989

Последний Лель

Мощная ветвь нашей литературы, названная еще в начале века «крестьянской», была обрублена к началу 30-х годов. Она завершила свое существование, казалось, не успев дать новых побегов. По сути дела, это был лишь удивительный всплеск своеобразного, яркого потока в русской словесности XX столетия. Увы, одно время создавалось впечатление, что продолжения не последует, да и откуда ему было взяться? Родоначальники этого направления — Николай Клюев, Сергей Клычков, достигшие к концу 20-х годов подлинной творческой зрелости и гармонии, сначала были «выжиты» из литературы, а потом физически истреблены. Пимен Карпов дожил до начала 60-х годов в полной безвестности, не имея возможности в течение почти четверти века опубликовать ни одной своей строки. Ни Петр Орешин, в наиболее радужных тонах писавший о колхозной деревне, ни представители более молодого поколения — Василий Наседкин, Иван Приблудный, судя по всему, не пережили 1937 года (даты на справках о реабилитации зачастую были фальсифицированы). С 1927 года до конца 40-х годов включительно не прекращалась бешеная посмертная травля великого русского лирика Сергея Есенина. Даже самые злейшие враги вынуждены были признать, что его имя и поэзия пользуются огромной популярностью в народе, и, дабы не превращать его стихи в запретный плод, который, как известно, особенно сладок, вынуждены были смириться с изданием его сборничков.

Что уж там говорить о других, менее известных поэтах и прозаиках этого направления, воспринявших животворную традицию из рук своих старших собратьев! Показательна в этом отношении судьба Родиона Акульшина, ровесника Сергея Есенина, студента Брюсовского литературного института. Арестованный в 1938 году, он испытал все тюремные «хождения по мукам». В годы войны, оказавшись в западной зоне оккупации Германии, он, помня об ужасе пережитого, не вернулся на Родину. На Западе он публиковал воспоминания о Есенине и поэтах «крестьянского» круга под псевдонимом «Родион Березов». Воспоминания эти были написаны с той слащавой, умилительной интонацией, которая облегчала их

продажу в различные западные газеты и журналы, в том числе и те, которые не отличались особой чистоплотностью. Имя его, а также талантливые юношеские стихотворения и самобытные прозаические произведения на Родине были забыты окончательно и бесповоротно.

Еще более кошмарной была судьба Алексея Ганина, также ныне почти забытого замечательного поэта и одаренного прозаика. При жизни ему удалось выпустить в государственных издательствах лишь два сборника стихотворений, еще несколько книг в литографическом исполнении выходили в придуманном им самим вологодском издательстве «Глина». Близкий друг Сергея Есенина, высоко ценившего его поэтический талант, Ганин так и не обрел широкого признания, бесспорно им заслуженного. Зато упреков в «мистицизме» и «идеализме» он наслушался вдосталь. Впрочем, сам поэт на все подобные упреки прямо и недвусмысленно ответил в предисловии к своему последнему сборнику «Былинное поле»:

«К слову сказать.

Многие при встрече называют меня: «мистик». Это неверно. Это желание от серьезных вещей отделаться недомыслием.

Я родился в стране, где пашут еще косулями и боронят суковатками, но где задолго до Эйнштейна вся теория относительности высказана в коротком слове: «Авось».

Это не шутка. Потому, если люди все еще не умеют уважать одиноких и от каждого требуют стадной клички, я был бы более прав, если бы рекомендовал себя: «А. Ганин — романтик начала XX века».

30 марта 1925 года Алексей Ганин был расстрелян по ложному обвинению. Поводом для вынесения приговора послужила поэма, направленная против всесильного в то время Льва Троцкого. Стихи его вплоть до 1973 года не публиковались, и до сих пор его имя практически не известно широкому читателю.

Что касается прозы Алексея Ганина, то произведения, публиковавшиеся на страницах журнала «Кооперация Севера», фактически не были известны и его современникам. Роман «Завтра» сохранился лишь в опубликованных отрывках, другие прозаические опыты рано погибшего писателя не найдены по сей день.

Роман «Завтра» интересен не столько своими художественными достоинствами, сколько подробностями быта глухого угла российской провинции, затерянного меж лесов Вологодской губернии. Ганин остро передает ощущение российской глухомани, по-своему прекрасной и устрашающей. «Глухомань северного бревенчатого городишка, где революция, как именины у протопопа»,— вспоминаются строки Николая Клюева.

И действительно, о происходящем в сердце русского государства местные мужики и бабы беседуют, словно о событиях другой планеты. Обмениваясь будоражащими и фантастическими новостями, они отправляются на болото за клюквой, которое их манит все дальше и дальше. Безмолвная глушь уводит от родных домов, завлекает, навевает страх... Исторические события отдаленным эхом доносятся до этих глухих мест, выразительно обрисованных Ганиным, и родная природа этой глуши сама становится некоей угрожающей таинственной силой, готовой поглотить человека...

К началу 30-х годов казалось, что с этим направлением русской литературы покончено раз и навсегда, что проповеднический глас Николая Клюева, пронзительная лирическая песнь Сергея Есенина, творческие открытия их соратников и последователей навечно остались в прошлом. Коллективизированная деревня рождала новых певцов. Старая «крестьянская» литература, основанная на «реакционном развитии фольклора», обречена на слом и может существовать лишь в качестве не слишком желательной «музейной ценности» (как говорил об этом в одном из своих «гражданских» стихотворений, проникнутом ненавистью к историческому прошлому России, Семен Кирсанов).

И должно было пройти несколько десятилетий со времени трагической гибели многих «крестьянских» писателей, чтобы отошли времена забвения и отрицания их творческого наследия. Юридическая реабилитация большинства из них в конце 50-х годов не способствовала возвращению их произведений. Эта ситуация становится понятной, если вспомнить, что в то переломное время основное внимание общества было сосредоточено на жертвах культа личности конца 30-х и рубежа 40—50-х годов, тогда как о многомиллионных жертвах коллективизации старались не упоминать. Они как бы априори считались оправданными, и тема трагической судьбы русского крестьянства в годы Советской власти еще долго ждала своего открытия. Пожалуй, только теперь, когда открываются все новые и новые забытые страницы замечательной литературы прошлых лет, достоянием нашего духовного мира постепенно становятся не только стихи Николая Клюева, Сергея Клычкова, еще не открытых по-настоящему Пимена Карпова и Алексея Ганина, но их своеобразная проза.

Лирики по мироощущению, они, не замыкаясь в лирической оболочке, воплощали в романах и повестях, а также в страстных публицистических выступлениях свое сокровенное, связанное с судьбой многомиллионной толщи русского крестьянства, поднимали неизведанные пласты народной жизни, задавали жгучие, животрепещущие вопросы, от ответов

на которые зависела народная судьба в переломные моменты истории.

В начале XX века в литературных кругах ощущался обостренный интерес к исконным, корневым началам народной жизни, к истокам, питавшим русскую культуру на протяжении столетий. Открытие русской иконописи, старинной музыки, обращение интеллигенции к народным преданиям, песням, к стихни русского раскола, ее гадания о будущем, связанные с воспоминаниями о народных восстаниях в свете кровавого зарева первой русской революции, и предчувствия грядущих катаклизмов создали атмосферу, благоприятную для появления в русской литературе писателей, явивших своим творчеством неразрывную связь с древней культурой, органически воплотившейся в новом времени на пороге грозных событий. В 1909 году Александр Блок опубликовал статью «Стихия и культура», в которой пророчествовал о неизбежности возмездия, долженствующего постигнуть «железную», «машинную» человеческую культуру, ибо «сердце сторонника прогресса дышит черной местью на землю, на стихию, все еще не покрытую достаточно черствой корой». Это возмездие, по мысли поэта, должно воздаться «стихийными людьми», «для которых земля не сказка, но чудная быль». В подтверждение своим словам он привел отрывки из статьи «крестьянина из северной губернии» — Николая Клюева, приславшего ему текст политического памфлета под названием «С родного берега». Так Николай Клюев вошел в сознание столичных кругов, немало взбудоражив умы рафинированных интеллигентов, еще до того, как обрели широкую известность его стихи.

«Только два-три искренних, освященных кровью слова революционеров неведомыми, неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: «земля Божья», «вся земля есть достояние всего народа»,— великое, неисповедимое слово... «все будет, да не скоро»,— скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое «все» — с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет «греха», что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничтожено бременем вечного труда».

Под впечатлением этой статьи у Александра Блока рождается поистине пророческое предсказание:

«Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу ее, о монастырях, где стоит статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что когда ветер ночью клонит рожь,— это «Она мчится по ржи», о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда,— обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот — «отдушина океана». Земля с ними, и они с землей, их не различить на ее лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево

живое, и церковь живая, как сам мужик — живой. Только все на этой равнине еще спит, а когда двинется,— все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощенные Богородицы, пойдут с холмов, и озера выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдет вся земля»[1].

Этими же настроениями во многом был проникнут и роман Андрея Белого «Серебряный голубь», написанный вскоре после первой русской революции и изданный в 1909 году. Герой романа — столичный интеллигент Дарьяльский, своего рода «второе я» автора, пытается обрести полноту бытия, уйдя «в народ», растворившись в природной стихии, тем самым обретая утерянные жизненные силы и ощущение причастности народной плоти и духу. Роман этот вызвал острую и сочувственную реакцию писателей-«новокрестьян» и оказал существенное влияние на многих из них. Достаточно сказать, что, перечитывая «Серебряного голубя» в 1921 году, Сергей Есенин назвал роман Белого «замечательной вещью».

Писателем, испытавшим на себе всю меру влияния этого своеобразного романа, был Пимен Карпов. В 1906 году он опубликовал свои первые стихи, но известность ему принес сборник «антиинтеллигентских» статей-памфлетов «Говор зорь», получивший сочувственный отзыв Л. Н. Толстого и встреченный негодующими рецензиями Д. Мережковского, И. Ясинского и других литераторов. Карпов писал о необходимости приобщения интеллигенции к народу и о пропасти, которая ныне существует между народом и интеллигенцией, о разрыве, преодолеть который можно лишь в том случае, если интеллигенты «возьмутся за плуг». Подобный «радикальный» способ преодоления пропасти вызвал поток насмешек и обвинений в «махаевщине», в том, что Карпов солидаризируется в нападках на интеллигенцию с авторами «Вех» (более нелепое обвинение трудно было придумать — Карпов однозначно отрицательно отнесся к этому столь памятному сборнику). Излагая свое творческое кредо в письме к Василию Розанову, он упирал на то, что если «интеллигенция не щадит народа», то не придется и ей ждать от него пощады, и советовал публицисту написать «капитальную книгу, прославляющую Россию и русский народ», поскольку видел в Розанове «не барина, а мужика» по рождению (любопытно, что здесь Карпов перекликался с Максимом Горьким, давшим Розанову в одном из писем схожий совет). Почти одновременно с выходом книги Пимена Карпова «Говор зорь» в «Нашем журнале» появилась статья Николая Клюева «В черные дни (Из письма крестьянина)», опубликованная в 1908 году. Клюев писал:

[1] Блок А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 4. С. 121.

«Проклятие вам, глашатаи ложные! Вы, как ветряные мельницы, стоящие по склонам великой народной нивы, вознеслись высоко и видите далеко, но без ветра с низин ребячески жалки и беспомощны,— глухо скрипите нелепо растопыренными крыльями, и в скрипах ваших слышна хула на духа, которая никогда не простится вам. Божья нива зреет сама в глубокой тайне и мудрости».

О «стихийных людях», «под терновым венцом сохранивших светлость чела и крепкого разума», о сектантах, напишет Карпов свой первый роман — «Пламень», во многом отталкиваясь от «Серебряного голубя» Андрея Белого. Если «Говор зорь» прозвучал как гром среди ясного неба, то появление «Пламени» можно сравнить с литературным землетрясением.

Карпов посвятил этот роман «пресветлому духу отца, страстотерпца и мученика, сожженного на костре жизни». Он описал в нем жизнь русских религиозных сект — «пламенников» и «сатанаилов». Писатель подчеркивал, что все, описанное им в романе, он видел своими глазами. В основу произведения легли реальные впечатления, вынесенные Карповым из его странствий по России. Однако едва ли стоит уподобляться критикам, которые поверили каждому слову этого некогда столь знаменитого, а сейчас совершенно забытого произведения. Так В. Д. Бонч-Бруевич обвинил писателя в клевете на русских сектантов, а И. Ясинский совершенно серьезно задался вопросом, что же это за таинственные секты, «употребляющие человеческую кровь»... Иванов-Разумник, напротив, увидел в романе лишь «развесистую клюкву», годную для услаждения иностранцев, а в самом авторе «жертву вечернюю» русской литературы.

Совершенно непонятым остался символический смысл романа. Душераздирающие подробности быта сектантов, вроде поглощения человеческой крови, мелодраматические «находки», позаимствованные Карповым из декадентской литературы самого низкого пошиба, вроде встречи в скиту главы секты «пламенников» Феофана с родной дочерью, готовой отдать себя «братьям», «эффектные» детали, рассчитанные на самый непритязательный вкус,— все это не просто лишило роман художественной цельности, но и вышло на первый план в восприятии многих читателей, заслонив глубинный смысл. «Пламенники» ищут гармонии в жизни и не могут ее найти. Они молятся солнечным лучам и поют любовные гимны всемогущему светилу и не в состоянии обрести свет в своей жизни. К Светлому Граду ведет их герой романа сектант Крутогоров, но ликующие аккорды финала не вносят радости в измученные души. Что оставили эти несчастные люди позади себя на своем крестном пути? Они пытались найти радость в диком разгуле страстей, сознавая, что их «любжа» —

«пытка, не радость». Реки крови льются на страницах романа, кровавый разгул правит бал. «Железное кольцо» государства Гедеонов, адепт секты сатанаилов Вячеслав вкупе с монахами, тайно отправляющими черные мессы сатане, подвергают лютым пыткам женщин-«пламенниц», попадающих к ним в руки. Гибнет Гедеонов, сгорает «дьявольское отродье» — город — порождение «железного кольца», все крутится в нескончаемом море огня и кровавой смуты, внося смятение в души людей, на все готовых ради обретения светлого града и так и не обретающих его.

Тираж романа «Пламень» был конфискован и почти весь уничтожен, а автор был привлечен к уголовной ответственности. Его мытарства, связанные с изданием «Пламени», кончились лишь после февральской революции, когда его «дело», как отмечал Карпов в своей позднейшей автобиографии, «сгорело в окружном суде».

В предисловии к своей последней книге «Из глубины» Карпов писал о формальном влиянии символизма на свои ранние произведения, выделяя при этом «раннее творчество Валерия Брюсова и Федора Сологуба», а также «не вытравленные окончательно еще в ту пору... народнические взгляды». Интересно, что ни словом не упомянул он об Андрее Белом, в подражании которому его упрекали многие критики.

Однако речь здесь приходится вести не только о влиянии Андрея Белого, а местами и откровенном подражании ему, но и о полемике Карпова с Белым. Герой «Серебряного голубя» Дарьяльский находит отдохновение в слиянии с народной стихией. Карпов же всем содержанием своего романа дает понять, что едва ли возможно интеллигенту найти отдохновение в среде русского сектантства. В реках крови и море огня отдохновения и полноты бытия ожидать нечего. Сами сектанты не в состоянии обрести опору в этом страшном мире, их молитвы о Светлом Граде так и остаются невоплощенными молитвами. Смерть поджидает здесь человека на каждом шагу, и ни разгул страстей, ни совместные радения, ни яростные песнопения — ничто не даст умиротворения испепеленной душе человеческой. Страшен мир города, которому шлет проклятие автор, но не менее страшен мир народной стихии, вышедшей из берегов, который не в силах сковать никакое «железное кольцо государства».

Наиболее проницательно оценил роман «Пламень» Александр Блок, подчеркнувший, что книга эта — «не книга вовсе», ибо речь идет о человеческом документе, о документе целой эпохи.

«Пусть это приложится к «познанию России»: лишний раз испугаемся, вспоминая, что наш бунт, так же как был, может опять быть «бессмысленным и беспощадным» (Пушкин); что были в России «кровь, топор и

красный петух», а теперь стала «книга»; а потом опять будет кровь, топор и красный петух.

Не все можно предугадать и предусмотреть. Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной»[1].

Именно в межреволюционное время наиболее обостренно проявился интерес в русской литературе к крестьянству как к главной движущей силе любого мятежа, взрыва, исторического катаклизма. Особый пристальный, почти экстатический интерес испытывала русская интеллигенция к религиозным сектам, где виделось наибольшее скопление «горючего материала», и не без основания предполагалось, что если и полыхнет «красный петух», то именно во глубине России, а после дойдет огневая волна до столиц, и тут уже ни правительству, ни интеллигенции головы не снести.

Но из того же «Пламени» нельзя было не понять, что сектанты вовсе не столь однородны, как это могло казаться из холодного, чопорного Петербурга или из «стародедовской» Москвы. Так же как и то, что только издали народная стихия может представлять собой однородную массу, казаться «взбаламученным морем», которое если и подступит к стогнам «немого града», то во всем его грозном монолите. Братоубийственная гражданская война обнаружила всю наивность подобных упований. Не между народом и интеллигенцией произошел трагический раскол, разрешившийся пролитием рек крови, не по сословному признаку, а по политическому разделились в смертельном противостоянии русские люди. Пожалуй, суть всенародной трагедии этих лет наиболее точно выразил Максимилиан Волошин: «Одни идут освобождать// Москву и вновь ковать Россию//Другие, разнуздав стихию,//Хотят весь мир пересоздать»[2].

Статьи Александра Блока, книги Михаила Пришвина и Василия Розанова, приоткрывшие читателю завесу, скрывавшую от его глаз «потаенную» сектантскую Россию, были зернами, павшими на благодатную почву. Еще не изгладилось воспоминание о книгах П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». Его книги познакомили читателя с миром русских сект. Будоражили сознание читателя и очерки из жизни сектантов И. Нажнвина и Н. Пругавина. М. Пришвин, В. Розанов и в особенности Александр Блок выявили брожение, зреющее в этой та-

[1] Блок А. Собр. соч. Т. 4. С. 195.
[2] Волошин М. Стихи о терроре. Берлин, 1923.

инственной для многих среде. Книга Пимена Карпова стала книгой-предупреждением.

«Друг ты мой, товарищ... Пимен. Кинем мы с тобою камень, в небо кинем. Исцарапанные хотя, но доберемся до своего берега и водрузим свой стяг, а всем прочим осиновый кол поставим».

Эту дарственную надпись Сергей Есенин сделал на своей фотографии для Пимена Карпова 16 июня 1916 года. К этому времени он был уже автором повести «Яр», напечатанной в журнале «Северные записки». Повесть не вызвала большого резонанса, в отличие от изданной почти одновременно книги стихов «Радуница». Единственный, по сути дела, печатный отзыв на нее был отрицательным. В нем сообщалось, что Есенин — «поэт от «чернозема», опьяненный успехом, уже начал выдыхаться».

А сама повесть крайне симптоматична не только для самого поэта, для раннего периода его творчества. Она характерна для умонастроений новокрестьянских поэтов этого времени вообще.

В начале 1917 года один из поэтов-новокрестьян Александр Ширяевец написал письмо Владиславу Ходасевичу, выразившему свое недоумение по поводу того, что «крестьянские» поэты «изображают мужика каким-то сказочным добрым молодцем в шелковых лапотках». Ширяевец писал: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков и Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила, в шелковых лапотках, с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно «лозунгами»... Пусть уж о прелестях современности поет Брюсов, а я поищу Жар-птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем... Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?..»[1]

В этом письме ясно слышится не только искреннее желание защитить себя и своих собратьев, но и некоторое лукавство, столь присущее «новокрестьянам» и особенно дававшее себя знать при их общении с интеллигенцией в предреволюционные годы. Этими же настроениями проникнуто

[1] Ходасевич В. Некрополь. Париж: Имка-пресс, 1939. С. 221.

письмо С. Есенина А. Ширяевцу, написанное летом того же 1917 года: «Бог с ними, с этими питерскими литераторами, ругаются они, лгут друг на друга, но все-таки они люди, и очень недурные внутри себя люди, а потому так и развинчены. Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина.

Тут о «нравится» говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут носы и не разглядят тебя, что это — т ы. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить».

Интересно, что В. Ходасевич упрекал Ширяевца и его собратьев именно в «подстриженности», что лишний раз свидетельствовало о том, что на новую плеяду литераторов он смотрел из своего интеллигентского «далека». Реальная жизнь находила в их творчестве свое воплощение в степени ничуть не меньшей, чем сказка, миф, притча, народная песня. А подчас в одном и том же произведении сказочная стихия и стихия реальной жизни тесно переплетались и сливались воедино. Это слияние нетрудно увидеть и в карповском «Пламени», и в романах Сергея Клычкова, и в повести Сергея Есенина «Яр».

Жизнь и смерть, свет и тьма, любовь и ненависть — все нашло свое отражение в этой повести, написанной летом 1915 года. Поэт обратился к прозе в тот период, когда им владела мысль о создании крестьянского журнала, где собирался вести отдел «Деревня» и «писать такие статьи, чтоб всем чертям стало тошно». Всеволод Рождественский привел в своих воспоминаниях разговор с Есениным, состоявшийся в конце 1916 года.

«Да,— протянул задумчиво Есенин,— какие-то стихи будем мы писать после войны? Опять начнутся «розы» и «мимозы»? И неужели нельзя будет говорить о народе так, как он этого заслуживает? Я так думаю, что ему никто и спасибо за эту войну не скажет»[1].

Повесть «Яр» и стала тем произведением, где Есенин попытался

[1] С. А. Есенин в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1987. Т. 2. С. 103.

сказать «о народе так, как он того заслуживает» в прозаической форме, позволившей поэту воплотить тот срез народной жизни, который не давался ему при написании лирического стихотворения или поэмы. Лиро-эпическое произведение «Анна Снегина» было написано почти десять лет спустя после «Яра», но очевидно, что повесть стала одним из первых шагов на пути к одной из драгоценнейших есенинских поэм.

Темная глухомань, лесная сторона, в которой разворачивается действие повести, постоянно занимает мысли героев, держит их, мучает и не дает выхода. «Яр» обладает некоей мистической силой — это не просто кусок родной земли, нет, это некая притягивающая и одновременно измучившая героев сила. Константин Карев, герой внутренне близкий Есенину, стремится оторваться, уйти, разорвать томительную, жгучую связь с этим любимым и проклятым местом подобно тому, как мечтал об этом в эти же годы вышедший в российские просторы сам поэт.

Устал я жить в родном краю.
В тоске по гречневым просторам
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.

Пойду по светлым кудрям дня
Искать убогое жилище,
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
. . . .

И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
. . . .

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
А Русь все также будет жить,
Плясать и плакать у забора.

Это стремление Карева уйти, оторваться, выбраться на свет Божий ощущается и другими героями повести. Как бы предсказывая все дальнейшее развитие событий, делится с ним своими мыслями Афонюшка.

«— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем,— толковал он с Каревым.— Всю молодость свою думал поставить церковь. Трать,— вынул он пачку бумаг,— ты как Кузька стал мне... словно век я тебя ждал».

Не сбудется Афонюшкина мечта. И Карев никуда не сможет уйти. На его глазах будут гнутся в дугу и гибнуть один за другим Кузька, Аксютка, Анна, любимая им Олимпиада. В страшной схватке мужики убивают местного помещика, долгие годы пившего их кровь, но и этот беспощадный бунт не развеивает чувства безысходности и обреченности, которое все более и более сгущается к финалу повести. Мечтавший «поджечь жисть» в глухом «яре» Карев гибнет от пули, посланной пьяницей Ванчком, который приходит в ужас от одной мысли, что Карев «яр поджег дымом задвашил». Ванчок, как и многие, находит отдохновение лишь в водке да в пьяных драках, которые время от времени взрывают гнетущую тишину «яра», а после все вновь возвращается на круги своя.

Просто поразительно, как в течение продолжительного времени могли говорить, что «новокрестьяне» идеализировали старую деревню. Никакого намека на идеализацию ее нет ни у Клюева, ни у Пимена Карпова, ни у Сергея Клычкова, ни у Сергея Есенина. Лучше чем кто бы то ни было знали они и светлые и темные стороны жизни старой деревни и слишком ясно отдавали себе отчет в том, что старому укладу приходит конец и навсегда уходит в небытие мир, породивший и вскормивший их. Они стремились воплотить в своем творчестве и донести до людей то безусловно ценное, что хранила старая русская деревня, лелея надежду, что революция, рушащая перегородки между разными слоями общества, даст возможность проявиться подспудным мощным творческим силам мужицкой Руси.

«Мы полюбили бы мир этой хижины со всеми петухами на ставнях, коньками на крышах и голубками на князьках крыльца не простой любовью глаза и чувственным восприятием красивого, а полюбили бы и познали бы самою правдивою тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы. Искусство нашего времени не знает этой завязи, ибо то, что она жила в Данте, Гебеле, Шекспире и других художниках слова, для представителей его от сегодняшнего дня прошло мертвой тенью... Единственным расточительным и неряшливым, но все же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещали разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба. В судорожном биении он ловил своими жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок и словно гвозди разрывал ему кровеносные сосуды».

Так писал Сергей Есенин в трактате «Ключи Марии» осенью 1918 года, подводя черту под ушедшей навсегда эпохой и пытаясь заглянуть в будущее, где его глазам открывалась радужная картина, возбуждавшая в душе поэта надежды, окрыляющие его душу.

«...дорога к... свету искусства, помимо смываемых препятствий в мире внешней жизни, имеет еще целые рощи колючих кустов шиповника и крушины в восприятии мысли и образа. Люди должны научиться читать забытые ими знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит пророка Илью в облака». И Есенин отталкивается в своем восприятии «ангелического образа» от образа, «построенного на заставках стертого революцией быта». Естественным для него становится и органическое расхождение с другом и учителем, некогда самым близким ему по духу поэтом — Николаем Клюевым, сердце которого «не разгадало тайны наполнявших его образов». Творческое расхождение двух самых ярких представителей «крестьянской купницы», двух замечательных русских поэтов было естественным и неизбежным. Есенин рвался в будущее, усиленно вглядывался в даль, прозревая неведомые горизонты грядущего быта и искусства, был весь в движении и проповедовал движение мысли и образа. Клюев обеими ногами стоял на здешней грешной земле, омытой кровью революции и гражданской войны. Он обращался к русскому народу в страшном 1919 году («год девятнадцатый, недавний, но горше каторжных вериг»,— напишет он десять лет спустя в «Погорельщине») с проповедью в духе «Откровения Иоанна Богослова», не щадя человека русского, казня его невежество и жестокость, проявившиеся в разгуле кровавых страстей, и указывая ему пути к свету и благодати. «Ты попираешь ногами кровь мучеников, из злодея делаешь властителя и, как ошпаренный пес, лижешь руки своим палачам и угнетателям. Продаешь за глоток водки свои леса и земли обманщикам, выбиваешь последний зуб у престарелой матери своей и отцу, вскормившему тебя, с мясом вырываешь бороду... Русский народ! Прочисти уши свои и расширь сердце свое для слов Огненной Грамоты!..»

Видя, с какой неуемной ретивостью новые властители отторгают от народа многовековую культуру, Клюев пророчески предупреждал: «Направляя жало пулемета на жар-птицу, объявляя ее подлежащей уничтожению, следует призадуматься над отысканием пути к созданию такого искусства, которое могло бы утолить художественный голод дремучей, черносошной России... А пока жар-птица трепещет и бьется смертно, обливаясь самоцветной кровью под стальным глазом пулемета».

Эти пророческие слова начали сбываться почти через десятилетие

после того, как были произнесены. И еще впереди была публикация романов Сергея Клычкова — «последнего леля» русской литературы. Сергей Есенин в «Ключах Марии» назвал Клычкова «истинно прекрасным народным поэтом», который «первый увидел, что земля поехала», и который «видит, что эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам... что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами».

И герой романа Клычкова «Сахарный немец» (в сокращенном варианте роман был опубликован под заглавием «Последний Лель») зауряд-прапорщик Зайчик видит вещий сон в горнице, под синим светом лампады, что «плывет, плывет отцовская изба, как диковинный корабль, в далекое и блаженное царство, где люди живут и не знают, а самое главное, знать им не надо: что жизнь и что смерть».

«Живот и смерть» — так должно было называться задуманное Сергеем Клычковым девятикнижие, первой частью которой и был роман «Сахарный немец». Действие в нем происходит в период империалистической войны четырнадцатого года, участником которой был сам поэт. Его герой пытается найти отдохновение, душевный лад и гармонию в единении с родной ему природной стихией, от которой он внутренне еще не отделен до конца. Мир крови и насилия чужд нежной душе зауряда, и если бродят в его неприкаянной голове мысли о смерти, то о той, «коли в головах у тебя и в ногах теплятся тихо путеводные свечи, а у дома, плечом прислонившись к крыльцу, терпеливо дожидается сосновая крышка...». Только разве кому удавалось с такой легкостью и покоем отдать Богу душу в период военного лихолетья или в жестокие годы непрекращающейся гражданской войны, когда писал свой роман Сергей Клычков, зная, что стал он волею судьбы современником той эпохи, когда жизнь человеческая ценится дешевле полушки? Все время, «кажется, с самого неба занесен несчастный чугунный колун, под которым сама земля дрожит и расступается, разлетаясь пылью и прахом».

Не находит Зайчик успокоения и в родном Чертухине. Сладкие грезы окутывают его разум, мечтается ему о блаженной разголубой стране, где струится живая вода, а молятся мужики в лесу на мшисто узорном подрушнике, и нет над ними власти никакой, ни налогов, ни поборов... Но нет проезда, прохода в эту страну обетованную. А здесь, в родном Чертухине все давно вкривь и вкось пошло. Надвинулся на родной с детства мир окаянный город, ад бесчеловечной чистоганной цивилизации, город, под которым «и земля не похожа на землю. Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железно спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мыти...».

Что может преодолеть разлад в душе мужика, предотвратить его падение и безвременную погибель? Затеряна навечно в глухих лесах чудодейственная книга Златые Уста, и наука не в помощь, ибо не ведает о ней народ, чей разум плавает, как «котенок в ведре». Здесь отчетливо слышится перекличка Сергея Клычкова с Николаем Клюевым, пророчествовавшим русскому человеку: «Ты слеп на правый глаз свой!» Обезображивается природа, теряют свое лицо люди, вынужденные лишать друг друга жизни. Зайчик убивает немецкого солдата и долго не может опомниться после совершенного убийства. «Кровь человечья липче и слаще, чем мед... прекрасна она, и страшна, и страшлива, и... по пятам за ее страхом ходит убийство»,— думал так Зайчик, закрывая рукою глаза (кажется, вот-вот) перед самым штыком...» И мнится ему после случившегося убитый немец, ласково вещающий: «Не бойся, Русь, не бойся, у меня ружье не заправское, и пуля не пуля, а леденец сладкий, сахарный, только слаще леденца человечья кровь...»

Не ходи ты, Лель, воевать!
Ты не целься в лоб,
Уж ты в грудь не цель...

Эту песню своей родины вспоминал Зайчик... Лель — славянский бог любви, и если уж он поднял руку на человека — конец этому миру, конец любви, конец гармонии... Зайчика неотвязно преследует образ крови, сладкой как сахар. Для него, выходца из старообрядческой среды, сахар — грех, великий соблазн. И кровь становится соблазном в дни всеобщего одичания и озверения.

Пожалуй, лишь поэты-«новокрестьяне», с их пантеистическим мироощущением и глубоким пониманием самоценности человеческой жизни, всем своим творчеством сознательно противостояли в годы революции и гражданской войны апологии убийства, находившей себе оправдание в необходимости классовой борьбы. Немногие из них отдали дань этому массовому поветрию и тут же словно оборвали себя, предчувствуя, куда может завести эта апология. Ведь пролитая кровь соблазняет, как сахар, и второй раз ее куда легче пролить, чем в первый, а когда гибнут миллионы людей, что за дело до единой человеческой жизни!.. Они в своих стихотворениях, поэмах, романах и публицистических статьях до конца отстаивали гуманистические ценности, завещанные им древнерусской и русской классической литературой. Естественно, они пошли против течения, и это противостояние неминуемо должно было разрешиться трагедией. Почти никто из них не дожил до сравнительно спокойных дней.

Последний Лель

Впервые поэты-«новокрестьяне» объединились в единое течение перед второй русской революцией. Пик их творческого слияния пришелся на 1916—1917 годы. Еще в 1918 году самым близким человеком и поэтом для Сергея Есенина оставался Сергей Клычков, с которым они вместе думали об основании поэтической школы «аггелизма», манифестом которой, собственно говоря, и явился есенинский трактат «Ключи Марии». С Клюевым его разделили мировоззренческие установки, разошелся он с Пименом Карповым и Петром Орешиным. После кратковременного сближения с имажинистами, в которых Есенин думал обрести новых друзей и сотоварищей, он уже в 1922 году писал Р. Иванову-Разумнику: «Уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней «в семью едину», потому что мне, например, до чертиков надоело возиться с моей пустозвонной братией...»[1] Он с благодарностью вспоминал предреволюционные годы, тесное содружество братьев по духу и творческим устремлениям. «Крестьянская» группа, прекратила свое существование, каждый из поэтов вышел на самостоятельную большую дорогу, и теперь Есенин думал об объединении самоценных творческих миров, которые соприкасались в главном: в отношении к революции, к судьбам крестьянства, к глубинному смыслу человеческого бытия. Особенно эта тяга проявилась у него после заграничного путешествия.

Он мечтал об издании журнала «Россияне», который бы объединил прежних собратьев. Этим планам не удалось осуществиться, и возрождение творческих связей с прежними друзьями проявилось лишь в устроении совместных поэтических вечеров, в частности вечера «русского стиля», на котором выступали Сергей Есенин, Николай Клюев и Алексей Ганин. Есенин восстанавливает прежние отношения с Сергеем Клычковым, Петром Орешиным, часто встречается с ними. Во время этих встреч поэты вели жгучие, больные разговоры о судьбе русской нации и русского искусства в сложное, тяжелое время, когда все отчетливей стала проявлять себя тенденция денационализации культуры, идущая сверху, в частности от Л. Д. Троцкого, не единожды пытавшегося приманить к себе Есенина, обещая ему средства на устроение журнала, очевидно рассчитывая на знаменитого русского поэта как на будущего проводника своей политики. Есенин слишком хорошо понял эту игру и неоднократно публично высказывал все, что думал по поводу нездоровой обстановки в культурной жизни России начала 20-х годов. Возмездие последовало жестокое — начиная от клеветы в печати, репрессивных мер и вплоть до трагической гибели поэта 28 декабря 1925 года.

---

[1] Есенин С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1980. Т. 6. С. 113.

Поэты понимали, что недолго им осталось быть вместе, они слишком ясно предчувствовали свою трагическую судьбу. Гибель Есенина и Алексея Ганина еще теснее сблизила их. Боль общей утраты сопровождалась тревожными гаданиями о будущем, о судьбах русского крестьянства, которое подверглось жестокому погрому на рубеже 20—30-х годов. Почти все поэты-«новокрестьяне» разделили судьбу того слоя, в котором они были вскормлены и выпестованы и из которого вышли в большой мир, став гордостью отечественной литературы.

«Еще живет «россеянство», своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по-прежнему, по старинке, в «особый» путь развития, в народ-«богоносец», с погружением в «философические» глубины мистического «народного духа» и красоты «национального» фольклора.

В современной поэзии наиболее сильными представителями такого «россеянства» являются: Клычков, Клюев и Орешин (Есенин — в прошлом).

Было бы ошибкой рассматривать их только как эпигонов, последышей. Они утверждаются в поэзии идеологическими представителями кулачества. Характерные черты их творчества представляют собой рупор, через который усиляется голос определенной классовой группы, судорожно старающейся отстоять свои экономические, а значит, бытовые и психологические позиции».

Эти угнетающие своей злобой, пышущие ненавистью слова Осипа Бескина, у которого, по его же собственному признанию, «в зобу от гнева дыхание спирало», когда речь заходила о поэтах, вышедших из крестьянской среды, лучше всего характеризуют средства и методы, которыми в период «ликвидации кулачества как класса» изничтожалась литература, идущая от деревенских корней, и как подготавливалась идеологическая база к полному уничтожению этого литературного направления в лице его ярчайших представителей, почти поголовно репрессированных в конце 30-х годов.

Однако наконец наступило время, когда мы в полной мере можем оценить правоту слов Сергея Клычкова, написанных в ответ на вышеприведенные и многочисленные им подобные обвинения теоретиков, считавших, по словам Н. Клюева, что «товарищ маузер красноречивее хоровода муз»: «Завтра произойдет мировая революция, капиталистический мир и национальные перегородки рухнут, но... русское искусство останется, ибо не может исчезнуть то, чем по справедливости перед миром гордились и будем, любя революцию, страстно верить, что еще... будем, будем гордиться!»

Последний Лель

Спустя много лет дошли до нас эти горькие слова, дошли произведения, о которых не ведали несколько поколений. И, вчитываясь в них, мы размышляем о прошлом России, подсознательно внимая пророчествам поэтов-«новокрестьян», чье творчество вопреки всему не сгинуло в небытие, вернулось к нам.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

С РОДНОГО БЕРЕГА

«Мы убили дьявола».
Ответ крестьянина на
суде перед сытыми
(Л. Андреев. Царь-Голод)

Дорогой В. С.[1], Вы спрашиваете меня, знают ли крестьяне нашей местности, что такое республика, как они относятся к царской власти, к нынешнему царю и какое общее настроение среди их? Для людей вашего круга вопросы эти ясны и ответы на них готовы, но чтобы понять ответ мужика, особенно из нашей глухой и отдаленной губернии, где на сотни верст кругом не встретишь селения свыше 20 дворов, где непроходимые болота и лесные грязи убивают всякую охоту к передвижению, где люди, зачастую прожив на свете 80 лет, не видали города, парохода, фабрики или железной дороги,— нужно быть самому «в этом роде». Нужно забыть кабинетные истории зачастую слепых вождей, вырвать из сердца перлы комнатного ораторства, слезть с обсиженной площадки, какую бы вывеску она ни имела, какую бы кличку партии, кружка или чего иного она ни носила, потому что самые точные вожделения, созданные городским воображением «борцов», при первой попытке применения их на месте оказываются дурачеством, а зачастую даже вредом; и только два-три искренних, освященных кровью слова неведомыми и неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так например: «Земля Божья», «вся земля есть достояние всего народа» — великое неисповедимое слово! И сердцу крестьянскому чудится за ним тучная долина Ефрата, где мир и благоволение, где Сам Бог.

«Все будет, да не скоро»,— скажет любой мужик из на-

[1] В. С.— В. С. Миролюбов. В исходном тексте стоит: С. В. Это, скорее всего описка Клюева (или Блока).

шей местности. Но это простое «все» — є бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет «греха», что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничижено бременем вечного труда, особенно «отдажного», как говорят у нас, т. е. предлагаемого за плату, и душа, как в открытой книге, будет разбираться в тайнах жизни.

«Чего не знаешь, то поперек глаза стоит», заставляет пугаться, пятиться назад перед грядущим, перед всем, что на словах хорошо, а на деле «Бог его знает». Каменное «Бог его знает» наружно кажется неодолимым тормозом для восприятия народом революционных идей, на него жалуются все работники из интеллигентов, но жалобы их несправедливы, ибо это не есть доказательство безнадежности мужика, а, так сказать, его весы духовные, своего рода чистилище, где все ложное умирает, все же справедливое становится бессмертным.

Наша губерния, как я сказал, находится в особых условиях. Земли у нас много, лесов — тоже достаточно. Аграрно, если можно так выразиться, мы довольны, только начальство шибко забижает, земство тоже маху не дает — налогами порато прижимает. Как пошли по Россеи бунты, так будто маленько приотдало и начальство стало поладливее. Бывало, год какой назад, соберемся на сход, так до белого света про политику разговоры разговариваем; и полица не касалась, а теперь ей от царя воля вышла; кто за правду заговорит, того за воротник — да в кружку. Ну, одного схватят да другого схватят, а третий и сторонится; ведь семья на руках пить-ись просит, а с острожного пайка не много расхарчишься. Да это бы все не беда, так, вишь, народ-то не одной матки детки, у которого в кисете звонит, так ён тебе же вредит: по начальству доносит. Так говорит половина мужиков Олонецкой губ[ернии].

Но что же это за «политика»,— спросите Вы, что подразумевает крестьянин под этим словом, что характеризует им? Постараюсь ответить словами большинства. Политика — это все, что касается правды — великой вселенской справедливости, такого порядка вещей, где и «порошина не падет зря», где не только у парней будут «калоши и пинжаки», «как у богатых», но еще что-то очень приятное, от чего гордо поднимается голова и смелее становится

речь. Знаю, что люди Вашего круга нашу «политику» понимают как нечто крайне убогое, в чем совершенно отсутствуют истины социализма, о которых так много чиликают авторы красных книжек, предназначенных «для народа». Но истинно говорю Вам — такое представление о мужике больше чем ложно, оно неумно и бессмысленно! Мне памятен случай на одном, устроенном местным кружком с[оциалистов]-[революционеров] митинге. Оратор, крестьянин, мужчина лет 30, стоя на камне посреди густой толпы, кричал: «Зачем вы пришли сюда, зачем собрались и что смотреть? Человека ли, в богатые одежды облеченного? Так ведь такие живут во дворцах, вы же чего ищете, чего хотите?»

«Чтобы все было наше»,— кричали в ответ — не два, не три, а по крайней мере сотни четыре людей. «Чтобы все было наше» — вот крестьянская программа, вот чего желают крестьяне. Что подразумевают они под словом «все», я объяснял, как сумел, выше, могу присовокупить, что к нему относятся кой-какие и другие пожелания, так например: чтобы не было податей и начальства, чтобы съестные продукты были наши, а для выдачи можно контору устроить, препоручив ее людям совестливым. Чтобы для желающих были училища и чтоб одежда у всех была барская,— т. е. хорошая, красивая. Много кой-чего и другого копошится в мужицком сердце; мысленно им не обделен никто: ни вдовица, ни сирота, ни девушка-невеста. О республике же в нашей губернии знают не больше как несколько сот коренных крестьян, просвещенных политическими ссыльными из интеллигентов и городских рабочих. Республика это такая страна, где царь выбирается на голоса,— вот все, что знают по этому предмету некоторые крестьяне нашей округи. Большинство же держится за царя не как за власть карающую и убивающую, а как за воплощение мудрости, способной разрешить запросы народного духа. «Ён должон по думе делать»,— говорят про царя. Это значит, что царь должен быть умом всей русской земли, быть высшей добродетелью и правдой. Нынешний же царь злодеяниями, кажущимися народу предвестником «последнего времени», представляется одним чем-то в высшей степени бессовестным, врагом Бога и правды, другим — наказанием за грехи, третьим — просто пьяным, осатаневшим,

похожим на станового барином, четвертым — ничего не знающим и ни во что не касающимся, с ликом писаного «Миколы», существом. Ежедневные казни и массовые расстрелы доходят до наших мест в виде фантастических сказаний. Говорят, что в городе «Крамштате» царь подписал «счет» матросов, предназначенных для казни, и что по дорогам было протянуто красное сукно, в церквах звонили в колокола, а царь с царицей ехал на пароходе и смотрел «в бинок». Что в каком-то городе, на белой горе казнили 12 братьев, и с тех пор икона Пресвятой Богородицы, находящаяся в ближней церкви, плачет дённо и ночно — подавая болящим исцеление. Что в Псковской губернии видели огненного змия, а в Новогороде сжатая в кулак рука Спасителя, изображенного на городской стене, разжимается. Все это предвещает великое убийство — перемеженье для Россеи, время, когда брат на брата копье скует и будет для всего народа большое «попленэнье». От многих я слыхал еще и следующее, касающееся уже лично нынешнего императора: будто бы он, будучи еще наследником, ездил к японскому государю в гости, стал похабничать с японской царицей и в драке с ее мужем получил саблей коку в голову, отчего у него сделалось потрясенье и он стал межеумком, таким, характеризуя кого, мужик показывает на лоб и вполголоса прибавляет: «Винтика не хватает». Вот, мол, отчего и порядки на Россеи худые; да еще оттого, что ён начальству волю дал и сам сызмальства мясничать научился. Перво-наперво, как приехал из Японии, зараз царем захотел стать — отцу Александру III-ему сулемы подсунул, а брата Егорья в крепость засадил, где его и застрелил унтер-офицер Трепов, что теперь у царя в ключниках состоит и жалованье за это 40 тыщ на месяц получает. Но подобные разговоры — исключение. Большинство же интересуется насущным: заботой о пропитании, о цене на хлеб, проделками сельских властей — старшин, старост, сборщиков податей, волостных писарей, становых, земских, урядников, ругает их в глаза и позаглазно, уважения же к этим господам не питает никто, ни старый, ни малый. Песни крестьянской молодежи наглядно показывают отношение деревни к полиции, отчаянную удаль, готовность пострадать даже «за книжку», ненависть ко всякой власти предержащей:

Нам полиция знакома,
А исправник хоть бы хны,
Хоть убей, за сороковку
Не окажется вины.

Мы без ножиков не ходим,
Без каменья никогда,
Нас за ножики боятся
Пуще царского суда.

Мать-Россея торжествует —
Николай вином торгует,
Саша булочки пекет,
А Маша с Треповым живет.

Люди ножики справляют,
Я леворвет заряжу,
Люди в каторге страдают —
Я туда же угожу.

Я мальчишечко-башка,
Не хожу без камешка.
Меня в Сибири дожидают —
Шьют рубаху из мешка.

У нас ножики литые,
Гири кованые.
Мы ребята холостые
Практикованные.
Мы научены сумой —
Государевой тюрьмой.

Молодцы пусть погуляют,
Вместе водочки попьют,
За веселое гулянье
Цепи на ноги дают.

Пусть нас жарят и калят
Размазуриков-ребят,
Мы начальству не уважим —
Лучше сядем в каземат.
Каземат ты каземат —
Каменная стенка.
Я мальчишко-сибиряк
Знаю не маленько.
Не маленько знаю я,
Не своим бахвальством,
Что Российская казна
Пропита начальством.
Ах ты книжка-складенец,

В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко.
Во тюрьму меня ведут
Кудри развеваются —
Рядом девушки идут,
Плачут, убиваются.

И т. п.

Отношение деревни к затюремщикам резко изменилось. Пострадать «с доброй воли» не считается позорным. Возвратившиеся из тюрьмы пользуются уважением, слезным участием к их страданью. Тысячи политических ссыльных из разных концов России нашли в нашем краю приют и вообще жалостное отношение населения. Революционные кружки, организованные ссыльными во всех уездах губернии, за последнее время значительно обезлюдели. Много работников, как из крестьян, мещан, так и из интеллигентов, арестованы. Главный губернский комитет получает из Питера партийные журналы, прокламации и брошюры, и через уездных членов распространяют по всей губернии. Из прокламаций больше спрос на письмо русских крестьян к царю Николаю II-му. Из брошюр: «Что такое свобода», «Хитрая механика» и «Конек Скакунок». Несмотря на гонение, распространение литературы, хотя значительно слабее 1905-6 годов, но все-таки продолжается, хотя до сих пор и не вызывает массового бунта, но как червоточина незримо делает свое дело, порождая ненависть к богачам и правительству. Наружно же вид Олонецкой губ[ернии] крайне мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казенки процветают, яко крины, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова. 9 зимних месяцев приходится кормиться картошкой и рыжиками, да и те есть не у всякого. Вообще мы живем как под тучей — вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы Земли, и восплачут те, кто распял Народ Божий, кто, злодейством и Богом низведенный до положения департаментского сторожа, лишил миллионы братьев познания истинной жизни. Общее же настроение крестьянства нашего справедливо выражено

в одном духовном стихе, распеваемом по деревням перехожими нищими-слепцами:

Что ты, душа, приуныла?
Аль ты Господа забыла?
Аль ты добра не творила?
Оттого ты, душа, заскорбела,
Что святая правда сгорела,
Что любовь по свету бродит
И нигде пристану не находит.
По крещеному белому царству
Пролегла великая дорога —
Столбовая прямая путина.
То ли путь до темного острога,
А оттуль до Господа Бога.
Не просись, душа моя, в пустыню,
Во тесну монашеску келью,
Ко тому ли райскому веселью.
Положи, душа моя, желанье
Воспринять святое поруганье,
А и тем, душа моя, спасёся,
Во нетленну ризу облекёся.
По крещеному белому царству
Пролегла великая дорога,
Протекла кровавая пучина —
Есть проход лихому человеку,
Что ль проезд ночному душегубу,
Только нету вольного проходу
Тихомудру Божью пешеходу.
Как ему, Господню, путь засечен,
Завален — проклятым черным камнем.

1908

В ЧЕРНЫЕ ДНИ

(Из письма крестьянина)

С сердцем, полным тоски и гневной обиды, пишу я эти строки. В страшное время борьбы, когда все силы преисподней ополчились против народной правды, когда пущены в ход все средства и способы изощренной хитрости, вероломства и лютости правителей страны,— наши златоусты, так еще недавно певшие хвалы священному стягу свободы и коленопреклоненно славившие подвиги мученичества, видя в них залог великой вселенской радости, ныне, сокрушенные видимым торжеством произвола и не находя оправдания своей личной слабости и стадной растерянности, дерзают публично заявлять, что руки их умыты, что они сделали все, что могли, для дела революции, но что народ — фефела — не зажегся огнем их учения, остался равнодушным к крестным жертвам революционной интеллигенции, не пошел за великим словом «Земля и Воля».

Проклятие вам, глашатаи ложные! Вы, как ветряные мельницы, стоящие по склонам великой народной нивы, вознеслись высоко и видите далеко, но без ветра с низин ребячески жалки и беспомощны,— глухо скрипите нелепо растопыренными крыльями, и в скрипах ваших слышна хула на духа, которая никогда не проститься вам. Божья нива зреет сама в глубокой тайне и мудрости. Минута за минутой течет незримое время, ниже и ниже склоняются полные живым зерном колосья,— будет и хлеб, но он насытит только верных, до конца оставшихся мужественными, под терновым венцом сохранивших светлость чела и крепость разума.

Да не усомнятся сердца борющихся, слыша глаголы нечестивые людей с павлиньим хвостом и с телячьим серд-

цем, ибо они имеют уши — и не слышат, глаза — и не видят, а если и принимают косвенное участие в поднятии народной нивы, то обсеменить свежевзрытые борозды не могут, потому что у них нет семян — проникновенности в извивы народного духа, потому что им чужда психология мужика, бичуемого и распинаемого, замурованного в мертвую стену нужды, голода и нравственного одиночества. Но под тяжким бременем, наваленным на крестьянскую грудь, бьется, как голубь, чистое сердце, готовое всегда стать строительной жертвой, не ради самоуслаждения, призрачно-непонятных вождений, свойственных некоторой доле нашей так называемой интеллигенции, а во имя бога правды и справедливости...

Не в ризе учитель — народу шут, себе поношение, идее пагубник, и что дальше пойдет, то больше сворует.

Так и г. Энгельгардт в своей статье («Свободные мысли»), изображая русскую революцию пузырем, лопнувшим от пинка барского сапога, выдает с головой свою несостоятельность, как учитель без ризы сознания великой ответственности перед родиной, той проникновенной чуткости, которая должна быть главным свойством души истинного глашатая-публициста. Обвиняя народ в неспособности отстаивать свои самые насущные, самые дорогие интересы, Энгельгардт умышленно замалчивает тысячи случаев и фактов, ясно и определенно показывающих врожденную революционность глубин крестьянства, его мудрую осторожность перед опасностью, веру в зиждительно-чудотворную силу человеческой крови.

Народ знает цену крови, видит в ней скрытый непостижимый смысл и святит имя тех, кто пострадал, постигнув тайну ее.

Портреты Марии Спиридоновой, самодельные копии с них, переведенные на бумажку детской рукой какого-нибудь школяра-грамотея, вставленные в киоты с лампадками перед ними,— не есть ли великая любовь, нерукотворный памятник в сердце народном тем, кто, кровно почувствовав образ будущего царства, поняв его так, как понимает народ, в величавой простоте и искренности идет на распятие. Такое отношение народной души к далеким незнаемым, но бесконечно дорогим людям, пострадавшим за други своя, выше чувствований толпы.

Народ-богочеловек, выносящий на своем сердце все казни неба, все боли земли, слышишь ли ты сынов твоих, кто плачет о тебе и, припадая к подножию креста твоего, лобзая твои пречистые раны, криком, полным гнева и неизбывной боли, проклиная твоих мучителей, молит тебя: прости нас всех, малодушных и робких, на руинах святынь остающихся жить, жить, когда ты распинаем, пить и есть, когда ты напоен желчью и оцетом!..

[illegible]08
Н. К.

ВЕЛИКОЕ ЗРЕНИЕ

В провинции всегда хотят быть по моде и во что бы то ни стало оригинальными (знай наших), важничают, манерничают, гордятся «философией» местного экзекутора и всяческим «галантерейным» обращением, которым сто лет тому назад так восхищался гоголевский Осип. Кажется, там все знают, ничем не удивишь, а поживешь —и видишь, что нигде так не ошеломляются, как в провинции. И чем же? Позапрошлогодними столичными модами. Но всего омерзительнее, когда такая ошеломляемость, напялив на себя пышные «френчи» или деловитейшую «кожанку», начинает понукать музами, воображать себя человеком от искусства, т. е. проводником этого искусства в народ, «в целях культурного и классового сознания масс», как модно говорить теперь.

Разумеется, ни одной кожаной и галантерейной голове не домекнуть, что подлинный народ всегда выше моды, что его воротит «наблевать» от «френчей» в алтаре, что народное понимание искусства «великое зрение», как бают наши олонецкие мужики-сказители, безмерно, многообразно, глубоко и всегда связано с чудом, с фаворским светом,— будь это «сказание про царица-Андриянища» или скоморошья веселая дудка.

Крепостное право, разные стоглавые соборы, романовский «фараон» загнали на время истинное народное искусство на лежанку к бабке, к рыбачьему ночному костру, в одиночную думу краснопева-шерстобита,— там оно вспыхивает, как перья жар-птицы, являясь живоносной силой в черных мужицких упряжках. «И-и-и-х, если бы не думка-побаска, нешто бы я жив был»,— вздыхал недавно

мой бородач-однодеревенец, которому я посоветовал сходить в Совесткий театр, с целью проверить на нем облагораживающее действие «Женатого Мефистофеля» (или чего-то в этом роде). Оказывается, что мой бородач, к счастью, ничего не слышал и не видел из всего, что происходило на подмостках, а, сидя на плетеном стуле, погружался в свою певучую глубину, весь вечер слагая про себя стихи:

Я от страха добыл огня,
Зажигал свечу полуночную.
Как пришла порушка сутемная,
Собирались ко мне гады клевучие,
Напоследки выползал Большой Змей.
От жжет и палит пламенем огненным.

Кто способен вдуматься в эти строки, для того ясно, что зажженная свеча — это художник, живущий в сердце народном, и что Большим Змеем в данном случае оказался «Женатый Мефистофель», т. е. то вонючее место, которое лишь самое черное невежество и «модный вкус» уездной закулисной накипи может выносить на Великое Народное Зрение, как искусство, как некий свет, который должен и во тьме светить.

Неужели русский народ отдает свою кровь ради того, чтобы его душу кормили «волчьей сытью», смрадной завалью из помойной ямы буржуазных вкусов и пониманий?

Когда видишь на дверях народного театра лист бумаги, оповещающий о «Лелиной тайне» или о «Большевике под диваном», то хочется завыть по-собачьи от горя, унижения и обиды за нашу революцию, за всю Россию, за размазанную сапогом народную красоту. Ни экзекуторы, ни крапивное семя из разного рода канцелярских застенков (не) могут усладить Великое Зрение народа в искусстве, пролить чудотворный бальзам красоты на бесчисленные раны родины, а только сам народ — величайший художник, потрясший вселенную красным громом революции.

Ей, гряди крепкий и бессмертный!

1919

ОГНЕННАЯ ГРАМОТА

Я — Разум Огненный, который был, есть и будет во веки.

Русскому народу — первенцу из племен земных, возлюбленному и истинному — о мудрости и знании радоваться.

Вот беру ветры с четырех концов земли на ладонь мою, четыре луча жизни, четыре пылающих горы, четыре орла пламенных, и дую на ладонь мою, да устремятся ветры, лучи, горы и орлы в сердце твое, в кровь твою и в кости твои — о русский народ!

И познаешь ты то, что должен познать.

Тысячелетия Я берег тебя, выращивал, как виноградную лозу в саду Моем, пестовал, как мать дитя свое, питая молоком крепости и терпения. И вот ныне день твоего совершеннолетия.

Ты уже не младенец, а муж возрастный.

Ноги твои как дикий камень, и о грудь твою разбиваются волны угнетения.

Лицо твое подобно солнцу, блистающему в силе своей, и от голоса твоего бежит Неправда.

Руки твои сдвинули горы, и материки потряслись от движения локтей твоих.

Борода твоя, как ураган, как потоп, сокрушающий темничные стены и разбивающий в прах престолы царствующих.

«Кто подобен народу русскому»,— дивятся страны дальние, и отягощенные оковами племена протягивают к тебе руки, как к Богу и искупителю своему.

Всем ты прекрасен, всем взыскан, всем препрославлен.

Но одно преткновение Я нашел в тебе:

Ты слеп на правый глаз свой.

Когда Я становлюсь по правую руку твою — ты уклоняешься налево, и когда по левую — ты устремляешься вправо.

Поворачиваешься задом к Солнцу Разума и, уязвленный незнанием, лягаешься, как лось, раненный в крестец, как конь, взбесившийся от зубов волчьих. И от ударов пяты твоей не высыхает кровь на земле.

Я посылаю к тебе Солнечных посланцев, красных пророков, юношей с огненным сердцем и мужей дерзающих, уста которых — меч поражающий. Но когда попадают они в круг темного света твоего, ты, как горелую пеньку, разрываешь правду, совесть и милосердие свои.

Тогда семь демонов свивают из сердца твоего гнездо себе и из мыслей твоих смрадное логовище.

Имена же демонов: незнание, рабство, убийство, самоунижение, жадность и невежество.

И когда семь Ужасов, по темноте своей, завладевают духом твоим, тогда ты из пылающей горы становишься комом грязи, из орла — червем, из светлого луча — копотью, чернее котла смолокура.

Ты попираешь ногами кровь мучеников, из злодея делаешь властителя и, как ошпаренный пес, лижешь руки своим палачам и угнетателям.

Продаешь за глоток водки свои леса и земли обманщикам, выбиваешь последний зуб у престарелой матери своей и отцу, вскормившему тебя, с мясом вырываешь бороду...

Забеременела вселенная Змеем тысячеглáвым.

Вдоль и поперек прошел меч.

Чьи это раздирающие крики, которые потрясают горы?

Это — жалобы молодых жен и рыдания матерей.

Два всадника, закутанные в саваны, проносятся через села и города.

Один обглоданный, как скелет, гложет кусок нечистого животного, у другого вместо сердца — черная язва, и волчьи стаи с воем бегут за ним.

И нет пощады отцам ради детей.

Горе, горе! Кровь разливается; она окружает землю красным поясом!

Какие эти жернова, которые вращаются, не переставая, и что размалывают они?

Русский народ! Прочисти уши свои и расширь сердце свое для слов Огненной Грамоты!

Жернова — это законы царей, вельмож и златовладетелей, и то, что размалывают они,— это мясо и кости человеческие.

Хочешь ли ты, сын мой, попасть под страшный, убийственный жернов? Хочешь ли ты, чтобы шею твою терзал наглухо заклепанный, железный ошейник раба, чтобы правая рука твоя обвила цепями левую, а левая обвила ими правую? И чтобы во власти злых видений ты так запутался в оковах, что все тело твое было бы покрыто и сжато ими, чтобы звенья каторжной цепи прилипли к твоему телу, подобно кипящему свинцу, и более не отпадали?

Если ты веришь тьме — иди во тьму!

Вот поднялись на тебя все поработители, все Каины и убийцы, какие есть на земле. И они сотрут имя твое, и будешь ты как грязь, попираемая на площади. И даже паршивый пес должен будет нагнуть морду свою, чтобы увидеть тебя.

И там, где была Россия — земля родимая, колыбельная, будто холмы из пепла, пустое, горелое место, политое твоей кровью.

О русский народ! О дитя мое!

Прекраснейший из сынов человеческих!

Я — Разум Огненный, который был, есть и будет во веки, простираю руки мои, на ладонях своих неся дары многоценные.

В правой руке моей Пластырь знания — наложи его на темный глаз свой, и в левой руке моей бальзам просвещения — помажь им бельмо свое!

Никогда небо не будет так лучезарно и земля так зелена и плодородна, как в час прозрения всенародного. И сойдет на русскую землю Жена, облеченная в солнце, на челе ее начертано имя — наука, и воскрылия одежд ее — книга горящая. И, увидя себя в свете Великой Книги, ты скажешь:

«Я не знал ни себя, ни других, я не знал, что такое Человек!

Теперь я знаю».

И полюбишь ты себя во всех народах, и будешь счастлив служить им. И медведь будет пастись вместе с телицей, и пчелиный рой поселится в бороде старца. Мед истечет из камня, и житный колос станет рощей насыщающей.

Да будет так! Да совершится!

1919

КРАСНЫЙ НАБАТ

Из моря народной крови выросло золотое дерево Свободы.

Корни этого дерева купаются в чистых источниках бытия, в сердце матери-природы, ствол ушел за сотое, отныне разгаданное и послушное небо, а ветви своею целящею, бальзамической тенью осенили концы вселенной.

Жаждущие народы, отягченные оковами племена потянулись к живоносным плодам чудесного древа.

Всех радостнее, в младенческом непорочном восторге, в огненном восхищении,— пошел навстречу красному древному шуму русский многоскорбный народ.

Из окопного, геенского пламени, из клубов ядовитого газа, под смертным пулеметным градом восстал прекрасный, облеченный в бурно-багряный плащ витязь, он же сеятель с кошницей, полной звездных, пылающих зерен.

И горы поколебали свои вершины, поклоняясь Огненному сеятелю, океаны принесли ему дары, и недра земли выдали ему свои неисчислимые клады.

Из заревой руды, из кометного золота алмазным молотом выковало ему солнце волшебные ключи и на своем поясе-радуге опустило их с высей с ногам прекрасного.

Ключи от Врат жизни вручены русскому народу, который под игом татарским, под помещичьей плетью, под жандармским сапогом и под церковным духовным изнасилованием не угасил в своем сердце света тихого невечернего,— добра, красоты, самопожертвования и милосердия, смягчающего всякое зло. Только б распахнуть врата чертога украшенного в благоуханный красный сад, куда не входит смерть и дырявая бедность и где нет уже ничего

проклятого, но над всем алая сень Дерева Жизни и справедливости.

Но два смрадных чудовища перерградили светлому витязю путь к Вратам солнечным.

Капитал и Глупость — вот имена этих чудовищ. Кто же толпится вокруг престола первого из них? Кто льнет к ступеням страшного седалища, сооруженного из человеческих костей и червонцев? Только не бедняк, его гонят, его вид неугоден взорам златозубого владыки. Бедняку даже не позволяется приближаться к нижней ступени престола, потому что его тело изнурено работой и покрыто одеждой нужды. Итак, кто же собирается вокруг нечистого престола капитала?

Богачи и льстецы, хотящие стать богачами, падшие женщины, бесчестные пособники тайных пороков, шуты, сумасшедшие, развлекающие совесть своего владыки, и лжепророки, променявшие Христа на Сатану, воскуряющие фимиан виселице и осеняющие распятием кровавую плаху.

И еще кто? Люди насилия и хитрости, пособники угнетения, неумолимые сборщики податей и все те, кто говорит: «Отдай нам, отец наш, русский народ, и мы заставим течь его золото в твои сундуки и его кровь в твои жилы!»

Туда, где лежит труп, слетаются вороны.

Кто же толпится у трона второго чудища, пузо которого как яма для стока нечистот, на змеиной шее тупое рыло борова и вместо глаз по цибику вонючей махорки?

Все те, кого развратила господская кухня, царская казенка и продажная синодская церковь.

«Для нас все равно: владей нами хоть Каин с Иудой, лишь бы потуже было набито наше брюхо!» — говорит эта свиная порода, оскверняя воздух своим дыханием и затемняя солнце серой пылью ничтожных дел своих.

Проклятие, проклятие вечное этой прожорливой смрадной саранче, попирающей ногами кровь мучеников и насмешливо помавающей своим поганым рылом искупительному кресту, на котором распинается ныне красная Россия.

Разделиша ризы моя, и об одежде моей меташа жребий...

Если бы угнетатели народов были предоставлены самим себе, без помощи, без поддержки извне, что могли бы они сделать против народа?

Если бы для удержания его в рабстве у них была только помощь тех, кому рабство выгодно,— что могла бы поделать эта маленькая кучка против целого народа?

Но повелители мира, обратив сердце людей на золото, жадность и ненависть, противопоставили вечной истине, которую люди разучились понимать, мудрость князя мира сего — Дьявола.

И вот Дьявол, царь всех угнетателей народов, внушил им для укрепления тирании адскую хитрость.

Он сказал им: «Вот что нужно сделать: возьмите лист бумаги и пролитой кровью напишите на одной стороне его: «Закон», на другой же стороне напишите: «Священная собственность». Я же дам народу третью заповедь, имя которой «Слепое повиновение». И люди будут боготворить этих идолов и слепо подчиняться закону, потому что я обольщу их разум, и вам нечего будет бояться».

И угнетатели народов сделали так, как им сказал Дьявол, и Дьявол исполнил то, что обещал угнетателям.

И увидело небо, как дети народа подняли руку на свой народ, резали своих братьев, налагали цепи на своих отцов и забыли даже чрево матерей, носивших их.

Когда им говорили: «Во имя всего святого, подумайте о справедливости, о жестокости того, что вам приказывают злодеи»,— они отвечали: «Мы не думаем, мы повинуемся. У нас будет хлеб, цигарка и публичный дом».

И когда им говорили: «Неужели в вас нет более любви к вашим отцам, вашим матерям, вашим братьям и сестрам?» — они отвечали: «Не наше дело, начальство больше нас знает».

Воистину, со времени обольщения Евы-жизни Змием не было обольщения ужаснее этого! Но обольщение приближается к концу. Если злой разум обольщает прямые души, то лишь на время.

Еще несколько дней — и те, кто сражался за угнетателей, сразятся за угнетенных, и те, кто сражались, чтобы удержать в цепях своих отцов, своих матерей, своих братьев и сестер, сразятся за их освобождение.

И Дьявол убежит в свои пещеры вместе с повелителями народов.

Молодой воин, куда идешь ты?

Я иду сражаться во избавление братьев моих от угнетения,— разбить их оковы и оковы мира.

Я иду сражаться против неправедных людей за тех, кого они бросают на землю и топчут ногами, против господ за рабов, против тиранов за свободу.

Я иду сражаться за то, чтобы все не были добычей немногих, чтобы поднять согбенные головы и поддержать слабые колени.

Да будет благословенно оружие твое, молодой воин!

Молодой воин, куда идешь ты?

Я иду сражаться за то, чтобы отцы не проклинали больше того дня, когда им было сказано: «У вас родился сын», не проклинали матери того дня, когда они в первый раз прижали его к своей груди.

Я иду сражаться за то, чтобы брат больше не печалился, видя, как вянет его сестра, словно травка на сухой земле; чтобы сестра не глядела больше со слезами на своего брата, который уходит и больше не вернется.

Я иду сражаться за то, чтобы каждый мог пользоваться с миром плодами труда своего; иду осушить слезы малых детей, которые просят хлеба, а им отвечают: «Нет больше хлеба: у нас отняли все, что еще оставалось».

Да будет благословенно оружие твое, молодой воин!

Молодой воин, куда идешь ты?

Я иду сражаться за бедных, за то, чтобы они не были больше навсегда лишены своей доли в общем наследии.

Я иду сражаться за то, чтобы изгнать голод из хижин, чтобы вернуть семьям изобилие, безопасность и радость.

Я иду сражаться за то, чтобы всем, кого угнетатели бросили в тюрьмы, вернуть воздух, которого недостает их груди, и свет, который ищут их глаза.

Да будет благословенно оружие твое, молодой воин!

Молодой воин! Куда идешь ты?

Я иду сражаться за то, чтобы опрокинуть лживые за-

коны, отделяющие племена и народы и мешающие им обнять друг друга, как детям одного отца, предназначенным жить в единении и любви.

Я иду сражаться за то, чтобы все имели единое небо над собою и единую землю под своими ногами.

Да будет благословенно твое оружие, семь раз благословенно, молодой воин!

Слышите ль, братья, красный набат?

1919

ПОРВАННЫЙ НЕВОД

В проклятое царское время на каждом углу стоял фараон — детина из шестипудовых кадровых унтеров, вооруженный саблей и тяжелым, особого вида револьвером,— а все-таки девушек насиловали даже на улице. Оно, конечно, не так часто, но и нередко.

Черным осенним вечером из какого-нибудь гиблого переулка есть-есть и донесутся, бывало, смертельные, обжигающие душу вопли.

Искушенный обыватель боязливо привертывал фитиль в запоздалой лампе и с головой нырял в проспанное, пахнущее загаженной тумбой одеяло: дескать, не мое дело.

«Начальство больше нас знает». А бравое начальство тем временем спокойно откатывалось на другой конец квартала и сладострастно, во славу престола и отечества, загибало каналью — цигарку.

На фараонском языке вся Россия, весь белый свет прозывались канальей — вся русская жизнь от цигарки до участка.

Положим, и сама русская жизнь не шла дальше участка. Все реки впадали в это поганое, бездонное устье.

Раз во сто лет порождала русская земля чудо: являлись Пушкин, Толстой, Достоевский — горящие ключи, чистые реки, которых не осиливало окаянное устье.

Мы живем водами этих рек.

Мы и наша революция.

Огненные глуби гениев слились с подземными истоками души народной. И шум вод многих наполнил вселенную. Красный прибой праведного восстания смыл чугунного фа-

раона, прошиб медный лоб заспанного обывателя и отблеском розового утра озарил гиблый переулок — бескрайнюю уездную Рассею.

Все мы свидетели Великого Преображения.

Мы с ревностным тщанием затаили в своих сердцах розовые пылинки Утра революции.

Бережно, как бывало, Великочетверговую свечечку, проносим мы огонек нашей веры в чистую, сверкающую маковой алостью, грядущую жизнь.

Розовая пылинка творит чудеса.

Тысячи русской молодежи умирают в неравной борьбе с лютым, закованным в сталь — чудищем старым, мудрым, подавляющим своей мелинитной цивилизацией — Западом.

Злой Черномор, Кощей бессмертный, чья жизнь за семью замками, в заклятом ларце, потом в утке, после в яйце и, наконец, в игле, как говорится в олонецких сказках, пьет нашу кровь, терзает тело, размалывает бронированными зубами наши кости.

Какое неодолимое мужество и волю непреклонную нужно носить в сердце, чтобы не погибнуть напрасно, не потерять веры во Всемирное утро, не обронить, не погасить в себе волшебную пылинку, порождающую в слабых дерзание мучеников, радостно идущих в пасть львиную!

Рабоче-крестьянская власть носом слышит, что вся наша сила в малом, в зерне горчичном, из которого вырастет могучее дерево жизни, справедливости и возможного на земле человеческого счастья.

В братском попечении о чудесном зернышке Советская Россия покрывается бесчисленными просветительными артелями, избами-читальнями, библиотеками, и хотя несуразно названными, но долженствующими быть всех умственней агитпросветами при коммунах и военных братствах.

Вся эта просветительная машина обходится народу в миллионы, и цель ее быть как бы мехом, неустанно раздувающим красный горн революции, ее огонь, святой мятеж и дерзание.

Путь к подлинной коммунальной культуре лежит через огонь, через огненное испытание, душевное распятие, по-

гребение себя, ветхого и древнего, и через воскресение нового разума, слышания и чувствования.

Почувствовать Пушкина хорошо, но познать великого народного поэта Сергея Есенина и рабочего краснопева Владимира Кириллова мы обязаны.

И так во всем.

От серой листовки до многоликой, слепящей оперы...

Начинается само «психологическое действо» «Денщик перепутал». На подмостках «она», как водится, клубничка с душком, и «он» — золотопогонный офицер, чистяк, дворянин и, конечно, верный слуга царю с отечеством.

Оба — воплощение порядочности, хорошего тона и того рабовладельческого, разбавленного глубоким презрением к народу апломба, которым так гордилась на Руси страшная помещичья каста.

Третье же действующее лицо — денщик. Под ним надо разуметь русский народ, наше великое чудотворное крестьянство, которое автор действа противопоставляет «возлюбленному дворянству» как быдло комолое, свиное корыто, холопскую, собачью душонку. Не лиха, только добра желая, от корней сердца и крови моей пишу я эти строки.

Товарищи! За такие ли духовные достижения умножаются ряды мучеников на красных фронтах?

За такой ли мед духовный в невылазных бедах бьется родимый народушко?

За такую ли красоту и радость в жизни ушли из жизни кровавыми, страдальческими тенями наши братья — тысячи дорогих товарищей, удавленных, утопленных, четвертованных, сожженных заживо нашими врагами?

Невежество, или безнадежность создать что-либо исходящее из бурнопламенных бездн революции, руководит нашими агитпросветами.

Или они, как бывало, фараон, только «для блезиру», в то время как кто-то за их спиной насилует народную душу?

Не знать родословного дерева искусства таким, как оно предстоит красному зрению народа, агитпросветителям, в большинстве своем вышедшим из городских задворок, простительно, но, как хорошо грамотным людям, им долж-

но быть известно, что при разделении России на белую и черную кость существовала хитро слаженная организация, состоящая из продажных борзописцев, двенадцатой пробы художников, стихотворцев и проходимцев с хорошо подвешенным языком.

Вся эта шайка кормилась с барского стола, носила платье с плеча их сиятельств и возглавлялась солидным Новым Временем, в кандальном отделении которого, в братском единении с охранкой, фабриковалось подобие литературы.

Отсюда выходили и здесь одобрялись замыслы патриотических песенников, романов с описанием прелести дворянских гнезд и их героев, непременно графинь и графов, пьес, где выводился народ — немытое рыло, или наоборот — вылощенное до блеска фарфорового пастушка.

В первом случае доказывалось, что подлому народишку без станового не обойтись, во втором же случае в слушателе закреплялось понятие, что под дворянской десницей мужик живет как в медовой бочке, ест писаные пряники, водит на ленточке курчавых барашков, постукивает сафьянными каблучками... Через казарму, школу, театр и церковь вся эта бумажная чума вливалась в народ. Народ, особенно та часть его, которая отслоилась к городскому трактиру, гноился духовно.

Жажда легкой наживы, барства, щегольства, а отсюда проституция и преступность во всех ее разветвлениях, потеря ощущения человека как высшей ценности и, наконец, органическая потребность в убийстве, в пролитии крови — вот душепагубные плоды самодержавной литературной уголовщины.

Это была «хитрая механика», приводы и нити которой, проходя через — с виду такой многоумный и важный — книжный магазин какой-нибудь «Земщины», терялись в кабинете начальника охранного отделения, по пути задевая митрополичьи покои и горностаевую спальню блестящей балерины «из императорских».

Все сие должно быть ведомо агитпросветам.

Сердце народное сочится живой кровью, и посыпа́ть священные раны народа стриженым волосом проклятого

полицейско-буржуазного наследия, будь то пьеса, книга, песня или музыка,— может только или самое чернолицее невежество, или хорошо замаскированная деловитейшим портфелем и многокарманными френчами куриная душонка, которая зубом и ногтем держится «за местишко» ради детишек и молочишка.

Терпимо ли что-либо подобное в коммунизме? Могут ли жандармские штаны, вывернутые рубцами наружу и подперченные простодушным «Денщик перепутал», преподноситься революционному народу в самые страстные, крестные дни его истории?

Какое глубокое, историческое оскорбление. И все сие от лица революции, под одетым страшной святостью и трепетом знаменем коммуны...

Поистине вол знает ясли господина своего, пророки же Мои не знают Меня.

А потому вот слово Мое к пророкам народа Моего: столпом облачным днем и огненным ночью поставил Я пророков для народа Моего. Солью земли и светом миру.

Трубою для трупов ходящих.

И вот они, как дети, пускающие пузыри. Не от мыльных пузырей загорятся жаждущие души, зазеленеет пустыня неплодная и преобразится земля.

К чему Мне множество слов ваших и писаний ваших и речей ваших!

Вот смрад сердец ваших дошел до престола Моего.

И не могу терпеть.

Любостяжания и самолюбования исполнены души ваши, из слов своих вы вырыли ров для ближних ваших.

Соткали паутину для народа Моего. Вот Я обращу ложь сердец ваших на вас же самих...

Захлебнетесь в волнах рассудка без духа животворящего.

И пошлю народу Моему пастыря верного.

И вложу слова Мои в уста его и вложу в сердце его пламя поядающее.

И возвестит он народу правду Мою, восстановит жертвенник красоты Моей, и тогда будет Свобода вся и во всех...

Простите меня, братья,— ненавидящие и любящие меня.
Не могу больше писать к вам...
Слезы каплют на бумагу...
Порванный невод не починить словами.

1919

ПИМЕН КАРПОВ

ПЛАМЕНЬ

Роман

Сердце, бедное мое сердце и эту песнь огня возношу пресветлому духу отца моего, страстотерпца и мученика, сожженного на костре жизни

Книга первая

ПРИМИ

I

Под окном в холодном огне заката качали тяжелыми шапками сонно тополя, липы. Где-то у горы в лесных камышах, одинокий, плакал о любви коростель. В келье плясали и ухали мужики под всплеск струн.

А за плетневой, открытой настежь дверью Феофан, крепкий как кремень, преклонив перед низким дубовым престолом колено, читал глухим замогильным голосом акафисты праведникам, переступившим через кровь.

Шумы росли, вздымались, покрывая струны и песни. У престола, в пороге падали навзничь жеглые духини. Рвали на себе свирепо, скидывали чекмени; двигали животами страстно. Потные, трясущиеся, красные, с разгоряченными телами мужиков сплетаясь емко, кликали клич:

— Гей, загасите солнце!.. Супротив Сушшаго ополчитесь! А примите муку лютую, любжу смертную!..

Неподвижно Феофан стоял на коленях, перед престолом, зажав в костлявых руках черную, закапанную желтым воском книгу.

За ним, под дубовым, изукрашенным старою резьбою балдахином, в рамах малинового бархата висели над престолом отреченные картины: праматерь Ева с обнаженным сердцем, прободенным острыми мечами, и Каин, в смятенье и ужасе застывший над убитым им Авелем.

Перед картинами горели лампады. Кровосмесительницу Еву, братоубийцу Каина и иных отверженцев Феофан чтил, как истых мучеников, прошедших через очистительный огонь зла и принявших муки от духа.

В свете, смешанном с неверным сумраком, голубой плавал по келье ладан. Феофан стонал. А духини катались по полу, кувыркались, выли, топая пятками, так, что пламя лампад вздрагивало, колебалось и гасло. Кидались на Феофана:

— От-ве-дай нашей сестры... Ох, греши... Один Бог без греха!..

Но тверд был Феофан, хоть и жег сердце его острый, как коса смерти, искус.

Со взором отверженным и жестоким, с клеймами ожогов на щеке и тучей черно-седых, взлохмаченных волос, Феофан весь был точно глухой ночной ураган.

Сокатал дух. В келью вваливались кузнецы-молотобойцы, бобыли, грабари, дровосеки, каменотесы, побирайлы, что день-деньской по деревням и лесам шатались, работали, жгли, мучили, а все, чтоб муки от духа принять. Мужики язвили их:

— Ага, невтерпеж?.. А хто держал?.. Не крепко-то заритесь. Наша любжа — пытка, не радость!..

За престолом в нуде и страхоте бились духини со спутанными мокрыми волосами и мутными глазами, обожмав собой бородачей-мужиков.

А мужики емко подхватывали их, изомлевших на перегиб. Несли к тяжелому дубовому кресту. Распинали каждую на кресте, прикручивая распростертые руки и ноги едкой мокрой веревкой. Целовали, мучили пропятую в кровь. Носились вкруг креста, гудя и свистя:

— И-их... змеи-и!.. Сосится сердце... Яри, дух!..

Прикрутили Неонилу, духиню Феофана, сладкую и крепкую, как яд.

Отара затихла. Но, увидев, как встрепенулась Неонила на кресте в диком выгибе, мужики, сбивая друг друга с

ног, ярым кинулись на нее шквалом. Припали к нагому, горячему ее телу, к алому вишневому рту, к глазам, мутно-синим, задернутым сумраком страсти, к белой лебединой шее и тугой груди... Темным, лесным залились кличем.

И в келью, заслышав клич, врывались шнырявшие под окнами бродяги, нищие. Жадно тянулись остервенелыми, трясущимися к Неониле телами. Неонила же, принимая их, взвивалась, как язык огня меж сухих деревьев, то открывая мутные зрачки, то закрывая. Билась на кресте под ненасытными взорами. Терлась мокрыми, прилипшими к вискам золотыми кудряшками о волосатые груди и плечи мужиков. Дико ярилась:

— Ой, да сладко же мне... Ой, да тяжко ж мне!.. И-их... лютуйте! Знаете меня, хто я?.. Ох, веселиться люблю я, вот что, земляки!.. Помните меня, хто я?..

Неонилы ли, веселой яровухи-полонянки, не знать? Ее ли ласк, любж и присух не помнить? Кто не припадал больно и страстно к знойной ее, ландышевой груди, сладким, вишневым устам?

Щедро разбрасывала она пригоршни радости, страсти и хмеля, бродя по полям со зверями, ветрами и парнями. Опаивала, веселая, степных бродяг-милаков брагой, поцелуями... Да подвернулся откуда-то Андрон, краснобородый, кремневый, колдун — перекрутил ее с собой. Кабы не Феофан, подоспевший со своей злыдотой, увел бы ее колдун батрачкой в гедеоновский двор...

А теперь она, полоненная загадочной тяготой, веселится и мечется в диком огне и распинает себя на кресте страсти...

Вваливались в келью ночлежники с обротями и зипунами, вихрастые обгорелые подпаски. Хищно зарясь на обессилевшую, хмельную от похоти, ломаемую судорогами алую Неонилу, загорались больным огнем... Карабкались через груды тел к ней на крест и верещали, точно щенки:

— Не гони, тетинька... Голубушка... Мы капельку... Мы ничего... Мы так... Тетинька!..

Перед аналоем, в огне свеч и лампад молниевзорный стоял Феофан. Молча глядел на тяжкую злыдоту, откинув черную, с искрами седины, тучу волос.

Когда Неонилу, умлевшую, раскрутив, положили на престол, под отреченные картины, и олютелая злыдота, пав перед ней ниц, протяжное что-то завыла,— в келью, под вой, визг и регот толпы, вошла Мария, кликуша, с черными, как агат, глазами, смуглым суровым лицом, покрытым мурашками, с тяжелыми, качающимися кольцами волос, выбившимися из-под платка.

— Возьмите меня к себе...— упала она на колени,— я такая...

В волне ладана не разглядел Феофан дикого, смуглого, словно опаленного грозой лица кликуши. Но что-то знакомое и вещее почудилось ему в глазах-углях ее и низком грудном голосе.

— Кто ты?..

— Я на голоса кричу...— откинула кудри Мария.

Поднялась на амвон. Гордым обвела толпу взором. Толпа притихла. Дико и жадно воззрилась на стройный гибкий стан, на крутую, глядящую острыми сосцами врозь грудь и смугло-алое, что-то таившее в суровой улыбке лицо.

Кликушу, жуткую и загадочную полуночницу, проклятую и отверженную, мужики знали. Неприкаянной бродила она по дебрям, собирая травы и леча тварь лесную. Навещала монастыри, где прорицала мужикам их печали и радости...

Лютовали обормоты похотливо, жадными зарясь на пылающую смуглянку глазами:

— Слашшо!.. смугляна... Ходи в круг... Свят Дух!

Вдруг, желтый, подскочил к Феофану Козьма-скопец с круглыми бабьими, сморщенными, как испеченное яблоко, щеками.

— А угомонись, злыдня!.. Мене, скыть, горлы хоцца перехватить, а ты усе — слашшо?.. Замри, грю!..

Кинувшись к Марии, схватил ее за руку:

— Уходи... красава... Сбендежут, скыть, псы... Бяги отседова!..

Но Феофан, допявшись до Марии и положив костлявую свою восковую руку на точеное ее плечо, выступавшее из-под черных, отливающих старым, вороненым серебром волос, бросил глухо:

— Прими тяготу, Дева Светлого Града...

— Я... продалась миру...— взметнулась Мария, вещие заслышав зовы.— Я ли не тужила по Светлом Граде?.. Да нечистый во мне...

Ударила себя в грудь. Взмахнула рукой. Как будто хотела вырвать змей, что гнездились в ее сердце.

Мужики окружили ее тесным кольцом.

Костлявыми, заскорузлыми вцепившись в нее пальцами, разрывали в куски алый ее сарафан. Падали под ноги ей, корчась в силках страсти...

Феофан же, обняв судорожно Марию за шею, перебирал на груди ее бусы. Не выдавал себя, как будто ничего не случилось. А сердце его исходило кровью, кровью. Дьявол подал знак Деве Святого Града. Заговорил в ней. Сущий же молчит...

Бесновалась толпа.

В свете лампад Феофан, на белую шею Марии нечаянно взгляд свой бросив, почернел, как смерть. Увидел родинку, полузабытую, кровную. Отступил назад в смятенье и огне лютом. Перед ним была его дочь.

Тревожно отхватила Мария руки. Недоброе что-то уловила во взоре Феофана. А Феофан, увидев, что дочь не узнала его, да и все равно ей не растолковать, что перед ней — ее отец, подхватил ее трепетно, страстно. Поцеловал в глаза-огни, в глаза-угли. Она — его. Оба улыбнулись молча. В сердце Феофана звездные гудели бури. Мученица почуяла в нем страдальца, палимого огнем, отца Светлого Града...

В сердце Феофана огненном разгоралась уже любовь к дочери, земная любовь. Под колдовской свист и вой отары мантило отцу, вот-вот наклонит дочь над ним черные свои качающиеся кольца-кудри. Пристынет огневыми черно-алыми губами к старому высохшему рту... Легкое, хрупкое тело его сладким затрепещет, больным трепетом...

Но, опомнившись, сердце свое с лютой отдавая яростью черным змеям, запылал Феофан грозно:

— На раста-нь!..

А злыдоте любо, когда ее зовут к кровавому покаянию. Закипела она, как муравейник. Повалила валом из кельи.

Тогда-то Мария, одурманев, в дикий пошла знойный пляс, свистя и гикая:

Ой, дуй,
Раздувай!
Разделывай дела,
Чтобы к Святу родила!..

По задернутой сумраком гущире грозно текла злыдота.

Перекликались соки трав и цветов. Темь заволакивала ельник, бросая в него отстоянный в тишине шелох. Над диким озером горные сады, белые как пена, качали густыми купами. Заливали крутосклон волною хмелевого гула...

Нетленна пора расцвела. Погляди на надводные горы. Они — в серебряном уборе. Те вершины яблонь, что обдали белопенными волнами склоны гор,— они из жемчуга. Воспой их! Над ними, точно ведуны, колдуют шелохливые тополя. В зарничном огне короны их — из изумруда. Поклонись им!

Как шалая, хмелевая гущирь, как шибкий вал, взбиваемый буруном, под рудым, замшелым обрывом, кишела на растане, рассекающей лес черным крестом, люто скрежещущая, скуголящая злыдота. Со скрещенными на груди руками, бросив головы, каялась:

— Убивцы мы... Отцов, матерей своих позагубили...

В мраке, облитый светом, бледным от заката и синим от далеких зарниц, тошновал восковой Феофан. А Мария смеялась солнечным смехом.

— Я люблю тебя...— припадал к ней Феофан хрупко.— Душу твою люблю...

Взял ее за руку, на лобное вывел место. У серебряного ковыля крестил черным огнем:

— Се, светом тяготы крещу!.. Радуйся, сион грядущий, крип райский... Радуйся, Дева Светлого Града!..

Великомученики, страстотерпцы, подвижники приходили в черную келью, взыскуя Светлого Града. Злыдота отвергла их. Но приняла ту, что обрекла себя пыткам за зло, вложенное в человека помимо его воли.

Поцеловал Деву Светлого Града Феофан в сердце. Возложил на ее голову руки:

— Прими!

Затрепыхалась Мария:

— Принимаю!

И толпа пала перед ней.

В древнюю, полузаброшенную Загорскую пустынь, среди каменистых, поросших старым сосняком холмов, за знаменскими скитами и моленными собирались часто беглые монахи, каторжники, отверженцы и подвижники.

Как-то с Феофаном и его злыдотой столкнулись в монастыре пламенники, за монашеской прей.

Под сводами монастырского собора громили монахи злыдоту. А та дико, знойно завывала, подняв сердца горе. Ждала знака. Завидев же пламенников, притихла. Но Феофан требовал истошного воя, лютого. Палила себя злыдота, распростираясь во прахе. Только желтолицый, печеный Козьма-скопец гукнул едко на Феофана:

— А ты ккой черт мене, скыть, знак? Яззвы — вот знак!.. Как убивец я, то мене яззвы дадены... Ить змеи у мене у сертцу, казюли?!

Свирепые, обомшалые мужики, отчаянно размахивая руками, с вытянутыми вперед искаженными пыткой лицами, духини, плашмя распростершиеся на полу, жуткое что-то выкрикивая и скребя груди, каменной навалились на Козьму глыбой... А высокий, костлявый, с бурунными, разметавшимися в разные стороны, точно туча, волосами и горящим, как факел, взглядом Феофан в рыжем монашеском подряснике и скуфе, подпоясанный широким ремнем, взывал над толпой, запрокинув голову:

— Есть Ты или нет, а дай знак!..

Дивились пламенники. Перед ними стоял не жуткий отверженец, заступник и покровитель разбойников и убийц, каким ведом был Феофан. А ясновзорный подвижник и пророк.

Но о нем жуткая шла молва. Печать великого зла, проклятия и отвержения лежала на нем. А ведь это был тихий и кроткий мужик, ведший радостную подвижническую жизнь землепашца, любивший солнце, волю и ближних больше, чем самого себя. Как чернобурунная туча, через всю его жизнь острый прошел огонь зла и сжег его душу.

В алтаре пели монахи. Пламенники подступили, горя и грозя, вплотную к Феофану. А тот, бросив бездонный, молнийный взгляд свой на песнопевцев, кольнул тихо и едко:

— Это я. А что?

— Убийца...— пустил кто-то сзади.

Медленно покачал Феофан головою да и бросил:

— Да, убил. Сущего я убил? А вы — солнце Града убили... А?

Взор — из огня и мрака. В голосе боль кровавая, едва сдерживаемая буря.

В приделе собора древнем необоримые сразились два града. Град доначального хаоса — Феофан и град предвечного света — Крутогоров.

В сердце Феофана душа Крутогорова ударила, как солнце. А перед Крутогоровым края души роковой открылись черной, как бездна, хоть и озаренной загадочным каким-то неприступным светом — светом неведомого миру Града. В свете этом душа Феофана зловеще вспыхивала, точно смертоносная синяя молния из-за туч.

В тревоге отвернул Крутогоров взор свой от вещей души Феофана.

Но не отвернул взора, а заглянул в тайники души подвижника — крепкий, точно высеченный из камня, с сердцем нежным и богатым любовью, с душой мятущеюся — Никола. Содрогнувшись, пошел навстречу душе хаоса.

— Больно?.. Тошно?.. Круши, отец! Круши!.. Говори... Чую я твою правду!..

А Феофан, на злыдоту, валявшуюся на полу, как перебитое войско, и угомоненную уставившись, острым обжег сердце Николы ядом:

— Их язвы — твои язвы... Их змеи — твои змеи...

Ближе подвел Никола взгляд свой к глазам Феофана, горящим в сумраке собора, как две свечи. Глубже в душу ему заглянул. Душа его была искровавлена, опалена.

— А-а...— протянул только Никола.

Отошел прочь, дошептав тихо:

— Да-а... Кто расскажет правду его людям?..

В придел, через боковую дверь, вломились вдруг стражники с следопытами. Тесным окружили кольцом злыдоту.

Но та, увлекая за собою пламенников, вырвалась из собора. Грозноклокочущим потекла по монастырскому двору шквалом.

За оградой, на опушке монастырского леса, низкий грудной голос Феофана гремел над толпой, как гром:

— Мы — в черном огню!.. В язвах!.. Во тяготе!.. Коли

не хочете тяготы, чего ж вам от нас нужно, ей, спасенные?.. А?..

— Засть, злыдня проклятая!— фордыбачила в толпе какая-то старуха-богомолка.— Убирайтесь отсюда, песьи ваши головы!.. А то решу вас, псов!..

Злыдота так и покатилась со смеху, услышав старуху. А Феофан заязвил:

— Ага!.. Вы — спасенные... Эх, кабы признались, што вы — жулики, воры — то-то любо бы было! То ли верно б!.. Град обрели бы, кабы тяготу взяли б... Хочешь,— повернул Феофан свое лицо с жуткими, разбрасывающими черно-багровые зарницы глазами к Крутогорову.— Хочешь, прими.

Но Крутогоров, солнечный, углубленный в мир, отошел от Феофана, бросив только:

— Разве путь к Граду — язвы и муки?..

Облепив жадно Крутогорова, харкала ему в глаза злыдота. Обдавала его ядовитой слюной.

А молчавшая дотоле, прятавшаяся в толпе, хрупкая и нежная, как стебель цветка, Мария, забежав вперед, взмолилась, пряча смуглое свое, алое лицо на груди у Крутогорова и тряся чрными кудряшками:

— Прими-и...

Печально поглядел на нее Крутогоров. Пошел дальше.

Лес, старый колдун земли, встретил его шумным приветом.

За синее озеро, на крутую, заросшую вишеньем и яблонями, гору, в старую тесовую башню, залитую пышными душистыми цветами и алым солнцем, ушли песнопевцы-поэты, неутомимые пламенники.

В дуплистых вековых яблонях немолчный шел шелох. И ночные огни из верхних окон башни падали в дикую хвою, точно золотые снопы.

Жили поэты в обители среди старых, мятежно раскинувшихся садов сдавна. Пели радость и солнце, пахали поле. Звон звезд и шелест леса, с темным ночным светом перемешанный, ловили. В гневе же, грозовом и мятежном, громили жестокость, лютость и тлен мира. Сильные мира, лицемеры и книжники, искали Крутогорову, ставшему им поперек горла, погибели.

Но зато любили бесстрашного главу Пламени земляки, бородачи-хлеборобы,— за его солнце и любовь.

Кто, попав в башню на крутой горе, видел свет голубых паникадил в алтарях, престол с горящим на нем огнем неугасимым, свежие цветы, расставленные в наполненных ключеструем тонких фарфоровых вазах, кого касались жалобы звездных струн, эти взмахи белых крыльев под лунным лучом,— навсегда тот попадал в плен к красоте.

Но редко кому судьба открывала дверь башни, ибо вещие тайны окружали обитель Пламени. Никому не были ведомы из непосвященных замыслы и солнца пламенников. А уста посвященных были молчаливы, как уста мертвеца. Непосвященные знали только, что башня крутогорская жутка, неприступна и грозна. Но больше ничего не знали.

Над глухим ночным озером, зацепливаясь за башню, проходила низкая зеленая звезда.

III

У черетняной хибарки, что заросла черемухой и диким маком, на грозовой воле и пьяном солнце, жил Феофан веселым хлеборобом. Выкарчивал коряги, разбивал оралом рыхлые, пропитанные запахом трав и грибов целины. Сеял пшеницу. А душистыми лесными вечерами, в зеленом сумраке, висячие срывал звезды, пел хмельные песни и собирал росы.

С ним жила и жена-рыбачка. Копала дикие коренья, ловила в озере рыбу. Огненную делила последнюю предзакатную любовь с Феофаном.

Вещим протяжным шелохом заклинала ее ночь и кровавыми цветами обливали зарницы.

Шли утра, шли дни. Исходили увядающей страстью сердца-огни; сердца-молнии.

Но прошли ночи. Затошновала рыбачка по давным-давно, на заре любви пропавших своих ребятах первенцах,— отверженных звезде и солнцу. Бросив черетняную хибарку, ушла куда глаза глядят, тронутая нездешней жутью.

В древний лес — в безмерное одиночество ушел и Феофан. И глазами бездны глядели на него ложь и ночь, Того, Кто носил имя Сущего.

— Солнце светит праведным и неправедным?— пытал Феофан, сгорая от мук и грозя.— А солнце Града — где?.. Не украли ли его избранные?.. Кто их избрал?.. Почему те отвержены, а эти избраны?.. Воры!.. Жулики! Где солнце Града?..

Бездна и ночь обнимали мир. Но бежал Феофан в безмерное одиночество. А Сущий обрек его лжи праведных и избранных.

Когда же пошел Феофан наперекор лжи, Сущий отринул его от себя навеки и проклял.

Но, взыскуя Града, строг был Феофан и беспощаден к себе и чист сердцем, хоть Сущий, кому близки были только избранники неба, а не земли,— и отвратил лицо Свое от чистого открытого сердца поборника Града.

В лесу выкопал Феофан себе пещеру и жил. Созидал Град.

Осенью в сырой, чадной, заплесневелой землянке недалеко от пещеры Феофана приютилась нищенка с крохотными ребятами. Феофан собирал им коренья, ягоды, дикий мед. И они радовались не нарадовались — вольной веселой жизни, лесному улыбчивому солнцу...

Но пошел холод, и до них дорвалась черная оспа. Облепила их слизкой гнойной корой. Сдушила.

И прозрел Феофан, что сроки, когда с жестокостью Сущего должно встретиться Его милосердие, с светлым огнем неба — черный свет земли — пришли. В мятежном, полном гнева и бурь лесу, в огневом гуде и гуле, глаза Феофана вспыхивали, точно багровые зарницы, а голос звенел и дрожал, прерываемый кровавыми слезами:

— Ты лю-т... Пр-а-вильно!.. Будь... лютым... Круши-и!.. Пали-и!.. А ребятишек, что в землянке-то... не трожь... Хоро-шие ребятишки!.. Тебя любили, солнце любили... лес любили... Не трожь! Милосер-дие!.. Спаси их... Ну!.. Спаси!.. Слышишь — гудет лес? На Тебя гневается!.. За что... дескать? Ну!.. Чудо... пошли... По-шли-и!.. Об-я-зан посла-ть... Не пошле-шь?..

Не послал. Тогда Феофан пошел в каменоломню. В глы-

бах щебня молил Сущего, ставши голыми коленями на острые едкие камни, так, что под ним поплыли горячие ручьи крови... Язык поломало от смертенной беспрерывной мольбы. Шею, руки, ноги, суставы свела корчем, да и сердце сожгла мольба.

Но когда приполз Феофан из каменоломни в землянку на стертых до мослов, перекровавленных коленях,— его встретил тяжелый трупный смрад. В мусоре, окоченелые, лежали с оскаленными зубами, высунутыми синими языками черные ослизлые трупы матери и трех ее ребят.

— Где же... милосердие?..— тихо упал ниц Феофан.

Последние снял с себя подрясник и рубашку. Накрыл ими поруганные прахи сирых. Собрав дух, уполз под серые, пахнущие смертью земляные своды молить Сущего, посылающего испытания.

За близких и дальних, за сирых молил Феофан. Гибли сирые. За больных и голодных — гибли и те. В последний раз за отца своего, древнего хлебороба, всю свою жизнь пахавшего дикое заброшенное поле, молил Феофан. Помогла молитва: через сутки крепкий древний старик предал дух. Как свеча сгорел.

А мир, за который в жутком подземелье Феофан молил Сущего,— язвы поразили, мор и глад.

Тогда-то Феофан поднял с в о й голос:

— Ага!.. Мором и язвами — этим-то Ты добер... А солнцем Града? А милосердием?.. Ага!.. Все избранные... Небо... А земля?.. я землю люблю!.. Коли земля — во тяготе, то и я хочу быть во тяготе... Тягость духа... хочу несть... А Ты — понесешь ли?.. За зло за Свое?.. Что?.. Чистота?..

Но и чистоты у человека было больше, чем у Сущего. Мир знал это, ибо жестокость, ложь и зло Сущего были безмерны. А чтобы показать миру, силы какой тяготы возможны в человеке, одержимом землей, Феофан на неслыханное дерзнул деяние.

Ночью пошел он в заброшенное дикое поле. Из разломанной хижины вывел старую, слепую мать свою, увел в лес да там и расколол ей гирей череп. В пуде, ужасе и страхоте птицы и звери разбежались от жуткого матереубийцы. Дикий осенний ветер, срывая листья и гудя в вершинах, разнес по лесу глухой предсмертный хрип древней старухи.

А Феофан, окаменевший, холодный, медленно взвалил на плечи труп убитой им матери. Оттащил в заисинивевшую лесную колдыбаню и бросил на съедение кишащим болотным гадам. Гады, шипя, врылись в поруганный прах... Только березы да ясени рыдали над ним в осенней темноте...

В ясеневом провале, к степной пробираясь хижине, палил себя Феофан лютым, неутолимым огнем. Мир клял и Сущего кроваво.

Похоронным провожали жуткого матереубийцу звоном свирепые осенние шумы. Над тяжелой, набрякшей, точно мокрое дерево, головой, свистя и хлопая, как оборванные сны, вихрились листья. Будто саван, развевались по ветру полы серого широкого брахла. От трав прелью несло и подземельем.

В хижине нашел Феофан сестру свою, увядающую девушку-красавицу, отрекшуюся от мира. Лестью, угрозами, пыткой и проклятиями склонил ее к прелюбодеянию с собой... А наутро отдал ее мутным от тоски по женскому телу, голодным, озверелым стражникам...

За то, чтоб молчали про мать.

В хижине, осыпанной вихревыми листьями и скрытой чернобыльем, пытал себя Феофан.

Палил:

— Ах!.. Мати сыра-земля!.. Ты умираешь — прощаешь... Не прощай... А казни!.. Отрыни меня!.. Ты простила меня... То-то я душегуб!.. Вор!.. Жулик!.. Тот-то я смерд!.. Ой, и змеи не проняли сердце... простили... Пали, черный огонь!.. Ах!.. Черный огонь!..

Но не пронимал сердца и черный огонь. Простил.

Феофан замолк. Молча ловил в озере рыбу, копал щавель в лесу, собирал костенику. Замолк.

В черетняной хибарке жил одинокий и молчал.

Но как-то, в глухую сентябрьскую ночь на ущербе пришла в хибарку Мария.

Молча взял ее Феофан за руку и повел в старый каштановый гедеоновский парк.

Глухо шумели осыпающиеся каштаны. Над вершинами, перемешиваясь с оторванными листьями, кровавые падали слезы ночи — звезды. Поднял Феофан глаза, полные жуткой мути и синих молний. Поднял сердце, бурыми изъеден-

ное змеями, спаленное огнем зла, но прощенное, не пронятое до дна, не принятое. Голосом истошным завыл:

— Ок-ая-нный!.. Не души покоем... Кричи!.. Круши... Чудище!.. Жуть!.. Казни... То-то любо будет!.. Ты же лют... Полосуй!.. А то лучше смерть... Идолище поганое!.. Я убил мать... погубил сестру... теперь вот дочь продаю... А ты — спокоен... А чист я был — тогда Ты душил меня... Ха-ха!.. не нужен Ты мне! Али найдутся у Тебя козни, чтоб выше моих были?.. Тягота, чтоб выше моей тяготы?..

Медленно, глухо и тяжко шел голос Феофана. Планеты остановились бы в своем движении. Но не остановился бы этот голос:

— Ей, я рушу Тебя, окаянный!..

Замолк. Шагами медленными и преступными — земле невмоготу было от этих шагов — подошел к дочери. Мутные поднял на нее в сумраке, с синими огнями глаза-провалы. Но ничего не сказал.

В доме-замке Гедеонова, в безоконной, затянутой черными ширмами, освещенной свечами комнате сидел, ерзая в кожаном кресле, Вячеслав, суглобый, низкий рыжий монах. Увидев смуглую, истемна-алую девушку, нахмурил чернец белесые, точно обсмаленные брови. Сузил потаскушечьи свои глаза:

— Новенькая?

Оглядел ее узким сучьим взглядом. Ощупал ее. Извившись гадюкой, протянул в нос похотливо:

— Ммолодец!.. Хвалю!.. Где... достал-то?.. Проходи, дядя... потолкуем...

Но Феофан стоял, не двигаясь с места. Молчал. И Мария, бросив голову, с тяжелыми качающимися кольцами волос, вниз, пошатнувшись, забилась будто лист, срываемый бурею... Закрыла побелевшее вдруг лицо руками.

Из-за золоченой двери рыжую высунул с проседью приплюснутую голову костлявый высокий генерал с горбатым кривым носом, синей отвисшей губой и острыми, зелеными растленными глазами.

Гедеонов.

Извиваясь и причмокивая синими трупными губами, шмыгнул он в команату. Поюлил около девушки, понюхал и, повернув трупное, искаженное похотью серо-зеленое лицо к Феофану, прогундосил:

— За ночь — рубль... Стоит?

— Все равно...— бросил Феофан глухо.

Чернец, обхватив и приподняв онемевшую девушку, потащил ее за золоченую дверь...

Скорчившись, уперлась было Мария. Рванулась назад... Но, должно быть, вспомнила про тяготу, свяла и повисла на руках Вячеслава...

А Феофан с полученным рублем серебра вышел из дома-замка осовелыми путаными шагами.

Под низкими, глухо шумящими липами прошел к озеру. Кинул рубль в бурливые волны.

Над черным, тронутым прелью березняком, выплыв однобоко, гнала луна под обрыв сумрак.

Острым разрезывал себе грудь камнем Феофан. Заклинал Сущего — кровью заклинал:

— Кровь живая!.. Кровь огневая!.. Сокруши окаянного вкровь!.. Я и то п о ч и л от зла... А Он?..

А в слизлом водяном лунном свете вырастали перед Феофаном толпы мертвецов. Монахи, короли, воины, мужики, в длинных серых саванах-шлыках, зажженные держа в руках косо тающие, раздуваемые ветром свечи, подступали к Феофану с венцами смерти над впадинами глаз, недвижным шагом. Оскаленными скрежетали люто желтыми челюстями:

— Пред-а-тель...

Феофан, хватаясь за сердце, готовое разорвать грудь, вздыбленный, отшатнулся назад. Но мертвецы, костлявые поднимая руки, глухо грохотали и напирали на него.

— Я-а?..— расширял Феофан бездонные свои зрачки.

Вздыбленные перепутанные волоса его выпрямлялись и стояли торчком.

— Ты-ы...— мертво грохотала толпа мертвецов.

Молчала. Молчал и Феофан. Но если б вселенная обрушилась на него — сердцу его легче было бы тогда. Умертвил Сущий тех, за кого Феофан молился. Удушил. А теперь шлет их к нему.

Помутились у Феофана глаза, мозг, кровь. А призраки напирали с вытянутыми, как у голодных волков, шеями ближе и ближе, глухо, мертво и зловеще вздыхая:

— Пре-да-тель... Твое солнце принесло смерть нам... Гнус... Смерд!.. Изорва-ть его... развеять, гада, по ветру!..

Подступали затворники, что ждали когда-то, страстью, одержимые, недугами и язвами,— помощи от чистого Феофана, но получили за то смерть от Сущего. Также тянулись, грозя и хуля, солдаты, истекавшие кровью на поле брани и додушенные Сущим, так как за них молил Феофан. Чумные, язвленые, что ждали от молитв Феофана жизни, а получили от Сущего через то смерть...

В истошном вихре, скрючившись, старыми хрустя суставами, ломаемый корчей, упал Феофан навзничь. Стукнув худой, жесткой и острой спиной о корни, застрял в них. Свернуло его в кольцо, как сворачивает бересту огонь.

А в слюдяной, лунной затхлой мгле сплошным мутным колыхающимся маревом двигались на него несметные полчища мертвецов, в серых саванах с провалами глаз и жуткими оскалами зубов. Кляли его:

— Про-клина-ем смерда!.. Пошто просил Сушшего?.. За Адама, за Еву?.. Не было б смерти... А теперь — мертвецы мы!.. Про-клина-ем гнуса!..

Люта орава мертвецов. Но лют и Сущий, коли смрадной казнить непереносимой казнью — ложью. Сущий ревнив и смрадной казнит казнью тех, кто справедливее Его. У Него нет праведников, но только угодники.

И чистую Еву, когда в светлый миг своего пробуждения от небытия она увидела Его и в трепете пламенной любви поцеловала,— Он отверг. С лишенной же огня жизни бессмертного, оскверненной Евой, ушел Адам в темный мир страсти и тлена.

Только вестник жизни, пленив Еву красотой бездонных своих, разбрасывающих синие молнии глаз, огненных гордых губ и черных как бездна кудрей,— вывел ее из мира страсти и тлена в мир любви и жизни. И чтобы зажечь Еву огнем бессмертным, Адама же вернуть в Град,— молил Сущего о прощении и очищении отверженцев.

Но — лют Сущий, ревнив. И смрадными непереносимыми казнит казнями тех, кто милосерднее и любвеобильнее Его. Ангела жизни, молившего о прощении Евы и Адама, он, отвергнув, сделал ангелом смерти. И насладился зрелищем умерщвления первых людей огненным мечом того, кто молил о их бессмертии и просил для них огня жизни...

Опальный ангел смерти с перекровавленным сердцем умертвил на земле первых людей. Но в грядущих веках уже отверженным, клянущим, убивающим, любящим и милосердным сыном земли тленному открыл роду их небывалое солнце Града...

Под солнцем не было, мнилось Феофану, зла большего, чем сделанное чистым сердцем,— в укор Сущему, бессильному в самомучительстве, злому, не знающему покаяния и мук...

Змеи черные, огненные змеи стискивающими обвивали сердце Феофана кольцами, будто раскаленной сталью. И сосали текущую живую кровь его. И возненавидел бы Феофан, проклял бы того, кто оторвал бы этих змей от сердца. А не мучили дух Сущего змеи за то, что погубил Он — язвами, мором, гладом — миллионы душ, вселил в мир от самого его сложения божеское зло, более страшное, чем человеческое. Не мучили.

Но, открытое тяготой, светило Феофану и тленному людскому роду солнце Града небывалым светом.

В обросшей поганками колдыбане, изрезанный кореньями и поломанный, лежал Феофан, костлявые руки раскинув, торчащие как прутья руки. В глазах его неведомые плясали демоны. Открывались бездны, и в сердце, точно вихри, сны обрывались, хороводы, небо, земля, солнце Града... А орава мертвецов мутила и грохотала...

Но вызывающе, с огненной ненавистью поднял голову Феофан. И демоны его всесокрушающими ринулись на ораву мертвецов синими молниями, губя и разя...

Вдруг, из-за крушинового куста, в белом кисейном покрывале, пустыми ища Феофана недвижными, несущими неведомые страшные кары глазами, пошатываясь, вышла мать.

Седая проломленная голова, запекшаяся черная кровь, шматьями повисшая на посинелых губах... И кара — кара в мутных пустых глазах...

Обуглило, словно головешку, Феофана, скорчило. Темная истошная волна захлестнула сердце, растопила. В бездонном провале как будто увидел Феофан зеленую звезду. Но так и не понял, звезда ли это или его догоревшее сердце?..

IV

В поле и в доме — везде обхаживал мужиков, вертя втянутой в плечи головой и узкими виляя раскосыми глазами, рыжий монах. Заходила ли речь о земле, о вере ли подымался спор — тут как тут Вячеслав. Мелким рассыпаясь бесом, юлил и заливался соловьем:

— Я, понимаешь, давно говорю... Земля — мужикам!.. Ать?.. Дух живет где хочет... Какое у духа начало?.. Конец?..

Видя же, что мужики косят все-таки на него медленные свои недоверчивые глаза, вспыхивал, кружился волчком и визжал:

— Я — за вас же... а вы не можете этого сообразить?.. На барина, на Гедеонова-то, скоро пойдем?.. Ать?..

Мужики отворачивались от него, бросая глухо:

— Бесстыжие твои глаза...

А он вилял узким зраком гадюки:

— Я ничего, я так...

В закуравленной, тесной, гадливой сборне распинался теперь чернец за пламенников и злыдоту:

— Дух живет где хочет... Светодавцы энти да пламенники... аль злыдота... они, хоть и безумцы... а дух, понимаешь, сокатает в них... аки...

— Замолчи, бесстыжая твоя харя...— ворчали мужики, ярясь.

— Я ничего, так... Безумцы ведь, пламенники-то?..

— Брешешь. А и безумцы — так ведь это и есть наитие, оно самое.

За окнами гудели ветлы. У мазанок, хижек и дворов дикие раздавались крики, свисты, реготь...

— Злыдота...— припадали мужики к окнам, вглядываясь в ночную темноту.— Гуляют... Встречай гостей!

С плясками и песнями, веселя себя и паля, вихрем носилась злыдота. В закоптелые врывалась хаты мужиков. Тяготой длилась.

В Знаменском селе беспокойные, огненно-любящие, верующие, проклинающие, палимые, все, кто пытал себя, гремел громом будящим, тревогу в сердца и смуту в умы вселял — пользовались особыми льготами, словно вольные казаки. Селяки черкесов и стражников подмазывали

вечно хабарой, так что злыдоту не трогали. А может быть, помещики вовсе боялись выселять лютую злыдню из своих вотчин, чтобы не раздуть пожара?

Топот, шум, визг, крики ворвались в сени. Корявые, заскорузлые руки шарили уже по стенам, гремели оторванной щеколдой.

А на улице бабий шел вой:

— Конец свету!.. Маета одолела мир крещеный...

Сорванная, упала с петель дверь. В сборню собрались злыдотники вихрем. Впереди — Неонила, тревожная, огненная, ярая, кричала,— да только скрежет, визги — забивали ее голос:

— Ох, дяденьки... Ох, любенькие... Да не майте ж чего зря про злыдоту окаянную!.. А примите тяготу!.. Ой, веселитесь!..

— Вы — наши!— целовались селяки с злыдотниками.

Козьма-скопец, наткнувшись на Вячеслава, выпятил перед ним пузо, впер руки в бока. Шатаясь на кривых ногах, навел сонный свой рыбий глаз на извивающегося чернеца:

— Еге... скыть, следопыт?.. Ен самый... Што чмыхаешь?.. Што шукаешь?..

— Ду-х живет, где хощеть...— скорчился чернец, тонким дергая заостренным веснушчатым носом и пряча сучьи глаза за белесыми ресницами.— Я ничего... я, понимаешь, так... Я нащет Бога...

Медленно и тяжело, качая пузом и сгибая в крючок заскорузлый палец, шамкал Козьма-скопец:

— Бох уредён тым шту прашшаеть усех... Чуть, скыть, ззмея ззасасеть — ты сычас к Ему... Прости, дескать!.. Ну и прошшаеть... А ето негоже...

Как шмели, гудели селяки. Чернец, нахлобучив на глаза скуфью, стрельнул щелками невидных своих глаз в Козьму. Прогугнел ехидно:

— Жулики выдумали Бога... Ать?.. Пламенники разные там...

— А не слыхал ты, дед,— вдруг подкатившись к Козьме, заюлил он гадюкой.— Красава будто у пламенников-то энтих проявилась... Красоты будто неописанной... Людой ее звать...

— А табе што-ть, оглоед чертов?..— гаркнул на него Козьма.— Ззасть!..

— Я ничего...

— Крестить!.. Огнем!..— загудела толпа.— Он — сатанаил!.. Вяжите чертопхана, а то дымом изделается — только и видели!..

Навалились на чернеца мужики, скрутили ему ноги. Потащили за двери. Гулко лязгал Вячеслав зубами.

Хохочущая ярая толпа под обрыв к озеру притащила его на острый откос, где загорался уже дикий ревучий костер...

— Я ничего... Братцы!..— заорал следопыт.— Никакого Тьмянаго знать не знаю — ведать не ведаю!.. Верую!.. Во Единаго!..

— Брешешь!.. Ты — следопыт Гедевонова...

— Я — за мужиков всегда шел... Земля, понимашь,— мужикам...— извивался Вячеслав.— Не отдай земли мужикам — погибнет Расея!.. Ать?.. Потому как война — солдаты в плен все к неприятелю и перебегут... За что, дескать, сражаться, коли земли не дают?..

— В-ер-рна!..— заревели мужики.— Молодец!.. Дай нам земли, да мы всю вселенную завоюем!.. Гуляем, сердеги!.. Аде наша не пропадала!.. Авось царь земли даст...

И пошел дым коромыслом. Мужики, бабы, старики, понатащив к костру мигом хлеба, рыбы, яиц, водки, ели, пили, горланили песни, плясали, целовались...

А развязанный Вячеслав, из рук мужиковых вырвавшись, взбежав на горку, свистнул и гикнул:

— Попомните энто, так вашу перетак, черти сиволапые!..

В темноте пробрался Вячеслав к землянке, выкопанной над озером под кореньями сосен. У входа, под земляным навесом сидел сутулый широкобородый мужик.

— Андрон?— подал Вячеслав голос мужику.

Тот молчал.

— Дух, понимаешь, живет где хощеть...

— Решу я тебя, гада... хучь ты и брательник мне...— загудел Андрон вдруг.— Моготы моей нетути терпеть...

— Ать?.. Реши!.. Нет, подожди...— заскакал чернец.—

А про волю и забыл?.. Волю Тьмянаго... Перво-наперво... приналяжем на энтих пламенников — понимаешь?.. Прострунуть надо на крутую энту гору... Свет да подчинится тьме... Потому тьма — старше, глубче и выше... Слыхал ты про Люду-красаву энту самую?..

Но Андрон, тоскливо махая на брата руками, гудел:

— Незля жить... тягота давить. Бог не вынесет етой тяготы — не токмо человек... Попередушить господ надобно... Красносмертники ужо обделають ето дело... А ты будешь якшаться с господами?..

— Я ничего...

Спустились в землянку. За кривыми корявыми подсошками, под сырой, поросшей поганками и хреном стеной, на куче мусора, гнилой соломы и вонючего тряпья ободранные валялись полумертвые ребята. Жуткие по землянке разносились хрипы их.

В углу грустная тонкая девушка Стеша, склоняясь над хрипевшей и разметавшейся матерью, тошновала и билась головой о землю. Тяжелые темные косы заметали пыль и кострику. Худые плечи вздрагивали и тряслись.

— Отойдите!.. Живоглоты!..— с глухим криком впивалась она в голову себе.— Мучители!..

В сизом сыром чаду кружась, проскрежетал Андрон прерывающимся, как удар грома, клекотом:

— Ду-у-ши-ть!.. Гадов да и себя... Незля жить... Невмоготу... тягота!.. Должон ты душить, говори?..

— Ать?..— заерзал чернец.— Я, да не должон?..

Коганок моргал, прыгал по стенам. Тени, зловещи и жутки, ползли кругом, черными ввалившимися ямами глаз и разъеденными цингой деснами корчилась старая Власьиха в предсмертной судороге. А обок с ней мучились девочки. Лицо старшей, ноги, руки, налитые желтой гнойной слизью, лоснились, как слюда. Неподвижно лежала младшая, черная, как чугун. Только сизые цинговые губы жутко передергивались.

— Ду-уши-ть!..— топнул лаптем Андрон.

Вертясь, точно веретено, припал к уху брата Вячеслав лягавой собакой:

— А к тебе дело есть...

— Што-ть?..

— В землянку твою будуть собираться человечки... которые демократы... с селяками... На панов штоб идти... Ну, и на крутую гору прострунуть... Слыхал, чать?.. А про красаву энту самую слыхал?.. С отцом живет... Ну, вот... За Бога они, за панов... человечью, понимашь, кровь пьють...

— Так-то так...— пробурчал Андрон.

— И еще одно дельце... Козьме-скопцу хотел сказать, да он што-то зафордыбачил... Как, понимашь, землянку обставим черетом...

— Да ить землянка-ть — моя, што ль?..— крутнул сердито головой Андрон.— Ить я тут со третьево дни тольк... Как ушла стерва ета, Ненила-то женка к злыдоте... с той поры я и хожу по лесам... по пешшерам... И сюда набрел ненароком...

— Ну... дух живет где хощеть...— подскочил чернец.— Пора за ум взяться... Заворошка идеть... Дай срок, наделаем мы делов!.. Ты только говори, брат: будешь меня слушаться во всем?.. Помогать?..

Прогрохотал Андрон, красной тряся бородой:

— Дду-ши-ть, и все туть!..

Дробным, лисьим побежал Вячеслав шагом, скорчившись в три погибели, к выходу:

— Прощай! Жди.

В пороге люто метавшаяся, очадевшая и разбитая Стеша, дико вскинув гордую голову, острыми своими ударила разящими глазами в казюличий зрак чернеца:

— Ты?

— Я,— юркнул за дверь Вячеслав.

Под обрывом, извилистой пробираясь стежкой среди глыб глея и камней к озеру, спохватился было:

— А к Поликарпу?..

Но махнул рукой и пошел через черемуховый молодняк, шумя росными осыпающимися мертвыми листьями.

V

Какое-то глухое смятение бросали с крутой горы в темную хвою жуткие башенные огни. В ночнине мужики, завидев их, толпами собирались под лесной обрыв. Нетерпе-

ливые, распаленные, тряся вахлатыми бородами и ядреной раздражаясь бранью, яростно топали осметками:

— Идем!.. Ча бояться?.. Нам все равно пропадать!.. Не от голоду, так от мору... А пропадать!.. Дык лучше ж попередушим живоглотов, а тады — хоть на виселицу!.. А?.. Крутогоров отомстит... Он их свернет ужо в бараний рог... Неспроста огни эти...

Иные свирепо чесали затылки:

— Дыть, как ты пойдешь?.. У них черкезы, казаки с ружьями да пиками, а у тебя — што?..

— Правда — вот што!..— дико ярились толпы.— Она, мать, супротив всех пиков состоит!..

— Душить живоглотов!..— ревели мужики в лютом гневе.

А оплывшись, судили резоном:

— Эх, моготу нетути терпеть... И чего оттягивают с землей?.. Чего царю брешут, будто земли незля дать?.. Хоть бы за деньги... У жидов денег взять да и отдать живоглотам... А землю — нам... А то сорок лет ждем земли, а все нету... а солдатов да подать тянуть в одну душу... И вить знают жа псы, што попередушим усех до одново... Не теперь, дак через сто лет, не мы — внуки наши попередушат!.. Чего ж оттягивают?.. Чего брешут царю?.. Эх, бить нас надо!.. Сами дураки... А Крутогоров — што один сделает?..

Шли домой, угрюмо нахлобучив шапки и опустив головы низко. Но в душах их тревожные горели, неутолимые огни-зовы.

В синем надозерном лесу дикой серной проносилась Люда над острыми скалами. Обдавала желтым огнем волос гибкие белые березы. С хвойным целовалась шалым ветром, сыпля вокруг себя светлые жемчуга смеха.

А бродивший за нею по скалам Крутогоров не сводил с нее глаз.

Солнце, голубое над горами, кружась и разбрасывая цветы, плясало алую пляску огня. Искрометным опьяненные вином осени, плыли золотые откосы, леса, скалы и шатающиеся от ветра черетняные рыбачьи хибарки, будто на волнах, навстречу солнцу, его поздним цветам...

У белой, меж скал, открытой к озеру хибарки Люда, встретив лицом к лицу неожиданно Крутогорова, остано-

вилась. Наклонила голову, широко раскрытые скосив глаза и сцепив за шеей под желтой распущенной тяжелой косой кисти рук, подошла вдруг к нему. Грозно и гневно повела собольей бровью:

— Ты ведь не знаешь меня. Ой, будешь тужить, коли узнаешь! Не мучь. Уходи.

— Я мучу?..— поднял на нее Крутогоров темные, с синим отливом глаза.— Я только люблю.

— Будешь тужить...— крутнула головой Люда.— Я — свободная... Я — лесная... Знаешь, кто я?.. Я лесовуха!.. Я и убью, так с меня взятки гладки... Может, я удушила кого с своим милаком?.. Ха-ха!..— захохотала вдруг она.— Со мной шутки плохи.

Гордую вскинув в желтом огне волос голову, опалила душу Крутогорова сизым, таящим ужас, взглядом. Выгнула гибкий атласный стан. Хохоча и кроваво-красным вея сарафаном, словно лань, подскочила с разгоревшимся, алым, скрытым под пышной волной волос лицом к Крутогорову. Крепко схватила его за руки. Закрутила вихрем, горькой обдала дикой полынью, лесной рябиной, березняком:

— Удушу, гей!.. Замучу. А в веру твою не пойду.

Отступив назад, алой светя улыбкой. За нежную закинула, за белую, увитую тяжелыми золотыми жгутами кос шею гибкие руки. Запустила в душу Крутогорова синие бездонные зрачки свои, пророча ему напасти и беды:

— А все-таки я несчастная. Несчастнее меня нет никого на свете!.. Крутогоров! Несчастная я...

— Я научу тебя любить...— сомкнул Крутогоров руки больно и горько.— Убийство — это казнь, тому, кто убивает... Но я пойду на казнь!.. Я... убью!..

— За что?..— склонила Люда бело-розовое лицо свое на бок, тихий сыпля жемчужный смех.

— За то, что люблю тебя!..— вспыхнул Крутогоров.— Кровь, убийство, ненависть — вот что зажигает души любовью!.. Без ненависти не было б любви! Я ненавижу тебя... Я люблю тебя. Люда моя, Люда.

Синими жгла Люда душу Крутогорова безднами:

— А тужить не будешь?.. Крутогоров! Люб ты мне до смерти... А мучить не будешь?

Пимен Карпов

С горы, облитой голубым серебром теплой луны, бросая в опадающий осенний лес синие звезды, сходил Крутогоров в жизнь, овевающую мир сладкой чарой и бурлящую грозным дыханием хаоса,— за жуткими вещими зовами, жегшими сердце, как расплавленное слово. И зовы эти были — зовы ночи... Ах, в ночи думы и зовы, как и звезды, бушуют и разгораются небывалым огнем! И Крутогоров, благословивший жизнь, каждый лист, каждую былинку, солнце, радость и бездны,— в ночи в зеленом сумраке перед открывшимися провалами, с душой, взрытой до дна тревожными таинственными голосами, охваченный неистребимым огнем, проклял землю. И воззвал к Сущему сердцем:

— Доколе?! Доколе это надругание?.. Ты видишь — зверь полонил землю?.. А хлеборобы голодуют... Обливаются кровавым потом над землей — и голодуют... Ей!.. Земли хлеборобам!.. Земли!.. Земли!..

В осеннем желтом лесу голос Крутогорова звенел жутко и страшно.

— Так будь проклята!..— клял Крутогоров землю.— Зачем отдалась двуногим?.. Ты все уже вымотала из нас... Нет у нас силы, кроме силы клясть... Прокли-на-ем!.. Земля! Проклинаем тебя!

Но и благословлял Крутогоров землю — за ночь, за солнце Града и огонь сердец...

В скалистом глухом ельнике, точно желтые листья, развеваемые ветром, хрустя и стуча топорами, кружились дровосеки.

Из сосен и камней, от приозерной дороги бросала на озеро багровый свет лесная кузница. Молодые кузнецы месили раскаленное железо молотками. Гикали и пели дикие песни...

А внизу беспокойные волны, смутную рассказывая сребропенную сказку и жемчугом осыпая падающие листья и желтые травы, шли в синюю даль, точно обреченные. Над ними, склоняясь, золотые шумели клены и липы.

За темным синим провалом уходящих хвойных горь горели полуночные зори. Меж сосен плавали голубые лунные светы. И Крутогоров, одержимый звездами и недрами земли, глядел, как бродили, работали и пели люди, а ветер жизни развевал их, словно осенние листья...

В кузнице смолкли молотки. Кузнецы, повысыпав на дорогу, следили за Людой, внезапно дико и смело спускавшейся по крутому, залитому синим светом обрыву в поздних, опаленных осенним ветром цветах и жемчуге рос, с золотой короной тяжелых пышных волос на голове.

Осенняя лунная ночь несла земле свежесть. Грустным обдавала шумом желтый, опадающий яблоневый сад. Шелест осеннего сада отдавался в сердце Крутогорова. Вещие будил зовы и думы. Но не было слов, ибо все было святыня. И Крутогоров шел навстречу гордой, скрывающейся и гулко, жутко хохочущей Люде тихо и молча, хоть в душе его и пело, и огненная заря говорила таинственными, ей одной ведомыми голосами...

— Держите меня, гей!..— дико и гулко хохотала Люда, словно дьявол, разбрасывая синие бездны и грохоча срывающимися каменьями.— Я — колдунья!.. У-ух и ж-аркая ж я!..

В яблоневом саду Крутогоров, схватив за гибкие руки, поднял, сжег ту, что вошла, неведомо когда, в его сердце, словно в свой дом, загадкой, страшной, как жизнь и смерть.

— Задушил, ой!..— ликуя, задыхалась и билась Люда и сгорала в огне всеопаляющей любви.— Крутогоров! Люб ты мне!.. Ой, да люблю ж я тебя!.. Да смучу ж я тебя!..

Бредил ночным лунным бредом сад...

Из-за сада выехал вдруг всадник. Повернул к Крутогорову. Это был Гедеонов.

— Ну-ка... Лесовуха! Поди сюда!..— покачиваясь в седле, кивнул он сердито головой Люде:— Тебе говорят!

Вплотную подъехал к ней и, склонившись с седла, бросил строго и гнусаво:

— С хлыстом?.. Безобра-зие!.. Целоваться при всех!.. Да еще с хлыстом!..

— Гадина!..— змеей извившись, кинулась на Гедеонова Люда.— Проваливай!.. Смерд.

Выпрямилась гибко и стройно, огневые собрала в тяжелый пук волосы.

— За что ты, черт бы тебя побрал, стерва!..— опомнившись и ухватившись за щеку, заскулил Гедеонов.— Ах ты хлыстовка проклятая!.. Да я вас всех загоню туда, где Макар...

В синей луне Люда изгибалась, как дьявол. Багряные губы ее страстно шевелились, как будто расцветали. На алых висках светлые вились тельными завитушками и цеплялись за венок золотые волосы.

Но что было жутко и грозно у нее, так это глаза. Это две синие бездны, что озаряют мир...

Высокая юная грудь ее крепко и мерно подымалась. Тонкие полотняные ткани обхватывали гибкий ее стан и свободными падали на ноги складками.

Хохоча и хмелевым обдавая вихрем, ворвалась вдруг она в толпу подошедших кузнецов, затормошила их. Радостное что-то, хмелевое запела. Но Гедеонов, подскочив к ней, оборвал ее:

— В Сибирь законопачу! Целоваться при всех!.. Ах ты стерва!

Люда дико, страстно, до боли обняла какого-то широкоплечего, вымазанного в угольную пыль кузнеца. Поцеловала его в губы взасос, долгим тягучим поцелуем. Глухо Гедеонов захохотал. Невидные острые глаза его вспыхнули, словно бурые извивающиеся косицы. Не выдержал — повернул и уехал.

А у Крутогорова сгорало сердце и расцветало...

Люда подводила свои зрачки-бездны к его глазам.

— Я люблю тебя!..— вздохнул Крутогоров. И затих.

— Да люблю ж я тебя!..— вздохнула Люда. И затихла.

Отдал всего себя солнцевед злой и дикой Люде, высокой и стройной, неведомой, но жутко родной. И положил ее на сердце, зажженное неутолимым огнем... И слил с собой омоченные холодной росой огненные ее уста:

— Жизнь...

VI

Шалыми ноябрьскими ночами ощерившиеся монахи из Загорской пустыни ловили по лесным ущельям, засыпанным опавшими листьями, шатающихся бродяг. Крепко-накрепко прикручивали их к горелым пням ржавыми цепями, чтоб не подбирались под монастырское добро... Но вахлачи все-таки разбивали цепи и шли на ножи монахов-караульщиков.

Застращанная злыдота ушла в скиты и пещеры. Только Мария ходила по страданиям одна бесстрашно. За зло Сущего, за проклятие мира распинала себя... С нищими и бродягами, с гонимыми, осенним отдавшись лесным тайнам, несла неотвратимо, глухо печать отвержения и кары...

В монастыре мучил ее нечистый. Изводил кровью, страстями и тьмою. В келье ли или в толпе, в церкви, подхватывал вдруг на воздух и бил о камни. Ломал суставы, обдавал сердце зловещим...

Но загадочная душа Марии, вешняя и темная, пела в пытке, огне и буре псалмы жизни. Ибо и в бездне ей открывалось небо и солнце Града...

Уже с красными последними листьями падали медленно голубые снега, чистые и светлые, словно алмазы.

В лесных оврагах синие плавали призрачные туманы. Все, что ни жило,— глубокая охватывала дрема. В снежной мгле далекие тонули горы, белые хаты.

Шел вечер. С поля метель вставала седым маревом и плыла на леса, на деревни...

В мутном снежном дыму путались пробиравшиеся к селу оборванные мерзляки-нищие. Топли в сугробах, лязгая зубами. В кучке хромоногих, горбатых старух босая, закутанная в рогожу, в рваной куцынке билась Мария люто. Черные, перебитые вьюгой, измоченные и обмерзлые спутывались на висках твердыми узлами кольца волос. За воротник куцынки острый сыпался, как яд, снег и, тая, стекал по голой спине и груди огненно-холодными отеками. Но смуглое, облепленное снегом лицо горело, как огонь. Острый, едкий снежный огонь жег и все худое, хрупкое тело кликуши. А она, об острые спотыкаясь мерзлые глыбы пахоты и голыми костенеющими ногами меся сугробы,— смеялась. За пазухой у ней копошились мокрые птички. Щекотали лапками грудь. А окровавленный зверек прижимал рыльце к открытой шее...

— Отогрелись,— дрожа всем телом и стуча люто зубами, пришептывала кликуша.— Отжили!.. зверьки мои вы...

Подстреленного, истекающего кровью зверька нашла Мария в колючем терновнике. А замерзших чечеток подобрала на дороге.

— Забуровила, лешева крутня, черт...— чертыхались и скрежетали зубами слепцы со старухами-хромоножками, ползая на четвереньках по шишакам.— Хучь бы шалаш где али стох... А то замерзнешь — как раз черту на корыто!..

Мутные залуннели вдруг за пологом, в темной стенке хвои, огни. Нищие, спотыкаясь и падая, полузамерзшие, поползли по сугробам на село.

А кликуша, добравшись до землянки, в грязный соломенный постелень, загораживавший дверь, уткнулась завьюженною кудрявою головою... В темноте какие-то хари схватили ее за руки. Поволокли в землянку.

— Я сама пойду... Оглоеды!.. Отвяжитесь!..— рванулась Мария.— Я по мукам хожу — чего мне бояться?!— Прижалась к лутке. Гордую опустила голову тяжко. И вороненые кольца волос ее, рассыпав снег, закачались над пылавшим, словно пожар, лицом. Вывернувшийся из-под куцынки зверек прыгнул под ноги харе. Шевельнул усами. Дернул раненой лапкой и затих. А раскрылестевшиеся птички под лавку поползли.

— Эй!..— гукнул из угла Андрон.— Пропустить ее!..

Сердито тряхнул бородой. Бросил как будто сурово, но в сердце нежно:

— Небойсь... Мария! Входи.

Вошла в курившую навозом, грязную и мокрую землянку кликуша. Повернула голову к божнице и окаменела. На нее, острой крутя рыжей головой и виляя узкими раскосыми глазами, глядел Вячеслав.

— По-стой... энто...

— Ну, ты... как жа?.. Людмилу будем спасать?.. А?..— загудел Андрон, тяжелыми ворочая, мутными, осоловелыми от чада глазами.— Говори...

За печкой больная догорающая Власьиха билась в навозе, покрытая гнойными струпьями, мокрицами и червями. Шепотом звала Марию из-под мусора. А Мария, ощерившись, жуткий ловила голос чернеца, извивавшегося под божницей и как-то изнутри блеявшего:

— Дух живет где хощет... Облаву!.. С энтими молодцами да дремать?.. Ать?.. Это дело мое... я за все отвечаю!.. Человеки просили с Людой штоб познакомить... Ой! Наделаем мы делов!.. Эй, молодцы!.. Энту ночь Людмила будет

у отца своего Поликарпа... Выжег себе глаза который... Ну! За Людмилой!.. Спасать надо.

Крутнул головой. Сучьи кинул глаза свои на Марию. Буркнул вкрадчиво, тонкую вытянув, длинную шею.

— И Марию спасать... Гм...

— Погибели мне — не спасенья!..— ощерилась та.— Да вы, гады, и погубить-то по людски не погубите... А так... нагадите только...

— Я же, понимаешь, за тебя...— съежился Вячеслав.— Я — демократ...

О порог грохнулась, заколотилась Мария. Как раненный и истравленный зверь, что дергал под лавкой размелюзженой лапой, замерла. Смуглое, опаленное лицо ее под черными, отливающими вороненым серебром кольцами застыло. В глазах огненные круги пошли... Не выдержала — зазвягала по-собачьи, закукарекала, как петух, тошно и мутно прислушиваясь, как загудели бури и земля поплыла зыбкой волной.

Но, опомнившись, открыла глаза. Скуластые обхаживали ее хари. Чернец жадно трогал ее обросшими рыжим волосом руками. Вилял зрачком:

— А отец-то твой где?.. Ать?..

— Ох... Какой... отец?..— больно и пугливо охнула Мария.— Ага! Вот чего вы сюда прострунули... Так лучше ж я смерзну в снегу!.. Пустите!.. Оглоеды!..

Изгибаясь, проскочила сквозь толпу. Скрылась за дверью.

Медленно водил Андрон тяжелыми серыми глазами. Гудел на Вячеслава едко:

— Ты, зныть, кх... того?.. Ну, да змеерода я скоро прикончу...

— Хе-хе-хе!..— заюлил, хохоча, Вячеслав.— Гедевонов — папенька нам с тобою... А ты про него такое... Ать?.. Я ничего, я так... Дух живет где хощет... Ну, ты посиди тут...— спешил уже чернец, извиваясь.— Ать?..

— Куда? — топнул Андрон.

— Я ничего... Я так...— отскочил чернец к двери.

Ушел. За ним нырнули куда-то и хари. В землянке остались только Андрон да Власьиха.

— Ну... так!.. за Мареей...— грохотал Андрон, хвата-

ясь за грузную, набрякшую голову.— Разорвут, смерды!.. Сгрызут живьем... Обгадят!..

В мутном натыкаясь чаду на валяющиеся бревна и стукаясь лбом в подставки, пополз по земляной, скользкой, обвалившейся лестнице вверх, раздетый, в продраной, замашной рубахе.

— Маре-я!..— гукал Андрон, точно громовой раскат, в глубоком топком снегу, взметаемом свирепым гудящим ветром.— Марея!.. Вернись!..

Но густой голос глох и пропадал в снежном сумраке. А над помутнелой чадной головой, в вершинах оледенелых, перегнувшихся берез, с угрюмым проходил скрипом ветер, осыпая частым колючим снегом растрепанные жесткие Андроновы волосы. Разозлившись, гудящий снежный вихрь падал с вершин камнем под корни деревьев. И, взрыв рыхлые свежие сугробы, бил ими в открытую горячую грудь Андрона да в слипшиеся глаза...

Перед рассветом буря утихла. Но кликуши пробродивший целую ночь полузамерзший Андрон так и не нашел...

Книга вторая

ИСТИНА ИЛИ ВЕЧНОСТЬ?

I

Звездноголубым обдавала Люда сердце Крутогорова ураганом, словно дьявол, раскрывший синие бездны. И любовь ее была — как удар ножа, как яд и огонь. Пораженные ею, точно мором, корчились в ужасе старики, сгорали юноши. А Гедеонов жег, губил и осквернял все, что радовало Люду,— так люта была его зависть и ревность. Кровь, огонь и трупы оставались на путях любви Люды. Но душа ее была — словно заряница.

В весеннем лесу кто-то нашептывал сказку земле, голубые навевал сны. Разбрасывал алые капли крови — цветы, светлые как звезды жемчуга рос и зажигал зори — неопалимы купины. А в ночном свете проходили, бросая сумрак, облака, запахи, смешанные с шумом. И падали, словно сорванные златоцветы, сизые зарницы. Полузабытая, как сон, приплывала лазурь. Обдавала землю пышной чарой. Долы были дики и обнаженны, а она в светлые наряжала их, в брачные одежды. Леса были пустынны и темны, а она озаряла их огнями цветов. Песнями птиц наполняла и гулом свежей зелени...

Над чистыми росами белый курился ладан. Багряный рассвет венчал с Крутогоровым — красным солнцем — Люду — синеокую заряницу. Венец из лучей, усыпанный росными алмазами, надевал ей на голову, фиалковое ожерелье — на шею, запястья из диких роз — на руки и перстни лилий — на пальцы. И, шелковые расстилая перед ней ковры трав, шитые золотом анютиных глазок и серебром ромашек, пели ей хвалу голосами рощ и лесов...

А будто сердце, истекающее кровью, утренняя догора-

ла над лазурью звезда. И искрились серебряные степи, заливаемые алым светом...

С распущенными, огненно-пышными волосами, в светлой, дикой лучевой порфире, неся синие бездны, шла Люда за нежными и жемчужными туманами, в голубой час ароматов, тишины и золотого сна, когда на темный изумруд листвы падали рубины огня,— по травам, белым от рос, в плавном кружась огневом плясе, рассыпая искры грозного солнечного смеха и горним опаляя огнем мир... А с нею горел и ликовал Крутогоров — красное солнце, светлый, огненный бог.

До багряного, расточающего сизый огонь заката кружились и исходили страстью Крутогоров и Люда, землей повенчанные и рассветом лесным. Звезднобурунным носились буюном-вихрем, давая волю бушевавшим в них демонам.

И вскрикивал он, держа ее на груди своей и не отрываясь от багряного ее крестообразного рта:

— Вот люба моя!..

И огненно стонала она — ликовала, обвиваясь вокруг него языками пламени:

— Вот любый мой!..

А когда подошла голубая росистая мгла вечера — они ушли в лесную моленную, что над озером. Там их встретил, вея мхом и полынью, седой, изрезанный глубокими морщинами слепец-лесовик, отец Люды.

— Хто такой?..— взметнул стогом серебряных волос старик, весь в белом ракитовом пуху, с челом, пересеченным темными глубокими шрамами.

А вместо глаз, выжженных раскаленным железом, у него жутко открывались под седыми густыми, нависшими, как лес, ресницами круглые черные провалы.

В пляске, хохоча и безумствуя, трясла его за плечи Люда:

— Я с любым пришла!.. С Крутогоровым!..

— Ты-ы?..— откидывал лесовик голову, сверкая белыми, как снег, зубами.— Огонь мой!.. Людимила!.. Ты?..

И, широко раздвигая над черными провалами брови-космы, хохотал раскатисто-радостно:

— Эге-ге!.. Хо-хо!.. Крутогоров!.. Людимилу подцапал?.. Огня мово?.. Подойди ближе... Перекрутились

ужо?.. В лесу?.. Радуйтесь!.. Веселитесь!.. Так-тось... Эх, што ж вы ето?.. Свадьбу сыграли, а меня ни гугу?.. Я б браги наварил!.. А таперь — тюрей — угостить? Людмила?.. Тюри!..

Но, не слыша ничего и не видя, впивалась Людмила в огневые губы Крутогорова, страстно сжимая черную его голову. Погружала синие свои бездны в его темно-светлые глаза:

— Любый мой!.. Радость-солнце!..

— Женка моя!.. Песня моя!..— стонал Крутогоров.

В широком грозовом плясе носилась с Крутогоровым сплетшаяся Люда по моленной, выгибая тонкий свой страстной стан. И, залихватски приседая и пристукивая грушевым костылем с оправой из кованого серебра, ходил ходуном лесовик:

Горячей, горячей, горячей!..
Веселей, веселей, веселей!..

Веял седой пургой. Хохотал:

— Хо-хо! А и у мене женка есть... Ненила!.. У Фофана отбил. Духиня евонная... А злыдота не дает житья... Крутигоров!.. Хо-хо!.. Сокрушим злыдоту!.. Сердцо! Тюрю-то, тюрю будешь есть?..

Но и Крутогоров ничего не слышал и не помнил. Только пил страсть, бессмертный напиток из багряных, сладких Людиных губ.

— Да люблю ж я его!..— вскрикивала Люда, извиваясь, как дьявол, и подскакивая к хохочущему, гордо закинувшему голову отцу.— Отец!.. Да люблю ж я Крутогорова!.. Али я такая счастливая?.. Али ты?..

— Хо!.. счастлива ты у меня, Людмила...— обнимал дочь пурговый лесовик.— Огонь мой!.. Люблю я с тобой Крутигорова... так-тось...

— Смучило меня счастье...— вздыхала, томно вскидывая золотистые волны волос, Люда.— Нету моченьки...

А опомнившийся Крутогоров, глядя на того, кто правдив был, мудр и беззлобен, жил как Бог, не связывая себя ничем, ибо слеп был для того, чтобы брать жизнь такою, какою берут ее зрячие,— Крутогоров, безмерным ликуя ликованием, пел мудрого вешнего лесовика... И звал его:

— Эй, лесовик-радовик!.. Вешний кудесник!.. Ты — радость!.. Красота!.. Я люблю тебя. Ты будешь встречать со мною духа!..

Вея седой пургой, протягивал Поликарп к Крутогорову руки:

— Ты не знаешь... А у мене то радость!.. Марея-дева!.. Хо! Дух на ей будет сходить тожеть... А Фофан окрысился, душегуб, из-за ей!.. Рад я Мареи-деве, ой рад!.. Крутигоров!.. Береги огня мово, Людимилу... целуйтесь тут!.. Так-тось... А я пойду к Нениле, к женке моей... Ух!.. И рад же я!.. Ух! — ухал Поликарп, проходя в сени.

И, гремя грушевым посеребренным костылем о порог, вихрился ухарем и плясал:

Веселей, веселей, веселей!..
Горячей, горячей, горячей!..

В узкие темные слюдяные окна красные били мечи заката. И в сумраке вечера Крутогоров и Люда, люто носясь по моленной, исходили лесной, непочатой страстью.

II

В обитель Пламени смятенные души приносили огонь чистых сердец и гнев.

Но Крутогоров, в дикий уйдя лес, пил хмель любви, радости и солнца. Не унимаясь, мучила его исступленно, жгла безднами своими и знойными кровавыми ласками Люда.

Как-то встретила Крутогорова под хвойными сводами девушка в черном. Вплотную к нему подойдя, воткнула за пояс ему белые росные цветы, разливавшие густой аромат...

Долгий вскинул Крутогоров солнечный взгляд свой на девушку в черном, молвив нежно:

— Ах, уж это мое сердце... Кто ты, русалка?

Грустно и медленно подняла девушка серые непонятные глаза. Уронила упавшим голосом:

— Ты любишь... ее.

— Да,— сказал Крутогоров.

— Она... колдунья...— с ужасом прошептала девушка.

Шире раскрыла зрачки. Положила на плечи Крутогорову нежные белые руки, вздохнув, поникла горько:

— Я тебя... ждала. Я тебе молилась... Мне ничего не нужно... я хочу только молиться... тебе.

— Кто ты?..— шевелил красные ее волосы Крутогоров.— Ах, мое сердце... Ах, счастье...

— Милый!.. Ми-лый!.. Люблю... Люблю.

Из-за хвои, пошатываясь, пьяная от лесов, страсти и бурь, с низко опущенной в короне русых волос головой, жуткая вышла Люда. Подошла к Крутогорову вплотную.

— Со мной шутки плохи...— скосила она на него синие недобрые глаза.

А девушка в черном, уходя, вскрикивала:

— Не забуду!.. Нежный... Люблю... А-ах, люблю-ю...

— Кто же ты? — спрашивал ее Крутогоров.

И вздыхал, провожая ее тайным взглядом любви.

Люда уловила взгляд. Прокляла Крутогорова, канув в глухую мглу.

В ночи искал Крутогоров Люду. И не находил. А за ним загадочная бродила девушка в черном.

Падали ночные росы. За башней голубые доцветали росистые зори. Ладаном дымились ароматы сада роз.

В саду роз, в душистом росном шуме гибкая, тонкая девушка в коротком черном платье, упав в траву, звонким заливалась трепетным смехом. Страстно откинув назад голову, так, что из алмазного ее ожерелья сыпались искры, вскрикивала вкрадчиво перед Крутогоровым:

— Ну, и напасть!.. За что несчастье такое на меня — любовь?..

А купающиеся в серебряной росе белые и темно-алые розы, хрупкие бледные лилии и желтые с золотистой пылью тюльпаны осторожно дотрагивались до стройных ее открытых ног, розового горячего лица, тонких нежных рук. Но девушка знала, что даже цветы и травы влюблены в жуткую ее немилосердную красоту. Знала, что платье у ней — по колена, ноги открыты, стройны и горячи, грудь атласиста, знойна и туга. Перед ней ведь возлюбленный ее! Как же ей не быть прекрасной?

Шелестели лепестки. Вздыхал томно сад. А девушка в черном, к странным голосам сада прислушиваясь,

шептала вдохновенно и страстно прильнувшими к дрогнувшей руке Крутогорова сладкими, нежными устами:

— Цветы поют?.. Или возлюбленный мой?.. Радуйтесь, цветики!.. Возлюбленный — песно-певец-поэт!..

Звездные светы, с голубым сумраком смешиваясь, обливали свежие, мокрые от рос цветы, глаза девушки, волосы и тяжелое ожерелье, переливающееся холодными искрами. Падали, прорываясь сквозь студеный шум на траву розовыми волнами. И все же девушка-русалка, купаясь в голубом ночном свете, опутанная недобрыми огнями, замирала в темном трепете у ног Крутогорова:

— Ах, зори цветут?.. Или возлюбленный мой?.. Жуть берет!.. Возлюбленный мой — солнцевед!

Жутки и сладки девичьи сны наяву. А еще жутче и слаще сны наяву семнадцатилетней русокудрой русалки. Непреоборима и грозна любовь открытая и торжествующая. Но еще непреоборимее и грознее любовь скрытая от мира и даже от себя, запретная, любовь-жуть.

За девушкой-русалкой желчные следили старухи, Гедеонов, мать, молодая еще и красивая княгиня. Удерживали ее, когда шла она в дикий лес. Непонятное что-то говорили ей. Но девушка провела их всех и пробралась-таки в дикий лес к возлюбленному своему — свободная, страстная, знойная, трепетная! У жуткой колдуньи — у кровавой лесовухи отняла возлюбленного. И теперь вот огненными обнимает его руками своими, целует исступленно и кричит, кричит в великом приливе любви, нежности, страсти:

— Ах, отчего это щемит сердце?.. Бог мой! Я — люблю... Отчего дрожат руки?.. И млеют ноги?.. Ах, отчего все кружится... И все горит... Я — в огне!..

Молчит. И вздыхает протяжно и сладко:

— Ну и пускай пропаду... Зато уж и обовьюсь, ох!..

Нетерпеливо, крепко и больно сжимает горячими руками шею Крутогорова, открывая нечаянно короткое черное платье на белой девичьей груди,— робкая, насмешливая, извивающаяся, светящая огненной улыбкой, грозно-прекрасная.

— Я — люблю!

Изомлев, отступает назад. Но вдруг непочатым загорается огнем. Налетает на Крутогорова вихрем. Запахом

роз и ландышей обдает его, стройной топая крепкой ногой. Хохочет яростно, отчего серые глаза ее суживаются, косятся и раздваивается розовый нежный подбородок:

— Ха-ха!.. Поцелу-уй меня-я... Мой любимый!.. Не пущу.

Но Крутогоров, спустившись к озеру, садится в лодку и отплывает от берега.

За березняком расцветало алыми цветами озеро. Пьянили лесные запахи. Немеркнущие лились светы, и что-то пели волны... А из таинственных, поросших лилиями заводей белые лебеди выплывали, манимые лесными голосами. Над волнами спускалась звезда, голубо-алая. Заглядывала в сердце. Звала за собой.

В тростнике запутавшись, вернулся, подплыл Крутогоров к высокому голубому гроту и берега. В синем сумраке нагую увидел девушку-русалку, до боли белую, стройную и гибкую, с распущенными волнистыми красными волосами и глядящей из-под них тугой девичьей грудью.

— Це-лу-й... Ох, це-лу-й же...— медленно и томно шептала девушка, с растяжкой, закидывая за шею руки и страстно выгибая стан.

Бросалась стремительно в волны с каменной ступени. И, трепетной, сладострастно-вздрагивающей грудью рассекая пену, подплывала к Крутогорову. А тот, будто во сне, гибким отдаваясь розовым горячим рукам, пахнущим ландышами, и сладкому страстному рту трепетной девушки, глядел в сердце ее, в серые глаза, горящие огнем и сумраком, переполненные хмелем страсти и ранящие.

Но до дна девушка-русалка не давала заглянуть. В темноте вод, гибкая и цепкая, страстными ударяя по волнам, легкими, как два белых крыла, ногами и знойной сжигая Крутогорова крепкой своей грудью, опутывала его темными сетями. Околдовывала, тяжело и страшно дыша:

— Целуй меня!.. Люби!..

Она стояла перед ним уже одетая. И атласные нежные руки ее касались его холодных крепких щек...

Ненасытимо, страстно и больно прижимал Крутогоров тонкие полудетские пальцы ее к горячим своим губам. Мял, ломал их, тихо, огненно вскрикивая.

И шептала девушка страстно:

— Крепче... крепче жми!.. Ох, крепче!..

Горячую наклоняла, в пышном красном золоте кос и черном газе голову. Заглядывала ему в сердце — в глаза темно-светлые, отчего пышный знойный рот ее полуоткрывался и страшные расширялись зрачки.

— Кто ты?..— глядел Крутогоров в бездонные колодезя любви и страсти, зачарованный, вдыхая аромат трепетного русалочьего тела.

А та тяжелым водила серым взглядом. Вздыхала:

— Целуй... Люби!..

— Кто же ты?..— с болью шептал Крутогоров.

Погружая свой взор в ее колодезя:

— Кто?..

Низко-низко наклонялась к нему девушка. Подводила свои зрачки к его зрачкам:

— Скажу только... Меня зовут — Тамара.

Шла, склонив голову, по тропинке. Но, остановившись и подумав, оборачивалась. Протягивала медленно:

— Ска-зать?..

— Скажи.

Не сказала. Ушла, низко склонив голову и закрыв лицо руками.

III

А по холмам, опьянев от гнева и удали, крутилась и буйствовала Люда, бросая в мир синие грозы и губя черным огнем.

В Знаменском сельские ухари, замкнув на ключ двери, подожгли школу. В огне погиб учитель, целовавший Люду. Под монастырем же какой-то дровосек за поцелуй Люды зарубил топором монаха. Мужики сходили от любви к ней с ума. Одурманенные ее красотой парни ложились костьми в смертном бое из-за нее.

А она, диким смеясь жемчужным смехом, плясала грозно в буйном приливе безумства и радости. Так жизнь готовила жатву смерти. Но из смерти нетленные вырастали цветы.

За Людой зорко следил Вячеслав. Но она, носясь по лесным непроходимым горам, ускользала от следопыта.

Какие-то темные монахи, бродившие по деревням, шалтали, будто в Люду вселен дьявол и красота ее несет гибель миру.

— Последние времена, братие...— трундили монахи.— Вот она, великая-то блудница на багряном звере!.. Горе, горе... Из-за красоты мир гибнет... Не мы ли взывали: да погибнет красота — орудие дьявола?!

И воистину. Страшна была красота Люды, как смерть.

Встревоженные Людой, души коснеющие искали ей гибели. А губили себя. И не знали, что лучше гибель, чем косность и мертвый покой. Не знали, что красота зажигает их, мертвых, неутолимым огнем жизни.

Из подмонастырской слободки толпа баб, прознав, что монахи бредят лесовухой, а слободку совсем забыли — подожгла ночью хибарку Поликарпа в Знаменском, чтобы живьем сжечь Люду. Но та, в суматохе проскользнув с отцом меж баб, закутанная в покрывало, ушла в лесную моленную. И бабы так и не знали, сгорела ли Люда в хибарке или осталась жива. Но бесились до зари, неистовствовали, кляли ее насмерть и плясали на пожарище дико, справляя тризну.

В лесу увидел монах из Загорской пустыни Люду. Помутившись от похоти, схватил ее на перегиб. Люда, извернувшись, накинула на шею его петлю, мигом сделанную из пояса. И тут же удушила монаха. А труп оттащила в озеро.

От толпы Люда скрывалась.

Но тем лютее Гедеонов преследовал тех, кто в уединении наслаждался красотой леснянки.

Недаром же шла молва, что и дровосек, зарубивший монаха, и ухари, сжегшие живьем в школе учителя за поцелуй Люды,— были подкуплены Гедеоновым. Да и Поликарпу, шалтали, выжег глаза каленым железом все тот же Гедеонов, хоть и твердил лесовик, будто глаза выжег себе он сам, чтоб не видеть жизнь такою, какою видят ее зрячие.

В хороводе, ошалев, исступленно носилась Люда, сводя с ума парней и страстью зажигая девушек. И горел, исходил жаром, дико гикал хоровод. И лились огненные девичьи песни... ах, брали они за сердце, эти то печаль-

ные, то страстно-удалые, плывущие из тайников души песни, русские, старые!

В сладком трепете вспыхивая, ранил грудь до боли печальный, а и удалый, серебряный голос Люды — светлой заряницы.

Но что-то колдовское, лютое таил крутой выгиб тонкого, страстного, шевелящегося стана ее. И жуткое что-то пророчил взгляд, маячивший в темноте невидными безднами...

— Мой любимый!.. Мой!..— как-то изогнувшись, вскинула руками и обвила, точно огненное кольцо, Люда подошедшего к ней молча Крутогорова.

— Моя!..— сжал ее всю, сжег Крутогоров, грозно пьянея от вина любви — старого, огненного вина.

Но Люда, вдруг извернувшись и крутнув гордой в желтом огне головой, вырвалась из крепких рук Крутогорова.

— Прокля-тый!..— топнула она ногой гневно.— Ты думаешь, я забыла девочку-то ту востроглазую?.. И цвет ты думаешь забыла?.. Отплачу я тебе это, ой отплачу!.. Отойди, проклятый!.. А то убью.

— Убьешь — значит любишь...— усмехнулся Крутогоров горько.

— И убью. Побоюсь, думаешь?..— вскинула голову Люда, тяжко дыша.— Убью не убью, а отплачу... Знаю чем.

И, встрепенувшись, выгибая шевелящийся стан, зазвенела:

Катилася зоренька с неба...

Будто серебро рассыпалось. Дрожала песня, металась и тяжко падала над озером, замирая в камышах. Ах, и что это за бархатистый сладкий голос — голос Люды! Боль в нем, огонь, молитва или радость светлая? Из тайников бездонной души, полной бушующих демонов, но и светлой, как солнце,— лился этот голос, страстно-нежный, певучий и звонкий, как серебро. Из-под самого, верно, сердца, опаленного черным светом, шел и пленил слух...

Да упала до Дону...

Хоровод безумствовал. Мужики, бабы, парни, девушки, словно спаянные огнем, крепко держась за руки, с дико откинутыми назад головами, свистя и гикая, крутились вокруг Люды. А лихой, широкоплечий Никола, подхватив ее, знойно-стройную, тонкую, тугогрудую, на руки и закрывая русой своей бородой и кудрями ей пылающее лицо, целовал ее в жаркие губы ненасытимо. И она не отбивалась. Только тихо вскрикивала:

— А-а-а-х...

И жгла тугой своей высокой грудью могутную грудь Николы, извиваясь, как демон:

— Горячей! Чтоб больно было!..

— Горячей...— словно эхо, глухо вздыхал Никола.

Стиснув ее всю, издал в долгом, долгом больном поцелуе...

Ночные волны пели томную радостную песню: благословенна жизнь. Но порванное сердце Крутогорова грустило о любви невозвратной, о любви. Кто шептал молитву? Сад шумел о том, что делает с бедным человеческим сердцем любовь. Не кляни! Не жди. Благословенно все, что любило, но не было любимо. Кто рубины разбрасывал? Зори пылали, огненные зори. В лазурную даль корабли проплывали с серебряными парусами, изогнутыми полумесяцем. За ними шел Крутогоров — навстречу расцвету лесному. Вспомни! Благослови!

Молился лес и вздыхал о любви, о любви. О, полюби и не ищи награды! Жизнь так коротка, и человеческое сердце так бедно. Претерпи! Пройди через огонь, чтобы в пытках обрести радость.

Но нет выше радости, как полюбить и погибнуть.

Под темными прибрежными ветлами встретил Крутогоров вихрастого лесовика-поводыря. Парень, брызгая слюной, бормотал шибким картавым шепотом...

— Сызьяню, гыть, змеерод... тибе та... Дед и послал мине сюды... Покарауль, гыть, змеерода-то!.. Я и караулю, стало-ть!.. Вон ен, вишь?

Тряхнул кудластой головой, откидывая нависшую на глаза жесткую прядь. Почесал правой босой ногой левую.

Темный шумел старый березняк, протяжно и грозно, словно отдаленный водопад. За березняком, в сумраке согнувшаяся чья-то мелькнула высокая фигура.

Гедеонов подходил, вертя острой, сплюснутой головой к Крутогорову:

— Ты Крутогоров?

— Да,— отозвался Крутогоров.— А что?

— Людмилку ты оставь.

— Людмилу?

— Оставь. Да. А то не сдобровать тебе. Тамара...— Гедеонов захохотал люто, топнув ногой.— Тамара разве хуже? Она моя... до...

— Я не покупщик Тамары,— ударил в желтые его колючие глаза Крутогоров.

— Молчи, сволочь!..— подскочил помещик, трясясь.— Убью!.. Я болен... Нет, я не вынесу!..— опустил он руки бессильно.

И, согнувшись, нырнул в шумный березняк.

IV

Жили знаменские мужики ни шатко ни валко. Больше плясали, чем работали. Уж такая у них была повадка — плясать. Да и то сказать, работать-то было нечего и не на чем. Целины, поля, леса — все было полонено Гедеоновым. Только тем и жили, что ловили в озере рыбу да из года в год ждали от царя земли. Не отчаивались.

Хлеба вечно не хватало. А зато много было праздников. Вот когда уж отводили знаменцы душу! От зари до зари крутились по лесам. Бражничали. Нужда играет, нужда пляшет, нужда песенки поет.

Дворов не было. Над озером низкие черетняныя хибарки с ободранными стропилами и поломанными латами хилились по крутым хвойным обрывам, шатаясь от ветра, словно сорочьи гнезда.

За горой, меж еловых лесов глинистое заброшенное поле под Троицу мужики бороздили тупыми прыгающими сохами. А молодухи рассевали лен. Пели песни солнца. А солнце разбрасывало по холмам, межам и рыт-

винам белые алмазы — ландыши и ромашки, красные рубины — дикие розы, светло-синюю бирюзу — васильки и незабудки. И, облив землю страстным огненным лобзанием,— кружилось над дымящимися лесами...

Шумел, в красном купаясь золоте, молодой березняк. В светлой лазури тонули серебряные облака. Молодухи, к земле припав, целовали ее. Пели:

Мати сыра-земля,
Мати-Богорица!
Дай нам счастье-радость...
Пошли долю!..

Из лазоревой дали доля показывалась. Белая, как снег, в жемчужной короне, в цветах и розовом тумане шла по холмам. А сладкозвонные березы клонили перед ней вершины, ликующим приветствуя ее шумом. Но уходила доля за леса, за туманы. Хороводы пристально глядели ей вслед...

Нечаемо откуда наплывала, словно лебедь, одинокая туча. Душистый падал на землю благодатный дождь. А хороводы, в плавной кружась пляске, под шелох диких межевых цветов, пели вечеровые песни...

Туча уплывала. Омытые травы дымились свежим ароматом. Голубоватая мгла окутывала хороводы...

— Мати-Земле — Слава! Слава! Слава! — пели и кружились хороводы.

Жемчужный подходил вечер, и под лесом допахивали мужики поле. Закат погорал, кованым золотом отражаясь в озере.

Мужики, покинув распашье, шли в рощу.

Там под старыми чернокленами разбрасывали пламенники свежесорванные цветы. А молодые духини, прозорливцы и злыдотники зажигали висящие в ветвях берез лесные лампады...

За лампадами, в глубине рощи, стонал — горел и сгорал на нескончаемом лютом огне — Феофан.

Темное, бледным отливающее мрамором лицо его при свете лампад было жутко, как смерть. А раскаленные глаза, казалось, говорили: коли б подал знак, принял тяготу Сущий — солнце Града открылось бы бренному

миру. Но не было знака. И сгорал в нескончаемом огне — в лютой борьбе с Сущим Феофан.

Голова его, в туче черно-седых взвахлаченных волос тяжко, безнадежно опускалась на грудь. Сомкнутые крестообразно, костлявые, восковые руки жутко ломались в огненном выгибе. Феофан часто дышал и тяжко. Металась душа в тоске неизбывной. Кровавой болела болью. Погорала. Града ее мир не принял, не познал.

Все осквернил Сущий, чем жила душа. Все отдал двуногим на поругание.

Покидал дух. Кровавый катился пот и падал градом.

Феофан, зашатавшись, упал. Хотел встать. И не мог. Сил не хватало. Но муки по душе были Феофану. Не нужно ему было надежды, вечности, красоты. Только тягота нужна ему была. И нетленным светила она ему, неприступным светом.

— Ага?.. Круто небось?..— вынырнул откуда-то знаменский поп Михайло.— Погоди, не то запоешь, когда схватят тебя, голубчика... да спросят, где мать?.. Не скроешься, брат, в лесах-то, не-ет!.. Каторга за это.

Медленно повернул к нему Феофан темное лицо. Бросил гневно:

— А вам не каторга?.. За то, что губите души людей ложью?.. За то, что скрыли солнце Града?..

— Тебя дьявол искушает...— шарахнулся поп.

— Ты меня искушаешь!..— сурово и едко жег его Феофан раскаленными глазами.— Крушить!.. Крушить вас!.. Да еще двуногих... Крушить!.. Да еще Сущего... За ложь!.. За то, что избранными считаетесь...

— Как?.. И Сущего?..— запрыгал священник, трепля широкими рукавами рясы.— Сатана!.. Ведь от Сущего исходит только добро...

Но, медленно подводя темные свои зрачки к рябому острому лицу попа, жег его Феофан:

— Добро без солнца Града — страмнее зла... То-то любо было бы, коли б Сущий да подал знак о Граде!.. Не искушал бы ложью своей... То-то верно было бы!.. А Сущий мучит... Да знай молчит...

— За муки — награда... на небеси...— буркнул поп.— Претерпи до конца...

Феофан покачал головой горько:

— Эх, торгаши... Эх!.. Жулики... Воры!.. Награда... Кого вы не продадите за награду? Не убьете?.. То-то любо было бы, коли б не гнались за наградой! Жулики!.. Воры!.. Убийцы!.. Сожрали солнце Града... не подавились, награды-то ждавши?..

Поп, пятясь под березу, бормотал торопливо:

— Ну, заладил... От тебя, брат, ни крестом, ни перстом...

— Ага!.. Видно, не всегда ложь-то помогает?..— язвил Феофан.— Чего ж ты уходишь? Ты пришел нас просвещать светом Христовым?.. Ну и просвещай!.. Только без обмана да лжи чтоб...

Но попа и след простыл.

Кляня Сущего и его избранных, побрел Феофан куда глаза глядят.

— Эшь, во, тоже тешатся... Черти смердючие!..— дико лаялся он, проходя мимо пламенников.— Какая такая красота есть? Ну?.. Вечность?.. Огонь сердец?.. Все брехня! То-то б...

— Замолчи,— внезапно преградил ему дорогу Крутогоров.— Не говори о том, чего не знаешь...

— Жулье! — развевал гривой Феофан.— Все радуются!.. А нет того, чтоб тяготу... принять...

Грустно и испытующе глядел Крутогоров в отверженную, погорающую душу Феофана. Тихим взрывал ее голосом:

— Тягота или Град?.. Истина или вечность?..

Окруженный со всех сторон пламенниками, съежившись, притих Феофан. Низко опустил вахлатую в высокой драной скуфье голову. Но, встрепенувшись и сомкнутые подняв беспощадно хрустящие костлявые руки, затряс ими исступленно:

— Да. Град. А тягота — правда-то — выше вечности!.. Краше Града!.. Крушить!.. Очищать Град. Через Марию-деву... Да... через нее засияет миру солнце Града! То-то любо будет! Крушить!.. Крушить.

V

За темной хвоей что-то вдруг зашумело. Глухие раздались дикие хохоты. Улюлюкая, гогоча, свистя, из-за ельни-

ка высыпала черная орава, это были рабочие с гедеоновской фабрики.

— Кру-шить?..— подскочил к Феофану шустрый какой-то подхалюза.— Нас крушить?.. Ах вы сукины сыны! Да мы вас так сокрушим, что...

Но хороводы стояли невозмутимы. Тогда черняки пристали к старому угрюмому злыдотнику, вычитывавшему что-то при свете свечи из кожаной, залитой воском книги:

— Здоров, борода!

— Здоров, шайка воров!..— окрысился старик.

— Пардон...— заломил было картуз подхалюза.

Но гневным злыдотник заглушил его клекотом:

— Сам ты пардон! Жулик!.. Мы Духа ждем... А вам што тут надоть?..

— Д-у-х!.. Ха-ха-ха! — закатился подхалюза.— Смердяки вы, эх! Скоты!.. Не вылезть вам из навоза во веки веков... Вот вам и Бог...

— Бог — радость!.. Красота!..— зашумели мужики.— Слышишь шум сосен?.. Звон звезд?.. Шепот земли?.. Это все — Бог!.. А живоглоты полонили Бога... Ты не ими ль подослан? — подступали мужики к фабричному.— А?..

— Фю-ить!..— свистнул тот.— С больной головы да на здоровую? Ну и пушкари! Ну и смердяки!.. Ррабы... Подождите, мы вам зададим!.. Да здравствует свобода! — рявкнул вдруг, подкинув картуз вверх, подхалюза.— Доллой Бога!..

— Да-ллой!..— подхватила орава фабричных.— Заходи мужичье проклятое бить!.. Буржуев этих!.. Да здравствует рабочее движение... Да здравствует свобода!.. Долой тиранов — богов!..

Молчавший дотоле Крутогоров, вмешавшись в ораву фабричных, поднял гневный свой голос:

— Вы — предатели свободы... Поймите, меднолобые! Свобода — Бог. Как цветы к солнцу, стремимся мы к Свободе — Вечности — Богу... Но вы в Него не верите... А в медяки — верите?.. Опомнитесь!.. Потому-то, что мы в тлене, нас и полонили двуногие... Вперед же к Свободе — к Вечности!.. Ведь нам по пути с вами?!

— Не-ту Бога!..— гаркнули фабричные.— Дал-лой!.. Какая там, к черту, вечность?..

Сладкие, вливающие в сердце бессмертие, раздались вдруг в листве шумы и шелесты. Над вершинами легкие послышались взмахи белоснежных крыл. Вековые ясени, гордыми купами над рощей и озером высившиеся неколебимо, как стражи,— победным залились многоголосым шумом — гимном... Над жертвенником из цветов светлые затрепетали, светя жемчужными венцами, видения. И ярко озарилась сумрачная роща голубо-алым светом...

А с сладкошумных, качающихся вершин, на белые хороводы мужиков и на ораву фабричных белые посыпались, розовые, голубые, лазоревые и алые цветы. Падали жемчужины благоуханных ландышей, рубины темно-алых душистых роз, распустившихся под теплой росой, словно сердца под молодой любовью, перлы белых лилий, бирюза сирени...

— Ого! — подскочил какой-то вахлач, хватаясь за ворот: — Розы-то откуда это?.. Щекочет... Целая охапка, ого! И незабудки... И сирень!.. Да пахучая... Да что это такой, а?..

— Ли-лии!.. Анютины глазки!..— заликовали рабочие.— Ай да мужики! Лови! Лови!..

Цветы сыпались водопадом. А обрадованные рабочие метались под березами, то ловя падающие пучки цветов на лету, то подбирая их на траве.

— Да постой!.. Ландыши!.. Черт, ей-богу, я рехнулся! — блекотал вахлач.— Колокольчики!.. Голубые!.. А свет — кар-раул! — что это?.. Мы — голубые!.. Гляньте! Гляньте!.. Видения!.. В венцах!..

Под ясенем молча, нахлобучив картуз, стоял подхалюза. Бормотал, спеша заглушить в сердце страх:

— Гм... Наука объясняет это очень просто... Подымается смерч... Кх... Над цветником, скажем... Вырвет цветы... Унесет... Гм... А когда утихнет, ну, цветы и падают... Что ж тут такого?.. А свет — это лектричество...

Но рабочие, опьяненные внезапно нахлынувшей радостью, смеялись над ним:

— Эх ты, лектричество!.. Молчи лучше, Ошарин!.. Не твоего, брат, ума дело...

И пили ароматы полной грудью, осыпанные дождем

сирени, лилий, роз, ландышей, голубых, розовых, желтых колокольчиков. И, с девичьими сомкнувшись хороводами, целовались страстно...

А над жертвенником цветов — о радость без меры, без предела! — вострепетал Дух. Белоснежные раскрыл крылья, облив рощу светом, незаходящим ярко. И постигли пророки непостижимое на земле.

В храм цветов трепетных вводил Крутогоров восхищенных дев, жен, пророков-хлеборобов. И, глядя в сердце причащаемого, в сердце, красоты преисполненное, радости, огня и Града, светлый возвышал свой замирный голос:

— Бери огонь жизни!.. Гори, как свеча!.. Цвети, как роза!.. Уж этого у тебя никто не отымет... Отдайся земле! Будь солнцем своего мира!..

А березы пели, ликуя, сладимую песню. Ясени прислушивались к зовам ночи — зовам земли. Клонили долу свои венцы. Посылали шумливой листвой молитву свету.

Только что-то темное, колдовское таили в себе черные старые дубы. Как будто жуткую тайну знали и собирались рассказать ее.

Но ярко горели светы и лампады. Ярко цветы цвели. И трепетал над жертвенником Дух. И странные лились неслышимые голоса небес...

За хороводами, под волнами молодых берез, тонкие сомкнув закостенелые в огненном выгибе руки, стоял Феофан. Молчал, недвижимый.

Но, видно, зажгла его уже красота. В душе его ароматы, росы, светы, шумы и шелесты цветов, видно, разлили уже огонь жизни...

Затрясся Феофан, увидев что-то непостижимое... Изо рта его кровавая захлехотала пена... А раскрытые до последнего предела глаза, разбрасывающие смертоносные молнии, новым засветились, небывалым от века огнем. Разгоралась душа и бушевала, как кровавая звезда в ночи. В свете ночи увидел Феофан живого, истекающего кровью Распятого — Того, Кто нес и несет тяготу за зло мира...

А может быть, не несет?.. Кто знает... Но если и несет, то почему же Распятый, а не Сущий?.. Почему Сущий отдал на пропятие Сына, а не Себя?..

Опалил Дух душу Феофана вечностью — солнцем Града. Положил на челе его роковой знак.

Над ярким грозовым лесом кружились и кадили светом сонмы белоснежных крыл, бросая непостижный огонь в бездны. С вершин, качаемых белым ветром, падали дождем свежие лепестки.

В голубом огне мужики, обрадованные рабочие, за грозно-исступленным Крутогоровым и окровавленным, опаленным Феофаном, тонких подхватывая, упругих, пламенных дев и духинь, целовали их в груди, в уста кроваво. Носились огненным вихрем... И победные падали клики их, словно всепожирающие языки огня:

— Ох, живот!.. Земля!.. Огонь!.. Ой, утешь!.. Срази!.. Попади!.. Гори, сердце!.. Гори, душа!.. Ох, цвети!.. Радость — Радованье!.. Благодать!..

В сердцах людей открывались непостижные бездны без предела, древний, доначальный хаос и надмирный огонь, попаляющий цветы и солнца...

О хаос!.. О надмирный огонь сердец! О ночь, бездонная и страшная ночь, не затемненная светом звезд и солнц!.. О бездны без предела! О горный свет!

За бездонными пропастями пребываешь ты, о огонь надмирный. И воистину ужасно — думать о тебе. Ибо ты — то, чему нет постижения, но отчего помрачается ум, слепнет зрение и глохнет слух...

Бесчисленные звезды солнца — это одинокие костры в провале-пустыне. Настанет час, и надмирный огонь до последнего луча выпьет свет из них. И бездны поглотят холодные тела солнц... Ибо нет предела жажде надмирного огня, как нет предела холоду и всеистребляемости бездны.

О, зачем свет горний не жаждет тела, а только духа?!. О, зачем огонь надмирный не попаляет холодные, черные бездны, а только — светы и солнца?!..

Но благословенны сердца — цветы надмирного огня и Вечности!.. Благословенны ночи — зори черного света и земли!..

VI

С вечери причастники Пламени, осыпанные цветами и вещим отмеченные знаком, огненной грозой двинулись к озеру в лесную моленную Поликарпа.

В дороге чернец и подхалюза, отделившись от громады, юркнули незаметно в темную хвою — следить за ушедшими в горы пламенниками.

Но злыдота, спохватившись вдруг, догнала Вячеслава.

— Пушша глазу берегли мы Маррею...— наступая на него, свирепо хрипел Козьма-скопец.— А ты сховал яе?..

А худая какая-то, костлявая, с горящими глазами старуха, вцепившись крючками-пальцами в грудь чернеца, шамкая, грызла его:

— Ты шманил Марею!.. Ничый! Джуши тваей дагляжушь!..

— Я ничего... я так,— заюлил Вячеслав, хватаясь за рыжую косичку.— Не лайся, старушка ты Божия... Дух живет где хощет...

— Где Мария?..— подступил к нему Феофан, жуткий, угрозный.— Не скажешь — уйдешь отсюда...

Неожиданно вынырнувший откуда-то поп Михайло, подскочив к Вячеславу, зашептал ему что-то на ухо торопливо, приседая и поглядывая то на злыдоту, то на Феофана. Как будто собирался открыть нечто да боялся, поймут ли.

Но Вячеслав, узким ощупав, ницым взглядом суетливого, белобрысого попа и прислушавшись чутко к жуткому, многоговорящему молчанию Феофана, смекнул, в чем дело.

— Слыхали... ать?..— заблеял он как-то изнутри, увиваясь вокруг злыдоты: — Голова-то сам перешел в Пламень теперь... Потому — знак увидел...

— Брешешь, бесстыжая твоя харя!..— забушевала злыдота.— Рра-зор-вем!..

— Я ничего... я так...— съежился чернец.

Поднялась злыдота на дыбушки. Загудела. Ничего не разобрать. Только видно, как Феофана облепила гудящая саранча. Мужики, бабы, старики рвут на нем подрясник. Трясут его с оскаленными скрежещущими зубами и налившимися кровью глазами. Заклинают и грозят. А Феофан угрозно жутким отвечает многоговорящим молчанием.

— А-а-а! — беснуется злыдота.— Дык ето, стало-ть, усе — правда?.. Ты — изменник? В Пламень перешел? Увидел знак и впрямь?!..

Но молчит Феофан. Недвижным глядит в бездну ночи отверженным взором, вея на мир страшными грозами опаленной своей души.

Злыдота, сломленная, обезоруженная и разбитая, медленно и понуро отходит от своего владыки.

И только пытает издали его истошно, глухо:

— Значит, видел?..

Глухо же Феофан гремит:

— Окаянные! А вы разве не видели?..

Злыдоту охватывает жуть... Козьма-скопец в смятении и ужасе, вихляя кривыми вывороченными ногами, бежит по дороге к озеру. За ним — другие. Костлявая горбатая старуха, скрючившись, догоняет чернеца. Разрывает ему подрясник. Шамкает хрипло:

— Души догляжушь! Никому не поверю, покеда шама не увижу жнак!.. Нехай видють жнак уже либо нихто!..

Прорычала на чернеца свирепо. Высохшим кулаком на него замахнулась. Но не достала и шлепнулась наземь.

У озера громада разбрелась по лесным тропам.

Козьма-скопец, отойдя от злыдоты, понуро плетшейся в горы, долгим окинул ее невидным взглядом. Гаркнул свирепо:

— А у ялышек?.. За составом, скыть?..

Но никто не шел в темный ельник. Жуткое что-то носилось про этот ельник.

Козьма пошел один.

С чадной, тлеющей тускло головешкой ползал Козьма-скопец на четвереньках под темным сплошным навесом хвои. Копал какие-то коренья. Собирал травы. А за ним следил Вячеслав тайком, из-за еловых лап.

Только что вырвал Козьма ночной серый папоротник, как чернец, подскочив внезапно, зашипел:

— Брось, шкопец проклятый... скорей брось, а то...

— Што?..— поднял желтое свое печеное лицо Козьма на багровый свет головни.— Чяготу приймашь? Што ль?.. Ну, хучь ты со мною... А то, скыть, гады!.. Яду им, а не составу!..

— Брось цвет Тьмяного! — колотился Вячеслав, хватаясь за грудь и крутя головой шибко.— Через него — я Тьмяного узнал!.. Понимаешь?.. Бро-сь!.. А то убью!..— взмахнул он ножом.

Козьма молчал, дикими воззрившись на чернеца осовелыми глазами. Но вдруг, распахнув куцынку, подставил Вячеславу грудь:

— Шты-рха-й!.. Божья печать на мне... я, скыть, духом живу... А духа не вбьешь!.. Што-о?.. Ну, штырхай!..— напирал он на чернеца.

Полоснул тот ножом по горлу Козьму. Кровь хлынула из черной раны огненной струей. Залила грудь Козьмы, белую его дерюжную рубаху.

Но устоял на ногах Козьма.

— А-а, шкопец проклятый! — ревел Вячеслав.— Тебе Марию? Я тебе укажу Марию такую, што ты и ноги вытянешь!.. Я тебя проучу, как топить меня... Говори, обещаешь отравить Крутогорова?.. Ать?.. Обещаешь?..

— Што? — скалил зубы Козьма-скопец.— Хучь перерруби мене напополам — не трону Крутогорова... А скорей тибе сызьяню...

— Храбер ты, брат...— прогнусил чернец.— Ну да недаром я караулил тебя...

С размаху пырнул концом в пузо Козьме-скопцу. А тот, шатаясь, достал из-за пазухи пук свежей какой-то травы. Выжав из нее сок, залил рану. Кровь утихла.

Оторопел Вячеслав. Не впервой ему приходилось работать ножом. Козьму он хватил со всей руки. А и с ног не сбил.

— Не вбьешь, грю... Потому — сустав...— хрипел Козьма.— Жисть — дли чагаты нужна... Хвахвана знашь?.. Вжо две тыщи лет живет. А усе зли чагаты... Бают, за смертью, тожет чагата — над... Дык рази вад сустаить супротив мук от духа что, скыть?.. А Крутогорова за што ты хочешь труить?— пытал он.

— Я ничего... Я так...— лебезил уже следопыт, сжимаясь.— Составцу бы мне... Дяденька?.. Ать?

— Што шь, зволь...— засунул за пазуху Козьма руки.— Бох хучь и выдумал смерть, штоб збавлять людей ат чагаты, а сибе ат стыду — дык рази мы не сумеем смерть победить!.. Загартуем усе составом... Нихто не будет вмирать вжо... Денно й нощно будут печь Бога-то — чагатою... Ну, Бох и сдацца!..

— Ать? — отскочил Вячеслав, увидев в руках Козьмы какие-то белые лезвия.— Што это?..

— Ложись, грю! — сердито гукнул Козьма.— Сперва большую царскую печать прими... А там чагату примешь... Ну и суставу, скыть, дам ат смерти...

— Ага! Знаю, какую печать... Нет, дяденька... Я еще к девчонкам похожу... Люблю, што ж!.. Дух живет где хощет...

Захохотал лихо, свистнул и трепанул Вячеслав, залихватски подхватывая полы:

Поставлю д'я келью
Под елью!
Стану д'я в той келье спасаться...
Кривому-слепому поклоняться!..
Штоб меня девки любили...
Молоды д' молодки хвалили!..

— Тьфу! Псюган!.. Песся мяса!..— харкнул ему в свиные глаза Козьма-скопец.

И, выбравшись из-под хвои, глубоким липовым логом зашагал в Поликарпову моленную, что над озером.

VII

А Вячеслав заросшими перепутанными тропами двинулся через парк в непролазные надозерные заросли, где облавой рыскала за жуткой, смятенной Людой гедеоновская челядь.

Шел чернец крадучись и озираясь. А когда, мимо старой проходя запущенной беседки, услышал вдруг шепоты и шорохи,— прилег к земле грудью. Замер.

В цепком кизиле, выдержав стойку, согнувшись, подполз к беседке. Заглянул в щель. Сердце его сладко и тревожно затохало. У двери стояли, склонив головы и отвернув в темноте друг от друга лица, Гедеонов и Тамара.

Тамара, задыхаясь, говорила глухо и больно:

— Я же твоя дочь... Или мне лгали, что я дочь твоя?..

— Ты... любишь? — пытал ее Гедеонов, гнусавым своим голосом забираясь ей в сердце.— Говори! Хлыста-то этого?..

— Я пропала! Пропала!..— ломала руки Тамара.

— Как же мне не сойти после этого с ума? — злобно

крутил головой Гедеонов.— Я хотел только через тебя... добиться одной цели... А вышло, что цели не достиг... А ты втюри-лась... И в кого же?.. В хлыста! Черт ли в нем...

Стонала Тамара с плачем, безнадежной болью в голосе:

— Ведь ты ж отец мой? Или ты не отец мой?..

А Гедеонов, близко-близко подведши узкие свои щелки к заплаканным глазам Тамары, гнусил в темноте горячо, страстно, прерывисто:

— Ты — моя дочь... это верно!.. Ну так что ж?.. Уж если кому пользоваться тобою, Тамара, так мне... твоему отцу... моя дочь, а делить ложе с нею будет другой!.. Какой абсурд! Да и своя кровь — горячей!..

За кизилом, притаив дух, то прикладывая ладони к ушам, то выпячивая длинную козюличью шею, ерзал Вячеслав, грудью по траве, мокрый от росы; мутным глядел, блудливым глазом. Слушал, причмокивая:

— И-их, вон оно что!.. Дух живет где хощет... И-их, а ведь он повалит ее сейчас...

И ждал, потирая блудливо руки, дрожа, что же будет дальше?

Но на крутосклоне, откуда лились огни дворца, рассыпались вдруг визгливые крики и смех: толпа девиц спускалась по аллее вниз. Быстро выскочив из беседки, с досады сломав хлыст, пошел Гедеонов, пригинаясь, навстречу толпе.

А Вячеслав, затрусившись, боясь, как бы его не увидели, пополз на брюхе в кизилову гущерь. Выждав же, пока ушла Тамара, встал. Перелез через ограду. Вытер изгрязненный подрясник и махнул в колдовской надозерный бор.

В бору мужики, рабочие, девы, духини, собравшись, гадали на венках.

Завидев Вячеслава, буйная и гадливая злыдота шквалом на него кинулась. Захлестнула его. В жуткую погрузила волну.

— Следопыт! Следопыт!..— шарахались девушки.— Неспроста он тут...

— Ах ты ранджега чертова, лярва!..— напустилась на чернеца злыдота.— На хитриши бьешь? Рассорить нас хочешь? Брешешь, хрида приблудная, стерва, за голову

свово мы в огонь пойдем! А тебя проучим, курвель, домушник, разорвем!.. Аде Марья? Рразорве-м, коли так...

— Я ничего...— бормотал Вячеслав, пугливо озираясь.— Ей Бог ж, всю зиму Марию гоняли стражники, потому как без пачпорта она... Может, и смерзла где...

Лебезил и, разглядывая исподтишка духинь, дрожал больной дрожью: в хороводе, гибкая, извивалась вещая Люда. Здесь ли челядь? Поможет ли она следопыту схватить ту, за которой годы слежено?

— Маррею нам! — ревела злыдота.— Не уйдешь, оглоед чертов...

— Бросьте! Ну его к черту...— вмешались рабочие.— Охота связываться? Сходитесь в хороводы... Зачинайте песни!

— А и то!

Девушки взялись за руки. В плавном поплыли шевелящемся плясе, приударили в ладоши:

— Ой, тушь! Ой, ну! Ой, девки, люли! И молодки, люли! А как старые чертовки — да вперед загули!

Грозно как-то и зловеще выгибалась Люда — строгая, молчаливая и неприступная. В ночных недвижных русалочих глазах ее держались ужас и тайна.

Но хоть и скрывала Люда что-то от мира и даже от себя,— следопыт знал, отчего была она молчалива и ходила с ужасом в недвижных бездонных глазах.

— Ага... Притихла...— втягивал он в плечи острую свою рожу.— Погоди... не то еще будет... это еще цветки...

Качалось под вздохами ветра и пенилось лунное озеро. Молодые серебристые ивы, вскидывая косы-ветви, точно девушки на заре, вздыхали радостно и протяжно. Над волнами плыл нырявший в облаках месяц, сыпля белое золото.

Хороводы, выглянув из-под шелома сосен, хлынули шалым прибоем к волнам. Лунный огонь ударил в хохочущие лица девушек. У волн духини завивали венки.

Мужики и рабочие, ввалившись в качавшиеся на волнах лодки, пустились по рябому серебро-лунному озеру. Раздольную грянули песню, старую:

За рекою огонь горит,
А все чернобылье.
Ой ладо, ой ладо,
Ой ладотеньки,
А все чернобылье...

Звонкие и хрупкие девушки, дрогнув, подхватили с берега:

Да куют тамо кузнечики,
А все молодые.
Ой ладо, ой ладо,
Ой ладотеньки,
А все молодые...

Гадали на тельниках. У березы, купающей гибкую свою верхушку в волнах, на устланном коврами цветов откосе, духини и девушки, короткие расстегнув кофточки и обнажив молодые, крепкие, белеющие как мрамор груди, снимали и вплетали в ветви тельники. Клали перед ними по поклону. Поцеловавшись, обменивались тельниками. И, сбросив с себя одежды, упругие, радостные, сцепившись за руки, смеясь и крича, дикой кидались ватагой в бурливые волны.

Горе девушке, потерявшей в волнах обмененный тельник!

Над жутко-темными, с серебряной чешуей волнами, изломленная, бушевала и вскидывала гибкими руками Люда. В неизбывной тревоге маялась и никла гордой, увитой тяжелыми золотыми жгутами, головой... А в сердце ее черные вихри крутились, грозя и паля, зловещие зовы, мольбы и проклятия: Крутогоров.

— А-ах! — тошновала она и билась о волны и грозила: — Дайте мне его!.. Я разорву его!.. Крутогорова... А-ах, да раздушу ж я его, проклятого...

Вячеслав, присев за ивняком, не сводил раскосых глаз с ее круглых, как гранаты, огненно-белых, с розовыми сосцами грудей, стройных ног и точеного живота. Но не шевелился, часто дрожа холодной больной дрожью: Люда, сеявшая вокруг себя ужас и пытки, страшна была ему, как смерть.

VIII

В Купалову ночь в ветхой лесной моленной шабашили лесовики.

Косая плетневая хибарка набита была битком. Красносмертники, злыдота, бродяги, бобыли, побирайлы, ехи, кликуши, блудницы и ведьмы носились и лютовали, словно черти. Под бревенчатым шершавым потолком сплошной стоял гул.

В красном куту, взобравшись на лавку, гнусил, словно безносая прогнившая потаскушка, измотавшийся сиплый Вячеслав:

— Смерть живоглоту! Ать?.. А и насолил же я ему! — хихикал он гнусно.— Гедеонову-то!.. Как же! Проведал это я... какая-то девчонка взята им была... на ночь... Смекнул я, что спасти можно девчонку... Тишочком да таечком — к лакеям... Те бай-дужи... А я возьми да и выведи ее из дворца-то... Што ж вы думаете? Узнал, пес!.. Убить меня теперь собирается... Понимашь?..

Тонкий гнусавый голос его дребезжал и кололся в безудержном плясе и гуке. Какой-то грузный обормот, развалившись на скамье, тыкал себя в пузо и грохотал:

Ажанили, ажанили,
Ай, на бабе, на Нениле!..

— Эй! Бесстыжая харя! — гукали на следопыта злыдотники.— Замолчи!.. А то — разнесем! Знаем мы, как ты спасал девчонку...

Дрожала моленная от гула и топота. Неистовые пляски живота в гудящий сливались огненный клубок.

В блудливое, дрожавшее больной дрожью тело Вячеслава огнем вливалась похоть. Одурманивала его. Над ним бело-розовая извивалась, вишнегубая Неонила, дыша на него горячо и часто.

Но только что Вячеслав, осмелев, схватил ее, как на него гуртом наскочила злыдота.

— Шкада проклятый!— царапались бабы.— И тут шкадить?..

Вячеслав, отбиваясь от баб, крутился и юлил около Неонилы. Подмигивал ей:

— Ну как твой лесовик? Берегись, девка, Андрон точит на тебя ножик...

Неонила молчала. Но, вскинув васильковые, открытые свои глаза, лихо тряхнула золотыми кудряшками:

— Кого хочу, того люблю. Андрон мне не указ. Гуляй знай!

— Сердце мое! Хо-хо! — лихачом подвернувшись, подхватывал ее на руки вихревой, гривастый лесовик.— Обожми! Хо!

Шевелил серыми, нависшими над черными глазницами, как лес, бровями. Пурговую вскидывал, лохматую гриву, носясь с Неонилою в круговом плясе...

Тряслась хибарка. Перед окнами суровым и темным шумом шумели старые, побитые грозами березы. За ними медленно, словно нехотя, в темноте ворчал дальний гром. В лесу росла и надвигалась гроза.

В тесной толпе, смешавшись с зипунами и кожухами, от страха пригнув голову, юлил Вячеслав юлой. Подслушивал мужиков да мотал себе на ус.

— Ну, што нам с тобой делать? — стискивали его мужики.— Говори, змеево ты семя...

— Какой энто змей? — фыркал Вячеслав, крутясь волчком и за белесыми ресницами пряча ницые глаза.— Я — за вас же... А вы не соображаете этого?

— Каккой ента змей!..— кривлялись мужики.— Бытто не знает, што... Гедевонов — от змея?..

— Как так? — прыгал чернец.

— А так. Матка евонная подкинута была старому барину. А как выросла — с змеем спуталась... От змея и родила Гедевонова-то... Ведь он твой батька? Бытто не знает!..

Кружились духини. В окна, вперемешку, били протяжные колдовские шумы берез, острый кровавый свет молнии и гул отдаленного грома. Находила гроза.

Засокотал дух.

С ревом и свистом громада понеслась вкруг стола. А на столе, вдруг вскочив, выпрямилась во весь рост тонкая стройная девушка, с головы до ног завернутая в белые покрывала, страстно облегавшие молодое вздрагивающее тело...

Увидев чистую, пали лесовики перед ней ниц в жутком, внезапно наступившем молчании.

Поцеловал стопу ее Поликарп. И покрывала упали вдруг с ее плеч, как жемчужная пена...

Вспыхнула чистая заревом наготы своей и бездонного, изнутри светящегося взгляда. Над беснующейся, гудящей громадой затрепетала с благословляющими белыми нежными руками и черными кольцами волос, скатывающимися по розовой тугой груди. Знойное девичье тело ослепляло, как молния. Било в глаза нестерпимым огнем...

Радостное что-то и жуткое запела громада. И, крепко и тесно сомкнувшись, огненным понеслась вокруг девушки колесом...

В свирепом реве и визге духини и ехи сбрасывали с себя одежды. В плясе кидались на кормчих. И, сжигая их огнем страстей, обвивались горячими потными руками и ногами. Гикали исступленно. Кроваво целовались, впивались острыми зубами в щеки и губы мужиков...

Перед девушкой зажглись вдруг свечи. Огненное тело закровавилось. Озарилось все до последней тени. Даже те, что, забившись в далекий угол, не разглядели сперва девушки хорошо за сумраком,— теперь увидели ее всю, ярко освещенную, и узнали.

Ахнул Козьма: Мария!

Знать, недаром устрял за Козьмою и пролез на корабль Поликарпа следопыт. Псу нужна Мария. Не сдобровать ей теперь. Утащит ее следопыт к живоглоту. Пронюхает же, дьяволово отродье?! Надо спасать Марию. А то осквернят, живоглоты.

Но только что Козьма, пробившись к столу, протянул навстречу Марии руки, как лесовики, схватив его за шиворот, отбросили к порогу. Со зла и боли разбил Козьма ямошником окно, впился кому-то зубами в ягодицы, опрокинул на себя скамью...

Воздев перед Марией руки, величаво и жутко громада загудела:

— Ра-аду-й-ся... де-во Марие... Радуйся, чи-и-ст-ая...

Потушили свечи. Оставили только лампаду. Трепетно подняв руки, опустила их над громадой Мария.

Подошел к столу, дрожа, ощупью, Поликарп. Шершавыми скользнул пальцами по атласистому телу девушки.

Приник к ногам ее страстными, обнесенными вьюгой седых волос, огненными губами.

За Поликарпом пошла и громада, припадая к ногам Марии страстно. И когда подошли последние — погас огонь.

В темноте разразились нечеловеческие рычанья. Толпа заметалась люто, закрутилась по моленной, заслоняя окна, чуть маячившие в стенах. Ехи и духини падали уже наземь, визжа и крича безумно-диким криком.

Ударила молния, страшным алым огнем облив все так же стройно, веще и неподвижно, как изваянье, стоявшую на столе Марию.

В хлынувшей за молнией темноте ухнул гром, точно земля провалилась в тартарары. А над ударом взвеялись черным крылом вопли лесного сладострастия, огня и мук.

Очумелый Вячеслав, прыгая по горячим потным телам, нащупал в темноте стол. Волосатыми обхватил, холодными руками ноги Марии, скуля тонко и нудно кошачьим своим голосом:

— Уходи, Мария! Вишь, какой тут ад?.. Уходи! Ать?..

Но, дрогнув, вскрикнула Мария хрупко:

— А мне ад-то и люб!

Как-то больно и надорванно прохрипел Козьма, услышав голос Марии и голос следопыта. Через горы тел ринувшись, загремел кулаками по столу и завопил благим матом:

— А внимись, дух! Следопыт, скыть, Мар-рею уносит!

Но сокотал дух. Не унимались лесовики, духини и ехи. Не утихал шабаш, а все больше разрастался. Даже гром не покрывал беспрерывного жуткого рева и воя, свиста, регота, скрежета и хохота...

И вдруг раскаты грома и гул толпы покрыл высокий, радостный и вдохновенный клич Марии. Но не клич Града и света, а клич тяготы, гибели...

Обхватил ее Козьма поперек. И она страстно, до боли, знойными обвилась вокруг него руками и ногами. В жуткой жажде страдания забилась кроваво... Вот когда только суждено ей принять тяготу!

Но вдруг страшнее прежнего ахнула, ударила лютая молния, превратив все в сплошное солнце. Увидела Мария, кто ее держит. Узнала Козьму-скопца, ненавистни-

ка плоти и гибели — смерти... Больно и глухо отшатнулась:

— Пусти-и! Погибели хочу... Затем и пришла сюда!..

Протяжный и всесокрушающий ухнул удар. Расколол землю надвое. Оглушил и без того обеспамятевшую Марию...

Козьма, завернув ее в полы зипуна, выскочил с нею из хибарки. И, не глядя на ревучий дождь, шалые колдовские скрипы и удары грозы, в жуткую понес темь старого, мятущегося леса...

Дождь гудел в ветвях, словно ураган. Бил в мужика и извивавшуюся в его руках обнаженную, трепетную девушку грозным водопадом.

Книга третья

КНЯЗЬ ТЬМЫ

I

Как-то шумели ветлы. Прорывалось сквозь серебряные крылья жемчужных туч копьеносное солнце. Шла по горе алая Люда, с сизыми, как потухающий закат, русалочьими глазами, таившими роковые бездны. В грозовом солнце встретил ее Крутогоров. И сердце его ударилось больно, зловеще и тяжело, заслышав зовы бездн, их роковой и неотвратимый полон. Но из синих, огромных, русалочих глаз глядела на него кровожадная, смертельная ненависть, и нескончаемая жуть, и страхота, и пытка...

Безнадежно опустив голову, молча прошел Крутогоров мимо Люды. На крутую, затерянную в диких горных цветах и ясенях, таинственную дорогу вышел. Но только больше уже ничего не видел вокруг себя, не слышал, не знал за пышными русыми косами, гибким, змеиным станом и сизыми русалочьими глазами, маячившими словно черно-багровые зарницы... И цветы при дороге — были все те же огненные, загадочные цветы: Люда.

Непонятное что-то поразило ее и роковое. И душу ее, ее огромные русалочьи глаза ненасытимая переполнила ненависть к миру. На нем срывала она эту ненависть, смеясь черным смехом, круша и убивая. Ходили слухи, что ею отравлялись ключеструи, колодцы и источники. И она же душила шелковым своим поясом всех, кого ни встречала наедине, хитростью, дьявольской улыбкой и ловкостью обезоруживая жертву. Но что удерживало ее губить Крутогорова?

В глазах ли ее — в синих безднах, хранивших ужас и тайну, яды мести смертной тому, кто полонил ее и вселил в нее ненависть,— не отстоялись? В сердце ли? Но только

она зачем-то ждала и молчала. Не затем ли, чтоб внезапными огненными бурями сокрушить его?

А Крутогоров, кляня и благословляя любовь, мать ненависти и бурь, одиноко и недоступно жил в старой башне, на крутой горе.

Нога непричастного не ступала туда. Но тихими зорями, словно кровавый призрак, приходила на гору Люда. Глядела с высоты вдаль, за леса и реки. По чем-то неведомом томилась. И пропадала в лесу. И не знали, зачем она приходила на крутую гору. Знали только, что в глазах ее — проклятие и ужас.

В лесной расцвет бродил Крутогоров по белым медвяным травам, обнимавшим сердце свежим радостным шумом и певшим сладкую песню. В глубоком черемуховом молодняке встретились с ним хмельные, дикие лесные хороводы. А из хороводов, гордую приподняв голову, глядела непонятным, упорным, сизым взглядом русалочьих глаз Люда. Ждала. А может быть, смеялась и проклинала. Русые, пышные волосы ее тяжелыми вились, желтыми, цвета поздней ржи плетями вокруг головы и белой лебединой шеи. Ложились на точеные плечи литым золотом. Прикрытое короной их алое наклоненное лицо кровожадной улыбалось улыбкой. Как будто проклинало и мстило. А и грозно лукавило жутким, непонятным лукавством огромных, дьявольских, сизых глаз.

В древних диких полях, в степной землянке жил Крутогоров наедине с Богом.

И по вечерам, в спелый, желтый, сонно разливающийся океан ржи стройно-знойная приходила, гибкая Люда. Склонив голову, глядела в закатную огненную даль. Жуткие ловила предвечерние зовы. Вздыхала безнадежно-тяжко: Крутогоров.

Литое золото волос ее сливалось с кованым золотом заката и поздней ржи. Огромные же глаза все так же таили бездны, и ненависть, и тайну, и пытки...

За нею, кровожадной, недоступной и невозможной, издали следил Крутогоров. Но так и не узнал, зачем приходила она в закатную степь? О чем были ее думы, чем полно было сердце ее? Видел только, как маячил на закате алый ее сарафан да пылали неутолимым огнем синие ее бездны и кровавая улыбка...

В огненных муках любви, ненависти и проклятий шел Крутогоров, не помня, куда и зачем. А в сердце его цвели кровожадные цветы и пела, точно ураган, колдовская песня: Люда.

Проклял ее Крутогоров страшным, смертным проклятием. Ушел в пустыню. Но и в пустыне, в последний раз, приходила Люда. Пытала Крутогорова. Звала и вырывала из груди сердце, уходя недоступной и невозможной...

Только теперь догадался Крутогоров, отчего Люда, в последний раз встретившись, не опустила, как прежде, лицо, не отвела огромных сизых глаз — черно-багровых зарниц,— но долго, долго, недвижимо, в лютой ненависти поглядела на него и отвернулась. Она уходила, эта смертельная, заклятая любовь, навсегда...

Но тихо теперь в сердце, как в саду, где лишь изредка переплескивались с вечерним светом липы да плыл сладкой волной малиновый звон. Будто ходил кто-то невидимый и нежный, скликая на землю ангелов. А на земле лазоревые цвели цветы и, что перлы, переливались по клейким лепесткам росы. Малиновый звон манил за сизые дали узывчиво, с жемчужно-белыми сливаясь далекими туманами... Над стройной, белой сельской колокольней, овеянной пухлыми темными липами, белокрылые вились ангелы. Звонили в серебряные колокола.

А зачарованный звоном и зовами-снами, зовами ночи, перешептывался Крутогоров с цветами:

— Кто зовет меня?

Но цветы шелестели лепестками:

— Не знаем.

Смутно Крутогоров чувствовал:

— Это она...

И шел, цепляясь за распустившиеся мокрые розы, влекомый малиновым звоном, к синим жемчужным туманам. А в сердце его цвели черные змеиные цветы. Молчаливые бушевали, окованные демоны. И пел звездный ураган: Люда.

Крутогорова кто-то окликнул. В аллее звенел шпорами, пригинаясь, Гедеонов. Вострые, впалые, суженные глаза его в сумраке неуловимо кололись, как концы игл. Продолговатая голова качалась, как у змеи, приготовившейся к нападению. Его бил недуг.

— Я... тебя не узнал...— дымил он сигарой.

Плевал яростно на цветы. Скрипел зубами:

— Чер-рт... Не знаешь куда и деться от этой дряни!

Ноги его тряслись.

— Отовсюду прет эта гадость... Негде вздохнуть!

Цветные почки разрывались под теплой росой. Лил аромат. А ночные зори пылали голубыми пожарами. Но Гедеонова только мутило это. Ибо красотой зорь, звезд и мира наслаждались люди. Гедеонова же радовало только то, о чем не только прокаженные и рабы, но и сильные, подобные ему, Гедеонову,— не знали, не догадывались и чего не видели никогда.

Красота цветов, зорь, солнца хоть и не так остро, как одаренных священным огнем свыше, а трогала Гедеонова. Зажигала восторгом. Но тотчас же и подымала на огненных копьях зависти и ревности. Ибо не одному ему на свете была дана...

Зацветала ли голубая заря, вспыхивало ли светло-алое, победное солнце — Гедеонов, забыв про зависть, в сладком замирал восторге... Но смертельно жаль ему было, что не на одного его брызнули златотканые лучи солнца. Лучи эти вливали ему уже в сердце не наслаждение, а смертный яд. Проклинал он солнце... Закрывал глаза и в темноту бежал.

Кадил ли ароматом распустившийся, обрызганный росой мак, шумел ли протяжным шумом лес, баюкая сладкой музыкой,— также, забыв про зависть, трепетало сердце Гедеонова от нахлынувшей, словно сон, радости. Но пробуждалась зависть сатанинская и ревность всепопаляющая.

— Как проститутка, эта природа...— харкался Гедеонов.— Всем доступна... Но и проститутка рабу или прокаженному не отдается... А природа к этим-то и благоволит больше...

Солнце Гедеонов клял и хулил непрестанно. И никогда не показывался на яркий солнечный свет, чтобы не унизиться перед рабом, к кому солнце благоволит больше, чем к властителю мира.

Вот если б надеть на земной шар этакое чехло — мечтал Гедеонов,— чтобы скрыть от людей солнце, звезды, облака, дожди, да устроить бы нечто вроде аренды-отку-

па на небо, солнце, звезды и дождь,— ну тогда бы другое дело!..

Тогда бы уж Гедеонов не проклинал мир, но благословлял бы. Под всемирным-то колпаком облюбовал бы лучшее на земле место, насадил бы сады красоты невиданной, с фонтанами, озерами, водопадами, обнес бы их высокой гранитной стеной, открыл бы солнцу и дождям да и жил бы один-одинешенек, наслаждался бы единственной в мире, никому не ведомой красотой сколько душе угодно.

А если б кому захотелось взглянуть на солнце животворящее — в темноте-то, без солнца и влаги, под колпаком долго не проживешь,— Гедеонов за дьявольскую пытку (без пыток ему и жизнь не в жизнь, и красота не в красоту) открыл бы над какой-нибудь ямой небо и солнце — любуйся, счастливец!

Но уж ни за какие пытки в мире никого не пустил бы к себе за гранитную ограду...

Хорошее дело — колпак над землею и аренда-откуп на солнце!

Но опять обжигало Гедеонова бурым огнем зависти неутолимой и ревности. Ведь раньше-то люди наслаждались красотой мира — как же быть с теми? С них уже откупа не возьмешь. Да и никакие откупы не утушат всеопаляющей зависти к ним...

— Положим,— размышлял Гедеонов,— те, о ком говорят, будто они наслаждались жизнью,— только на самом деле мучились... Может быть, это все фантазии поэтов да историков...

Зато тех, кто живет и наслаждается красотой теперь,— Гедеонов подушил бы под колпаком, ой подушил бы!.. Уж отомстил бы за прежнее упоение красотой...

— А как же с будущим? — тревожился Гедеонов.— Ведь после меня проклятая чернь все-таки найдет путь к солнцу?! Попередушить ее загодя?.. Но как же без пыток быть?.. В смертный страшный час на пытке только и можно будет отвести душеньку...

— Эка! — утешал себя он.— С будущим можно будет покончить единым махом. Когда к тебе придет смерть — нажми этакую кнопку, чтоб от земного шара не осталось и следа и чтоб потом ничто уж не жило.

Но — грызло Гедеонова и сверлило винтом — чем отомстить той твари, что вот теперь, вот в этот миг упивается зорями огненными, душистыми цветами, звоном звезд и музыкой лесного шелеста и волн, испытывая от радости бытия, от священного огня, заложенного свыше, может быть, такое счастье, такой восторг, какого ни один властитель мира не испытывал и не испытал бы, даже если бы заставить солнце и звезды светить, а землю цвести и волнами петь — только для него одного.

Ибо тот царь, кто хоть и одет в рубище, хоть и задыхается в грязи и ярме, но глубже постигает красоты мира, а не тот, кто носит драгоценные одежды, побеждает миры и царствует над ними, но глух к красоте.

Не отомстить презренным! Не утолить зависти!

— Н-да... кое-что я про тебя слыхал,— покосился на Крутогорова Гедеонов, и голова его закачалась, как у змеи, приготовившейся к нападению, а правая кривая нога затряслась, гремя шпорой,— мне с тобой надо поговорить.

II

По берегу озера, запавшего в темную хвою гор, лазоревый всплывал туман. Над горами — деревушки, скиты, дальний Загорский монастырь, белый мраморный дворец Гедеонова, обнесенный острыми, как копья, тополями, и приземистая белая же каменная церковь в шуме яблоневого сада тонули и гасли в вечернем голубом сумраке, словно неведомые призраки или тайные стражи.

Когда-то скиты, моленные и кельи были Гедеоновым заколочены. А жившие в них пророки, подвижники, глашатаи Града и прозорливцы сосланы в Сибирь.

Когда-то все Знаменское и окрестные деревушки трепетали от одного имени Гедеонова. Теперь же мужики не боялись больше его. Ждали грозы.

Гедеонов, удалившись в город, копил месть и пытки проклятому мужичью. Только изредка приезжал летом из Петербурга в Знаменское с княгиней Турчанской, в молодости отбитой им у мужа, и ее дочерью, семнадцатилетней русокудрой девицей Тамарой.

Сад, мелькавшие под яблонями кресты, надмогильные камни, мраморные памятники и поросшие папоротником могилы оцепляла сбегавшая по крутосклону каменная ограда. Через сквозной проход меж могил широкой дорожкой сходил к озеру Крутогоров молча. Гедеонов, не отставая от него, трундил:

— Да... Наслышан, наслышан... Тут к тебе есть дело...

— В чем же оно? — повернул лицо Крутогоров.

— А вот узнаешь...

Перед мраморным могильным памятником с плачущим ангелом Гедеонов, упав вдруг на колени, поднял голову кверху:

— Помяни, господи, болярина Владимира...

Встал. Грустно покачал головой:

— Дед мой. Душа-человек был...

Но, тихонько захохотав, ткнул сапогом в могилу остервенело. Медленно, со смаком выплюнул:

— Нравственность все наводил... Ну я ж его и навел. О боже, прости меня, окаянного! А его помяни, мать бы...

Вплотную подойдя к Крутогорову, Гедеонов тронул его за плечо:

— Не-ет... Это что-то... невероятное! Видел я красивых женщин... Но это что-то... невероятное!

— Людмила? — дрогнул Крутогоров.

— Ха-ха! Затрясло?..— захохотал глухо Гедеонов, держа качающуюся, вытянутую голову на отлете.— Ну, Людмилка — это еще что... Вот Старик — да. Замучил Он людей! Заканал. И так-то молятся они Ему... И этак-то... Все Ему мало! Маклак! Жид! Плохо молятся? Так что ж это за Бог, коли молитв глупых требует! Хвали меня, дескать. Ку-лак.

За липой, качаемой темным ветром, вспыхнула вдруг свеча в церкви. Гедеонов вздрогнул. Подскочил, вихляя кривыми ногами, к кованой двери. Загремел замок. Свеча потухла.

— Церковь заперта?..— удивленный, спрашивает Круготоров.— А в церкви кто же ходит?

Гедеонов, вытянув вперед приплюснутую голову:

— А вот увидишь.

И вдруг, в приклепленную к двери икону Саваофа харкнув, заскрипел люто зубами:

— Я разве мучу? Вот кто мучит! Я разве...

— Га-ад,— тихо, как бы нехотя, бросил Крутогоров.

— Я? — подскочил Гедеонов.— Ого! Да ты, брат, смел... Но не бойсь, я тебя не убью. Да. Гад. А кто не гад? Ты меня ешь, я — тебя... Мужиков теспю я, то да се... А меня мужики милуют?..

Качал медленно головой. Колючими водил, жеглыми глазами, чуть видимыми в сумраке.

А сумрак прилегал к земле строже и гуще. Голубая ночь, притаившись, словно заговорщик, колдовала жемчужным колдовством. Протяжными пела шумами, травами и цветами. Светила алмазным ожерельем звезд и лазоревых зорь.

— Разве это — красота?— вздвигал плечами Гедеонов, харкаясь на цветы.— Да и вообще есть ли красота? Никакой такой красоты нет Это самообман так называемых... поэтов. Фантазии.

— Мир — красота,— прервал его Крутогоров.— Да от вас, гадов, красота скрыта. Вот вы и проклинаете мир!

— Скрыл еси от мудрых...— подкидывал Гедеонов, кладя сухощавые свои руки на плечи Крутогорову.— Это верно. Нам пользы подавай... Хороший обед, а не красоту... Красота мне — зарез. Некуда уйти мне от этого ножа души моей! — странной дрожал он дрожью.— А вы всю жизнь режете меня этим ножом!

Голос его, гнусавый и тонкий, глох, и все тело тряслось.

— Положим, все сильные ненавидят красоту...— утешал себя Гедеонов вполголоса.— Такие, как я; Иисус тоже ненавидел красоту...

Опустил голову. Махнул презрительно костлявой рукой:

— А все же — это только жидок средней руки. О господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня, окаянного!..— сокрушенно вздохнул он.— Для меня жиды — звук пустой... Но из-за одного этого жидка я бы всех их поперерезал! Оставить целый мир в дураках — это...— осекся он, должно быть испугавшись Крутогорова.— Ну да, Иисус — бог... Но зачем он родился от жидовки?.. О матерь Божия, прости окаянного! У-ух и не-нави-жу ж

я жидовку! ...У-у-х-х... Жиды переняли меня... И не-нави-жу ж!..

В саду захохотали сычи, вещие совы. Под обрывом ветлы, взрытые черным ветром, то ползли шевелящимися валами, а то, подняв свои дикие гривы, кидались на озеро, будто львы...

А пьянеющий дальше и больше от злобы Гедеонов, уже не сдерживаясь, сжимал трясущиеся кулаки:

— Кр-ро-вушка!.. Крровушка-матушка!.. Только она и спасает меня... Как напьюсь кровушки... солененькой... теплой, живой... липкой... Так душенька и отойдет... Не будь крровушки-матушки — можно было б с ума сойти!.. Каждый — и жид! И прокаженный! И раб! Каждый целит быть... Богом... Зарез! Зарез! Мать бы...

Гремел саблей. Харкал:

— Сво-лочи! А душонки-то — трусливые, сволочи. Спасибо, хоть кровушка-то не по плечу, сволочам... А то — хоть ложись да помирай...

Под церковью вдруг глухо что-то загрохотало. Дикие понеслись оттуда крики и топоты. В окнах замаячили смутные отсветы и огни... А свисты, хохоты неслись и неслись...

Гедеонов, прислушиваясь, захохотал и сам — долго и протяжно, острым тряся, загнутым клином бороды. Захохотали по ветлам и совы.

Из-за поднявшихся на дыбы черных куп, опрокинутых в озере, красная выглянула остророгая луна на ущербе. Свет ее, жуткий и неживой, упал на горбатый нос Гедеонова, на покатый его узкий лоб и рыжие волосы.

В красном свете ущербной луны хохотал Гедеонов безотрывно, чем дальше, тем громче, раскатистее. Плечи его колыхались от гнусного, ехидного, кровожадного хохота. Жуток был этот хохот и жесток, как ласка палача.

— Ей-богу, а ведь мы с тобой какие же преступники? — гнусил он.— Только сболтнешь другой раз лишнее. В церкви-то вон как запузыривают черти! Завидно, ей-богу...

— Все? — подступил вдруг к нему Крутогоров.

Гедеонов, насторожившись, дернул кривой, в звонкой шпоре ногой, вытянул вперед качающуюся голову:

— Нет, не все.

Притаились ветлы. Сразу как-то умолкли совы. Тишина

перемешивалась с сумраком. Подкрадывалась к сердцу.

— Я русский человек, хоть мать моя и немка...— подбежав вдруг к Крутогорову, схватил его за руки Гедеонов.— Ведь я вот генерал... Жидка какого-нибудь я и близко не подпустил бы! А с тобою вот запанибрата... Потому что русский ты... Самородок, можно сказать! Хоть ты и хлыст... Так вот, я хотел сказать... Хорошо бы открыть бы... в церкви-то!.. радение, так сказать... Ты туда духинь своих приведешь... Хлыстовок-то... И эту... как ее... Людмилку... Собирать девчушек да кровушку из них, по капельке хоть, и пить... Ведь тебе-то, надеюсь, как самородку, по плечу кровушка-то? Это разным там сволочам не по плечу...

Протяжно и сладко вздохнул Гедеонов.

— Зна-ю, что ты и ска-жешь... Ну да что ж делать...

Но Крутогоров молчал.

А Гедеонов был сам не свой. Голова его дергалась то вправо, то влево. Руки тряслись.

— Что? Что? — маялся он.— Очень нужно! В каждом — огонь священный... Все поэты!.. Все вдохновенны!.. До последнего идиота... Думаете, одни вы чисты сердцем? Только вам открыта красота? Всем!.. Все тайновидцы и пророки! Нет нищих духом! Мы не нищие духом, а хранители духа... А вы торгаши духа!.. Думаешь, я не постигаю красоты мира?.. Да я молчу об этом! Я велик, а молчу, мать бы...

Вобрал голову в плечи. Отскочил от Крутогорова к паперти:

— А Людмилку я давно бы отбил у тебя, да ведь как я помирюсь, что она была твоя?..

Крутогоров, спускаясь вниз, от церкви к озеру, все так же молчал.

— Да. Уж, видно, весь я в тлене и смраде,— гулко гнусил ему вслед Гедеонов.— Растерзать меня надо... Так и быть. Приготовлюсь. Выпью чашу сию... А пока — попьюсь кровушки... Солененькой... Горячей... Кр-ровушка-матушка! Ах вы мои девчушечки голопузенькие!..

Отомкнул тяжелый, зловеще гремевший замок. Вошел в притвор, закрыв за собою дверь наглухо.

Из-под подземных сводов, не переставая, глухие неслись топоты, свисты, гики. Крутогоров молчал, опустив

голову. Больно и тяжко билось озеро под обрывом. В саду черный ветер, взрыв глубокие вершины, поднимал шум и раздувал звезды...

III

Как-то так вышло, что незнакомка с лицом, завернутым в покрывало, в парке, подкараулив Гедеонова, с размаху пырнула его ножом в брюхо да и скрылась.

Гедеонов упал. От сраха чуть не отдал богу душу. Но, окровавленный, все же приполз в дворец на корячках.

В доме гости, ахая и убиваясь, перевязали ему рану и уложили его в постель. С усиленно удрученными и старательно заплаканными лицами вздыхали горько, подперев щеки, подхалимы:

— Не пощадили, злодеи... Где же справедливость?.. На отца своего дерзнули!..

Отойдя же к двери, ворчали вполголоса:

— Жив остался, подлец... О чтоб его черти ободрали!..

А иные, чтоб отличиться, осторожно, шепотком, советовали на ухо Гедеонову немедля же взяться за розыски злодеев. Но Гедеонов молчал. Только сжимал кулаки да желтыми скрипел, гнилыми зубами.

Через неделю рана зажила. Как будто ничего и не было. Казалось, не за что было мстить да и некому. Но забрело Гедеонову в голову, что незнакомку подкупил Крутогоров с мужиками.

В подворье согнаны были черкесами селяки.

— Ага! Сволочи, мать бы...— крутился и брызгал слюной перед ними рассвирепевший помещик.— Заговор?.. Мятеж?.. Сотру в порошок! Законопачу! Загоню дальше солнца!.. Говорите, где эта шкуреха! Людмилка-то?.. Чтоб сейчас была мне представлена! Чтоб сейчас, мать бы... А не то — позакатаю! И... Крутогоров этот...

Но мужики, глядя в землю и откашливаясь, мяли в руках шапки понуро.

— Нешто мы знаем?..

— Чтоб сейчас!.. Шкуреху, и Крутогорова этого самого... Ну! Марш! — командовал Гедеонов.

Вдруг из толпы мужиков юркая вынырнула, суглобая попадья с бледными щеками и синими кругами у глаз. Повела густыми, черными бровями, вскинутыми словно крылья. Топнула ногой, глядя исподлобья на Гедеонова:

— Это я была! Ну? Я буду и ответ держать.

— Варвара...— шарахнулись мужики.— О господи!.. Черт с младенцем... Связались жа!

Гедеонов, пряча глаза, остолбенелый, звенел шпорами. Мычал, мотаясь по подворью:

— М-м... И ножом, значит... М-меня?..

— И ножом, значит,— развела Варвара руками.— А то как же?..

— За что, мать бы...— гремел шашкой и ежился Гедеонов.— Ах ты, стерва!

— За то...— подступила Варвара к балкону, стуча себя в грудь.— Кровь мою кто пил?.. Ты?.. А в церкви под алтарем шабашит по ночам — кто?.. А невесты отчего сходят с ума?.. Кто их бесчестит?.. Ты?.. Ты-ы?— хрипела она.— Бери меня в острог! Ну! Бери! Вешай меня! Бей!

Гедеонов, ошеломленный, опрокинутый, крутясь и сжимая кулаки, шмыгнул за стеклянную дверь дворца. Тонкий долетал оттуда до толпы, гнусавый голос его:

— В гроб уйду, а не забуду стерве! Законопачу! Загоню дальше солнца, мать бы...

Мужики трясли бородами свирепо. Гулко, норовя, чтоб услышали гости и челядь, лаялись:

— Рвань... Костоглот, сукин сын!.. Кровопивец... А еще генералом прозывается...

И, окружив Варвару, пытали ее миром:

— Так, значит, шабашит?.. Под церковью-то?..

— Шабашит, милые...— крутила головой попадья зловеще и загадочно.— Шабашит, враг...

Но мужики знали и без нее, что шабашит.

Гедеонов — князь тьмы. Древние сбылись, седые пророчества. Мать Гедеонова — тайная дочь царевны и жида-нехристя. И зачат был ею сын ее от демона,

летавшего по ночам и делившего с ней ложе черной, запретной любви.

Потому-то Гедеонов и колдовал на огне и мраке, справляя шабаши, то в монастырях, то на кладбищах...

В молодости Гедеонов каверзничал и шабашил на миру. Открыто покупал в Петербурге актерш, публичных девок, курсисток, молодых жен чиновников, бедных девочек. В полночь вез их на кладбище. И там, раздев донага, мучил на могильных плитах...

Монахов, сторожей и городовых приходилось подкупать.

— За деньги — все можно купить,— говаривал Гедеонов.

И дрожал, точно в лихорадке, заслышав звон золота...

Но надоедала любовь продажная. Да и жаль было денег. И Гедеонов местью, угрозами, звериной своей красотой брал великосветских красавиц. В любви ему везло, как дьяволу. Княгиня Турчанская из-за него бросила даже мужа.

А все же не забывал Гедеонов и девочек. Пил кровушку.

Дед его, прознав про какую-то чересчур уж жуткую каверзу с девочками, отрекся от него. Отреклась и мать.

Отобраны были у Гедеонова дедовские особняки, фабрики, имения, заводы. Мать оставила ему одно только Знаменское.

— Подковал меня старый черт, мать бы...— изливал душу Гедеонов единственному другу своему, Офросимову.— Без денег — какая это, к черту, жизнь?.. Ни тебе девчушек купить, ни тебе за границу поехать... Зарез! Зарез.

Утешал его Офросимов. Но он, дрожа и крутясь, екотал люто:

— Де-нежки-и!.. Деньжу-шечки!.. Где теперь мне достать их?.. А уж и докажу ж я старому черту, коли достану денег... Докажу!..

Делать было нечего. Удалившись в Знаменское, жил во дворце Гедеонов один-одинешенек. Копил месть всем и всему. Ждал молча смерти деда и матери. Боясь отравы да убийства, не выходил из дворца. Изредка только в ясные ночи подымался на башню, откуда следил в телес-

коп за движеньем светил, делая какие-то вычисления. Ибо Гедеонов не чужд был науке. Книга его «Проблема мироздания» даже вызвала шум в ученом мире, как бахвалился сам помещик...

Как-то ранней осенью, когда исходившее последним светом солнце обливало сады, подобные золотой сказке, и вышитый серебром рек бархат чернозема, Офросимов, проездом за границу, завернул в Знаменское навестить друга, а то и взять его с собой попутешествовать в дальние края.

Обрадовался Гедеонов другу.

Но, узнав, что с Офросимовым деньги, странной задрожал дрожью:

— Ой, де-нежки! — тер он уже лихорадочно руки.— Жди того наследства, мать бы...

Не мог дышать ровно. Дождавшись вечера, потащил друга на прогулку.

За скрытыми чернокленом беседками, в саду, под непроходимыми рядами жасмина, вдруг, выхватив револьвер, выстрелил в упор в Офросимова.

Упал тот навзничь. Безнадежно раскинул руки. И умирающие, помутнелые глаза уставились на Гедеонова упорным взглядом... Непереносимо страшен был этот взгляд. Мир содрогнулся бы от него... Гедеонов же только отвернул острое, перекошенное лицо. И чтобы скорее прикончить друга, хляснул его дулом револьвера по темени. Серые мозги, перемешанные с кровью, брызнули по траве...

В саду вырыл Гедеонов тайком яму. Закопал труп друга. В спешке забыл даже взять деньги.

Перед рассветом уже, преследуемый странными голосами и призраками, вспомнил, что ведь деньги-то остались... Но откапывать труп было поздно. Впору было только заметать следы убийства...

Следы Гедеонов замел. Но его точило. Напрасно искал он, как бы избавить себя от пыток, странных голосов, привидений и вещих знаков кары...

Поставил часовню с неугасимой лампадой на могиле друга. В навьи проводы, тайком, закопал крест. Но не помогло. Умирающие, непостижно страшные глаза преследовали его и пытали лютой пыткой...

— Выстрою-ка церковь на крови...— надумал Гедеонов.— Говорят, помогает...

И закипела работа...

Из-под разобранной часовни каменщики нечаянно, закладывая фундамент, вырыли полусгнивший труп Офросимова, изъеденный червями и подземными гадами. В страхе разбежалась рабочие...

А Гедеонов, ощупав гнойный, зловоенный труп, достал из-под шелкового жилета толстый кожаный бумажник. Подсчитал деньги — десять тысяч. И, обрадовавшись, что на постройку церкви как раз хватит, зарыл труп там же. Каменщикам же строго-настрого заказал шалтать о трупе.

— Это — утопленник...— твердил он перепуганным рабочим.— В озере утонул... Ну, а как утопленников хоронить на кладбище запрещено — его тут и схоронили...

Каменщики подмагивали:

— Как же они под комплицу его засунули-то? Чудно что-то...

— Не поймут, дураки! — кипятился Гедеонов.— Часовня после была поставлена, мать бы его...

Выстроили церковь. Освятили.

Но не помогла и она Гедеонову. Призрак с жутким, непереносимым взглядом ходил за ним и пытал люто.

Прослышал Гедеонов про злыдотников, пророков зла. Переодевшись странником, пошел тайком к ним в лесные их кельи. Но злыдотники велели не залечивать язвы духа, а растравлять их.

— Не-ет, это не дело...— стискивал Гедеонов зубы, уходя от злыдоты.— Клин надо вышибать клином...

Тогда же злыдотники по доносу Гедеонова высланы были в Сибирь, а кельи их заколочены. Сам же Гедеонов уехал опять в Петербург шабашить по-старому, по-бывалому. Но теперь уже скрыто и тайно.

Было открыто «общество защиты детей от жестокого обращения». Гедеонов, собирая на улице приглянувшихся ему бездомных девочек и мальчиков, вез их к себе в дом... И там насиловал их. А после, строго-настрого запретив им говорить, где были и что с ними делали, отпускал.

— Клин надо вышибать клином! — скрежетал зубами Гедеонов, дрожа и сжимаясь.

Узнавший о его приезде дед-вельможа, боясь мести, сменил гнев на милость и пригласил внука к себе во дворец.

Но Гедеонов не очень-то шел к деду. Только раз как-то нечаянно залучил в особняк к нему с молчаливой, странной какой-то девочкой.

Старик-вельможа, больной и дряхлый, лежал уже в постели. Приход внука его очень обрадовал.

— П... По-целуемся...— шептал больной, подставляя Гедеонову посинелые, полумертвые губы.— Прощаю все... Прости и ты... Ради бога...— молил он внука.

Но тот, не глядя на старика,— выслал сиделку и затворил в спальню дверь.

— П... про-щаю...— бормотал вельможа.— Про-сти-ии ты... А?..

— Ага... старый хрыч...— прошипел Гедеонов, задыхаясь.

Молча раздел перед глазами больного девочку донага. Завязал ей платком рот. Надрезал сосцы.

— Кр-ро-о-вушка! — хохотал Гедеонов, костлявыми стискивая, длинными пальцами хрупкое тельце глухо стонущей и бьющейся девочки.— Ой, кро-овушка-матушка!.. Ах, девчушечка ж ты моя голопузенькая!..

Впившись, как пиявка, в грудь девочки, горячо сосал из нее горько-соленую, обильно льющуюся густую кровь. Пил жадными глотками. Ныл:

— Кровушка... Кровушка...

Разбитый параличом старик, вперив остановившиеся, расширенные, побелевшие глаза в Гедеонова, непонятное что-то промычал. Шевельнул чуть заметно синими, непослушными губами да так и застыл...

Вытер Гедеонов залитые кровью губы. Подошел к деду. И зеленые острые глаза его налились сукровицей...

— Я-я т-тебе покажу, как нравственность наводить...— екнул он, трясясь и брызгая ядовитой слюной.

Схватил старика за горло внезапно и емко, как удав. Поднатужившись и грузно навалившись на него грудью, беспощадно, точно обвалившийся камень, придавил его,

онемелого, синего, увидевшего свой конец, к стене...

Руки Гедеонова были крепки, как железо.

Сгорел старик. Тело его, посинелое и закостеневшее, скомканной валялось на постели, поломанной грудой под шелковым одеялом...

Гедеонов поднял с ковра нагую, окровавленную, тяжко и глухо стонавшую девочку. Одел ее, обессиленную, немую. Вышел с нею молчаливо и бесшумно из спальни через ряды раззолоченных комнат на улицу. И, усевшись в ожидавший его у подъезда закрытый бесшумный автомобиль, укатил глухими переулками в загородный вертеп...

Ночью у высокого цинкового, отделанного под золото гроба шла панихида. Гедеонов как ни в чем не бывало суетился уже у гроба, расставляя свечи. Хлопотал около вельмож, сослуживцев деда, приехавших отдать последний долг... Утешал убивающуся мать свою — дочь вельможи.

Три дня и три ночи Гедеонов, при зажженных свечах, самолично читал у гроба деда Псалтырь... Только изредка чтение прерывалось чуть слышным, тонким хохотом, странным и глухим:

— Ха-а... ха... Клин надо вышибать... клином...

За защиту детей от жестокого обращения Гедеонову дали звание камергера.

IV

Темно и тревожно расползались по Петербургу слухи о камергере-деторастлителе.

Наряжено было тайное следствие. Но из этого ничего не вышло. Гедеонов замел следы. Сам же уехал за границу.

Год Гедеонов, веселясь, провел в заморских странах.

В каком-то чужестранном городе встретил он красавицу землячку. Влюбился в нее. А она — в него.

Влюбленные, обручившись, уехали в Россию, в Знаменское — венчаться. Гедеонов спешил со свадьбой, так как ему нужно было где-то, кому-то доказать, что и он чтит святость брака и верит в бога...

Был задан в Знаменском свадебный пир. С сумерек

над озером в саду зажигались разноцветные китайские фонари. Огненным взвивались ключом ракеты.

Гедеонов, на храустальном балконе розового китайского домика, обрызгиваемого светлыми фонтанами, перед невестой своей, одетой в голубой и белый шелка, мечтательно и томно раскинувшейся в кресле бледной девушкой, опустившись на колени, целовал ее ноги больно и сладко:

— Ой, сладость моя!.. Не утолю любви я. Не утолю!..

В голубом странном свете фонарей и выглянувшей из-за каштанов полной луны, словно кукла, дрожала и вскрикивала девушка, лукаво-испуганные вытаращив на Гедеонова, шальные глаза. Но что-то не девичье, много изведавшее, было в улыбке губ ее. Страстно и гибко разметав ноги, руки, светлокудрую откинув назад голову и выставив юную, тугую, как мяч, грудь, глядевшую из-под шелка острыми сосцами врозь,— дразнила девушка собой сгоравшего от похоти Гедеонова. Пьяным глядела на него, бесстыдным взглядом. Улыбалась томно-дерзко. Медленно и протяжно вздыхала:

— Ох, скоро ли!..

А Гедеонов обхватывал ее поперек длинными костлявыми руками. Точно переломить ее хотел. Худой прижимаясь, шершавой щекой к ее бледной нежной щеке, рычал исступленно:

— Съем! Съем!.. Наслаждение ты мое!.. Ог-г...

Сжимал девушку, так что та задыхалась и стонала от боли. Брал ее полудетскую кукольную головку трясущимися руками. К тонким подводил, кривым губам. Целовал до крови, прикусывая губы и дрожа. Шептал, задыхаясь:

— Не вытерплю... Не утолю любви! Как вспомню, что голенькой.... тебя буду держать... девственницу... так дух и захватит!.. Никто-то тебя не видел еще голенькой... А я буду держать и... Сладость моя!..

Мял ее остервенело. Тер в руках. Но она, измученная, не отбивалась. Только стонала:

— Перестань... ах, господи... Перестань, больно...

Да не переставал Гедеонов, ломал тонкие ее детские пальцы. И целовал кровожадно, словно зверь. Сладкую сосал, разжигающую кровь ее из красных прокусанных губ... Только когда уже сестра невесты, услышав стоны,

прибежала на хрустальный балкон,— Гедеонов утих с безжалостными своими ласками. И, взяв на руки невесту, сошел с нею к озеру.

Из верхнего сада музыка лилась. Ветер качал шапки каштанов, обливаемые синим огнем луны.

В лодке, подплыв под черное крыло каштана, целовал Гедеонов, мучил девушку ненасытимо. А та стонала, бледная и измятая...

В дворце пылали огни. Гремела музыка. Страстно и влюбленно перешептывались увядающие осенние травы и цветы, разливая пьяные ароматы и росы. Хороводы горячих, бредящих женщин носились, словно одержимые, в огненной языческой пляске по дорожкам...

В церкви, под венцом, всенародно Гедеонов, упав на колени перед невестой, убранной в светлый шелк и алмазы, целовал подол ее платья. Вскрикивал яростно:

— Сладость ты моя!.. Вот когда утолю я любовь!..

В дворце ночь напролет пиршествовали и веселились гости. Гедеонов и невеста, ликующие, слегка утомленные, вскруженные плясками и вином, с горячими, затуманенными страстью глазами, сыпали улыбки, радость, искристый, звонкий смех.

Перед рассветом молодых проводили в розовый китайский домик.

Два-три смельчака, пробравшись тайком через хрустальный балкон в верхний этаж домика, подслушивали припавшими к полу ушами за Гедеоновым...

С час было тихо. Как вдруг внизу, в спальне, что-то зашумело, оборвалось. Раздались хрипы и стоны.

Перепугавшиеся смельчаки, подхватившись, кинулись через балкон вниз, в цветник. А там уже метался выскочивший из окна в сад в одной рубашке обезумевший Гедеонов. Глухо шипел, корчась, около фонтанов, словно передавленный колесом гад:

— Про-бу!.. Объегорили!.. Околпачили! Подержанную девчонку всучили... В дамки, сволочь, прошла... И это в семнадцать лет!..

В отцветавшем саду, полном страшных шумов и осеннего бреда, взвивались ракеты. И музыка неистовствовала. Жутко маячил на горе, при свете зари, залитый огнями

дворец. А у фонтанов, свирепо рыча, метался диким зверем, полуголый скрипел зубами Гедеонов.

Свадьбу все-таки доиграли. Гедеонов назавтра о том, что его объегорили, молчал, точно в рот воды набравши. А смельчаки боялись рассказывать.

Но скоро молодая захирела.

Ее Гедеонов мучил каждоночно, допытываясь, кому она отдала девственность? Упорно молчала истерзанная, разбитая женщина.

Не прошло и полгода, как она отдала богу душу. И никому не ведомо было, что ее доконачал Гедеонов. Ведь он так горевал и убивался по ней!

Но горевал и убивался Гедеонов не по жене. А оттого, что его объегорили. Всучили ему в жены подержанную девчонку.

— Не потер-плю-у обиды! — рвал он на себе волосы.— Вознагражу себя!..

Кусал себе руки и диким стонал, свирепым стоном...

В алтаре Знаменской церкви, под престолом выкопал Гедеонов пещеру, сделав крытый ход с клироса. Перенес туда чудотворный престольный образ. Двенадцать неугасимых лампад возжег перед ним...

Мужики только диву давались: притих Гедеонов, пропал где-то, словно его и не было.

А он в подпрестольной жил келье.

Старый поп, обрадовавшись, что Гедеонова, безбожника и святотатца, осенила благодать, отслужил благодарственный молебен. Место же, где жил Гедеонов, назвал: святая святых.

Туда опускались на поклон только больные, за чудом.

Также опускались в подпрестольную келью к чудотворному образу из-под венца невесты, за благословением.

И одни. Благодати больше.

Только красивые невесты выходили оттуда смертельно бледными, шатающимися и разбитыми...

V

За старым запущенным садом, раскинувшимся вокруг белой каменной церкви, над крутосклоном низкая хили-

лась, крапивой заросшая и бурьяном, хата. В окнах ее желтые цвели анютины глазки. А стекла были выбиты.

В Знаменском велось так уж издавна. Каждая хата была низка, коса, а в окнах были выбиты стекла. Ничем одну хату от другой нельзя было отличить. Но хату старого попа Сладкогласова можно было отличить тем, что в окнах ее вечно цвели анютины глазки, а около ворот постоянно вертелась шустрая, жеглая, мутноокая Варвара, что наводила на все Знаменское страхоту своими заговорами, нашептами и приворотами. Варвара была приемыш попа.

На зиму уезжала она учиться в епархиальное.

Но как только расцветало красное лето и Варвара, вернувшись в Знаменское, бралась за свое,— мужиков, а особенно баб опять жуть охватывала. Томила смертным томлением.

Когда же какая-нибудь напасть или приклюка вваливалась во двор, волей-неволей приходилось идти к суглубой молоденькой ворожее. Варвара будто бы зналась с нечистью, и по ее напущению черти бедокурили среди мужиков. Мужики просили ее избавить от бед и напастей.

А она закатывалась низким, недевичьим смехом... Строго и мутно глядя в глаза мужикам, наливала красного вина в чарку и отламывала ломоть хлеба. Дула и плевала под ноги. Давала мужикам хлеба с вином.

— Ешь тело... Пей кровь!..— строго шептала она, низко и жутко.

Все шире и шире, все дальше и дальше толки расползались по округе и пересуды, будто поповна заставляет мужиков есть тело и пить кровь Иисуса Христа. Наводит на селяков жуть и страхоту. Насылает напасти, порчи, приклюки, болезни, глады и моры.

Кабы не призналась Варвара, что сном-духом не знает про колдовство и порчи, а вовсе — отводит от мужиков беды отговором на хлебе и вине, подходом, выливом и заломом,— громада разнесла бы ее. И костей не оставила бы.

Бедокурил, стало быть, Гедеонов. Недаром же прошла слушка, что он отмаливает грехи в подпрестольной келье. Наколдует да и отмаливает...

В бурю деревья в его саду, шла слушка, не качались.

На посевы его не падал град. Огонь не брал лесов, гумен и дворца Гедеонова. Ему покорялись тучи, огонь и бури. И служило солнце.

Гедеонов хотел — звал холод. Хотел — жару. Заговаривал дождь и росу, отчего травы засыхали, вяли цветы и хлеба. Накликал и укрощал ураганы, вихри, водовороты. Завидев чертову крутню — метель,— бросал в нее нож. Вихрь пропадал, а на ноже оставалась кровь зарезанного черта...

В полночь выходил Гедеонов на озеро. Вызвавши водяного, заводил с ним разговор и брал ключи от пекла.

Также улетал Гедеонов с ведьмами на тысячелетний дуб. На ведьмовском шабаше беды мужикам стряпал. Бед этих было столько, что и не перечесть...

Как мужики не догадывались об этом раньше? Все нашепты эти да наговоры понапугали. Сколько было шептуних на Руси, а не слыхивано, чтоб на хлебе и вине шептали. Ну и пошло, будто ест тело и пьет кровь Иисуса Христа поповна, да и мужиков заставляет.

Отводить-то беды наговорами Варвара и отводила. А только неспроста. Может, Гедеонов надумал какую-нибудь каверзу на мужиков. Вот и научил поповну отговорам. Темно все и путано. Враг ли Варвара или друг мужикам?..

Хорошенько-то ее никто и не знает. На народ она не показывалась.

Жутко было ее лицо. Не лицо, а смерть. Щеки бледны. Извилистые, сомкнутые плотно губы тонки и строги. Взгляд под черными крылатыми бровями суглуб и мутен.

В глаза поповна никому никогда не глядела. И никто не знал, какие у ней глаза. Чуялось только, что мутны они, и черны, как туча, и остры. В зрачках ее будто бы люди и звери отражались вверх ногами. Знак, что она ведьма и продана дьяволу...

Будто и веселилась Варвара. Носилась, как жесть, из дому в лес, из лесу в дом. Низким хохотала, недевичьим смехом... Пела мужицкие песни... А все-таки жутко-печальное было в ней что-то и зловещее.

То лютая на нее находила грусть. То смерть сердце вещувало. Обставляла она себя иконами, крестами. Окуривалась ладаном. Загадочные твердила молитвы...

А то охватывала вдруг Варвару ненависть. Кляла она мужиков. Божилась, что кабы власть да сила — поперецала бы их всех...

Когда старый поп Сладкогласов умер, к Варваре прислали молодого бурсака. Михайло должен был занять место Сладкогласова.

Венчали Михайло и Варвару в Знаменской церкви приезжие попы. Венчали вечером.

Из-под венца, радостная, трепетная, спустилась по каменным ступеням Варвара в глубокую, душную, двенадцатью зелеными лампадами освещенную келью. Упала перед чудотворным образом ниц... А к ней вдруг, выскочив из-за перегородки, олютелый, подбежал Гедеонов. Опрокинул ее, ошеломленную, жутко молчавшую. И, трясущейся навалившись на нее, задыхающейся грудью, заткнул ей рот платком. Скрутил ее едкими, крепкими и тяжелыми, как железо, руками. Сжег.

В черной и смрадной пытке раздавленная лежала Варвара, не шевелясь, слыша только, как горячая захлестнула ее, жгучая, как вар, волна стыда и срама...

По голым ее ногам, по всему открытому, беззащитному телу холодные скользили, костлявые руки. Мацали ее... Жгли, словно раскаленное железо...

Все закрутилось у Варвары... Искрометным колесом пошло... Огненный меч пересек ее пополам... Но и острое дал, крепкое, как яд, наслаждение...

В жгучем, кровавом огне подняла она мутные, косые глаза свои, черные, как туча. Широко раскрыла веки. Узнала в чудище, мучившем ее,— Гедеонова.

И вдруг, захохотав зловеще и дико, стиснула зубы... Обхватила гибкими молодыми руками, обвила собой трясущегося Гедеонова, как лоза... Черная сладострастная колдунья разгадала князя тьмы...

Перед темным образом горели кровавым, жутким зеленым светом двенадцать лампад...

VI

Ни много ни мало, десять лет шабашил так Гедеонов, наезжая на лето из Петербурга, в подпрестольной келье.

Селяки, прознав про гедеоновские каверзы, унесли чу-

дотворный образ в лесной скит. В церковь же перестали ходить.

А это-то Гедеонову и нужно было. За то, что ему всучили в жены подержанную девчонку,— он себя вознаградил. Невест-девственниц ему уже не нужно было. Шабашить любо было с гулящими девками.

И Гедеонов шабашил по ночам. Ключ от подпрестольной кельи всегда был у него. Да и днем Гедеонов все чистил что-то с девками в церкви и мыл... Поп Михайло боялся его, как огня, и не встревал. А может, попу и невдомек было...

Только селяки дозволяли Гедеонову. В глаза звали его гадом, кровопийцей и живоглотом. Справили бы его и в Сибирь. Но при дворе у него была рука. И начальство все-таки боялось трогать генерала, и шла про него жуткая молва...

Копил Гедеонов, копил кровавую месть на мужиков... Но молча ждал до поры до времени.

Черная подошла гроза. То здесь, то там, словно волны разгневанного черно-бурунного моря, вахлатые и обомшалые мужики подымались. Глухо и жадно, в смертельной к вековым обидчикам ненависти, ночные бросали в небо зарева огня. И пылали высокие скирды хлебов над осенними полями, как зловещие свечи над гробом...

Гедеонов, сам того не ведая, насытил лютую свою, годами копленную месть. Реками крови насытил...

В молчаливом, багровом урагане вставала Русь. Погорала на нескончаемом огне обиды и гнева. Вещие, роковые клики звали ее на кровь. И кровь лилась реками...

Перед кликом свободы — был клик мертвого ужаса. И Русь, закрыв глаза, как зачарованная, шла от смертельной тишины в бездну, в войну — не все ли равно! Но то не война была с бедным правдой и душой, но хитрым, кровожадным и вероломным татем — Японией. Нет! То боль была неугасимая, боль тишины смертной, и всеопаляющая тоска...

Кощунственно подняв знамя Восходящего Солнца, пытал тать Русь, сожигая сынов ее отравленным свинцом. В ночи люто подкрадывался и вероломно к уже сраженным, к раненым и безоружным. И одна ужасающая бойня сменяла другую ужасающую бойню...

Русь. Родина! Неужели же ты простишь все это?

И отравленный свинец, и бойни раненых, и смертельную, кровавую обиду?..

Неужели сердце твое не полно неукротимой, вечной ненавистью, зловещим, навеки ненарушимым обетом мести?!

Запомни, Русь, Родина! Запомни! Отомсти Японии.

Полмиллиона растерзанных, отравленных свинцом сынов твоих, горячей, смертной напоивших кровью досыта поля Манчжурии, стучит из могил костьми: отомсти!

Полмиллиона сынов твоих, изуродованных, ослепших, сошедших с ума, с оторванными руками и ногами ползает по площадям и дорогам, немой посылая тебе, отчаянный крик-вопль, смешанный с кровью: отомсти!

За обиду смертную! За отравленный свинец! За бойни раненых и безоружных. Миллионы отцов, матерей, сирот, вдов в тоске и горе неизбывном клянут тебя, Русь. Зачем, зачем простила поругание, проклятая родина?!

О Русь, так отомсти же! Кровью отомсти, солнцем Града, муками! Подобно Христу, неслыханными муками своими отомстившему поругателям своим...

За грозой ужаса и тишины — шла освобождающая гроза гнева и светов. Алая разрасталась гроза. И небывалые загорались над Русью, животворящие зори...

Но, как дыхание мора, ядовитые проносились над ней, смертоносные ехидны. И трупами несчастного, поруганного Израиля запруживались реки, овраги и рвы. И костьми завоевателей свободы бутились дороги...

Сатана, багряные раскрыв крылья, правил над Русью кровавый свой шабаш. Грозового же солнца Града полуослепшие сердцем и духом, слишком долго томившиеся в темнице лжи и тлена люди не увидели, не узнали...

Глухо, неслыханным пораженный кощунством, замыкал народ душу свою навеки. А его кляли и проклинали одни, мучили, пытали и казнили смертью другие...

По градам и весям расползшиеся ехидны разрушали дома, убогие, поразвалившиеся хибарки селяков... Сметали скиты, моленные — корабли и кельи взыскающих Града. Жгли часовни и сборни. Вешали, расстреливали и обезглавливали побежденных...

Гедеонов послан был из Петербурга покорять восставшие

села. И он покорял, сея вокруг себя смерть. Реками крови утолял смрадную душу свою. Насыщал зависть и непонятную, лютую месть жадно! А двуногие, ликуя, служили молебны.

Когда, сплошным застигнутое грозовым шквалом, поднялось с двукольем древнее Знаменское, Гедеонов нагрянул с черкесами, открыл по хибаркам огонь. А поджегши село, ловил опальных мужиков...

Связанные, обеспамятовавшие, падали те на колени. Приносили повинную.

Но Гедеонов еще пуще свирепел. Пытал мужиков на гвоздях и пепле.

Прикрутив веревками шею к ногам, клали черкесы каждого на дыбу. Рубили, что есть мочи, лозой, перепаренной с солью и битым стеклом...

С дыбы иссеченных, черных от руды мужиков тащили на ворок. В длинную шеренгу клали. По проломленным, оруделым мужичьим головам тупыми били железными каблуками. И черная кровь клейкими густыми потоками сплывала по загорелым лицам и растрескавшимся шеям...

— Что же вы нэ рэвэт?..— усталые, ворочали белками палачи-черкесы.— Мы устэл... Рэвэт, чорты!..

Но мужики молча лежали. Только жилы их передергивались смертно.

— Нэ рэ-вэ-ть?!..

Рассвирепевшие, озверелые черкесы забивали им в пятки гвозди. Концами кинжалов вырезали на спинах кресты. А горячую, бьющую ключом кровь затаптывали пеплом, битым стеклом и солью...

— Теперь-то вы у меня не зафордыбачите, мать бы...— топал тряскими ногами Гедеонов.

В застенке Гедеонов теперь дневал и ночевал. Самолично рубил мужиков нагайкой с железным наконечником. А изрубленное тело заливал известью и рассолом...

Красивых и статных, поставив на раскаленную, добела, шипящую сковороду, дыбила челядь, приговаривая:

— Вы пригожи? На господ похожи?.. Хороши, сахарымедовичи! Господ бить нам раете, а сами же в господа норовите попасть... Статочное ли дело?.. Это только господам милостивым полагается красота... А мы не имеем никакой полной правы...

— Ве-р-но! Дыби их, мать бы... Я царь ваш и бог... Я не по-позволю... Не позволю красивых рож носить, да еще ра-бам-м! — обдавал мужиков Гедеонов пеной, пьяный от пыток.

И распинал их на дереве, едкой скручивая веревкой и рубя висячих железными прутьями, пока хватало сил...

В ночь пыток лядащий какой-то мужичишка, в рваном кожухе и латаных, набайковых портах, подбежав вдруг к балкону, кинулся на Гедеонова с концом косы, обернутым в тряпку.

У Гедеонова была только пробита шинель. А зато мужичишку черкесы, схватив, посадили на заостренную рогатину. Перебили ему суставы на руках и ногах и скрутили веревкой череп...

Кровавая забила у мужика пена. Черная руда потекла из-под него по рогатине густыми запекшимися шматьями. Взбухли на висках и сделались черными жилы. Налившиеся сукровицей глаза полезли на лоб. А черкесы скручивали голову все крепче и крепче...

Мужичонка уже хрипел смертным хрипом... Но крутить не переставали.

Когда череп, не выдержав каната, затрещал, как разбитый горшок, разломился и серые вывались из него, окровавленные мозги, Гедеонов, ткнув сапогом в дымящуюся, кровавую чашу черепа, захлюпал:

— Ну чем он виноват?.. Подстрекли его... Он и пошел... Господи, прости ему... Не ведал бо, что творил...

За ночь покончили черкесы с мужиками. А наутро сгоняли уже в застенок молодух и девушек...

Лютой взламывались в мужичьи хаты ватагой. Лезли на полати, гогоча, точно жеребцы:

— Хады за нами! А то абажгэм!..

Старики, забившись в угол, жуткий подымали вой. Острые, полосующие сердце крики, вырываясь из тесных хибарок, катились по улице диким клубком...

В закоулках штырхали черкесы шашками девочек. Тянули их за голые ноги. И хрипели те, как затравленные, обезумевшие звери. Выпучив остекленевшие глаза, хватались за концы шашек. Резали себе руки, груди, лица... Но не унимались двуногие, а пуще свирепели.

Гедеонов клал девочек в ряд. Загаливал их, сгорающих

от стыда и срамоты. И, упершись руками в колена, с причмокивающими, отвислыми губами пригинался над трепетными белыми тельцами...

— Ух-м... девчушечки мои голопузенькие! — глотая слюну, чмыхал Гедеонов.— Ну... Вот эту... Сочна!.. И эту... Огурчик, чертенок! Груденка-то, пупочек... И-их!..

Черкесы брали в охапку девочек, несли во дворец. Там Гедеонов, раздев их донага, надрезывал у них груди. Липкую пил, соленую, горячую кровь, захлебываясь и причмокивая:

— Кр-ровушка!.. Кровушка-матушка...

А челядь, согнав во двор и поделив молодух, скручивала их веревками да мучила.

С балкона опьяневший, обезумевший от крови Гедеонов кричал своим алахорям, сжимая костлявые кулаки:

— Я железное кольцо государства!.. Кого сожму — тому крышка! Вали в мою голову!..

Скрученные веревками молодухи хрипели порванными глотками:

— Будь про-клят! Окаянный!.. Про-клят! Проклят! Бог!.. Ха-ха-ха-а!..

Но, опомнившись, дико, жутко водили побелевшими зрачками. Каялись, без надежды на прощение...

— Согрешили... Про-сти-и...

Гедеонов, хватаясь за живот, долгим закатывался, черным смехом. Скалил гнилые свои, желтые зубы. Кивал головой черкесам:

— Каково... А?.. Правоверные!.. Слышите, как поносят аллаха? Всыпать им по сто горячих!..

И, засучив рукава, мочили в рассоле черкесы свои нагайки. Секли скрученных, полуживых молодух медленно и дико. И не хрипели уже пытаемые. Но ревели, как прирезанные животные. Жилы их, взбухшие, черные, выбрасывали запекшуюся кровь горячими струями, обагряя сапоги черкесов...

— До-вольно! — лениво махнув рукой, бросал Гедеонов с балкона.— Хорошего понемногу...

В немом, неукротимом приливе гнева и ярости, мстя за поруганных отцов, матерей, братьев, сестер, дочерей, сынов, жгли мужики, жгли помещичьи дома, дворы, гумна.

Разоряли, крушили управы и суды: это был суд огнем над судами...

Но переловил огненных судей Гедеонов.

И нарядил свой суд...

В душном темном застенке, за обмусленной старыми рыжими кровями кривой дыбой, собирались вокруг связанных и сваленных в кучу мужиков суглобые молчаливые судьи: казачий полковник, пристава и гедеоновская челядь. Гедеонов, ерзая на дубовой скамье, мутясь от тоски и злобы, держал перед ними речь:

— Итак, господа, разговор короток. Кто посягнул на священную... собственность, тому... мм... Так что, этих вот эк-земпля-ров,— кивнул он на кучу мужиков,— придется отправить в места о-очень отдаленные... откуда вообще не возвращаются... Я настаиваю, го-спо-да, чтобы казнь была публичной, в поле... Для назидания, мать бы... Но вот вопрос, как казнить?.. По-моему, лучше всего — оттяпать головы! Нужна кровь... Может быть, господа, вам не по плечу кровь... Ну а я не из таковских!

— А я думаю, можно обойтись... без крови... Помилуйте, ваше превосходительство,— робко приподнялся полковник.— Европа и все такое... Вот виселица... Чего уж лучше! А то как бы в газеты не попало... Помилуйте, это в Китае, там как-нибудь...

— Эк хватили! — захохотал Гедеонов хрипло.— Газеты!.. Да наплевать мне на всех газетных жидков! Оттяпать! — стукнул он кулаком по скамье.

Полковник покряхтел, погромыхал шашкой и, тревожно озираясь, козырнул:

— Не смею прекословить, ваше превосходительство...

— То-то и оно-то,— буркнул Гедеонов сердито.

Судьи поспешно и тревожно, точно за ними следил неведомый мститель, разошлись.

Перед рассветом в поле ревели зловещие хриплые трубы. Из сел и деревень вываливали на острые обомшалые холмы пораженные немые толпы. Глядели на древнее каменистое поле...

За старой разбойничьей дорогой, средь диких, отверженных, провалившихся могил удавленников, отцеубийц и колдуний, сколочен был высокий, стесанный гладко, помост...

В белых саванах, из потайных подвалов гедеоновской усадьбы к разрытому, древнему отверженному кладбищу вели огненных судей, смертно поникших головами... За ними несли черные раскрытые гробы...

На помосте исповедовал поп мужиков. Крестил их тяжелым железным крестом...

Гремели гулкие мечи глухо. С плах катились, стуча по помосту, дымные окровавленные головы...

Палачи, поскальзываясь на гладких, густо смоченных горячей кровью досках, подбирали трупы казненных мужиков торопливо трясками руками... Клали в гробы...

В жуткой предрассветной тишине, в зеленом луче затеплившейся зари, опускали гробы в свежевырытые, заклятые, отверженные могилы... И битый, красный, дикий кремень-суровец грохотал в гулкие пустые крыши, как вещий, роковой клич с того света.

А угрозные немые толпы расходились по деревням, унося с собой смертную, священную месть...

VII

В трудном смраде задыхалась полоненная Русь. Билась над одинокими могилами расстрелянных, обезглавленных и повешенных и маялась смертельно...

А древние дикие поля строгой наполнялись, неслыханной тишиной. Немые и страшные отстаивались в обители Пламени голоса бурь.

Грозно и жутко падал из старой башни темный, кровавый свет. Крутогоров бросал в мир вещие зовы ночи... Манимые грозными огнями, шли на крутую гору толпы гнева и ярости...

Шли на судную ночь.

Судною ночью, в маете в смерче любви, страсти, ненависти и крови встала перед Крутогоровым вещая Люда, словно из-под земли выросла. Дико звеня ножом, раскрыла синие свои бездны:

— А я иду продаваться... Крутогоров! Я уже продалась — ты и не знаешь?.. Я — гулящая! Ну кричи, убивай же меня! вот нож...

Но Крутогоров молчал. Ибо неведомо, молчаливо и

страшно убил в сердце своем Люду. Похоронил навеки и безвозвратно.

— Ха-ха-а! — рыдала Люда, больно и настырно хватаясь за руки Крутогорова и падая перед ним на колени.— Все это я выдумала! Я люблю тебя, Крутогоров.

Страшная любовь: ибо она мать ненависти и бурь. О любовь, любовь, не ты ли черными молниями проносишься над безднами, разрушая и сожигая мир? Не ты ли взрываешь на дне души хаос и смерть? Ибо Крутогоров проклял, вырвал из сердца Люду, огненную и кровавую свою любовь... Но и благословил ее!

В судную же ночь Гедеонов, почуяв недоброе, отыскал в лесной черетняной хибарке Феофана. Выложил перед ним смрадную свою душу, жалуясь и скуля:

— Душат. Душат, мать бы... Мертвецы. Покойники. Сволочи! Отправил я мужиков на тот свет не мало... С кем не бывает?! Ну а теперь они меня душат по ночам... Кровавые... Что делать, а?..

И вдруг, выпрямившись, стукнул себя кулаком в грудь гулко:

— Я железное кольцо государства! Какая тебе забота? Твори волю прославшего. Ты что скажешь, дядя, а? — подмигнул он гнусно Феофану.— Скажи что-нибудь ка.

Но Феофан только покачал головой, глядя строго в ночную даль.

От князя тьмы исходили законы, страшные тем, что они охраняли зло, как некий запретный плод. А у людей, похитивших зло, страх кары телесной заслонял лютейшую кару духа.

Законы делали сверхзло. Стало быть, Гедеонов должен был понести тяготу вдвойне. А он не только не понес тяготы, но — зло сделалось для него наслаждением, не страданием.

— Молчишь? — затошновал и замаялся Гедеонов в смертельной нуде, заслышав странные отдаленные голоса.— Что это? А?.. Что это?..

Глухо отозвался из сумрака Феофан:

— Заступает судная ночь...

— Какой же это суд?

— Суд земли.

— А я?..— Гедеонов, вывернув ладони, согнул пальцы крючками и впился в Феофана колючим, едким взглядом.—

Ведь я творил волю пославшего... И меня — судить?..

— Поздно,— качнул головой Феофан.

— Ой ли? — подвел Гедеонов к глазам Феофана свои колкие глаза.

Но вдруг отскочил назад: взгляд Феофана незримым горел, голубым светом.

— Светит! — в ужасе крутнул приплюснутой головой Гедеонов, вскинув костлявые свои руки, словно дьявол крылья.— А ведь он отверженец! Ведь он проклял все!..

Может быть, Феофан, проклявший Сущего, теперь, заслышав голоса и знаки судной ночи, непостижные, невозможные, невидимые для взора, но видимые для духа бессмертного,— принял и благословил свет?

До этого Феофан, шел только за солнцем Града. А солнце Града не светило ни Богу, ни дьяволу. Ибо родилось оно от встречи доначального хаоса с творящим черным светом жизни, как от удара стали о кремень рождается огонь.

— Ха-ха-ха! — откинув назад голову, затрясся Гедеонов медленно.— Он думает, я боюсь покойников! Гадота несчастная! Да знаешь ли ты, дохлая собака, на что я способен?! Не стереть в порошок могу я вас, дохлых, червивых крыс... Нет! Я могу вас жечь, варить в смоле... И буду варить в смоле, мать бы... Я буду четвертовать, колесовать... Ррубить — терзать-терзать-терзать! — хрипел он, дрожа и извиваясь.— Да! Губить проклятое стадо... гу-би-ть!.. Огнем, ядом, язвами, мечом! Все в прорву! В прорву! В прорву.

Рвал на себе погоны, сгибаясь в кольцо, словно гад. Гремел шашкой. Замахивался ею на Феофана...

Вдруг в дверь хибарки глухие вломились красносмертники, злыдотники, побирайлы. Окружив Гедеонова грозным кольцом, зловеще и молчаливо навели на него свирепые свои, напохмуренные лица.

— Кто это? А-а? — ощерились они.— Говори!

— Кто смеет спрашивать!..— вытягивал вперед длинную, судорожно трясущуюся голову Гедеонов, гулко стуча себе кулаком в грудь.— Меня, Геде-онова?..

— Молчи-и, елазука проклятый, змей-горыныч...— ворчали мужики люто.— Погоди, выведем мы тебя на точек..

— Да вы знаете ли, сиволапые черти, кто я?— юлил Гедеонов и грыз себе руки.

Глухо смыкалась толпа:

— Ну, говори, кто.

— Конечно, нам нечего ссориться...— подкатывался уже мелким бесом к мужикам, хихикая, Гедеонов.— Это не важно, в сущности, что я генерал... Что сам царь удостоил меня своей благодарности... Это не важно, мать бы... Я простой!.. Я и мужиков люблю. Ей-богу... Все мы, слуги царские, должны любить мужиков. Потому что их больше ста миллионов... И армия наша — кто же это, как не мужики? Кто охраняет нас и кормит, как не они же?

— То-то оно-то...— зловеще скалила зубы злыдота.— А земли-то дали кормильцам этим да хранителям много?.. Отвели глаза нашему брату Государственной думой этой самой... Жулики жуликов поскликали... За жидов там распинаются да за поляков, а мы как жили без земли, да так и остались.

Заплясал Гедеонов, зашелся в долгом, злорадном хохоте:

— Да ведь это ваши же печальники! Ха-ха! Ай да мужички... Удружили, нечего сказать! Вот что,— кивнул он головой.— Не видать вам земли, как своих ушей... А вешать и расстреливать вас будут за первый сорт.

— Это еще бабушка надвое гадала...— ухмыльнулись бородачи едко.— Теперь-то вы держите землю да плахуете нас... А что тады-то запоете? Как японцы с немцами али китайцы пойдут на Расею? Да запасных ежели тронут? Будет буча... буза... Бу-дет!

— Фю! — свистнул Гедеонов и захохотал лихим, гнусавым хохотом.— Забратают голубчиков — и не пикнете!

— Не дадите земли — погибнет Расея!

— Враки! — фыркал Гедеонов.

— Погибнет! Чтоб провалиться — погибнет! Туда ей и дорога! Коли земли не дают мужикам? Да и лучше с немцами жить, чем с вами... Немцы по крайности ученые: землю дадут.

Гедеонов, присев, хихикнул в нос. Подмигнул Феофану, строго молчащему в углу:

— На что им земля? Три аршина достаточно, чтобы закопать. Когда повесят... Вот меня ругают, душегуб, то да се... А я справедливость люблю. В тебе горит... священный, так сказать, огонь? Ну так нужно потушить его, мать бы... Чтоб все равны были!

В сумеречной, странной тишине подступали к нему мужики вплоть, тряся бородами:

— Молчи-и... душегуб окаянный... Головоруб... А то прикончим... Нехай тады нас вешают... Али голову отрубают...

— Не... подсту-пать! — хрипел, точно зверь, Гедеонов, выхватывая шашку.

Молчаливо и грозно толпа ринулась на него стеной. Но, сгибаясь, словно гад, бросился Гедеонов клубком в слюдяное, ветхое окно. Шмыгнул за хибаркой в ельник. Загрохотал по отвесным каменьям под обрыв.

— А-сп-и-д! — смятенная, гудела толпа вслед.

В тесной глубокой расщелине, забившись в колючий глухой терновник, лежал Гедеонов, грудью к земле, не дыша. Над ним вещие проносились голоса судной ночи...

VIII

В ночи шелесты и запахи цветов и трав, шумы и всплески волн перемешивались с синим светом и чарами сумрака.

Златокрылая выплывала ладья с белыми ангелами. Сладко и нежно сыпались, словно жемчуга, светлые искры струн.

Пели ангелы. А из священных рощ с зажженными свечами выходили сыны земли: чистые сердцем, песнопевцы-поэты.

На лазурных волнах качалась, словно лебедь, златокрылая ладья. Ангелы сплетались с хороводами. Сады заливал нежный голубо-алый свет...

В тесной же, черной расщелине маялся Гедеонов. Прятал от света лицо. Скрежетал зубами.

Зависть лютая жгла. Не было сил изничтожить сынов земли. Непонятны и далеки были любовь, красота... Но если бы и понятны они были Гедеонову — сердце его не обрадовалось бы чуждой, не им добытой красоте. Оттого-то его и берет нескончаемая, гложущая зависть и жуть...

Только сничтожив чистых сердцем, и с ними — красоту, любовь, свет, утолишь зависть. Но нет сил!

А песни расцветали незримыми белыми цветами... Сладкой плыли, голубой волной. Переплескивались с листвою сада...

Отверзалась горняя. И алые распускались за лазурным заливом цветы, цветы земли. И белокрылые ангелы собирали их к тресветлому Престолу...

От усыпанного цветами и обрызганного росами берега шла до Престола лестница Света. Над лазурным тихим заливом, словно светлые стрелы солнца, подымались и опускались херувимы — словно светлые стрелы солнца...

Качаясь и кропя росой, сплошным пел темным шумом величественную светлую песнь лес. Перед лестницей Света, замирая в священном трепете, смыкались хороводы...

Крутогоров, в белых льняных одеждах, грозноисступленный, молнийный, взойдя на лестницу Света, обнажил свое опаленное черным огнем сердце. Кликнул над цветным долом клич:

— Братья! От исхода земли не знал человек огня жизни... Даже Единородный Сын Божий не был огненным, но — холодным... А как жаждал Он Огня!.. Братья! Огонь низвел я на землю. Небо и землю слил в солнце Града... Горите! Цветите!

Жуток и страшен был лик Крутогорова, искаженный нечеловеческой пыткой огня. А отверженный, расширенный взор иным горел, потусторонним светом.

— И ненавидьте, братья мои, чтобы любить! — гремел он над цветным домом.— Не у вас ли землю отняли — родимую мать? И душат — не вас ли?.. Братья! Нет любви без ненависти! К гневу зову я вас! Вставайте! Се, творю суд: двуногим с их логовищем — городом — смерть!

— Сме-рть! — протяжно и глухо грохотали толпы мужиков.

— Клянитесь! Клянитесь, что отымете у двуногих землю — родимую мать!

Гремели жутко и веще толпы, подняв тысячи рук:
— Кляне-мся! Сме-рть... Клянемся: отымем!

Согнувшись, словно опужило, люто крутил головой

в терновнике Гедеонов. В сердце его лютая была тьма. И гложущая зависть, и смрад. Не изничтожить чистых сердцем. Не осквернить непонятной красоты и любви. Не загасить света...

Осторожно, на цыпочках, кривыми путаясь в колком терновнике, тряскими ногами, заковылял он в глубь расщелины — чтоб не увидели его да не подумали, будто красотой пленился и он.

Перед глазами мелькнул вдруг стройный девичий стан... Гедеонов оглядел девушку жадно. А та, застыв как вкопанная, схватила себя за косы, заметалась:

— Ха-ха... Ра-дость?.. О-х! Пытайте! Тошно мне от благодати... Мучьте!

Голос низкий, недевичий ударил по темному сердцу Гедеонова. Это был голос кликуши. Тонкий стан, выгибаясь, манил, как драгоценный сосуд. Откинутая назад голова с черными качающимися кольцами волос, высокая под полотном острая грудь, плечи — тянули к себе неудержимо Гедеонова. Трясясь и шатаясь от похоти, словно пьяный, подошел он к девушке. Костлявыми обхватил ее, крепкими руками. Сжал ее всю так, что кости ее захрустели...

— А... а... а-х! — задыхаясь, глухо и больно вскрикнула Мария, увидев перед своими глазами горбатый нос и узкие впалые глазницы Гедеонова.

— Огг...— дрожал и стучал тот зубами.— Я... чуть с ума не сошел было тогда... Помнишь, как ты ушла от меня? А теперь — сама... Огг...

Но когда Гедеонов, трясясь, повалил хрупкую, онемевшую девушку — засочилось сердце его гноем зависти и неутоленности: не одному ему дано это тело...

Убить девушку, чтобы никому больше не досталась? Но раньше-то были точно такие же, еще и лучше, да и будут?.. Неисчислимое множество людей наслаждалось до него телами красавиц; сердце же его жаждет тел и наслаждений, неведомых миру и даже Богу...

Махнул рукой на девушку, глухо стонавшую на траве. Сгорбившись, поплелся к озеру...

В камышах гудели и бились волны. Наполняли сумрак шалыми голосами. Над озером, взрываемым голубыми ветрами, полным загадок, стоял Гедеонов

недвижимо. А на голове его волосы подымались дыбом...

Говорил ему неведомый, несуществующий, говорил из темноты:

— Надо найти то, что за Сущим... Или создать.

Бездонна, темна и жутка была душа князя тьмы. Но и эту темь-жуть перешиб незвериный, нечеловеческий и небожеский голос несуществующего. Смертельно тошно Гедеонову было не оттого, что в тайники души его чуждый западал голос, но оттого, что голос этот был как будто его собственный: а может ли быть его голосом — голос дерзновения, разрушения и созидания?..

— Кто это? — екнул, сгибаясь в кольцо, Гедеонов.

В терновнике гаденький плюхнул вдруг, гнилой смех. Разлились мертвые смрады...

— А это что?.. Это ж мое родное... ничье больше... Кто смел?.. Ограбили! Карраул!..

Застыл Гедеонов. Небытие да смрады — это единственное его, никому доселе неведомое достояние — похитил несуществующий...

А в душу князя тьмы западал, заливая сердце его черной расплавленной смолой, неведомый клич дерзновения — такой близкий, казалось, произносимый рядом, но и такой далекий и непостижный, словно это был голос замирного, досущего:

— Раз-руша-ть!.. Жить над безднами!.. Дол-лой фальшивые векселя... В роде непорочного Агнца... Создадим сверхмиры! Сверхцарства!..

— Что за черт...— нудовал Гедеонов глухо и сумасшедше, весь в холодном поту, все еще боясь, что неведомый голос — его собственный.— Или и впрямь я спятил с ума? Бр-рр... Эй ты, кто там, говори толком, сволочь, мать бы!..— затопотал он остервенело.

— Я — черт,— отозвалось из темноты сухо.

Отвалило у Гедеонова от сердца. Обыкновенный черт, что без толку скулит в веках о покорении и разрушении вселенной да и создании сверхмиров, не так уже был страшен.

Ибо ему, Гедеонову, мучительны и жутки были только близкие к воплощению зовы сверхдерзновения, сверхсозидания, как и голоса красоты, жизни творящей и предвечного пламени. Но скучны и смешны были мечты.

— Ну так по рукам?— стукнул черт в темное сердце Гедеонова.— Чего ж воловодить?

Но загнусил Гедеонов с ядом, крутясь волчком и костлявыми размахивая, длинными, словно жердь, руками:

— Ах ты, облезлый! Ах ты шарлота несчастная! А еще целишь быть царем жизни... Да ты и в подметки не годишься хлыстам этим куцопузым... Те, брат, не на словах, а на деле создают миры... А ты что создал за всю свою чертовскую жизнь? Попусту болтать — это ли называется творить?.. Мать бы... Нет... одно нам осталось: душить да гадить! — харкнул он яростно.— Ни на что мы больше не способны, нужно сказать правду! Одно осталось... Мстить за красоту! За радость! За солнце! Ах! Если б я создал миры... да наслаждался бы ими один-одинешенек... А так — лучше ничто! Но и в этом нет мне утешения... Ни в чем не было мне утешения... И не будет! А будет только одно — как загасить солнце?..

В звоне волн, звезд и цветов златокрылая качалась ладья. Пели хвалу рассвету сады. Гудели леса и водопады.

А хороводы мужиков, к горным подымаясь вершинам, воздевали ликующие руки:

— Солнце!..

Яркий свет, ринувшись грозным прибоем на горы, леса, гнал в темные провалы, непролазные дебри и глухие заросли сгибающихся в кольца, шипящих, разливающих яд гадов, жутко хохочущих, с желтыми, мертвыми глазами сов.

В тьме провалов верещала люто, корчилась нечисть, киша под темными навесами глыб. И скрежетал зубами в смертной нуде, забившись в глубь расщелины, Гедеонов.

А светлый гул и хвалы гремели все ярче и величавее. И белокрылые ангелы сыпали нетленные цветы...

Неприступный ударил в загорелые лица мужиков огонь. С высоты, от Престола, сходил по алой лестнице Света Крутогоров, неся зажженное в ночи Солнце.

— Свобода! — ликовали хороводы.— Радость — Солнце!..

Охваченные грозным трепетом, падали ниц люди, птицы и звери, склонялись сады и леса, приветствуя ярко-алое Солнце, зажженное в ночи...

Книга четвертая

ПРОКЛЯТЬЕ И СМЕРТЬ ГОРОДУ!

I

Загорская пустынь — древняя пустынь.

В высокой, замшелой, с грозными бойницами каменной ограды, по диким, крутым срывам старые теснились, облупившиеся башни, часовни, кельи, обросшие глухой крапивой и бурьяном. Под ними перепутывались подземные, полуобвалившиеся потайные ходы. В древнем, низком, узкооконном соборе над литого серебра царскими вратами висела на широкой шелковой ленте темная чудотворная икона Спаса Нерукотворного в золотой, убранной драгоценными каменьями ризе, с двенадцатью хрустальными неугасимыми лампадами перед старым резным киботом.

Прозорливицы схимники и старцы в пустыни не переводились с истари.

Но в монастырь, заброшенный в непроходимых глухих лесах, среди отверженцев и язычников, никто не заглядывал. Туда только ссылали провинившихся монахов.

Прежде хоть из дальних краев приходили богомольцы на поклонение древнему Спасу. А теперь и они, прознав, что игумен — сатанаил, перестали ходить.

Вячеслава забубенная братия Загорского монастыря избрала-таки игуменом: по Сеньке и шапка.

Но злыдота не давала покою Вячеславу даже и теперь. На миру жгла, клеймила его курвелем, хабарником, чертовым прихвостнем. Харкала ему в глаза всюду, где бы ни встретила.

Чернец бил челом Гедеонову.

И в старую лесную келью по ночам врывались стражники, черкесы. Разоряли амвоны, престолы. Ломали двери, били окна. А злыдоту гнали на все четыре стороны: тюрьмы были попереполнены, забирать некуда было.

Как неприкаянные, бродили злыдотники по глухим дебрям, нигде не находя себе пристанища...

Феофан погиб. Ибо, если бы был жив, стражники побоялись бы трогать его келью, чтобы не накликать на себя бед, не разозлить мужиков и не раздуть пожара. Без Феофана же расправа с злыдотой была легка.

Ушел Феофан из мира. Открывать солнце Града толпе двуногих — для него было все равно, что отдавать пьяным и смрадным блудникам чистое тело девушки. И он ушел в скалы, замкнув душу свою навеки...

За ним ушла из мира и Дева Светлого Града.

А Неонилу, духиню Феофана, Вячеслав, отыскав тайком в моленной лесовика, увез в монастырь.

Говорил, что к мужу. Но Неонила хоть и знала, что в монастыре Андрон был звонарем и сторожем собора,— не верила все-таки Вячеславу. И ждала от него каверз.

Так и вышло.

В первую же ночь игумен, справляя в потайной каменной подземной келье, вделанной в древнее основание собора, по Феофане тризну, задал с забубенной своей братией и гулящими девками такую пирушку, что чертям стало тошно.

Как ведьмы, крутились по келье и топали лихо красные, потные пьяные девки. Хватали на перегиб монахов. Падали с ними на пол. Лазили на корячках, гогоча дико и ярясь...

Только недвижимая Неонила сидела в углу пригорюнившись и низко опустив голову.

— А-а...— потягивался на диване Вячеслав лениво.— Аль по старику взгоревала?.. Издох ведь, пес — колом ему земля!.. Ать?.. Да и разве не знашь?.. Стражники забират в тюрьму, кто за него... Брось его!.. Право... А то гляди... Дух живет где хощет... Забудь, а?.. Лучше Тьмяному поклоняться... Тоже Бог — не хуже других...

Но горела в сердце Неонилы незаходящим светом древняя радость.

— Чтоб я да отреклась?..— встав, подступила она строго к деверю и суровые вскинула на него гневные

глаза.— Да ты в своем ли уме?.. Нету благодетеля... Так что ж?.. Мне ли, полонянке, горевать?..

Грузный какой-то, саженный монах, схватив ее в охапку, пустился с ней в дикий громовой пляс, ахая железными каблуками о пол, словно десятипудовыми гирями, и выкрикивая какую-то присказку под шум и визг свирепой оравы...

— Отвяжись, курвель!..— хляснула его Неонила наотмашь.— Постылы вы все мне, обломы!.. С вами только вешаться, а не любиться...

— А Поликарп не постыл?..— подскочил к ней осклябившийся Вячеслав, скосив на нее узкие глаза потаскушки.— Чем наш брат хуже хлыстов, а?..

Толстый монах, наахавшись вволю, бросил Неонилу на диван. И уже, расстегнув ворот и длинные подхватив полы мантии, пошел в лихую присядку, загрохотал и закрякал:

Эк, ты ж меня сподманила,
Эк, ты ж меня сподвела!
Д' молодова полюбила,
А за старова пошла!

— За Поликарпа пошла, шкуреха!..— скрючившись и вцепившись в подол Неонилиной рубахи, прохрипел Вячеслав.

— Это я вовсе про тебя, батя...— ухмыльнулся толстый монах.— Ты ей не пара, ей-Богу.

И загремел, подскакивая к Неониле:

Ой, ты ж моя писаная,
Ой, на что ж ты меня высушила!
Привязала сухоту к животу,
Рассыпала печаль по ночам!..

— От так сухота! — реготали валявшиеся на полу пьяные монахи.— В десяток-то пудов, почитай, и не уберешь?..

А толстяк, не унимаясь, тряс пузом:

Эх, хорошо тово любить,
Кто жалобно просит!
Праву ногу поддевает,
Левую заносит!

Вячеслав тормошил Неонилу. Пытал ее:

— Ты скажи-ка хоть... тяготу маешь ли, а?..

Бледная и напохмуренная, дрожала та медленной дрожью, колотилась люто.

— Маешь?..— приставал игумен.

Неонила молчала упорно, безумея и ярясь.

Тогда Вячеслав, как тать, обхватив трясущиеся ее ноги, смял ее всю, сдавил в потных волосатых руках туго. И, впившись в вишневые, горячие губы ее кровожадным своим, широким слюнявым ртом, хмыкнул:

— Порадуем Тьмяного!..

Черная остервенелая орава, вихрем носясь вокруг онемевших, смертно бьющихся в судоргах Вячеслава и Неонилы, дико и жутко пела Феофану анафему...

За монастырем, в глухом лесу, в душном безоконном скиту, обнесенном высокой оградой, в полночь чистого четверга, после страстей Господних, кровавую правили монахи литургию сатане.

Смертно, истошно выли в тишине, взрывая безумие и хаос. У черных, с черепами стен, на высоких железных подсвечниках чадили серые, топленные из человеческого жира свечи... Мутная, тяжелая плавала под низким закоптелым потолком удушливая гарь.

В запеневевшем круглом приделе, перед высеченным из суровца, перевернутым вниз распятием, на окровавленном каменном жертвеннике колдовские возжигал Вячеслав ересные корни, выкрикивая свирепо какие-то заклинания, ворожбы и хулы.

Из щелей захарканного грязного пола, зачуяв гарь человеческого жира и заклятых, острых, дурманящих трав и подсух, глухой, истошный вой чернеца заслышав, выползали бурые, покачивающиеся лениво змеи. Окружив жертвенник сатаны, сцеплялись острозелеными, сыплящими мутные искры глазами с прожженным взглядом чернеца, шипя на своего заклинателя...

А тот ближе и ближе подводил к змеиным непонятным глазам заплеванные, сумасшедшие свои зрачки. Каменел над головами гадюк, перекликаясь с ними страшными молчаливыми голосами бурь и хаосов...

Но вот зрачки Вячеслава сузились, пропали. Ведовской, истошный вой затих. Змеи, рассыпав мутные зловещие искры, припав головами к полу, медленно поползли в тесные щели...

Из-за черных завес, повисших над черепами, нагую выводили Неонилу. На бурый от шматьев запекшейся крови жертвенник сатаны клали. Рубили, полосовали пышное ее, тугое бело-розовое тело железными прутьями до кровавых фонтанов. Жгли ей сосцы горящими свечами. Запускали иглы под ногти... Зубчатыми рвали ей клещами плечи и грудь...

Безропотно и молча, лишь вздрагивая и вздыхая немо, окровавленная, лежала на жертвеннике Неонила. Терпеливо возносила огненным режащим прутам страстное свое тело, боль и кровь свою непереносимую...

В маете, ужасе и безумии закрыв глаза-ножи, глаза-бури, голубые бездонные омуты, над головами зловещие вскинув остромья рук и в жутких, сладострастных окаменев выгибах, крутились сатанаилы вокруг жертвенника черными языками огня... Охватывали Неонилу гремящим смертоносным буруном...

— Тяготу — маешь?..— глухо, сквозь жуть и вихрь припадал к разметавшимся грудям Неонилы, крепким и жарким, Вячеслав.

Совал ей в руку нож, крича свирепо:

— Крепче держи!..

Молча та брала косой смертный нож. Гремела им грозно, сыпля огонь. И колотилась, сотрясаясь в кровавом буруне страсти... А над изгибающимся крестом ее рук белых, застыв в ледяном огне, ангелоподобный маячил отрок, готовый принять страсть и смерть...

Когда, черные над головами взметнув саваны, завихрились, зазмеились сатанаилы сладострастными сверлами-взглядами и жуткими выгибами, в объятья огненные крестообразных Неонилиных рук, сгорая, нежный упал, овеянный желтой пеной кудрей отрок.

И вскрикнула страшно и страстно Неонила, смертно замкнув в сады свои знойное отроческое тело... И застогла:

— А-ах... Ме-рть мо-я-а!..

Перед поруганным, опрокинутым распятием, на жертвеннике сатаны, под лютый вой, шепот и маету сатанаилов,

огненно-бледные слились отрок и духиня, в предсмертном трепете страсти закрывшие глаза.

Неонила, кривой держа в правой руке нож, смертельно жгла кровяными своими ласками, объятьями и поцелуями замученного отрока... В хаосе огня и крови корчилась...

А Вячеслав, перед жертвенником упав на колени, завыл псом жуткий вой полночи:

Хва-ла-а!..
Те-бе,
Ма-ти-пусты-ня-но-очь,
Ма-ти-воля...
Хва-а-ла-а...

Когда Вячеслав и монахи притихли, Неонила, дрогнув, со всего размаха ударила любимого своего в сердце. И раскинулась перед ним мертво...

Встрепенулся чистый, бездыханный отрок под ножом, простерши руки, вытянулся во весь свой юный рост да так и застыл...

Желтый зловещий свет отливал на светлых кудрях его жженым золотом...

Безумный Вячеслав и суглобые, чадные, зловеще молчаливые друзья его — сатанаилы, подставив низкую железную чашу под хлещущий из-под отрока кровавый поток, собирали кровь. И выли:

— Здра-вствуй, воля безмерная!..

— Отец!.. Кровь тебе приносим! Сокруши, отец, окаянного!.. царя рабов... и свет... отец!.. Победи!..

Из щелей бурые выползали змеи. Окунув юркие головы в чашу, лакали кровь...

А за ними, припав с оскаленными зубами и сухими высунутыми языками остервенело к чаше, пили горько-соленую, липкую кровь сатанаилы...

Через два дня, в пасхальную ночь, торжественно и величаво, в древнем соборе, в белые облачившись ризы, правил Вячеслав светлую заутреню. Свет и победу жизни над смертью пел... Но сердце его полно было зовов тьмы.

II

За потайным чертовым скитом, в дремучем лесу, в пещере, охраняемой красносмертниками и злыдотой, загадочный жил прозорливец-затворник.

Потому-то и прятались сатанаилы в чертовом скиту. Откройся тайна Загорской пустыни — им несдобровать: красносмертники-душители с злыдотой разнесут монастырь в пух и прах, монахов же попередушат от первого до последнего.

Точило Вячеслава... Так ли уж страшен затворник? Не бабьи ли это только россказни?..

Набравшись храбрости, поехал игумен, переодетый послушником, на мужицкой телеге в дремучий лес, взглянуть на ненавистного прозорливца хоть мельком.

В проходе перед глухим окном толпились мужики. Низкий, юркий, растолкав посохом толпу, подошел к окну Вячеслав. Подал сладкий голосок:

— Как спастись... отче праведный?

Но, смутно маяча в пещере, за окном темной тучей волос молчал заросший мхом затворник зловеще и грозно.

Извиваясь, отскочил согнутый Вячеслав от окна. Спрятал сучьи глаза под белесые ресницы... Пробурчал робко:

— Я ничего... Я так.

А затворник молча раздавал толпившимся у окна мужикам ломти черного хлеба и крынки ключевой живоносной воды.

В глушь дикого леса шли от пещеры потайные подземные ходы, соединявшие затворника с далекой лесной пашней, затерянной в непроходимом темном бархате хвои, заросшую травами ароматными тучную свежую землю взрывал затворник тяжелым заступом. Разбивал бивнем глыбы и сеял озимь — рожь и ячмень.

Хлеба вырастали обильные, пышные и чистые, словно золото. Затворник убирал рожь и ячмень. Обмолачивал цепом и молол на ручном жернове. В пещере пек хлеб. В весенние зори раздавал его из глухого окна приходящим, исцеляя болезни и недуги.

Под крепкими вековыми кореньями сосен у пещеры бил живоносный белый ключ. Из ключа черпал затвор-

ник воду целебную. И, разлив в тыквины, раздавал из окна страждущим и недугующим.

Источника живой воды, как и хлебодатной целины, никто не знал. Мир не верил, что и хлеб жизни, и живоносная вода — суть плоды родной людям земли, а не бесстрастного и безвестного неба. Не верил же мир земли оттого, что затворника почитал сыном неба, дерзнувшим соединить небо и землю, земных с небесными.

Когда в гневе и ярости Сущий повелел навеки умертвить Сына земли, Сына Человеческого, спасавшего мир любовью, вестник неба, ослушавшись Сущего, пощадил великого праведника. И, взяв его воскресшим от земли, соединил небесных с земными, дух с плотью, любовь с ненавистью. За дерзновенное ослушание, свергнул Сущий сына неба на землю, где оставил его бессильным и отверженным...

Но это только и нужно было ему. Ибо липкую, росную полюбил он ароматную землю и ее низины.

В весенние зори в пещеру, уходящую под корнями вековых сосен в неисследимые недра земли, стекались к затворнику кликуши, недужные, больные, расслабленные, отверженные, нищие, калеки.

Под обрывами в душных проходах пещеры толпы кишели, словно муравейники. В толчее больные задыхались, падали в обморок. Но над ними, вверху молодые туманы цвели, ароматы хвои с зеленым светом смешивались и багряные над вершинами кровавились зори...

Из сумрака смерти нетленным загоралась жизнь светом...

В навьи проводы в гулкий подземный свод затворниковой пещеры, расстроенный и больной, пришел Никола. Могутными растолкал широкими плечами недужную, охающую толпу.

Гукнул резко и гневно, так что стены прохода зазвенели, словно медь:

— Душно!.. Никто меня не успокоить!.. Никакие затворники!.. Га! Где гнев Бога?.. Где месть?.. Эй, жулье!.. Отвечайте!.. Хорошо вам жить или нет?.. Пойдете в битву с двуногими?..

В кучке стариков у стены веял пургой Поликарп,

веще и слепо улыбаясь в широкую, длинную, ниспадающую на грудь, словно каскад, бороду.

— Микола?..— шершавые протягивал он, пахнущие полынью и рыбой руки.— Хо-хо!.. Все к радости сердца!.. Ненилу украли, а я радуюсь... Мария ушла, а я веселюсь... Мукам веселюсь, так-тось!.. И некому мене и мстить... Микола... Плюнь!.. Я и пошел бы в битву какую, да на кого пойду?.. Хо-хо!.. Мене равного по-подавай!.. А об шушеру не хоцца рук пачкать... Пропадает сила моя задаром, сердце!.. Ты ча тут?..

Обнимал радостно и горячо Николу. Тряс его за плечи любовно. Целовал в макушку. А Никола, горько опустив голову, маялся:

— Где Люда?.. Нету Люды!.. А без Люды мне и жизнь не в жизнь, дед!.. И не жалко было б, коли б с Крутогоровым одним она путалась... А то... Эх!.. Дед!.. Душно!.. Нету мне места на земле!..

— Хо-хо! Огонь мой?.. Людмила?..— блестел белыми крепкими клыками лесовик.— Никому ее не понять, Микола... Земля — радость?.. И Людмила радость!.. А и муки... Кого полюбит Людмила, того и замучит... Так-тось!.. А ты как хотел?.. Без мук — што то за радость! Шалтают, на небе радость... рай... Не! такого рая, какой даден на земле, не получить ужо на небе... Без мук ежели, это для мене будет не рай... а тошнота!.. Так-тось... Земля — веселие! Хо-хо!

— Дыть земля у господ уся?..— фыркнул сзади оборванный какой-то, свирепый мужик.— Ить нас не пускают по господской земле ходить!.. А коли ежели земли нету, какая тут жись, а?..

— Земля будет!..— лихо взметнул белой гривой Поликарп.— Хо-хо! Будет глад, трус, мор, война... а потом земля!.. Ей, хлеборобы... Радуйтесь. Веселитесь!.. Земля — радость!

Низкая, юркая старуха с горящими, выжженными солнцем глазами, подвернувшись молчком, вцепилась в широкую лесовику бороду. Заверещала:

— У-у, слепой черт... греховодник!.. У раю хрустальны дворцы... золоты палаты... Молочны да медовы реки... А туто што?.. Што мы туто видим, а?..

— Хо-хо-хо!..— захохотал Поликарп, подняв густые

седые брови, нависшие над черными пустыми ямками, словно лес.— Выжги себе глаза... Вот и увидишь... Чудо увидишь!.. Так-тось. А золото ето да хрусталь вылетит у тебе из головы. Како тако золото?.. Хрустальны палаты?.. Слышь, шумит-гудет уверху?.. Вот те и палаты!.. А запахи чуешь сердцем?.. Тут тебе и рай...

Светло и радостно улыбаясь, посадил старуху, бережно к стене. Взял седую ее крохотную голову в огромные свои мозолистые руки. Поцеловал ее в макушку, закрывая лицо ее белой широкой бородой, пересыпанной рыбьей чешуей и тмином...

— Так-тось, старух!.. А и то хорошо, што ты на небе рая ждешь... Хорошо!.. Коли люди маются, тоскуют об царстве... ишнем. Хо-хо! Тут радость есть... Ух. И рад же я!.. Всему рад... Ух!.. — ухал неугомонный, веселый, вешний кудесник, древней землей вея и запахом диких лесов.

За проходом, толпы кликуш смятенного, бушующего Николу облепив, рвали его за ковперь остервенело. Бредили:

— Ай!.. Красавчик!.. Царевич!.. Ай, цалуй!.. Горячей!..

— Га-а!.. Жулье!..— гремел, люто метаясь под душными срывами и глузжа кулаком кликуш, Никола.— Все кровопивство!.. Собрались идить на двуногих. А идить не с кем!.. Все разбрелись... Эх, Крутогоров, Крутогоров! Затеял ты, да... эх... Земли!.. Земли! черт вахлатый!.. — совал он в грудь сонного косматого мужика.— Земля, думаешь, сама к тебе придет?.. Землю надо взять!.. Коли пойдут мужики на города... сокрушать живоглотов — будет земля!.. А так, не будет до скончания века!.. Чего губы развесил, мурло? Медюлян! Га! С бою, говорю, надо взять, землю-то!.. Ракло!

— А ты ча лаешься? — сонно водил мужик впалыми, мутными глазами.— Ето б надо вумственно... Штоб без смертовбивства!.. без озорства... може, земля и досталась бы нам... А то, бают, и в Думе таперь собрались озорники... На царя лаются... Ну, царь оттово земли и не дает... Надо б тишком да ладком... А ужо, коли ладом не дадут... можно и с смертовбивством... Вумственно надо только ето...

Никола, в упор глядя на мужика, молчал, угрюмый. И вдруг, сорвавшись, загрохотал, словно гром:

— Га-а... Его душат, а он тишком да ладком... У-у, шишига лесная! Кру-ши-ть! Га-а!.. Взорвать проклятую эту планиду!.. Сжечь!..

В далекой и темной глуби пещеры рдяный вспыхнул огонь. Больные и одержимые, задыхаясь, давя друг друга и карабкаясь по уступам пещеры, двинулись к глухому окну затворника.

А из-за окна, сквозь сумрак, прорезываемый красно-зеленым светом лампад, из неведомой застенной пещеры, откуда слепым и жутким несло холодом, вахлатый, черный, обросший мхом затворник подавал древний неведомый голос:

— Кто мне верит?.. Кто меня любит?.. За мною!.. В низины!.. То-то любо будет!.. В сердцевину земли!..

Толпы, притаив дух, молчали сокрушенно. Не шевелились. Только сонный мужик сзади робко и низко кашлянул:

— О-о-о... На небе был... В самом что ни на есть Божьем чертоге... А и в землю прострунул... К нашему брату мужику... Вумственно надо об этом говорить!..

— Любите сердце земли! — суровый и вещий раздавался в глубине пещеры клик.— Кто не познает земли, тот не увидит и неба... Не бойтесь зла! Не бойтесь ненависти! Это зажигает любовь... Вы мне верите?.. Дети!.. Верьте всему и всем... То-то любо будет!.. То-то верно...

Неугомонный Никола могутными ломал, крепкими руками острые выступы камней вокруг окна, брызгая на стены горячей раскрытой кровью...

— Га-а!.. Не верю!..— маялся он.— Все кровопивство!.. Ты тут пособрал к себе народ... А Крутогоров... с кем пойдет!.. Ты слыхал про Крутогорова?.. Живоглотов идет Крутогоров крушить!.. Двуногих... Тебе это любо али нет?..

— Крутогоров — сын мой родной!.. — дрогнув сердцем, вскрикнул затворник глухо.— Крутогоров и я — одно. Благословляю его на битву! Дух мой с ним всюду...

Уткнувшись русой окровавленной головой в окно, впился Никола раскаленными налившимися кровью глазами в черного обросшего затворника:

— А Люда?.. Женка Крутогорова? Не верю!.. Кто ты такой, штоб тебе верить?..

В бледном сумраке ближе земляной, замшелый затворник подступал к окну, застя собой зеленый свет лампад и вея древними снами:

— Я — предтеча Светлого Града!.. А путь ко Граду — через низины... Я — дух низин!

Больные, встрепенувшись, вздохнув тяжко, отхлынули от глухой стены с окном. Никола же, круша крепкими руками каменья, просовывал взвахлаченную голову в окно. Сверлил раскаленным синим своим взглядом черный взгляд затворника — что-то веще знакомое и близкое чуялось ему в этом взгляде — и пытал страхоту, обросшую мхом и землей:

— А ты веришь?

— Верю...

— В Сущего... веришь?.. В Бога?..

— В Него, может, и не верю...— жутко и древне вещувал затворник.— Но Ему верю!..

Гремел Никола исступленно и страшно, обводя толпу гневным горящим взглядом, а пальцами указывая на затворника:

— Га-а... Не верит и сам... Жулик!.. Отцом Крутогорова называет себя... Убью-ю!..— метался он у окна и рвал на себе волосы, перепачканные кровью.— Эй, отвечай! Кем нам быть?..

— Богами! — древний шел из глубины пещеры глухой голос.

Притих вдруг Никола. Отошел от окна, сраженный. Сжал голову.

В брахле, в вонючих лохмотьях копошились по уступам прохода больные, расслабленные. Мужики подымали их. Подносили к окну, откуда подавал вещий затворник ломти хлеба и кринки живоносной воды.

В толпе все так же корчились и бесновались кликуши. Никола молчал. Ибо вещая поразила его, великая тайна затворника...

С тревожным, что-то роковое заслышавшим Поликарпом Никола вышел в чертополошье поле. За глухим старым

терновником с ними расставалось сонное растрепанное мужичье.

— Крутогорову от нас поклон всем миром! — кланялись в пояс бородачи.— Да. И Людмиле Поликарповне! Кабы то землю отбить у живоглотов!

Дикий ветер, вырвавшись из-за терновника, рвал на них спутанные, пыльные волосы, трепал свирепые бороды, развевал полы зипунов...

— Эх! Россия!..— махнул гневной рукой Никола.— Не сдобровать тебе с твоим мужичьем...

И повернул на шлях, не простившись с землякими.

— Серцо!.. Куды ж ты!..— шагал за ним, вея седой вьюгой, лесовик.— Хо-хо! Мене только до монастыря... А там Егорка ждет... поводырь! Не знаешь, будем говорить, чем обрадовал ты... а коли б узнал...— улыбался в белую, развеваемую ветром, бороду Поликарп, догоняя Николу.— Хо-хо! Ты не устрашился того, кого и Бог устрашился!. А?.. Бог сложил оружье духа... Так-тось. А ты — нет!.. Перед затворником-то.

Шли по берегу шляха, заросшего боярышником, молочаями и чертополохом. Поликарп, спотыкаясь о засохшие старые колеи и стуча грушевым посохом, клокотал глухо:

— Толь тебе, серцу мому открою ето... Тайна сия велика есть... А, чать, затворник и тут тяготу эту распускает... Хо-хо! Зло, грыть, делают, вольно аль невольно — все... Невольно, может, больше, чем вольно... Иншие и не знают о зле сном-духом... а делают... Вот и должен грыть всяк муки от духа несть... Тади Град обрящщем... А все шь мудрует он больно. Глаза б ему нужно выжечь себе... Зряч больно!..

Но все же затворника любил Поликарп. Только верил неколебимо, что никакого зла, как и блага, нет. А есть нутро, жизнь. Это-то и нужно брать. Без жизни, с благом-то, добром или злом — тошнота, смерть... А все — от губящей жизнь зрячести. Ее-то и нужно искоренять.

Тревожно молчал Никола и веще. Поликарп все так же глухо клокотал что-то позади, стучал о сухую землю посохом. Весело да лихо покрякивал.

Когда уже темным вечером подошли путники к ограде Загорского монастыря, на старой зубчатой бойнице караульщики заколотили в чугунную доску. За воротами тре-

вожные вспыхнули огни. У каменной стены вкрадчивые зашмыгали согнутые фигуры монахов.

— Кто идет?.. Говори, эй, не спи!..— грозно окликал из-за ворот стражник.— Из Знаменского?.. Назад!

Загрохотал глухо замок. Железную клетку стражник запер наглухо.

В сумраке, на ощупь, под ельник разбитые побрели путники. Но лихо стучал о коренья костылем лесовик:

— Эка! Таперь кажный кустик ночевать пустит...

Под елями в темноте возилось что-то и кряхтело, тупо и гнусно переругиваясь. Должно быть, укладывались побирайлы.

В рваном зипуне и разбитых лаптях на мягком седом мху раскинувшись, задрал на еловый сук Поликарп ноги. Гикнул и свистнул,— матерой залихват, да и только:

— Хо-хо! Эк! Тут тебе и хоромы!.. Тут тебе и рай!.. А завтря откутают и ворота... Утро вечера мудренее!

В ельнике, жутко развевая полами чекменя, пропал Никола.

А около Поликарпа шмыгали уже монастырские следопыты. Настырно что-то жужжали ему в уши. Тащили за полы зипуна.

— Да отлезь, погань! — огромными бодаясь осметками, гудел лесовик.— А? Што?..

— Откеда, дед?..— суетились слежки.— Опрашивать велено... Давно ты тут?.. А пачпорт есть?.. На что! На что! Надо!.. Встань-ка!.. Тебе говорят?

— Отле-зь!.. — гукнул Поликарп сердито.— Расшибу!..

Завернул в зипун голову. Зажал уши корявыми пальцами. И, путаясь в ускользающих обрывках яви, поплыл в голубой провал сна...

В полночь в еловом лесу загудела буря. Под темными, лапчатыми, подвеваемыми ночным вихрем ветвями раздетое, в замашной рубахе тело Поликарпа тряслось и костенело от холода... В лицо било колкое что-то и мокрое: шел липкий снег...

Где-то вблизи глухо барахтались, охая и кряхтя, пьяные какие-то хрипачи, должно быть побирайлы, застывшие на бую...

В вое вершин, с пыткой, а поднявшись, ощупью набрел

Поликарп на ствол огромной ели. Припал от бури к стволу. Растер о кору окостеневшие руки.

В лесу протяжный и страшный ахал буюн. Поликарпу чудилось, что сон все-таки не прошел: весна, цветы, лесные запахи и — снег...

III

За день перед тем, как прийти Поликарпу в Загорскую пустынь, в глухую полночь в безоконном чертовом скиту черную служил Вячеслав литургию на живой человеческой крови...

Кровь разжигала монахов-сатанаилов. Из чертова скита перли они прямо в слободку к гулящим девкам.

Вячеслав же, пьяный от крови и от человеческого жира, шел к себе в монастырь, в потайную келью...

В келье, увидев его, ярые потаскушки в диком порыве похоти бросались на него, донимая кровавыми своими ласками и поцелуями взасос да вприкуску, язык под язык...

А трясущийся, разгоряченный Вячеслав, остервенев, сразу же, на пороге кельи схватывал оголенных барынек поперек. Валял на пол. С диким ревом сек их, извивающихся, розгами из засушенных березовых веток — сладострастно и яростно, до густых кровавых потоков...

Под едкими, огненными ударами в смертной, палящей боли корчась, грызли себе потаскушки руки... Рвали свое тело, иссиня-красными, кровавыми шматьями повисшее на ляжках и ягодицах... Но молчали, судорожно сжимая стучащие зубы...

Кровь ручьями текла по ягодицам, по спинам... Но потаскушки терпели, да и было за что: монастырскую казну давно уже посулил им игумен, а сегодня был последний срок. И оне старались...

А Вячеслав, с засученными руками и высунутым языком, рубил и рубил, глухо, свирепо рыча. Жадно ловил немые, протяжные хрипы... Насыщал слизлую душу свою навеки: ведь сегодня был последний срок...

— Добирай!..— сипло гнусили девки.— Ну и мзду ж выставляй на конь! Сейчас же...

Передернуло вдруг Вячеслава, холодным обдало потом: а где же взять мзду потаскушкам? Казна монастыр-

ская у казначея, да и пуста она. Поверить дальше не поверят... Удушат, стервы, коли узнают, что платить нечем... Надо улепетывать.

Бросив под стол красные от крови прутья и узкие закатив под лоб мутные зрачки, юркнул, точно вор, Вячеслав в порог... Но девки, все так же душно хрипя и ползая на корячках, загородили голыми своими, иссиня-багровыми тушами дверь, будто нечаянно, а вовсе нарочно, чтоб не выпустить игумена. И уже прижимались к нему ласково, облизываясь. Подставляя наперебой, не жалея, еще не окровавленные плечи, руки, груди. Богатой ждали мзды и не шевелились, не дышали: старались. И только когда Вячеслав, пригнувшись и сжавшись в комок, прыгнул козлом через тела к щеколде, вздыбились девки:

— Эй, батько, деньги! Не уйдешь! На дне моря достанем.

Глухо Вячеслав охнул, хватаясь за бок и приседая:

— О-ох... Мзды нету...

— Ага, черт долгогривый!.. — понесли потаскушки, вцепившись в полы игуменовой мантии.— Срок-то пришел!.. Жи-во!.. Казну монастырскую!..

— Деньги! А то сейчас на двор выбежим! Голые!

— Пришли, мол... на исповедь... А он — сечь?..

— На виселицу, мол, его!.. Жульничать, курвель?..

— Я ничего... Я так...— чмыхал Вячеслав, тревожно и юрко озираясь.

Жгло у него под сердцем, точило: некуда уйти. А и уйдешь, так повесят. Подымут девки бузу, голые выбегут на народ — с них сдеется! А от мужиков, известно, спасенья нет.

— Казну! — напирали потаскушки.

— Деньги?.. А ежели... брильянты? — трусился Вячеслав.— Чего взъерепенились?.. Мзду достану... У казначея... у черта... а достану! Подождите тут...

Осторожно, прячась от девок, достал в сундуке громадный ключ от собора. Взял в углу железный посох и вышел, прикрадаясь, из кельи. Девки следили за ним зорко.

Когда в тускло освещенную каменную сторожку, приделанную к собору сбок алтаря над низкой чугунной потайной дверью, вошел Вячеслав, навстречу ему лежавший на лавке краснобородый Андрон загудел спросонья:

— Хто там? Аль дубины отведать захотелось?.. Што тебе?

— Поговорить с тобой надо...— стрельнул Вячеслав сучьими своими щелками по стенам.— Ты не спал?.. Ать?..

— А собор караулить кому ж?.. — сердито гукнул Андрон.— Подковыривай!

— Я ж тебе кусок хлеба дал... Перезвал сюда...— зафыркал Вячеслав, стуча железным посохом о пол...— А ты... все фордыбачишь!

Темным и недобрым сверкнув взглядом, загрохотал Андрон глухо и отрывисто:

— Пес!.. Кусок хлеба!.. Ты думаешь... с чево я пошел в монастырь?.. С жалости к табе! Смердь. Тяжко на твоей хваленой воле-то, вижу... Ну, да я облегчу!..

— Ты потише-то! Душитель!.. Я давно до тебя добирался!..— ощетинившись, загремел вдруг Вячеслав железным костылем.— Вон отсюда...

Андрон, подняв голову, тряхнул медной широкой бородою грозно. Белые уставил на Вячеслава, острые, как буравцы, зрачки. Подскочив на аршин и крякнув, схватил вдруг его за плечи. Притиснул железными корявыми руками к дивану, давя за горло.

— А-а...— задыхаясь, пустил под лоб мутные глаза Вячеслав.— Подожди ж... Дух жив...

И, взметнувшись, нырнул под диван, оставив в руках Андрона грязную желтую косичку.

— Собор хотел обчистить? Я те обчистю!..— глухо дыша, грохотал Андрон.— Ну, да это ж твоя красная смерть. Все равно прикончу!..

— Дух... живет где хощет...— стучал из-под дивана Вячеслав зубами.— Я ничего... я так... Не губи! Андрон... Ты ж мне брат...

Грузно Андрон полез за ним, держа наготове свернутую из полотенца петлю и гудя глухим гудом:

— Пошла душа в рай... Так и надо, штоб в рай... Брыкайся, пес!.. Об тебе ж пекусь!..

Вячеслав, словно мяч, выскочил из-под дивана. С оскаленными, залитыми кровью зубами и высунутым языком, посинелый, дико кося глаза, размахнул гулкий свой костыль и со всех рук ахнул по голове Андрона. Глухо тот как-то и сипло, коротко крякнул. И притих. Под-

ломившись, упал навзничь... Побелевшее, веснушчатое, с пустыми раскрытыми глазами лицо и огненная борода бурой облились рудою.

Подобрав костыль, прислушавшись, не идет ли кто, уткнул Вячеслав в брата узкие щелки глаз... Кровь била из расколотой головы черной пеной. Острые белые глаза еще горели, но уже были неподвижны. Дрогнуло что-то в сердце следопыта... Брата убил! Но и потухло... Эка! Не на то ведь волю вольную дал Тьмяный, чтоб разбираться, что можно, а что нельзя... Все можно!.. Не Вячеслав бы убил Андрона — так Андрон удушил бы Вячеслава. Не Вячеслав бы прикокошил брата — так все равно красносмертники повесили бы его. Не вынес бы он тяготы. Задушил бы десяток-другой, а и его задушили бы... А теперь Вячеслав, решив Андрона, спас его от пекла, себя же — от рая,— этого страшилища, этой тюрьмы света, куда сатанаил попадет разве за особые провинности перед Тьмяным...

Белые мертвые глаза Андрона вдруг повернулись. В груди что-то прохрипело, оборвалось... Залитые рудой под медными усами синие губы раскрылись шире и мертвее, показав белые крепкие зубы.

Шибко забормотал над ним Вячеслав отходную, крестя его и поднося к губам его выхваченную из-за пазухи какую-то ладонку...

Перешагнув через труп, отомкнул низкую чугунную дверь. Вошел в алтарь, прикрадаясь и не дыша...

Темные низкие своды давили, как могильный камень. Одинокие шаги глухо и жутко отбивались в пустом, душном приделе. В сумном, почти подземном низком соборе странные какие-то ходили тени, укутанные в саваны... А на престоле, черно-зеленые раскрыв крылья, облитые едва зримым адским багровым огнем, восседал Тьмяный.

Слизлое сердце Вячеслава колотилось, задыхалось в нуде смертной... Но и отходило: Тьмяный сильнее Сущего — с Тьмяным можно смело ходить по святому собору в страшный полуночный час...

За колонной тихий блеснул вдруг, голубой свет лампады. И из-за него строгий выглянул лик Спаса Нерукотворного в терновом венце, над царскими вратами...

Похолодели у Вячеслава жилы... Ноги подкосились... Скорбный страдный лик, чудилось, настигал его, чтобы наказать смертною и ужасною карою... Но лампадка тихо и кротко теплилась голубым огоньком, и под сводами плавала тишина.

Полночные шепча Тьмяному хвалы, подошел Вячеслав, не помня как, к вратам. Окинул икону в ризе с драгоценными каменьями... И чтобы видел восседавший на престоле зеленокрылый, что не петь хочет, а хулить образ,— плюнул в него остервенело, отрекшись от Сына света трижды.

— Отрекохся!.. Никто мне ничего не сделает... Я — на вольной воле...— трясясь от собственного жуткого голоса, выл Вячеслав.— А-а-а-а... Отреко-хся!.. Тьма — выше света! отрекаться!

Кружась, бурой извиваясь гадюкой, спустил на ленте старый резной кивот... Достал тряскими, как бы чужими руками лик... Ломая крючки и обрезывая пальцы, содрал с него золотую с каменьями ризу. А лик швырнул на пол...

За престолом, в темноте, завернул ризу в полы подрясника. Вкрадчиво, дробной кошачьей поступью шмыгнул в низкую дверь в сторожку и, перешагнув через валяющийся на пороге, залитый рудою труп брата, ушел, никем не увиденный, как будто его в сторожке никогда и не было.

В келье потаскушки, окровавленный увидев в руках Вячеслава посох, переполошились. Наспех, кое-как одевшись, разбежались куда попало...

А Вячеслав впервые, должно быть, понял, что сделал что-то непоправимое, за что, точно, повесят... Кровавый костыль, ризу, разодранный, забрызганный кровью же подрясник сунул он в подземный, заделанный в углу люк, куда прятались награбленные деньги, лики Тьмяного и свертки с записанными ему хвалами. И уткнулся в диван, пытаемый черными, давящими кошмарами...

За глухой каменной перегородкой спала битым сном больная, изрубленная Неонила.

Назавтра монастырский лес охватили кутившие в слободке стражники, шныряя по логам и ища убийц-разбойников.

Монахи ободранный лик Спаса вложили в кивот. Отслужили слезный молебен, да обрящется риза...

Днем не нашли ризы.

За полночь, перед рассветом поднялась лютая буря. Над монастырем, клубясь, ползли без конца серо-бурые тучи... Повалил снег. Засыпал сочную молодую мураву.

А на рассвете монахи на чистой нетронутой скатерти снега от собора до кельи игумена нашли свежий след.

Кинулись к Вячеславу. Тот перед лежащим на аналое ликом Спаса Нерукотворенного исповедовал Неонилу. Остолбенели монахи.

— Откуда... Спас?.. Собор ведь заперт...

— Не видите, исповедую?.. — буркнул Вячеслав, глядя исподлобья на монахов.

— Давно пришла, каяться-то? — схватил Неонилу за рукав осадистый какой-то схимник.— Ризу с любовниками-бродягами содрала... мужа укокошила... А теперь каяться?.. Подобрала ключи... так думаешь, и Спаса обведешь?.. Ан Спас-то и проложил след... Ведьма проклятая!..

— К иродову столбу стервугу!..— заревели монахи.

Подхватили израненную, оглушенную, побледневшую, как смерть, Неонилу. Поволокли на двор, топча ее коленями.

— Ох, да чито ж ето...— затряслась несчастная духиня, расползаясь на снегу в крови и холодном поту.— Да што ж ето... Уби-ла... Батюшки!.. Што ж ето?.. Кого ж я убила?

А Вячеслав, ощипанный, сумасшедший, подкатившись к седому востроглазому казначею, шалтал ему вкрадчиво на ухо, закрываясь ладонями от Неонилы и косясь на нее желтыми кошачьими глазами:

— А я ломаю голову... чего в неурочный час пришла на исповедь?.. Гляжу, тут же на амвоне и Спас... Но не она принесла!.. Не-т!.. Ать?.. Хто?.. Неве-домо!.. Дух живет где хощет...

Нагрянули стражники.

— Где риза?.. Говори, стервуга!..— понесли они на кулаках Неонилу.— Мы так и знали, что ты содрала ризу... и мужа убила... с кем, говори... Весь день стерву искали, а она ишь — исповедуется!..

Дико глядела истерзанная Неонила на пьяную, остервенелую ватагу стражников, все еще не зная, за что ее бьют... Но, поняв, всплеснула безнадежно руками:

— Голу-бчики!.. Не я!..

— А перед Спасом каялась — не ты?.. А Спаса вытащила не ты?

— Не она!.. Не она-а!..— заверещал вдруг Вячеслав, кидаясь то к одному монаху, то к другому.— Ать?! Сам Спас явился, должно!.. Неведомо как!.. И след по снегу... Бог, видно, навел на нее... Дух живет где хощет... Ать?.. Может, и не она содрала ризу, а она только подводила... Допрашивайте ее!.. Охо-хо... грехи...

Но больше уже не допрашивали Неонилу, не пытали. Мужа убила, Спаса разорила — она. Скрутили ее туго едкими веревками. Вывели на лобное место. Прижгли к крепкому дубовому столбу — иродову столбу.

Сбившаяся сбродная толпа, обеснуясь и гудя, кинулась кровожадно на отверженную жуткую духиню. Но, встретив ее отрешенный, нечеловеческий синий взгляд, дрогнула... Отвалила от столба, боясь наважденья и порчи... И только харкала издали в страдное лицо Неонилы...

А под вечер из окрестных хуторов и деревень придвинулись кучи мужиков, что давно уже зарились разнести черное гнездо сатанаилов.

Гневным разметавшись по двору потоком, понесла громада бить кельи да лавки. Сбродная толпа метнулась вроссыпь.

Тут-то к Неонилиным ногам, вдруг вырвавшись откуда-то из тревожной расползающейся толпы, одинокий упал, протяжный клик, как будто это был клик старого мятежного леса:

— Да Нени-лушка!.. Хо!.. Сердце мое!..

Учуяло вещее сердце духини, чей это клик... Затрепыхалась она смертно, кровавым забилась недугом, не двинув прикрученными к столбу руками и только качнув безнадежно головой...

— А-а-а...

Поликарп, топча кишащий у столба сброд, ринулся на вопль возлюбленной своей... И вещей прогремел бурей зов нежной его великой любви:

— Люба моя!.. Айде ж ты!.. Сердце мое!.. Пойдем!.. млада!

Но грузные навалились на него, обезумевшие монахи. Скрутили его, глухо клокочущего и смятенного. Потащили за ограду...

А громада крушила кельи, металась по двору и гудела грозно у иродова столба, с прикрученной к нему Неонилой. И с гулом громады перемешивался тревожный шум старого монастырского леса.

IV

Жизнь — это звон звезд и цветов, голубая, огненная сказка...

Но окаменевшие, озверелые, кровожадные двуногие погасили ее. И на мертвой, проклятой Богом земле воздвигли каменные гробы — города.

Как капища сатаны, высились они над долом, залитые багровым, адским светом. И нечисть всей вселенной справляла в них свой черный шабаш...

Перед ясным высоким солнцем, в знойный полдень, по разожженному дорожному камню, к городу призраков приблизившись, кровной клялись сыны земли клятвой:

— Солнце! Ты видишь? Земля — наша мать — полонена двуногими... Солнце! Клянемся перед тобою! Помоги нам! Ты видишь наше сердце.

Красным нестерпимым жаром обдавало прогневанное солнце серые пустыри, мостовые, закоптелые горы домов и далекие провалы улиц... В раскаленной буро-желтой мгле чахлые вяли, больные сады. Выбившаяся меж каменьев трава в хрупкие сухие кольца сворачивалась. Ломалась кострикой — так немилосердно палило прогневанное солнце...

На берегу реки, перед городом, мучимый жаждою, подошел Крутогоров к волнам. Нечаянно взглянул под валявшуюся на песке гнилую колоду. И окаменел: из-под колоды, покачиваясь и водя приплюснутыми шершавыми головами, ползли на него черные клубки матерых змей... Сиплым обдавали его и жутким свистом... Зачарованный, глядя расширенными, таящими ужас зрачками, как черные

холодные гады раскрытыми пастями нацеливаются в лицо, Крутогоров отпрыгнул в сторону, на камень. Но сердце его похолодело: под камнем на солнцепеке ворочались кругом и сонно водили раскрытыми пастями сплетшиеся буро-желтые змеи... Подкатывали под него свистящими кольцами. Обвивались уже вокруг ног...

Но, отряхнув их с ног, выбрался Крутогоров из западни смерти на крутой обрыв.

Поднял отдыхающих на камнях у дороги земляков. Черноземной несокрушимой силой двинул их на серый мертвый город двуногих и призраков...

В рабочем квартале сняли землеробы флигель. В первую голову обзавелись планами города.

Через две недели Крутогоров знал уже все входы и выходы в сборищах двуногих.

В раззолоченном, гранитном дворце был сбор ехидн. Готовились козни на мужиков. Крутогоров, перекупив у какого-то красноносого дружинника пропуск, прошел в дворец.

Грозным встал сын солнца перед сборищем ехидн вестником мести, подняв гневный свой голос, как власть имеющий:

— Вы веселитесь... Но вы заплачете, когда мы будем мстить! За муки, за кровь... За землю — мстить! Не отдаете земли — так ждите!..

У колонн сидевшие на мраморном выступе главари, подхватившись, вытаращились на Крутогорова тупо. Забурчали что-то, кивая один на другого.

Поднявшиеся грохот, шум, свист — смешали все в какой-то ад... Откуда-то из-за колонн выгрузились дружинники — пьяные ковыляющие уроды: у одного недоставало ноги — передвигался на какой-то деревяшке вроде лестницы; у другого горб был наравне с головою; у третьего кисли, как язвы, заплывшие гноем глаза. Без конца лоснились мясистые, иссиня-багровые носы...

— Дозвольте... ваша-сясь... морду побить?..— козырял толстому какому-то купцу куцый хромоножка.— За первый сорт... отчищу!..

— К-ка-к?.. Как ты смеешь?.. — выпятив грудь,

встряхнул кулаком купец.— Да я т-ебя... В порошок и по ветру!..

— Не-т, ваша-сясь...— окружили купца уроды, громыхая костылями-лестницами.— Тому вон, што скандал поднял... А хоть бы и тебе?..— ухмыльнулись они, ворочая свирепо белками.

Купец размахнул кулак. Но дикий хромоногий, вцепившись, как клещ, в его кафтан, так изловчился, что откусил ему острыми зубами нос...

Рассвирепел купец. Хватил со всего размаха хромоногого. Но тот и ухом не повел.

Дружинники наседали на купца. А тому было уже не до них: кровь хлющила из носа фонтаном. Надо было замывать. Но обросший, волосатый горбун, перегородив проход, тузил своими руками-обрубками в толстое пузо купца так, что пузыри летели изо рта.

Когда купец, взяв пару-другую дружинников под мышки, понес их в боковую комнату, хромоногий, держась за ворот купеческого кафтана, брыкаясь, заверещал:

— Убери-те его!.. А то я за себя не ручаюсь... Уберите эту пузатую сволочь!..

А кругом крутились уже, топая каблуками и горланя, обнявшиеся красные носы: плясали.

Не ходи бочком,
Ходи ребрушком!
Не зови дружком,
Зови зернушком! —

подсвистывали, нося зобы, ехидны.

В углу Крутогорову вязала руки стража. Барыньки и девицы в красных парчовых сарафанах и высоких кокошниках — в гнезде ехидны так любят все русское, даже одежду! — всплескивали руками:

— Негодяй!.. Подлец! Как он смел? Кто его пустил?.. Скажите, кто?!

— Н-да... Невелика птичка, а ноготок востер. Ну, да мы его сейчас...— прошмыгнул, косясь на Крутогорова, какой-то военный туда, откуда лилась музыка.

Белоснежный заливал электрический свет хрустали, колонны из малахита, позолоту, шелка, парчу и бархат... За колоннами рыдала, с нежными арфами и скрипками

переплетаясь, томная виолончель: серебряная луна плыла в жемчужных тучах, голубой пел ветер...

Из-за колонн, оттуда, где томилась и безумствовала виолончель, в красных трубочках, туго обтягивающих ляжки, и в красных же мундирах вышли под руку с легкими, хрупкими, как лилии, женщинами военные. И навстречу им багровые носы, махая руками, свирепо что-то загорланили и дико...

Крики стихли. Выскочивший из толпы военных, высокий, сухой, зеленокожий Гедеонов окинул толпу ницым взглядом. Увидев в углу связанного Крутогорова, вздрогнул. Но, набравшись храбрости, кинулся сломя голову к нему с выступа:

— Эт-то... что?.. Это, наконец... Что за чер-рт?!

Вылинявшие зелено-желтые глаза торчали из-под жестких рыжих бровей, как ножи.

Толпа смыкалась все теснее и теснее, пытая Крутогорова:

— Ты один сюда приехал, а? Что вы затеваете?.. Умрем, а земли мы не отдадим вам.

— Что затевает солнце, когда оно всходит?..— откинул назад голову Крутогоров, меряя двуногих взглядом.— Но не одно солнце обрушится на вас... Вам, гадам, будет мстить и земля... Через землю вы погибнете.

Круто повернувшись на каблуках, трясясь, вытянул длинную жилистую шею Гедеонов. Выскалил гнилые зубы:

— Ого!.. Да он... не робкого десятка! А еще говорят, что мучили... мужичье-то... Нет, когда б взаправду вымуштровать... не заговорили бы больше! А договорятся!.. Чем бы это их поподчивать, а?

— В-ешать!..— подхватили двуногие.— Вешать сиволапую сволочь! Висилицей их подчивать...

— А работать кто будет на вас?.. — жег их Крутогоров черным огнем.— Ну, да все равно... Чем больше повешенных, тем скорее месть... И лютее... Все из-за земли, знайте!..

Орава кинулась на него с простертыми скрюченными руками и свирепыми криками. Схватила его за шею:

— Решить!

Гедеонов, обнажая гнилые желтые клыки, уговаривал ехидн:

— Не горячитесь. Какой прок, если мы его убьем сра-

зу?.. Надо его немножко поподчивать... В секретку его!..

Но хрупкая, нежная и светлая, словно сказка, вышла откуда-то девушка.

— Я прошу... не трогать его...— повернула она пылающее лицо к Гедеонову.

— Ты-ы?..— воззрился на нее Гедеонов грозно.

Девушка, нежно и светло улыбаясь, взяла под руку отца. Увлекла его в соседний зал.

За колоннами тяжко зарыдала и забилась виолончель. Луна, точно смерть в белом саване, мчалась за черными разорванными тучами, разбрасывая бледный серебряный свет по дороге, устланной гробами...

А орава, бросив Крутогорова, таращила вослед хруп кой Тамаре гнойные глаза с ужасом...

В углу же шушукались и судачили холеные тупые барыньки: что это за девица, что и Гедеонова укротила?

Какой-то старичок-генерал, придворный, подскочил, шаркая подметками, к дамам. Закрутил старый храбрый ус:

— Это весьма понятно-с, княжна Тамара, видите ли — дочь Гедеонова. Оно хоть Гедеонов и давний вдовец, ну, да ведь княгиня Елизавета — хе! хе! — женщина с темпераментом-с, не одному придворному пришлось убедиться в этом, и Гедеонов живет с ней как с женою уже восемнадцать лет... С мужем, князем Сергеем у княгини были нелады с первых же годов супружества, и она тогда же сошлась с Гедеоновым — поразил ее, знаете ли, необыкновенный характер генерала. Свяжется же черт с младенцем! От Гедеонова у ней и родилась дочь, хотя Тамару и знают как дочь князя Сергея...

Виолончель смолкла — серебряная луна упала и разбилась на острых скалах...

Но что-то светлое цвело в сердце Крутогорова и пело...

Не хрупкая ли, огненная Тамара, воздушная и нежная, как сон, окутанная светлым газом?

Тамара прошла около: лебяжья поступь, медленный долгий взгляд. Маячил и манил хрупкий огненный кубок счастья... Кто выпьет? Кто возьмет огненную красоту?

Ибо не знала Тамара красоты своей, богатства своего.

Из-за толпы на нее взглянул Крутогоров. Она вздрогнула и опустила голову.

И, лишь слегка приподняв багряное пылавшее лицо, повела искоса серым медленным взглядом, неведомым, как судьба. И, остановившись, шире раскрыла ресницы, глубже заглянула в солнечные глаза Крутогорову, погрузилась в них. И вздох ее был — вздох шумных вершин, омоченных весенним дождем, всплеск ночных волн...

Из раззолоченного гранитного дворца Крутогорова ночью же увезли в старую облезлую крепость.

Везли Крутогорова шумными улицами. Жуткие вились за ним, с горящими глазницами, призраки. Острым западали в сердце ножом предсмертные ночные голоса и зовы: город гудел и выл, как стоголовое чудовище... заливал багровым заревом небо, кровавым заревом. Выбрасывал из своих пастей тучи смрада. И жрал, жрал молодые трепетные жертвы, разбросанные по заплесневелым мертвым каменным трущобам...

Только двуногие веселились, разодетые, в раззолоченных, пропитанных кровью дворцах и капищах... Из-за огромных зеркальных окон, из-за дверей кабаков неслись визги, крики и песни скоморохов, публичных девок и актерш, пьяные голоса и гулы... А по улицам, черным развертываясь свитком, текли реки все тех же праздных, сытых, тупых и хищных двуногих...

О город, логовище двуногих, проклятье тебе!

Проклятье, проклятье тебе, палач радости, красоты и солнца! Проклятье тебе, скопище человекодавов, кровопийц и костоглотов, грабящих, насилующих и убивающих, не как разбойники, дерзко и смело, а как тати — исподволь, скрытыми от глаз путями, во всеоружии знания и закона...

Проклятье же тебе, ненасытимый кровожадный вампир, вытачивающий теплую кровь из жил трепетных юношей и дев. Проклятье тебе, гроб повапленный, смрадное торжище, где каждый кусок человеческого тела расценен на медяки. Проклятье тебе, растлитель детей — цветов земли...

Проклятье! Проклятье тебе, город...

Но откуда эти цветы жизни, цветы любви — русалки? Кто отнял у них зори и росы? Пленницы города, грезят

в неволе оне о невозможном... А тайная печаль отравляет их сердца: не увидеть им лесного яркого солнца — вечен их плен! Придет синяя весна, в далекую цветущую степь поманит и уйдет в лазоревую даль, оставив только синий туман и грусть...

А любят же русалки солнце и радость! Любят же зори, шелест леса. Любят в знойный полдень мчаться в свежие луга, в океане цветов тонуть и вольной, сладкой и грозной отдавать себя буре!..

Пройди города и страны. Ты найдешь царицу-русалку, страстную и гордую. Увидишь плененного и неразгаданного сфинкса. Но не найдешь и не увидишь вольной русалки...

А оне ли не вздыхают по воле? Оне ли не тоскуют по невозможной все сожигающей любви, не зовут юношей в тайном и знойном одиночестве, не грозят им гибкими тонкими руками и не обнимают их наедине страстно?

Ах! Русалки! Русалки! Одарены вы сердцем нежным, огненным и любвеобильным. Но кто отнял у вас зори и росы?

Под солнцем и в электрическом свете улиц проходили перед Крутогоровым вереницы русалок стройных, юных и гордых, в пышных мехах и бархате, с загадочными манящими глазами... Но не было среди них русалки-зарницы, дикого цветка, затерянного в темных лесах — вольной и царственно прекрасной Люды.

V

Хлеба в Знаменском выбило градом. Мужики голодали. Задумав обратить голодных в православие, поп Михайло с попадьей поехали в Петербург к Гедеонову за помощью.

В родовом гранитном гедеоновском дворце поп с попадьей в первую голову посетили мать Гедеонова, набожную старуху, скуля о ленте. Но старуха, узнав, что поп приехал, собственно, к генералу, побледнела и замахала руками:

— Нет, уж увольте...

Сына своего она прокляла, отреклась от него навеки.

— Если вам он нужен... то идите к нему,— отшатну-

лась старушка.— А меня... оставьте в покое... Без него я, может быть, и могла помочь... но с ним...

Крепко сжала голову. Охнув, упала в кресло...

Михайло, щипля редкую рыжую бородку и моргая лупатыми белесыми глазами, бормотал картаво:

— Прости-те... сударыня... Крестьяне голодают до того, что... дубовую кору едят... И голод захватил всю волость... Мы и думали, что генерал походатайствует... перед казной... о помощи...

— Нет... нет...— качала головой старушка.— Он скорее повесит голодных, чем накормит...

— Я то же самое говорю...— поддакивала ей, кося темные незрячие глаза на попа, Варвара.— Генерал ведь мужиков ненавидит...

Старуха обрадовалась:

— Вот, вот! Вы меня понимаете. Пожалуйста, останьтесь у меня... А о. Михаила Стеша проведет к нему... на его половину...

— Что я наделал! — кусал себя за язык поп.— Прогневил барыню... Что я наделал!..

Когда Стеша огромными золочеными залами провела Михайлу на половину Гедеонова, попа охватил страх: а что, если его схватят да отправят в крепость? Ведь теперь за мужиков хлопотать очень опасно; не ровен час, примут за крамольника, ну и поминай как звали!

Перед Гедеоновым Михайло трепетал вечно, так как жизнь его была в руках генерала. И только когда дело доходило до шкуры, случалось, не уступал ему и шел врукопашную. Но, испугавшись угроз, сейчас же падал Гедеонову в ноги. Целовал ему сапоги, лишь бы только простил.

А Гедеонов, сладострастно подставляя попу то один, то другой сапог, гнусил:

— Лижи! Лижи! А то с волчьим билетом пойдешь гулять.

— Поднимите немного повыше сапог... — лебезил поп, ползая по полу.

И лизал подметку.

Теперь, в кабинете Гедеонова, у него затряслись, как в лихорадке, руки и ноги...

— Ну, как дела, батя?.. — скалил гнилые клыки раз-

валившийся в бархатном халате Гедеонов.— Что там такое у вас?.. Чего ты приехал?

— Голод... помилосердствуйте! — упав на колени, лопотал поп.— Помирают прихожане... И хлысты... Я так думаю... ежели накормит их правительство... Они все перейдут в православие... хлысты-то. Ну, и мне есть нечего...

— Дохнут? — пыхнул Гедеонов сигарой.

— Помилосердствуйте... Похлопочите перед казной...

— Фю-ить!..— свистнул Гедеонов.— Держи карман шире!.. Мне самому скоро будет мат... Новые веяния теперь, знаешь... Я — в опале... А своего у меня ничего нет, мать бы...

Нахмурился. Зажевал уныло губами, соображая.

Вдруг, видно вспомнив что-то давно известное и решенное, хлопнул себя ладонью по лбу. Захохотал скрипуче и едко. Острые бросил на попа серо-зеленые глаза, буркнул как бы шутя, хоть и видно было, что ему не до шуток:

— А моя мать...— ты разве не слыхал? собирается подписать все... швейке этой... Стешке... А меня оставить на бобах.

Поп, дрожа и дергая быстро бороденку, лопотал свое:

— Помогите... Ради Бога!.. Смерть... косит... Как-нибудь помогите... Для себя же... Для Бога...

Глухо как-то отозвался Гедеонов и зловеще сверкнул колкими невидимыми зрачками:

— Я-то на все готов для Бога... А вот ты, батя, готов ли?

Не понял его поп.

— Ты вникни...— заглядывая в самую глубь боязливой Михайловой души, властно околдовывал ее Гедеонов.— Ежели ты возлюбил Бога всем сердцем... То ты не только можешь, но и должен пойти для него на все... Хотя бы, допустим, на преступление... Допустим, Бог испытывает твою любовь... посылает голод... и требует, чтобы ты спас голодных от смерти... и от греха... ведь клянут же они сейчас всех и вся — грешат, стало быть?.. Н-да... Ну, так чтобы спасти, для Бога-то, требуется преступление, мать бы... Но это будет не преступление! А жертва Богу!..— веяли вокруг попа длинные, как жердь, генеральские руки.— Вроде той, что хотел принесть Богу Авраам... Так

вот, говорю... чтобы спасти тысячи людей от голода и тем прославить Бога — согласен ли ты, батя, убить одного только человека?

Каждый раз, когда нужно было сразу же подчинить себе, ошеломить попа, Гедеонов загадочно возвышал гнусавый свой, властный, глухой голос. Не смел поп противиться этому голосу. Без ропота, как обреченный, отдавал он всего себя во власть Гедеонову.

Но теперь, вдруг и непонятно, робкая заячья душа его восстала против властного дьявольского голоса. Чтобы он, Михайло, да попал в западню, откуда нет выхода и возврата? Холодный пот выступил у него на лице... Да не будет же этого!..

Но в столбняке, цепенея от зеленого неподвижного взгляда Гедеонова, с неотвратимой ясностью Михайло видел, что падает в пропасть... И молчал.

А ведь в гибели, в страшной и неутолимой тяготе, завещанной попу еще загадочным Феофаном,— солнце Града? Ведь не нес еще Михайло того, что должен понести каждый взыскующий Града — лютой самоказни, неукротимого самомучительства. Не проходил еще через очистительный огонь несчастный иерей, взыскующий Града, тайный ученик непостижимого и неразгаданного Феофана.

Быть может, это сама судьба велит дерзнуть на великое зло и принять за него тяготу, без чего нет солнца Града. Но все-таки какая пагуба: Феофан проповедовал зло бескорыстное, содеянное только ради тяготы и открывающегося через нее солнца Града, а не ради корысти, хотя бы и Божьей!..

Как надмирное, древнее светило маячил в душе Михайлы заклятый Феофан с его жутким заветом об очистительном огне, о тяготе низин и солнце Града... И звал его из глубины:

— За мною!.. Помнишь? Помнишь? Дерзай!.. Очищайся!..

Украдкой торкнул поп Гедеонова...

— Кого?.. А?

Жутко и просто Гедеонов, роясь в бумагах, как будто не его и спрашивали, бросил:

— Кого. Да хоть бы мою мать.

— Не могу! — отскочил вдруг поп.

— Фу, черт, мать бы...— сломал карандаш Гедеонов, хмурясь и кривясь.— Не мо-гу-у!.. Этак и всякая сволочь скажет, не способная ни на что... Не-т! Ежели любишь Бога всем сердцем, должен ты идти для него на все?.. Н-да... Допустим, нашей святой родине — обители избранных, достоянию Бога — грозит гибель... А я не одним каким-нибудь убийством, а миллионом убийств спасаю ее от гибели... Разве я тогда не святой человек?.. Святой!.. Скажу тебе по совести, я во время бунтов поперевешал и обезглавил столько мужиков, сколько на моей голове волос нет, мать бы... Ну, конечно, этим и спас родину... и я — святой!..

Поп протянул глухим упавшим голосом:

— О-о-о... Для Бога убить мо-ожно... Для человека нельзя, а для него... все-о можно!.. Но где божеское... а где человеческое... не дано-о нам знать!..

— Тьфу, мать бы...— плюнул свирепо Гедеонов.— Пойми, ты спасешь не только тела, но и души заблудших овец... хлыстов-то... Бессомненно, они перейдут в православие — стоит только помазать по губам салом... А кроме того, ты спасешь и ту, которую убьешь... Ведь мать-то моя ведьма! А принявши мученический венец, она спасется, мать бы... Да и ведь, говорю тебе это,— жертва Богу!.. может, даже Бог пошлет ангела... Ну, идет, мать бы... Не пошлет ангела — на швейку все свалим!.. Получим наследство и накормим... хлыстов...

Хныкал Михайло, дрожа, как былинка:

— Боюсь.

— Для Бога ведь! Да постой, постой! — схватился Гедеонов.— Ты, кажется, Феофана знал? Слыхал про тяготу?.. Ну вот. Согласен?

— Тягота?.. О! Это... это...— расцвел вдруг Михайло.

Ибо древнее осенило его надмирное неведомое светило небывалым светом... Жертва будет невинная, тягота бескорыстная. Убить, и пройти через очистительный огонь зол и солнце обрести, солнце Града: вот чем осенило древнее светило.

— Я... того... ну, что ж... согласен...— тихо и безумно, заикаясь, прошептал поп.

Гедеонов лениво, как будто ему от согласия попа — ни холодно ни жарко, буркнул в нос, выпустив изо рта дым:

— Ну... сегодня же ночью и приступим...

И вздохнул сердито, бросив на попа исподлобья сухой, недовольный взгляд, как бы говоривший: эхе-хе, для тебя же стараюсь, а ты только и знаешь что скулить, да хныкать, да фордыбачить, сволочь неблагодарная...

Ночью, когда в особняке все уснуло, потухло электричество и в гулких, завешанных тяжелыми портьерами комнатах жуткие встали призраки, Гедеонов, отомкнув ящик резного стола, достал тяжелый какой-то сверток и положил перед собою.

— Что это? — вздрогнул оторопелый Михайло.

Про жуткий свой договор с Гедеоновым он давно уже забыл, а если, часом, и вспоминал, то как глупую шутку или полузабытый, тяжелый сон. За обедом, чаем и ужином поп весело балагурил с генералом, хихикая в кулак и ерзая. А когда Гедеонов выходил куда-нибудь из кабинета, разглядывал картины по стенам — каких-то голых девочек с козьими ногами — и радостно потирал руки: дело, кажется, шло на лад; генерал притворился только, будто он в опале, а на самом деле без него и шагу не ступят; значит, помощь голодающим будет дана...

Ждал поп до поздней ночи; радовался, что хоть и ничего не дождался, а все-таки шутка была шуткою...

И только перед самым сном, когда нос клевал уже в угол резного стола, Михайло, сквозь дрему увидев на столе тяжелый сверток, похолодел весь. Но не смел пошевелить и пальцами и сидел перед Гедеоновым молча.

— Ты что ж уши развесил? — толкнул его тот в плечо.— Пора, брат.

Узкими потайными ходами, на цыпочках, натыкаясь, перешли они в ту половину дворца, где жила старуха-мать. Вошли в темную какую-то, пустую комнату.

За стеной протяжно и устало, словно отдаленный страж, часы пробили два.

В темноте поп, разомкнув слипающиеся сонные глаза, сладко зевнул, потянулся и радостно потер руки, как будто все было благополучно.

Но вдруг вспомнил, куда пришел... Протяжно, безнадежно ахнул...

А в руку его скользнул уже холодный ловкий нож. Бережно почему-то, боясь упустить, сжал поп рукоятку. Шатаясь, растопырив руки, тронул Гедеонова за локоть.

— Пустите...— поперхнулся он.— Я так думаю... ничего не выйдет... Насчет ангела я... Никакого ангела... Бог не пошлет...

Но Гедеонов молчал.

Ощупью в темноте нашел какой-то столик Михайло. Дрогнувшей рукой снял нагрудный крест. Положил на столик, поцеловав в последний раз. Попробовал лезвие ножа... Вот когда суждено пройти через очистительный огонь тяготы!

— Сюда...— гнусил на ухо Гедеонов.

И шли оба, прикрадаясь, на носках.

Но, сдержанные, гулко отдавались по дальним пустым залам шаги. Захватывало у попа дух, колотилось сердце. Ноги то шагали размашисто, то семенили дробными шажками... И одна у попа была забота: чтобы не услышали его да чтобы удалось зарезать старушку без помехи. Зарезать? Но ведь этого не будет никогда, никогда! Это только шутка. Это только сон...

Перед высокой, отливающей в темноте светом позолоты дверью, вдруг остановившись, пригнулся Гедеонов. Протянул назад смутно болтающуюся, как жердь, руку. Хватаясь за рясу попа, глухо и сипло прошептал:

— За дверью, направо. Спит. Бей прямо в сердце!

Торопливо и швыдко, не помня себя, шмыгнул поп в дверь. Как-то нелепо и громко застучал каблуками.

За дверью, в спальне, ему почему-то сделалось легко и весело. Может быть, потому, что все это ему казалось затейливым и душным сном, созревшим в неотгонимой темноте, а ведь интересно разыгрывать этакую историю, хотя бы и во сне! Стоит только захотеть, конечно, как все точно рукой снимет: сон пройдет и поп, пробудившись, будет только гадать, что сон значит. Да и теперь поп гадает, что вещует душный этот сон?

Но надо скорей кончать, а то больно уж жутко, дух захватывает, чего доброго, еще задохнуться можно во сне...

Гулко в спальне гремели опрокидываемые стулья, этажерки. Но поп теперь уже не боялся, что его услышат. Коли во сне, стоит ли остерегаться? Не разбирая ничего, повалил поп на белый балдахин в угол...

В высоких белых подушках под одеялом жутко мутнела в сумраке голова... Михайло, весь в холодном поту, встряхнув шелудивой своей косичкой, поднял высоко тяжелый нож, все еще не веря ничему. С размаху ударил ниже головы, чтобы скорей проснуться...

Но сон не проходил. А грузное что-то и свистящее забилось под одеялом и захрипело...

Как гнездо встревоженных змей, зашевелились на голове попа волосы. Ухнуло в преисподнюю сердце.

В надежде на пробуждение круто и свирепо повернул поп в хлюпающей ране нож: конец его то грузно погружался в хлещущее горячей живой кровью мягкое тело, то, наскакивая на кости, глухо стучал и подскальзывался...

В лицо, в грудь Михайле теплые били густые липкие брызги. На руки лилась горячими струями, запекаясь в шматья, руда...

Но вот тело, последний издав хрип, вытянулось. Застыло под ножом...

Бросил нож поп. Важное что-то и последнее припомнил. Надо бежать! От сна, от смерти, от тяготы!..

Но водопадом хлынуло электричество, залив ярко спальню. В пустых залах гулкие замерли чьи-то удаляющиеся шаги... А за дверью высокий раздался, нечеловеческий вопль:

— Уби-л!.. Мать свою убил!.. А-а-а!..

Пусто и дико глядел сумасшедший поп, растопырив руки с кусками запекшейся крови, на залитый рудою паркет, на темно-бурую пенистую струю, стекающую с белоснежной постели...

А в душе его вставала нескончаемая тучей тягота. Казнила его, лютым опаляла огнем. О, сколько бы отдал поп, только бы проснуться, поправить непоправимое! Но не бывать пробуждению от жизни. Нет возврата минувшему. Не уйти от страшной, как смерть, тяготы.

В смертельной тоске, метаясь по спальне, ища места, куда бы спрятаться — не спастись, а только спрятаться, чтобы не глядеть в глаза людям, в глаза себе,— выскочил

поп за дверь... И окаменел: посреди комнаты лежала перед ним старуха-мать Гедеонова. Распластавшиеся руки ее пристыли к залитому рудой паркету. На посеребренной сединами голове дымилась глубокая черная яма. Оттуда била пена, а по краям висели клочья серого мозга...

Над телом старухи что-то билось и рыдало без слов, без слез...

Помутились у попа глаза. Как-то ничком пополз он в спальню, безумно и дико озираясь. Закружился в лужах крови... Подполз к кровати. Протяжно, тихо захохотал... Но хохот этот был страшнее смерти: с измоченных рудой подушек на него мертво и пусто уставилось искромсанное синее лицо попадьи.

— Это Варвара!..— задохнулся поп.— Обманули... А-а-а...

Откатившись от кровати, хриплый, распростерся плашмя... Ждал чуда. Ждал, что придет на землю Судия, уничтожит мир... И поп забудет эту жизнь, эту жуть; хоть и пойдет в ад, а забудет...

Отчего не разрывается сердце? Отчего избавительница-смерть не возьмет его?

Но вдруг крепкие, как железо, руки сдавили попа, раскололи ему голову. Кровавые молнии обожгли его сердце...

— Ж-живор-ез!..— просвистело над виском.

— Луп-пи-и его!.. В харю!..

Какой-то усач в серой шинели носился с крестом и серебряной цепью:

— Эй, батя, крест-то, крест... Когда там еще расстригут — это... а теперь нельзя, надо крестик...

Но поп уже ничего не слышал.

А в кабинете с козлоногими девочками, на другой половине особняка, запершись на ключ, трясучий Гедеонов жадно слизывал с резного подсвечника, которым он убил мать, черную, старую запекшуюся кровь.

— Кровушка. Кро-вушка,— захлебывался генерал... И подмигивал сам себе:

— Своя кровь — горячей!

VI

Над городом, темными обдаваемая грозными волнами, словно суровый страж ада, высилась старая заржавевшая крепость, куда замуровывали двуногие взыскующих Града.

В потайных казематах томились хлеборобы: красносмертники, пламенники, злыдота.

В городе ехидн, мстя за кровь, за пытки, за братьев своих, обезглавленных в древнем каменистом поле, тайком жгли огненные мстители суды, притоны, старые дворцы, театры...

Но переловили мужиков. И теперь они ждали суда...

За пыльными, переплетенными чугунной решеткой, узкими косыми окнами, бросая на крепостную гранитную стену ярые волны, дикая билась вечно и безумствовала буря, словно кто-то неведомый стучал в гроб и хохотал исступленно...

Суда и смерти сыны земли ждали изо дня в день, чтобы смертью попрать город.

Ждал смерти и Крутогоров.

За стенами гудели неустанно удары волн, перемешивась с печальным, протяжным перезвоном башенных часов. На холодный каменный пол сквозь слюдяные сизые стекла то слепой падал полуденный свет солнца, то острые стрелы ночных звезд...

Как-то в полдень загрохотал замок чугунной глухой двери. В душный каземат тихо вошла девушка в мехах и бархате. Остановившись в пороге, подняла неподвижный, серый и грозный, как ночная туча, взгляд.

А багряный, пышный и нежный ее рот полуоткрывал жемчужины зубов, суля невозможное счастье. Жутко-прекрасна была улыбка любви: она сокрушала, как ураган. А глаза, бездонно-жадные, застланные светло-синим туманом, глядели в глубь сердца — ждали... А светлое девичье лицо пылало, как огонь. На мехах и бархате светлые переливались дождевые капли...

Гибкая и стройная, откинув назад убранную в сизый бархат и страусовые перья голову с пышными витыми волосами над алыми висками, подошла Тамара, плавно покачиваясь, на носках, к Крутогорову.

Тот глядел ей в грозные глаза.

Тамара, вея свежим, росным ароматом леса и юности, горестно и нежно склонила голову:

— Невозможное счастье...

Отступила назад, наводя жуткой своей красотой страх.

На нежном розовом пальце ее кровью горело венчальное кольцо...

— Ты любишь?.. Обручена?..— упало дрогнувшее, безнадежное сердце Крутогорова.

Глядел он в недвижимые, до последнего предела открытые, бездонные и страшные зрачки ее. И ужас охватывал его: за плечами стояла смерть, касаясь черным своим крылом безнадежного сердца. А впереди, за безвестными далями и у самого сердца, страшно близко и страшно далеко, цвела и манила, суля невозможное счастье, жизнь — сказка — невозможное счастье...

Тамара выше подняла густые выгнутые ресницы. Тонкими шевельнула нежными ноздрями, сомкнув багряные губы в строгом и гордом выгибе. Бросила на пол снятый с пальца перстень, дрожа и замирая.

— Я свободна!.. А ты любишь?..— безнадежно закрыла она лицо руками.— Да, конечно, ту свою... Люду... А я... Что ж... Счастье мое в том, чтобы... чтобы... Невозможное счастье!..

Весь огонь и боль, наклонил к ней голову Крутогоров. И его обдала волна жуткой ее близости...

— Невозможное счастье!..

Безнадежно Тамара опустила голову на грудь в сизые пушистые меха; и страусовые перья закачались над ней тяжело.

— Боже мой...— прошептала она, шатаясь, прерывисто, вдыхая воздух.— Ну... да что ж это я... Я люблю тебя... Боже мой...

Долгий вскинула на Крутогорова, упорный, непонятный взгляд, закрыла глаза мехами... И ушла — навсегда, навсегда, навсегда!

Ждал Крутогоров смерти. Но сердце его цвело радостью. Ибо знал он: чем больше казненных, тем ближе попрание города. Тем лютее месть за кровь...

Но и ехидны знали это. Не потому ли медлили они с судом над мужиками и казнью?

Козьма-скопец все же не терял надежд — смертью попрать смерть.

И надежды сбылись...

Как-то прошел по крепости слух, что не сегодня завтра на крепостном дворе будут казнить четырех политических, осужденных за убийство ехидн. И будет бунт

Зори проходили в тревожной тишине.

Но вот пришла кровавая заря казни, пьяная от сильных предрассветных рос.

В белом сумраке по двору вдруг молчаливо заметались свирепые суматошные тюремщики. Красным обливая светом выщербленные гранитные стены вверху, из темного закоулка низкий вынырнул фонарь. Зловеще осветил грузный, выструганный гладко помост и над ним два столба с перекладиной.

Под глубокими, узкими впадинами-окнами крепости шумели, кропя росой, пыльные одинокие липы. А за глухими стенами все так же гудели одичало-ярые волны...

Когда на башне часы, рыдая, пробили два, за дальними крепостными воротами заревел автомобильный рог — это подъезжал Гедеонов, не пропускавший ни одной казни...

Тюремщики кинулись встречать его. В зеленом кителе, с побрякивающими аксельбантами на тощей впалой груди, прошмыгнул он в калитку. Увидев торопливо укрепляемый на дворе помост с столбами и перекладиной, подмигнул тюремщикам:

— Кормилица?.. А каковы собой эти-то, хлюсты-то, мать бы... Молоды? Красивы? Стройны?

Ибо особая радость, особое остервенение охватывало Гедеонова, когда на смертный помост вели красивых и стройных казнимых. Как стервятник, вцепившись костлявыми пальцами в тело врага, обдавал он его ядовитой слюной:

— А-а... Вот мы вам ужо красоту наведем... Языки-то повыпрут у вас, мм-а-ть бы...

Нечто подобное предвкушал Гедеонов и теперь, узнав, что бомбометатели-то — молоды и красивы.

Виселицу укрепили. Но перед тем как выводить осужденных, косой, шепелявый палач с красной бычачьей

шеей, разорвав себе грудь и бросив свирепо веревку увивающемуся около Гедеонову в лицо, гаркнул:

— В-ве-шайте!.. В-вар'ы, живар'езы!.. У-хр', жить мене зарез!.. Вешайте!.. Сабб'аки!.. Мог'оты нету-ти терпеть...

В поднявшейся суматохе Гедеонов потерял фуражку. Откуда-то бежали согнувшиеся, юркие сыщики, кивая засевшим за углом флигеля жандармам. Два конвойных, волоча ружья, подскочили к палачу. Но тот бил себя в грудь огромными волосатыми руками, дико храпя:

— У-хр', в-вудавы, ирр'ады!.. В-вешайте!.. Все мало вам поперевешанных?.. У-хр', вешайте и мене, матери вашей тысячу... в глотку...

В казематах задребезжали разбиваемые стекла. По коридорам глухие, емкие раздались вдруг удары железных ломов: разбивали замки. А из-за несокрушимых стен, сквозь разбитые дыры-окна сплошные неслись крики-проклятья, гулы:

— Вс-ех нас вешайте!.. Эй, душители!.. За дело!.. Много работы будет!..

Из раскрытой, словно пасть, черной двери высыпали мужики. Бросились по закоулкам, по крышам и выступам стен ярым шквалом. Тюремщики, словно пьяные, кружились около виселицы с обнаженными шашками. Где-то за флигелем рассыпалась тревожная дробь барабана. В дальнем немом коридоре резко затрещали частые сухие выстрелы... А крики и гулы все росли и росли, переходя уже в протяжный дикий рев:

— Ду-ши-те!.. Стре-ляй-те!..

Прокурор с Гедеоновым спрятались в флигеле, охраняемом жандармами.

— Это все скопец, сукин сын...— пыхтел, багровея, толстый, низкий старик, должно быть начальник.— Эй, сюда скопца!.. Слышите, дьяволы?!

Но тюремщикам было уже не до того. В коридорах и камерах вязали беглецов. Гонялись за ними по двору со штыками. И все же, большая часть в суматохе проскочив в ворота, а то перебравшись через стену по крышам, уходила.

Крутогоров, сбив с ног торчавшего в дверях сонного тюремщика, узким кривым проходом выбрался на киша-

щий людьми двор и, кликнув клич: «Помните о земле!» — скрылся за полуоткрытыми воротами.

За ним, в дальнем каком-то складе, страшно загрохотал, сотрясая стены, протяжный взрыв...

Было еще полутемно и пустынно. Город спал крепким предутренним сном. За домами, что тянулись от крепости, по старому парку бежали рассыпанные мужики. Крутогоров, собрав их, повел узкими заброшенными переулками в старый рабочий квартал.

А в крепости все еще шла бойня. Кто-то выл, став на четвереньки, волком. Кто-то, взобравшись на крышу, надевал майдан на себя и гаркал свирепо:

— Эй, задергивайте, псы!.. Ну?.. А то смерть не берет!.. Душите, дьяволы!.. От вас смерть возьмет!..

— Бр-рось!.. — надрывался внизу, задрав голову, тощий синелицый какой-то парень.— Люто оно... да ить человек же ты?.. А коли человек — все вынесешь!.. Бог того не вынесет, что человек...

— Моготы нету... Вешайте!.. Давайте хоть черную смерть!..

Низкого толстого старика облепили, словно рой пчел, красносмертники. Трясли его, без памяти, за воротник. Орали хрипло, чтоб их сейчас же поперевешали, и да погибнет от смерти смерть — город!

— Смерти, мать бы...— подскочил к толпе с револьвером Гедеонов.— Молодцы! Сами под кормилицу лезут...

— Што-о?! — хрипел синелицый парень.— Не хочу смерти!.. Мук хочу!..

Но мелькнул дымный огонь, смешанный с глухим коротким треском. И парень, вскинув нелепо руки, упал ниц. Медленная скатилась черная кровь с груди огромной каплей.

Вдруг, точно из-под земли выросши, около парня взметнулся Козьма-скопец. Достав из-за пазухи склянку, залил ему целительным бальзамом рану. Парень, безумно кружа зрачки, встал.

А Гедеонов заскрипел зубами. И прицелился в Козьму. Тот, подняв недобрый свой рыбий глаз, выставил грудь.

— Ха-а! Это ты, песье рыло?.. Пали в грудь!.. ну!..

Но трясущийся и стучащий зубами Гедеонов, в испуге

бросив револьвер, выскочил на корячках из разъяренной толпы да и пропал за флигелем.

— Покуль я живу,— сиплым ревел Козьма голосом,— дотуль все будут жить и чагату несть!.. Смерть тады красна, коли ежели... живой умрешь... Во тяготе... А смерть мертвеца — тошнота!..

Гудели красносмертники:

— Не в моготу-у!..

Бились о камни хряско. Выли жутким истошным воем. А на них, подкравшись, наваливались уже с веревками да майданами тюремщики и конвойные. Кто-то, точно огнем обжег Козьму, ахнул его в затылок медным веском...

Сбитого с ног Козьму оттащили в флигель. Там на него горой навалились свирепые рычащие верзилы с красным косоглазым палачом. Топочущий Гедеонов, желтые оскалив клыки, глузжил Козьму револьвером по голове.

— А-а-э... старый черт...— скрежетал он.

Острые зеленые глаза его встретились, сыпля ядовитые огни, с медленным помутнелым взглядом Козьмы. Но не вынесли этого взгляда — закрутились и заметались от жути.

Палач саданул Козьму коленом в грудь. Накинул на него петлю, прорычав:

— Сперва тебе, а там мене!

Но, жуткий встретив ужасающий взгляд Козьмы, оторопел. Отскочил назад со сбившейся у рта кровавой пеной...

Страшно захрипел Козьма и предсмертно:

— Ха-а!.. кррров-пивцы!.. Навалил чагату... Дык и завыли?! Войте теперь!.. Душите!.. Ре-жьте!..

— Уби-ть его, подлеца!.. — топнул багровый низкий старик-начальник.

— А-х... Дайте сме-рти!.. Не в моготу...— завыл кто-то в пороге.— См-е-ертушки!..

— Ха!.. Чагата — и за смертью!.. — хрипел Козьма.

С размаха Гедеонов хватил его шашкой по ягодице, а хлынувшею кровью густо и жирно вымазал себе сапоги...

Подоспевшие тюремщики раздели Козьму догола. Содрав старую его кожу на руках и ногах, вытянули синие жилы из-под кровавого мяса... Намотали себе на руки... Козьма терпел.

На едком, как огонь, усыпанном битым стеклом и пропитанном ядами ковре, катаемое тюремщиками, сухое желтое тело Козьмы, залитое черной рудой, корчилось в предсмертной судороге и изгибалось, стуча углами костей о каменный пол...

Кровь истекла. Яды, казалось, дошли до сердца. Крепкое сухое тело Козьмы скорчилось, закостенело. Страшные глаза остеклянились, пустыми сделались и круглыми...

Изорванного, сломанного Козьму выкинули на двор. И красносмертники ахнули, увидев его: тот, кто убил смерть, был убит.

В бездонном ужасе, в диком, смертном плясе забилась, затряслась толпа над телом Козьмы. Захрипела лютым последним хрипом...

Кто-то на кого-то накидывал петлю. Кто-то в кого-то стрелял... Кто-то кого-то колол штыком...

Киша у перекладины, бились смертным боем конвойные с красносмертниками. Наперебой просовывались в крепкую тугую петлю на помосте, одна за другой, отчаянные головы. Глядели вверх пустыми остекленевшими глазами...

А палач дергал каждого по очереди за ноги. Ждал, когда свянет труп, чтобы, вынув его из петли, бросить, словно бревно, на камни...

И дождавшись черьги, сам накинул на себя петлю. Столкнул с помоста подставку ногой и повис в воздухе...

Кровавая встала над крепостью тишина. Но вдруг, в куче трупов, из потоков черной застывшей крови подымаясь медленно, захрипел Козьма-скопец:

— И-ду-у!.. Н-на н-небе... И н-на з-земле!..

Повесившиеся, хрустя костями, зашевелились. Вытянутые подняли головы. Уставились на Козьму бездонными зрачками мертво...

. . . .

А тюремщики уже рубили виселицу и заметали метлами кровь.

VII

В старом рабочем квартале заступал рассвет. Над облезлыми, закоптелыми, вытянутыми к слепому придав-

ленному небу домами бледный разливался холодный свет. Квартал битым спал сном.

Но чуть зазолотились кресты и яркие копья солнца ударили в окна домов, как, словно чудища, заревели ужасающие безумные гудки, неотвратимо и властно созывая грезящих рабочих на смену ночным братьям, без сна томившимся за станками в грязи и в копоти.

Над смрадным каменным городом неслись жуткие смертные вопли. Врывались в клетки-гробы, где усталые спали труженики. Грызли мозги.

И рабочие подхватывались в нуде и страхе, кляня смрадный, нерушимый, как судьба, город. Шли на ненавистный зов — закоптелые, сонные, замученные жизнью...

А город ревел и завывал тысячеголосым ревом, гоня обреченных в черные пасти фабрик и заводов — мертвых чудовищ... Казалось, это земля, поруганная двуногими, закованная в гранит и железо, встрепенулась... и, видя, что нет ей освобождения, разразилась ужасающим горьким воплем...

Но то ревел вампир-город.

По рабочему кварталу текли потоки мужиков. Перед заводами бредущие к станкам рабочие, встречаясь с хлеборобами, останавливались вдруг. Втихомолку переговаривались о чем-то. Грозили люто кому-то кулаками. И шли на площадь.

А на площади гудели протяжно и бурлили толпы.

Вахлатый и черный от копоти кузнец, взобравшись на бочку, надрывался, размахивал руками над морем голов:

— Пад-д-жи-гать!.. До-ма-а паджигать!.. А што?!

Из ворот дальних заводов выходили ночные рабочие. По пустырям и темным переулкам тревожно верещали свистки обезоруженных и разогнанных городовых, метались как угорелые сбившиеся с ног оголтелые сыщики.

А перед каменной кузницей, в толпе землеробов, по несокрушимой наковальне, меся раскаленную добела мягкую сталь, грохотали молотки: под хохот и пляску толпы кузнецы перековывали отнятые у городовых шашки в орало.

Шумно вздыхали, как морской прибой, выгруженные из кузницы и укрепленные у наковальни горна. Столбы

красных шкварок сыпались на кузнецов огненным снегом. Но те стройно, друг за другом опуская на раскаленную сталь тяжкие молотки, ахали емко. Выпрямляли из неуклюжего, спаянного из шашек, куска лемеши...

Гудела и клокотала тесная, дымная и пыльная площадь. Черной угрозной волной пенились, точно река в бурю, узкие переулки, запруженные толпами.

Выкованное и загортованное в холодной воде орало мужики подняли над головами.

— Братья! — встав на наковальню, властный бросил зов в толпу Крутогоров.— Теперь земля наша! На чернозем!.. В леса!.. К солнцу!..

— А то што?..— загудели рабочие.— Идем!.. Бастуй, робя!.. В деревню!.. Ить ужо поослепли, без солнца-то! Позачичикались...

В утреннем дымном свете города над черным бурливым пологом вспыхнуло красное знамя. Вздрогнувшие несметные толпы протяжно и грозно запели старую вольную песню... Двинулись через город к выходу. Запрудили улицы двуногих.

— Ж-жечь!.. Поджигать! — взбираясь на фонарные столбы, махали руками какие-то вахлачи.— А што?.. Нас не жалеют, а мы будем жалеть?!

— Не обижайте огня!..— гудели внизу.— Не рушь, их черви жрут... А огонь зачем же сквернить?..

— Да и то сказать: оны сами себя пожрут!.. Как мы уйдем, так и зачнется грызня!..

— Зачуяли смерть, псюганы!..

— Не трожьте!.. Пойдемте своей дорогой...

Но вахлачи упрямо и дико все-таки орали. Спрыгивали с фонарей и, хватаясь за карманы, неслись сломя голову по лестницам на чердаки домов: дворники, городовые, сыщики, жандармы попрятались где-то по подвалам.

— Го-го!..— гоготали внизу.— Красного петуха на насест садить?..

Мосты, улицы, запруженные бурливыми валами рабочих, дрогнули и сотряслись: это вахлачи пошли работать динамитом. С крыш домов, срываясь и сворачиваясь в трубки, летели листы железа, обгоревшие балки, доски, карнизы... А на улицах крошились, дребезжа и звеня, разбиваемые стекла, фонари... В ужасе и тоске

двуногие, бросаясь на мостовые с третьих этажей, разбивали головы о стены...

Перед серым гранитным дворцом плотным черным приливом остановились рабочие.

Издали ахнул Крутогоров, увидев за оградой дворца Марию, строгую и суровую, одетую в черный какой-то монашеский балахон.

И она, увидев земляков, вздрогнула. Кинулась к ним через открытые ворота.

— И я ухожу! — странно как-то и сурово кивнула она Крутогорову.

Похудевшее, обрезавшееся лицо ее было все так же в черных качающихся кольцах ало. Глаза все так же были огненны, а стан гибок, строен и высок.

— Как ты сюда попала? — подошел к ней Крутогоров с упавшим сердцем.

Низко-низко опустив голову, молчала Мария. И, вздрогнув, медленные и отверженные подняла глаза. Больно, как будто ее пытали, низким, недоверчивым голосом бросила:

— Вызвал меня один человек...

— Кто?

Бездонными глядя на Крутогорова и тяжкими глазами, покачнулась Мария. Припала грудью к решетке.

— Ошарин... А что?

Глаза расширились, опустели. Лицо побледнело до снега, пальцы рук медленно разомкнулись. Как-то нелепо присев, грохнулась она на камни.

Напрасно ее и долго поднимали земляки.

Когда, открыв глаза, увидела Мария над собой печально склоненного Крутогорова, она забилась тяжко и глухо зарыдала...

А кругом сновали уже сыщики, переодетые городовые, жандармы. За оградой мелькали кареты с красными кучерами. У подъезда цепью смыкались солдаты.

В боковом саду, под окнами прошел, держа что-то под полой, Никола.

И вот, отступив, вызывающе и грозно вскинул Никола твердый свой, как гранит, голубой взгляд. Метнув в окно гремучий студень, ринулся сквозь кольца густых кустов в толпу...

Загрохотали карнизы, стены, рамы... В черных зловещих клубах дыма задребезжали вазы, стекла... Очумелые толпы зевак, торговцев, разносчиков шарахнулись от ограды. Поползли черным валом по бульварам, карабкаясь на деревья и перепрыгивая через ограды...

За окровавленным, опаленным Николою гнались, свистя и гикая, городовые, плюгавые сыщики.

Ахнули землеробы, увидев Николу. Сплошной лавой хлынули навстречу ему. Окружили его плотным кольцом. Свернув на площадь, слились с бурным человеческим морем...

— Га-а! — гремел Никола, черный от ожогов и крови, не узнав даже Крутогорова.— Все кровопивство!.. Взорвать поганую эту планиду!.. Сжечь... Га!.. И Людмила тут!.. В окне видел!.. Своими глазами!.. Га-а!.. Сжечь!.. Все — кровопивство!.. А землю возьмем?..

Вдруг в толпе перед ним заверещал в свисток Ошарин.

— Гнус проклятый!..— громыхнул дико Никола, размахивая и круша огромным, крепким, как кремень, кулаком.— Все — кровопивство!..

Оглушенный кулаком, зашатавшись, грохнулся Ошарин на колени под ноги тесной беспощадной толпы, закатив глаза под лоб...

Мужики и рабочие двинулись дальше. От серого двора, сквозь толпу, давя стариков, мчались автомобили.

В последнем, черном, автомобиле сидела Тамара с женщиной в черной рясе дияконисы. За зеркальным окном Крутогоров увидел, как на миг, на один только миг взглянула на него Тамара... И отшатнулась.

Над вспененными, ярыми волнами бурый расстилался, едкий, густой дым от пожаров. По мостам и улицам грохотали, носясь во весь дух, пожарные, конные жандармы, гудели мчащиеся автомобили оголтелых, обезумевших, мятущихся в предсмертной нуде двуногих.

За городом светлую грянув вольную лесную песню, шумными, ликующими хороводами ушли землеробы и рабочие к цветным полям и лесам, к красному солнцу и синим далям...

Те, что остались в городе, были мертвецы.

Книга пятая

СВЕТЛЫЙ ГРАД

I

За темными лесами, за синими реками, по залитому желтым солнцем зеленому полю, разбрасывая цветы алые и бело-розовые и голубому ветру отдаваясь страстно, красным неслась огневая Люда вихрем в шелках и алмазах. Обдавала беглого, помешанного Гедеонова синими глазами-безднами, жгла.

— Ты — чудище!.. Ты — страхота!.. Как ты смеешь любить?.. Убей себя — не страши белый свет!.. Ой!.. Скорей убивай себя!..

Но глядел на нее Гедеонов ненасытимо в упор и ненавистно. Простирал костлявые руки, задыхаясь:

— Подойди. Змея!.. А то убью. Подойди!

Люда, склонив голову с золотой короной волос и перебирая цветы нежными пальцами, шире раскрывала синие бездны, таящие смерть:

— Ой! Кто гаже тебя?.. Никто. Ты же гадок!..

Бросала цветы и шла — куда? За темные леса, за синие реки...

Но, обернувшись, вскрикивала издали Люда страстно и больно:

— Ой! Проклятый!.. Как же ты еще живешь на свете?.. — Извиваясь, звенела коротким ножом. Неслась над цветами, красным вея шелком-вихрем, губя и сожигая лепестки...

В душном лесу настигла Гедеонова Люда.

Взмахнув ножом, ударила его в грудь, взвилась кровавым, слепым буруном, закрыла лицо руками и дико зарыдала...

По полям и лесам шли светлыми хороводами пламенники, чистые сердцем сыны земли.

За озером стоял потайной молчальницын скит. Туда пошел Крутогоров, солнце неся, радость, волю...

В овраге, выжженном суховеем, коптила, словно черная язва, у пути фабрика. Душная каменная клетка стен оковывала приземистые закуравленные лачуги рабочих неумолимо, как судьба. Острые трубы выхаркивали в небо смрад. Ахали и гудели машины, дрожала поруганная земля...

Тревожные из-под каменных глыб-стен выползали закоптелые люди. Подымались на лесные холмы. Шли за Крутогоровым.

И в гористом поле, в ярком желтом золоте солнца, закоптелые, не видевшие за работой света белого труженики в радостной пляске шумно ликовали:

— Воля!.. Здравствуй!.. Радость!..

Но из кучи фабричных выполз вдруг на костылях куцый курносый горбун с гнойными красными глазами. Подступил лихо к Крутогорову:

— Эй, ты!.. Как тебя!.. Баб я люблю, как мед, вот што! Без бабы дня не проживу! Хорошо это по-вашему?.. Вы, хлысты, тоже любите баб — хе-хе!

Синее трупное лицо горбуна осклябилось; из гнилого вонючего рта забила желтая пена...

Подошел востроглазый какой-то, с острой редкой бородой оборванец. Подмигнул ехидно:

— Слушка прошла, будто вы город тайком сожгли... Гм... Сволочи! Ведь в городе только и жисть настоящая! В трак-тир зайдешь, в святое место к девчонкам заглянешь... Театры, вечера. А в деревне — какое тебе удовольствие?.. Даже публичного дома нету... У нас вот в посаде и то лучше... Эх, и когда я ето переберусь в город!.. Сволочи и есть...

Ясным окинул Крутогоров взглядом толпу. Поднял светлый голос:

— Где же воля?.. Солнце?.. Где радость?.. Братья мои! Кто хочет солнца?.. За мной! В Светлый Град!..

Но толпа фабричных, странно и подозрительно утихнув, вернулась в овраг.

А оборванец с вострыми глазами и редкой бородкой, на цыпочках семеня за Крутогоровым, ушедшим в цветную даль, лебезил вкрадчиво:

— Все проходит!.. Не проходит только человек, так сказать... который поднялся над уровнем... Ведь пророки и святые не из ближних сгорали на кустах... Гибли в темницах и пещерах... А, так сказать, чтоб потом восславили их... Себя, свою славу они любили... Из-за этого и шли на костры... Отчего бы и нам не возвыситься над проклятой чернью?.. А? Ты пророк... Гм... И обо мне писали бы в газетах... А?

Но Крутогоров молча шел. И оборванец, отстав, уже клял его в отчаянии и поносил. Да в душе солнцебога чистая цвела радость и небывалым, нетленным светом горело незаходящее солнце Града...

Голубым цветоносным пламенем искрились лазоревые леса, степи. В горячем золоте света свежие купались сады; словно кадила, дымились голубые луга, светящие цветами. Даль тонула в алом тумане...

Под лесным селом в облитом белыми лучами солнечном березняке праздновали русалий день. Мужики, бабы, девушки в ярко-бурунных хороводах вихрились по травам.

В солнечный березняк вошел Крутогоров в белых одеждах. Хороводы радостно и ликующе осыпав его пучками васильков и анютиных глазок, пели:

Радуйся, солнце красное!
Радуйся, воля вольная!
Радуйся, радость светлая!
Ой, радуйся царь наш!
Святи небу землю!

Крепко обнимали Крутогорова мужики. Целовались с ним неотнимно.

— Не ерепеньтесь!.. Сами с усами,— выскочил вдруг из-за кустов, хорохорясь, неизвестно откуда забредший, щуплый жиган.— Эшь, взъерепенились, черти сиволапые. Мы интеллигенты... впитали культуру... с молоком матери... И то молчим... ждем до поры до времени!.. А вы — вон чего захотели? Власти!..

— Мы не власти хотим,— бросил Крутогоров, полу-

обернувшись к нему.— Но солнца, одиночества и мук. Ведь и Бог жил в солнечной пустыне... И принял лютую казнь... как проклятый...

То есть... какой же это Бог... Гм...— хмыкал востроглазый, скрываясь в кустах.

В ярких ветвях мелькнула, пряча под черным платком лицо, девушка.

Грозно и долго воззрилась на Крутогорова из-за хоровода, качая упругими, отливающими вороненым серебром кольцами волос.

— Скажи, чем я тебя огорчил? — светлой улыбкой встретил взгляд ее Крутогоров.

— Ах!.. Братцы мои!..— взметнулась она.— Кляните его!..

Опустила суровое, загорелое лицо, до бровей скрытое монашеской скуфьей... Упругие кольца волос закачались над алыми щеками...

Вздрогнул Крутогоров, узнав Марию...

Отошел за яркие ветви, к стволу, обливаемому солнцем. Ждал, не выйдет ли из-за берез мученица.

Но ее уже не было в солнечном березняке.

В горячем голубом свете метались, как в бреду, серебряные листья. Звенели, лили хрустальную струю. С горы, в огненно-белую даль лазурного полдня глядели хороводы и радовались животворящему свету и пели светлые русальи песни...

Земля цвела золотыми цветами, шептала-бредила: будь песнопевцем-поэтом.

Пела земля: перед тобою склонились миры и царства, ибо покорил ты все, что доступно взору. Как небо, безмерна, власть твоя. Цари покоренных тобою царств служат тебе в сердцах. И прекраснейшие из жен коленопреклоненно и трепетно ждут, когда осчастливишь ты их взглядом властителя миров...

Но ты отвергни власть над мирами. Ибо не тот велик, кто покорил миры и властвует над сердцами, но тот, кто, горя и сгорая на костре жизни, постиг ликующе радость и вздох солнца, язык звезд и цветов, сердце земли и поет одиноко и недоступно...

II

Белый аромат обдавал сердце сладким холодом, бил в голову, что крепкое вино. Над синим озером, шатая спутанные косы гибких ночных ив, шумел ветер. Переплескивались о чем-то с волнами шептуны-камыши. Цветистые горные травы дымились, словно жертвенники, и качались на стеблях вещие птицы.

За озером дымные леса смешивались с златоцветной, бросившей сумрак под вершины берез ночью. Молчальницын скит маячил из темной дальней хвои. Нежной манил к себе тайной.

Из-за лесов, цепляясь за ветви шумящих ив, темные плыли, нежные малиновые звоны. Расстилались по горным лугам. А за серебряными звонами катились, перекликаясь и тая, светлые, жемчужные россыпи волн...

Когда вошел Крутогоров в лесную глушь, его обдало свежим крепким ароматом ладана и цветов. Под ноги ему, теряясь в ночной зелени, упал бледный свет: за старыми дуплистыми липами прошла с зажженной свечой в руке монахиня в черной длинной рясе.

Лесные цветы распускались под росой, и, словно херувимский ладан, курился их аромат острый и крепкий, как вино. Росная свежая земля, с горьким запахом смолы и березняка смешиваясь, веяла холодом и укропом. В зеленом сумраке пряный бродил, хмельной туман. Впитывая влагу рос, разбухали в сыром тепле ростки. За оградой сумно колыхалось глубокое темное озеро, и звезды упорно выплывали из него, качаясь на волнах.

Над склоном берега смутным призраком подымалась воздушная, каменная, обвитая хмелем, паперть, в ветвях берез и черешен, облитых светом синих хрустальных лампад.

В молчальницын скит не смел никто и ступить ногой, боясь небесной кары. О приходящих и недугующих и жаждущих мановения прорицала молчальница на паперти — знаками, через приближенную послушницу. Жизнь свою она проводила в вечной молитве. По ее молчаливому предстательству Сущий щадил мир.

Но она поклялась не говорить на земле не только с людьми, но и с Сущим.

Толпы паломников стекались к ней, подобно горным истокам, жаждущим слиться с рекою. И каждый находил у ней утешение, радость, свет, ибо иные, неведомые миры открыты были ей и ясна ей была книга судеб.

По ограде, сплетаясь в венки, спускались валы дикого виноградника. Вещая ночь одурманивала Крутогорова, околдовывала. И глаза бездны глядели на него: идти или не идти?

За обрывом плескались волны. Из тростников выплывали лебеди. Шумно били крыльями о темные волны, таинственно кого-то кличя из синего далека. А с волнами сплетались цветы и звезды. И неведомые ночные зовы взрывали душу — пели: иди!

О цветах лесных, о загадочной жизни лебедей грезил Крутогоров. И свежая земля поила его росной грудью...

Тек ропот волн под белоснежными лебедиными крыльями. Вздыхал протяжно лес.

Крутогоров пошел к скиту.

Из сумрака, озираясь, выплыла все та же монахиня. Остановилась на дорожке как вкопанная, увидев Крутогорова. Низко-низко опустила голову, прижав к щеке пальцы сомкнутых, смутно белеющих в сумраке рук. Проронила тихо:

— Иди назад... Не знаешь разве?

Не поняв, Крутогоров молчал печально. А горячая волна, захлестнув, отняла у него сердце.

И вдруг, спохватившись, вскрикнул Крутогоров глухо:

— Это ты!

— Уйди.

— Нет, не уйду. Я пришел к молчальнице.

— Не уйдешь? — странно вызывающе подняла голову Мария.

И поникла горько:

— Все на меня!.. На кого Бог, на того и люди... За что ты меня мучишь?.. Ты мне — самый родной человек на свете был. А теперь...

Крутогоров, подойдя к ней, сжал тонкие ее, горячие, пахнущие ладаном и расцветающей черемухой пальцы. Удивленно и загадочно приблизила она свои глаза к его глазам. А крепкая ее высокая грудь то подымалась под строгими складками рясы, то опускалась.

Молча упав перед ней, приник грудью Крутогоров к горячим ее ногам и страстно их сжал. И вся она вздрагивала, как лист, колеблемый ветром... А Крутогоров вдыхал запах свежего чернозема, пьянея от хмельной мглы и от жаркого Мариина тела.

— Я слышу зов ночи!

Нагибалась Мария над ним нежно и горестно. И, нечаянно грея его своим дыханием, требовательно-строго сцепившиеся размыкала пальцы рук, обнимавших ее ноги.

А голос ее, чуть слышный, грудной низкий голос грозно дрожал и глухо:

— Ты знал мои муки... И убежал от меня! Отчего бегут от меня все, как от чумы?! Все меня оставили... А ты,— стиснула она горячими руками раскрытую его голову,— ты... Одна я на свете...

Пьянел от ароматных рук ее Крутогоров, от певучего грудного голоса. Поднявшись, искал уже страстными губами ее алых и томных — он их знал — губ. Но Мария, вывернувшись крепким и сильным порывом из-под его груди, отошла прочь.

Печально покачала головой, понизив голос и странно как-то ослабев:

— Одна я на свете...

Притихла. Как-то пригнулась и, в упор глядя на Крутогорова, медленно протянула и сурово:

— Я схожу с ума.

И пошла по дорожке к озеру.

Но, вернувшись, со склоненной головой, обдала Крутогорова огнем и ароматом гибкого своего тела:

— Ты у меня был самый родной человек на свете... Кто для тебя дороже, скажи: Сущий или люди?

— Люди.

В глухом темном ельнике одиноко и веще каркнул ворон. Тревожно дрожа и сжимаясь, прислушалась Мария. Жутким бросила голосом:

— Одна я!..

Крутогоров, следя за мерной дрожью плеч ее, поднял голову:

— А Светлый Град?

— Нет... Нет...— тревожилась Мария.— Мой Бог —

Распятый... Почему ты о Нем никогда не говоришь?..

— Я зову пить вино новое — как и Он.

Сомкнула Мария руки горестно. Зарыдала:

— Я помолюсь за тебя...

Ночные цветы — цветы крови — разливали хмель и дурман, полонили. Крутогоров, шатаясь, пьяный от кровавых цветов, поднял Марию, смял горячее знойное тело, выпил кровь из пышных губ ее. И она, беззащитная, обомлела в сладкой и больной истоме...

Крутогоров отыскал глаза ее и, запрокинув голову, слил их с собой.

— А-а-х! — дико и хитро вырвалась Мария. Отошла за черешню, поправляя сбившийся плат. Скрылась в сумраке черным неведомым призраком.

С земли вставал теплый влажный пар. Обволакивал лес. Пахло вечерним дождем и русальими травами. Глухо и протяжно шумел над лесом, задевая верхушки, ветер, раздувавший звезды, самоцветы ночи.

Одержимый цветами крови, ночным сумраком, шелестом леса, пал Крутогоров ниц, на мокрую траву. Поднял голос:

— Я поведу их в Светлый Град!

Распростер руки. Обнял сырую землю крестообразно.

Грозно всплыло облако и уронило на лес черную тень.

В сумраке, упавшем от облака, встал Крутогоров и пошел в скит.

В скиту-часовне горели лампады. Сквозь узкие окна маячили цветы.

Взошел Крутогоров на паперть. Потушил лампады, отчего пропала зелень берез, яркая, шелестевшая над головой и обдававшая холодом.

Кто-то отворил белую дверь.

Крутогоров, заслышав близость юного, знойного Мариина тела, обомлел. Замер.

— Кто тут?

— Я хочу заглянуть в скит,— шагнул Крутогоров к двери.— Хочу узнать тайну скита!

— Кто позволил?..— задыхаясь, отступила Мария.— А-ах!..

Как Бог, властно и безраздельно взял ее Крутогоров, замкнул в могучее кольцо своих рук скользкий атласный стан ее... И странно: ее горячие нагие руки, дрожа медленной жуткой дрожью, лежали на его спине; странно: от Марии веяло огнем и ландышами и черемухой, а по ее раздвоенной гибкой спине — как этого он не знал раньше? — черная пышная коса спускалась и перепутывались черные кольца, щекоча ему глаза...

— Она... твоя... род-ная сестра-а!..— глухо поперхнулась и смертно черная высокая схимница, выросшая вдруг в дверях скита, как мстительный грозный призрак, с крестами смерти и черепами на черном саване, с протянутой для кары костлявой трясущейся рукой.

За решеткой что-то упало, резко зазвенев. С цепи оборвалась граненая хрустальная лампада.

В поедающей тоске закрыли лица руками, припали брат и сестра к решетке, неподвижные, окаменелые.

— Пр-окли... на-ю!..— задыхалась от гнева, обиды и жути, рыдала и билась о притолоку смятенная старая схимница в длинном черном саване.— С отцом их... окаянным... проклина-ю!..

Странная подошла и грозная тишина.

И, к тишине прислушиваясь, недвижным глядела слепым взглядом в тьму мать. Ждала чего-то, вздрагивая, как дерево, разбиваемое грозой...

На груди у нее висел, в серебре, образ Молчанской Богоматери. Обет молчания не сдержан. Клятва нарушена...

— А... а... а!..— вдыхала схимница в себя воздух, как будто ей не хватало его.

Сбросив с себя костенеющими руками образ, спустилась с паперти. Побрела в темь, с выбившимися из-под шлыка седыми, мутными прядями волос, с головой мертво опущенной, недвижимой, точно снятой с плеч.

Наткнулась на корни. Тупо, как камень, ударилась о ствол головой. И распласталась по земле бездыханным трупом...

По душистому тревожному лесу разливался хмель и дурман земли, цветов и ночи. Облако, открыв звезды, отплыло к обрыву и повисло над озером, как крыло вещей птицы.

Жуткими сошел Крутогоров с паперти шагами. Потонул в лесу.

Внутрь же скита так и не заглянул.

III

В тишине лесов горним, незримым загоралась Русь солнцем. В каменных логовищах все так же грызлись и пожирали друг друга двуногие, и все так же работали палачи в тюремных закоулках. А по одиноким скитам, по молчаливым весям разливались уже сплошными яркими зорями победные, неведомые светы...

Перед встречей солнца Града прошел в Знаменском темный слух, будто поп Михайло, бежав из сумасшедшего дома, куда его запрятали после убийства попадьи и матери Гедеонова,— скрывается в диких заозерских лесах. По ночам же навещает свою избушку на краю Знаменского. В избушке с разломанным крыльцом, разбитыми окнами, старой замшелой крышей и покосившимися дверями не цвели уже анютины глазки, не развевал линялых занавесок ветер и бабы да мужики не ходили туда больше за наговорами. Только по ранним зорям из похилившейся тесовой трубы выползал дым да в разбитых окнах маячил огонек. Но все-таки мужики не знали доподлинно, ходит ли поп по ночам в избушку?

В глухую августовскую полночь два-три смельчака, пробравшись высоким бурьяном к окнам, увидели, как в горнице, звякая железными кочергами, крутились: поп Михайло, какая-то красава-волшебница и Гедеонов. Волшебница, в белых дорогих нарядах, ворожила молча над треножником с зажженными заклятыми зельями и куревами. А Гедеонов с попом плясали, мешая кочергами снадобье и выкрикивая глухо какие-то хулы.

Охваченные столбняком, стояли смельчаки перед жутким зрелищем, не посмев переступить порог поповской хаты. И ни у кого не хватило духу кликнуть по селу клич на лютых кудесников, насылающих на мужиков беды. Боялись колдовских чар красавы.

И ушли смельчаки ни с чем.

А про красаву пошла недобрая и страшная молва.

Шептали, будто ее под замком держит свирепая гедеоновская челядь в дворце. И делит с ней по очереди ложе любви: так завел Гедеонов, еще когда он жил с красавой в городе.

Но и красава не оставалась в долгу: почти вся челядь изуродована была ею. У кого не доставало глаза, у кого — носа, и все ходили с ковыляющими навыворот ногами. Да и самого Гедеонова она не щадила. Зато и замыкали ее в дворце на ключ.

Но в полночь, под хохот сов и шабаш нечисти на тысячелетнем дубу, замки в дворце отмыкались как бы по щучьему велению. И неведомую власть над душами получала волшебница и шла губить кого ни попадя в леса...

По дебрям и лесам, бросив пламенников, бродил обгоревший, помутившийся Никола. Искал Люду. И не находил.

Уже под Знаменским дошла до него молва о загадочной и лютой красаве. Неладное что-то почуял Никола. Собрав мужиков, ночью двинулся на избушку попа облавой.

Когда, выломав дверь, ввалились в хибарку мужики, их обдало затхлым пыльным духом нежити. Табуреты, столы, полки, шкафы и углы заволакивал едкий, как яд, дым ересных трав. В облупленном красном углу, где прежде была божница с тремя ярусами икон,— теперь висели чуть видные старые запсиневевшие картины: праматерь Ева, нагая, с сердцем, прободенным острыми мечами,— и братоубийца Каин. Перед картинами коптила сальная свеча. Но в хате было темно и жутко.

Никола, обшарив перегородки и углы, никого не нашел. Мужики, матюкаясь и харкая на треножник с потухшим колдовским куревом, вывалили уже было из поповской избушки. Но вдруг в сенях, под рундуком, затрещало что-то, закряхтело. Никола поднял фонарь. Из-под рундука закоптелый и запыленный лез поп... Только по желтой, облезлой голове можно было узнать его: лицо было закрыто барахлом.

— Ну-ко, поп-батько... Держи полы! — встряхнули его мужики.

— В закроме он, в закроме...— дико озирался поп.— Держите его!.. Не уйти мне от него...

Оборвал крючки поддевки, раскрывая рыжую свою волосатую грудь и впиваясь в нее когтями.

— Тут он сидел. А теперь... А-а-а!..— завыл поп, таращa безумные глаза на мужиков.— И вы, знать, им подосланы?.. Ну, решите меня! Я погубил свет... Нате мое сердце! Глядите, что там есть... О-ох! Некуда деться мне от него...

— Га!.. Все кровопивство! — загремел смятенный, опаленный Никола.— Кто это он? Говори, что тут завелось — в этом проклятом гнезде?.. Кого ты загубил?.. Га! а какая красава ворожит тут у вас? Держись, чертово семя...

Откинул барахло поп. Забегал по сеням, косясь сумасшедшими белесыми зрачками.

— Он тут... О-ох, избавительница, Владычица! Приди! Укроти его! Он меня забирать пришел...

— Не Людмила — звать ее?..— пытал Никола попа, и голова его мутилась.— Га! я ее еще в городе... видал... Разрядили ее ехидны! В шелк... А теперь... загнали вас сюда?.. Все кровопивство!.. Эй, отвечай, коли... Где Людмила?

Но поп, вдруг перекрестившись широко, упал посреди сеней на колени:

— Перед ним ответ буду держать!.. Благословен грядый! А ты — отыди от меня, чистый... Казнить меня пришел?! Судить? Недостоин! Ибо чист! Отыди! Последний день мой...

Грозно как-то и глухо притих Никола.

— Га! — сжал он крепкие кулаки.— Кого решать?.. Кого крушить?.. Кру-ши-ить! Эй!.. Не умру я так... Отплачу!.. И ей... змее... И... все-м!.. Поп тут не виноват... Га! У кого рука не дрогнет? Востри топор! А попа — к черту! Бросьте его.

Мужики вбросили попа в хату. Сами же, высыпав на двор, пропали в высоком непролазном бурьяне.

А попу зловещее запало в башку грозное: мужики были присланы им, чтобы напомнить попу о последнем часе исповеди и смерти...

Тайком, скрытыми тропами пробрался поп к церкви

Сорвал с двери печать. Достал в ризнице, за входом облачение и, пройдя в предел, распластался перед престолом в смертном страхе. Завыл протяжно и кроваво...

Была в вое попа боль, неизбывная и нескончаемая, и извечная нечеловеческая тоска...

Головы поднять поп не посмел перед престолом. Ничком, закрыв глаза и сердце, пополз на локтях в притворе...

Перед рассветом зловеще и гулко загудел окрест старый знаменский колокол.

Православники, необычным удивленные звоном, тревожные и полусонные, шли, наспех одевшись, садами в церковь.

Из узких решетчатых окон красные падали, сумные огни под черные купы каштанов и яблонь, налитых спелым золотом.

В церкви зажженные лампады и свечи были уже перевиты травою и поздними цветами. Православники, радуясь, что запретная печать с храма снята и в нем впервые за год будет отслужена обедня, будут исповеданы и приобщены верующие тайнам — страстно молились и огненно, пав перед запыленными кивотами ниц...

В алтаре, смертельно бледный, безумный и шатающийся, с перекошенным, орошенным кровавой пеной ртом, с пустыми, белыми, расширенными до последнего предела глазами, глухо и страшно правил поп раннюю обедню. Окуривал себя ладаном. Посылал отравленные, безумные возгласы, безнадежно и мертво опустив облезлую, сплющенную голову и не посмев взглянуть на запрестольный строгий лик Саваофа...

Увидели православники в ладанном дыму несчастного своего попа, поруганного и отверженного. И темный охватил их, и немой ужас. Полоненные зловещим, взвахлаченные и кряжистые, не знали они, за кем следить: за попом или за собою? Не шевелясь, притаив дух, ждали, что будет... Страшного ждали чего-то, небывалого.

А поп брякал кадилом и гнусил. Тело его в похоронной черной ризе тряслось и коченело. Белые глаза глядели не мигая, пусто и мертво. Знал поп, что за ним следит о н. Знал и торопился, как бы не опоздать с исповедью.

И, выйдя мертвым призрачным шагом на амвон, лицом к лицу с паствой, горько заплакал:

— Кай-тесь!.. Все!.. В последний раз!.. Родные мои...

Всколыхнувшаяся толпа, рыдая, загудела:

— Прости-и!.. Кормилец ты на-ш...

С поднятым крестом и Евангелием, в черной епитрахили, исповедовал паству расстрига грозно и гневно, как власть и благодать имеющий. Лицо его было страшно, как смерть. Когда утихли крики и слезы исповеди, поп благословил и простил павшее ниц, сокрушенное мужичье:

— Аз, недостойный иерей... властию, мне данной... прощаю и разрешаю.

Перед причастием вышел поп из алтаря на середину церкви, ни жив ни мертв, спотыкаясь. В свете смертного часа безумный поднял на оцепившую его толпу взгляд. Но не вынес живых человеческих глаз и, пав ниц, завыл истошным воем:

— Прости-те!.. Погубил я... свет... Убил церковь... святую... Уби-ил! У-у...

Дрогнула рыдающа толпа:

— Бо-г простит... Прощаем и мы... Ты... не виноват...

— О-ох!.. Тошно!.. Земля не носит!..

Поднявшись, костлявым плечом раздвигая толпу, проковылял поп в алтарь. Тряскими руками взял чашу с престола. С трепетом, в холодном, немом ужасе, убитый кротостью простой чистой души, ее любовью, что вмещает и отверженных, прочитал поломанным косным языком предпричастную молитву...

И причастил верующих тайнам.

Когда, вернувшись с чашей в алтарь, воздел поп руки и сердце горе, моля Сущего о прощении перед концом и воссылая благодарственную песнь за чудо очищения тайнами,— кто-то неведомый подал клич: иди.

— Иду!..— безнадежно сомкнул поп ресницы.

Не торопясь, уже наполовину мертвый, подошел к жертвеннику. Протянул руку за ядом.

Окаменел: сосуд с ядом был пуст.

Яд, стало быть, влит был в чашу с тайнами.

В голове у попа и мертвых глазах зацвели кровавые вихри. И черное что-то, неотвратимое двинулось на него...

Перед сердцем — бездна, пустота. Вот до нее — три шага, вот — два и вот — один шаг.

А до церкви дикие неслись уже, жуткие крики и вои:

— А-а!.. Помогите!.. Помира-ют... А-а!..

Гудела зловеще толпа, грозным кидаясь на алтарь шквалом...

Трупными, стылыми задернув завесу руками, путаясь в редких рыжих волосах бороденки, синий, сунул поп голову в едкую, наспех сложенную из крепкого шелкового шнура петлю. Подогнув колена, повис... И темные волны подхватили его, и со всех сторон его оцепила тошная непродыхаемая муть...

Похолодевшее, пьяное от ужаса сердце, оторвавшись, поплыло медленно, растопилось. Все захлестнула черная огненная волна... Только строгий лик за престолом грустил, словно живой, и, отделившись от стены, шел за попом неотступно...

IV

За Гедеоновым следили.

В Петербурге о нем открыто говорили уже, как об убийце деда, жены и матери. Не будь у него защитников-ехидн, не миновать бы ему кандалов. В ход пущены были угрозы и подлоги, так что, пока шли розыски, Гедеонов спрятал концы в воду. А после и схватились с арестом, да было уже поздно: Гедеонова и след простыл.

Чтобы не подымать шуму, газетам запретили писать о Гедеонове.

Втайне уединившись с возлюбленным своим в старинном глухом имении, утешала его княгиня. Но Гедеонов знал, что нет ему утешения. И маялся люто, рвал на себе волосы, одежду.

А зачуяв конец, бросил княгиню и укатил тайком в Знаменское: захотелось напоследок сорвать сердце на мужиках...

Днем Гедеонова прятали и охраняли преданные ему черкесы. Ночью же под его атаманством лютая челядь рыскала по селам и хуторам, насилуя, оскверняя и убивая...

Скрыть солнце и звезды и облака и обратить цветистую живоносную землю в холодную мертвую пустыню, чтобы взять мир измором,— Гедеонову не по плечу было. И даже не под стать ему было изничтожить с корнем распротреклятое мужичье, из-за которого он погибал... Думал казнями мужиков выслужиться и развязать себе руки, а вышло наоборот.

Зато добирал Гедеонов каверзами: рубил у мужиков сады, леса, топтал и жег нивы, луга. И если попадались красивые девушки, ловил их и, обезобразив, осквернив, голыми привязывал к верстовым столбам.

— Сильные — ненавидят красоту! — сжимал кулаки и брызгал гнилой желтой слюной Гедеонов.— Потому что красота выше силы, это верно хлысты поняли, мать бы их...

Под Ильину ночь в диком хвойнике молилась за брата на меловой скале дева Града.

Тайком, чтоб не знали мужики, пробравшись с черкесами к меловой скале, шарил в ельнике Гедеонов. Жадными и ненасытными следил за Марией глазами.

Когда та, черные развеяв по ночному ветру кудри, трепеща и цветя, словно божественное чудо, сняла с себя одежды и озарила нагой, острой красотой лес, Гедеонов, трясущийся и хриплый, выскочил из засады. Гикнул, задрав голову:

— Эй, достать стерву!..

Молчала Мария, стройная и неподвижная, как изваянье. Молилась бессловесно и страстно с поднятыми гибкими точеными руками и бездонным ночным взором, бросая свет горней своей красоты в сумраке хвои.

— Ну, так веди меня, мать бы...— вспылил Гедеонов,— в Светлый этот... как его, Город... Я буду верить! Эй! Не серди, стерва.

Из оравы молча и угрюмо вышел сизый крючконосый черкес. Вскарабкавшись на скалу, кинулся вдруг к Марии дикой кошкой. Схватил ее, нагую, трепетную и извивающуюся в оберемо. Снес вниз, глухо и протяжно рыча.

Гедеонов широко и похотливо облапил упругое белое тело Марии. В немой тревоге, как бы боясь, что все-таки не насытить ему глаз своих, задрожал:

— Ох, хороша, мать бы... Ох...

Под узким раскосым зраком его — зраком ненасытимого неутоленного гада — корчилась Мария, закрывая глаза руками. Падала, обессиленная и поломанная, ниц. Но ее подхватывал все тот же черкес, костлявый, глухо сопевший, с синими хищными огнями в глазах. И, перегибая тонкий нежный стан ее на крепком костяном колене, подставлял ее под слюдяные гнойные глаза своего атамана. А тот тер, мял железными пальцами-когтями упругую молодую грудь ее, резал плечи...

Молча Мария извивалась и билась напрасно.

И вдруг за скалой в густом хвойном шеломе грянули гулкие свисты и гики. На ораву, ощетинившись кольями, двинулись из-за скалы грузные, кряжистые чернецы...

— Го-го-го-о!.. Держи-и!..

— Проваливайте... подобру... поздорову!.. А то...

— Заходи-и!.. Отхва-тывай... Коли головы!..

Перепуганные насмерть черкесы с Гедеоновым, бросив Марию, прошмыгнули меж темных еловых лап, точно воры, под обрыв в непроходимый терновник. И пропали.

А чернецы, разбитую, бессловесную Марию завернув в чекмень, отнесли в землянку.

Там с нею, распластанною на кресте, делали безумную, отверженную любовь ночь напролет...

Загорская пустынь была запрещена и запечатана с той поры, как мужики убили у иродова столба Неонилу и потайные кельи с подземными ходами сожгли. Вячеслав, переодетый в барахло, пошел с пузачами-монахами бродить по лесам, храня тайны и заветы темного гедеоновского дома — последнюю свою, жуткую радость.

Вячеслав верил неколебимо, что Гедеонов победит мир. И сердце сатанаила великою переполнено было, вечною гордостью и радостью: быть родным, хоть и незаконным сыном земного бога и победителя мира — это ли не гордость? Это ли не радость?

Но когда, перед приближением солнца Града, прошел слух, что Гедеонов свержен, помешался и скрывается от суда и казни в лесных дебрях, сердце у Вячеслава оборвалось. От горького стыда перед собою, перед сатанаилами

не знал он, куда бежать... И чтобы хоть враги его — пламенники — не посмеялись над тьмяной верой последним смехом,— захотелось Вячеславу тайну — радость — пытку унесть с собой в могилу. Но для этого надо было сжечь некую книгу — свидетельницу тайн и заветов.

Когда-то книга эта хранилась в Загорском монастыре. Оттуда же ее перевез к себе во дворец Гедеонов. А уже от Гедеонова она перешла будто бы через Люду к Поликарпу. Вячеслав знал все. Так что искать книгу надо было у лесовика.

Над диким озером доживал Поликарп лесную жизнь в черетняной моленной слепо и крепко. Ходил с поводырем по целинам, пропитанный полынью, укропом и березами. Вынюхивал в зарослях и собирал ощупью щавель, рогозу, коноплюшку, подплесники, костенику; копал коренья масленок. Ловил с Егоркой в озере рыбу в кубари и вентеря и хрямкал ее, живую, трепыхающуюся крепкими своими белыми зубами, запивая чистой свежей водой.

Ждал только теперь лесовик Марию, невесту неневестную, деву Светлого Града, что в Духову ночь унесена была от него красносмертниками... В последний раз ждал, чтобы, увидев ее, надежду и избавление мира — поцеловать ее и умереть светло и радостно...

Раз Поликарп, смутными охваченный шумами, запахами и зовами леса, гадал на ересных травах о деве Града.

И вот в хибарку-моленную к нему нагрянул с толпой чернецов, обормотов и побирайл дикий ощеренный Вячеслав.

— Я за книгой, дед...— сгибаясь и поджимая ноги, подступил он к Поликарпу.— Тут есть пустяшная запись... Не стоющая... Ать?.. А мне она до зарезу... нужна. Отдавай скорей, дед... Где тут она?

Слепо и весело перебирал Поликарп на столе траву, нюхая ее и пробуя на зуб. Молчал, как будто в хибарке никого и не было. Только слегка хмурил бровь да, обводя вокруг себя кованым костылем, кликал поводыря:

— Егорка! междвор! ошара! Ходи сюды!

А Егорка в сенях, связанный, ворочаясь под тушей грузного монаха, кряхтел:

— Дыть, скрутили... выжиги... псы!..

— Книгу, дед!— наседал Вячеслав.— А то... жисти догляжусь!..

— Хо-хо! — взмахнул костылем Поликарп.— Да ты парень не ропь! Ненилу съел... Людмилу полонил... Огня мово! А таперя — за мной, сталоть, черьга?.. Бер-рег-и-сь-ка!

— Я ничего... я так...— сжался Вячеслав.

Пьяные, осипшие чернецы, обступив Поликарпа, жаловались ему:

— Помоги нашему горю, дед... Есть у нас милашка. То ничего была, любилась за первый сорт... А теперь — зафордыбачила! молится за Крутогорова день и ночь, да и хоть ты режь ее!

— А тут еще Гедеонов... шныхарит... за нею... Помнишь, дед, Гедеонова, головоруба?

— Трепете языки! — лязгнул зубами Вячеслав на ораву.— Ге-де-оно-в!.. Ха-ха! Теперь это просто — нуль без палочки! Был Гедеонов да весь вышел... Какой он мне отец? Шантрапа! Подметка! Это он пустил туму, будто я его сын... Сволочь!

— Аде она?.. еха-то? — поднял бровь Поликарп.

— А недалечко тут... в землянке!..— подпрыгнул Вячеслав.— Это верно... расшевели ее, дед! Ты на это мастер... А то схимницей совсем заделалась... А мы тебя ужо отблагодарим...

Морщины на красном, загорелом лбу Поликарпа разошлись. Жесткие, длинные, перепутанные с травой и рыбными костюльками усы осветила суровая, чуть сдерживаемая улыбка.

— Нашшот милашки... Хо-хо! — встряхнул гривой Поликарп лихо.— Што ш! я ничего...

Вячеслав сощурил узкие загноившиеся глаза. Присел на корточки.

— И-х!..— зихнул он, облизываясь.— Облагодетельствует! Коли разжечь ее... А ты, дед, на это мастак... Дух живет где хочет... Идите! А я сейчас...

Грудь заходила у лесовика ходуном. Старое встрепенулось огненное сердце... Кровь забурлила, забила ключом. Мозолистые, пропитанные горькой полынью и рыбой руки хлопали уже Вячеслава по плечу:

— Хо-хо! Да у тебя губа не дура... Ты — пес... убивец, знамо... Ну, да я не таков штоб... Хо-хо! Идем!..

Из хибарки высыпали обормоты и чернецы. За ними выгрузился и Поликарп с поводырем. А оставшийся Вячеслав шарил уже в хибарке по подлавечью, ища книги.

Под шелохливыми, сумными верхушками повели Поликарпа логами и зарослями в девью землянку...

В душном и тесном проходе под обрывом их встретила жеглая простоволосая еха. В темноте подскочила к лесовику и, вцепившись в длинную его дротяную бороду, захохотала низко и глухо:

— Под-ходь!.. Ах-а!.. Я такая.

Лесной дед сжал гибкую еху корявыми руками. Поцеловал ее в губы. Подхватил на перегиб. И, с толпой чернецов ввалившись в слепую глубокую землянку, засокотал в страстной и дикой пляске.

— Веселей! Веселей! Горячей! Горячей!.. Эх, едят тя мухи с комарами! Наяривай! Хо-хо! Крепче! Больней!..

Могучими лесными руками, пропитанными мхом и водорослью, сжал гибкую, скользкую и знойную еху, дико и радостно вскрикнув. Подвел к ее горячему сладкому рту огневые свои, пахнущие русальими травами губы в жестких колючих усах. И задрожал, забился в крепком, хмельном, неотрывном поцелуе...

Еха, открыв пьяные, мученические глаза свои, увидела в желтом тумане коганка пустые черные ямки Поликарповых глазниц с обведенными вокруг них жуткими коричневыми кругами и шрамами. Вздыбилась в ужасе, вырвалась из крепких рук лесовика...

Но Поликарп, извернувшись, взметнув белую пургу волос, подхватил еху за крепкий, точеный стан правой рукой, левой же обнял ее колена. И положил ее, распаленную, на свою широкую, выпиравшую из-под раскрытого ворота посконной рубахи, волосатую грудь...

Теперь уже и еха, хрустнув костьми, обхватила лесовика за обгорелую морщинистую шею. Нежными атласными пальцами стиснула взвахлаченную пурговую голову... И, впившись в жаркие лесные губы, зашлась в кровяном поцелуе...

— Э-х... пропала я! — вскрикивала она сквозь поцелуй.— За-му-чили меня... в прах! Я — такая.

Захватило у Поликарпа дух. Красная волосатая грудь высоко вздымилась. Могутный и несокрушимый, как каменный столб, живот закачало... Все пошло у лесовика огнеметным колесом...

В диких руках съежилась как-то еха, подалась.

А лесовик, держа ее на груди, как ребенка, ликующе и радостно грохотал над ее алым нежным ухом:

— Все разрешено, еха моя сладкая... лесовая... Хо-хо! И тьма, и радость, и муки! Все в Духе! Так-тось. Потому Духом нас, лесовых, неискусобрачная дева Града спасает Марея... Надежа мира!.. Охо-хо, унесли ее от меня жулики... Светла она, аки солнце... Сказано, как согрешит неискусобрачная... в тот секунд и свет преставится..

Выпрямилась вдруг еха во весь рост. Легкой змеей выскользнула из крепких корявых рук. Но лесной дед, распаленный знойной грудью и больным огнем гибкого девичьего тела, онемев, приподнял еху, переломил, слил с собою в огненной волне...

Жесткая борода его щекотала остро раздавшуюся тугую девичью грудь.

— А-а-ха!..— поперхнулась вдруг обессиленная еха.— Я... дева Града... Я — Ма-ри-я!

Лесовик, оглушенный, с растопыренными корявыми пальцами, покачнувшись и оскалив белые зубы, грохнулся наземь, словно древний дуб, сраженный грозой...

А перед ним, вокруг распластавшейся, бездонноглазой Марии смыкались уже чернецы, жадными впиваясь зрачками в трепетное девичье тело...

V

Ночью гнева и света выходили хороводы, полки, громады. Пели псалмы. Хлеборобы, бросив убогие хибарки, сливались с бушующим потоком.

Над синим, цветным озером темные шумели леса — вещие кудесники земли. В глубоком же ночном зеркале озера хвойные берега и туманы плыли опрокинутыми таинственными башнями в зеленом огне звезд и луны...

С белого мелового обрыва, вскинутого над черной хвоей, сходила, ведя за собой дикую шайку сатанаилов, побирайл и обормотов, нагая, грозная дева Светлого Града.

В лунном голубом сумраке белые гибкие руки ее смыкались над качающимися кудрями, рассыпанными по плечам и груди черной волной. Нежное тело лило на хвою таинственный свет.

Ницые обормоты и сатанаилы, завидев пламенников, бросились врассыпь. Только согнувшийся, оборванный Вячеслав с толстой какой-то книгой под полой подрясника, семенил за Марией дробными шажками.

Мария, завернувшись в черное покрывало, пошла молча к громаде.

— Кто ты? — гудели мужики, встречая ее...

— Я — дева Града...— откликнулась она...

Из черного узкого расщелья под ноги ей выполз вдруг хитрый и загадочный гад. Как два раскаленных угля, горели два зеленых зрачка. Проворно и зорко, юля под кустами терновника, пробиралась утлая сплюснутая голова.

Кто-то ступил на голову взвившегося гада.

— Не тронь! — задрожала Мария.— Прости и прими.

Под порывами хлынувшего с озера ветра вздыхали над берегом вековые дубы. Ухали и гудели внизу яростные волны.

— Я все простила и приняла...— подойдя к Крутогорову, дотронулась Мария до его плеча нежной рукой.— И тебя, мой браток, простила...

— А отца? Он ушел в низины...

— Отца? Ему надо нас прощать, а не нам его...

— Ты... увидела? — долгий взгляд Крутогорова прошел сквозь душу Марии, как луч солнца сквозь тучу.— Увидела, что никто не виновен в зле? Не будь зла, люди не стали бы искать Града... Ради Града отец прошел через зло, вольно... Я — невольно... А те, что погибли во зле и от зла,— вехи на пути к Граду... Смерть матерей и гибель сестер слили низины и горнюю в единый Светлый Град!..

Радостные и светлые широко раскрыла Мария черные, бездонные свои глаза:

— Всепрощение!

— Всепрощение!

Перед Крутогоровым встал встопорщенный, темный Вячеслав. Толкнул его в грудь:

— А ты меня простил? Всех простил, а меня нет... И Гедеонова — нет...

— Тебя я простил...— сказал Крутогоров.

Вячеслав онемел. Кому-кому, а себе прощения от пламенников он не ждал... И теперь не верил, что его простили и отпустили.

— К-ка-к? А сжигать меня на костре не будете?.. Ать?..— нудовал он.

И вдруг поверил. Выхватив в суматохе из-под полы старую обглоданную крысами книгу, упал на колени, каясь перед Крутогоровым сокрушенно:

— А я-то — смерд! А я-то — дьяволово семя... Все хулю! Все пакостю! Не прощай меня, Крутогоров. Недостоин бо есьм... Я гадов сын! Не веришь?.. Вот! Тут в метриках записано все...— трепал он книгой, распростираясь в прах.— И Михайло с Варварой — тоже гадовы дети... покойники... И Андрон... покойник... Ать?.. Отец наш — Гедеонов... От княгини мы... незаконные... Тайком... Тайком в монастыре крестили нас... Дух...

— Всепрощение...— наклонилась к Вячеславу грустная в голубом таинственном свете Мария.

Но Вячеслав, ползая перед молчаливой громадой на брюхе, маялся в смертной нуде и рвал на себе волосы и скулил:

— Жгите гадов!.. Крушите... Я всегда был... за мужиков... Колесовать нас мало!.. Сколько он, дьявол... батя-то, людей поперегубил!.. Женил брата на сестре... и сам жил с Варварой... с дочкой-то со своей, как с женой... А я?.. Я Андрона, брата своего, убил! и сколько перегубил невинных я! Вот — кто я, окаянный. Решите меня! — маялся он, стуча себя кулаком в грудь исступленно.— Я хулил вас, радовался, что скрыл от вас тайны... Теперь — открываю все... Вот: тьмяная вера была выдумана им же — батькой! И Тьмяный, думаете, кто это?.. Он же, Гедеонов!.. Вот!.. Дух живет где хочет... Я, понимаешь, всегда за мужиков...

— Ну... прощен... чего ж! — тронулась громада.— Вперед! Эк его разобрало...

Светлое подняла в вороненых кольцах лицо свое

Мария. Проводила Крутогорова грустными, жуткими глазами.

— Одна я на свете!

— С тобой солнце Града,— полуобернувшись, оста новил на ней долгий ночной взгляд Крутогоров.

— Но ты уходишь...— грустила Мария веще, склонив голову.— Зачем ты поднял мир? Всепрощение!

— Нет всепрощения без гнева. Нет любви без ненависти! — отступал уже грозный, озаренный неприступным светом Крутогоров.— Слышишь гул?.. эта ночь — ночь гнева и света!..

Громады, вздрогнув, развеяли гордые знамена — рвущиеся за ветром вестники бурь. Необоримой стеной двинулись на белый гедеоновский дворец...

В селе, разбуженном шумом знамен, гулом земли и победными кликами, селяки, наспех одевшись и захватив топоры, сливались с громадами. Из растворенных настежь хибарок, словно листья, гонимые ветром, сыпались и дети, и старики со старухами, накидывая на ходу куцынки, зипуны и кожухи, крестясь и вздыхая:

— Вот когда земля! Вот когда возьмем землю! Земля — и все тут!..

Над озером распростирались смятенные ивы, вторя гулу знамен, взбиваемых ветром. В ночных волнах, вспененных прибоем, качались, рассыпаясь золотым дождем, багровые отсветы факелов.

В вотчине Гедеонова зловещая поднялась тревога. Люто залаяли на цепях псы, забили в чугунные доски дозоры... По углам каменной ограды вспыхнули сторожевые огни...

Полки, освещенные факелами и сторожевыми огнями, медленно и грозно текли по слепой, широкой столбовой улице. За хибарками, в логах, темнота, словно смертельный яд в кубке, бурлила и плескалась через края, заливая свет. Налетал ураганом ветер, воюя с ветлами, и поздняя заря горела за садом, будто кровь.

В тумане завыл расколотым зловещим воем старый набатный колокол. Заметался и полетел над дикими полями и лесами жуткий вопль, крик и призыв гневной души, клич, смешанный с кровью...

А по перепутанным переулкам, по подзастрешечью хибарок, пригинаясь и ползая на брюхе, словно чер-

ти, рыскали и юлили дозоры и следопыты Гедеонова...

В свете луны, звезд и лампад перед криницей с распятием мужики остановились: дорогу пересекли черкесы.

Грозно и жутко молчала громада. Только гудели над озером ветлы да хлопал знаменами и свистел ветер. В сумраке черные фигуры черкесов, изгибаясь, лязгали уже с седла шашками; рассекали воздух длинными арапниками.

На горячем, борзом коне выскочил в красной черкеске Гедеонов. Припав к седлу, впился в шумящую громаду острым темным лицом:

— Ага, мать бы... Пони-ма-ю!

— Тащи его с седла, катагора, лярву!..— вздыбились задние ряды.— Обухом его по башке!

И вся громада, вздрогнув, двинулась крепкой стеной на Гедеонова. Но его вдруг заслонили черкесы, выстроившись на диких вспененных конях перед мужиками, со вскинутыми наотмашь обнаженными шашками.

— Спаситель! Заступись!— крикнул кто-то в молчаливой толпе.

— Жиды — трусы...— гнусил глухо Гедеонов, скрываясь за черкесами...— и дурак тот, кто их просит... ха-ха-ха! Иисус Христос — жид...

— Он мир спас!.. Гад ты проклятый!..— ярилась толпа.

— Мир спас, а одного человека... с которым жил, учил — не спас?..— покатывался со смеху помещик.— Иуду-то? Боялся вызвать душу его на поединок?.. О Господи Иисусе, прости меня, окаянного!.. Жаль, не при мне распинали...

Полки, глухо ахнув, подались назад. Ощетинились вилами, дрекольями, топорами. А в них с разгону дикой лавой врезались вдруг рычащие черкесы...

В воздухе зажужжали камни, зазвякали топоры, зазвенели косы, скрещиваясь с кинжалами и шашками...

— Кр-ру-ши-и!..— гремели мужики: — Ру-б-би-и!..

Перед криницей с распятием валы хриплых, отягченных тел в бледном свете луны сцепились в смертельной и жуткой схватке и застыли: увидели, что всем — конец. И, приняв его, подняли ужасающую и лютую сечу...

Кони, вздыбившись, с диким храпом опрокидывали

всадников и падали, посеченные. Глухо звякали и стучали о кости топоры. Свирепые коренастые бородачи, напориваясь на кинжалы, грозно и страшно вскидывали руками, хрипли предсмертно... Но и расплачивались с черкесами равной платой смерти.

У ограды Гедеонов, топча разъяренным конем сбитых с ног стариков, хлестал направо и налево нагайкой, рычал глухо:

— Сотру в пор-рошо-к, мать бы...

— Г-а-а-д! — жутко прорвалось откуда-то.

И емкий камень гукнул в грудь Гедеонова тяжко. Ухватившись за сердце, грузно упал под ноги разъяренному коню Гедеонов.

Над кучей тел встал вдруг высокий согнутый старик. Подбираясь с занесенной кривой косой к опрокинутому Гедеонову, ядрено крякнул:

— Ну-к-ко, под-держи-сь... Нуко-о, приподыми башку...

Гедеонов, часто и трудно дыша, судорожно выхватил из кармана короткий тупой револьвер и выстрелил в упор в старика.

Нелепо раскинул тот корявые, скрюченные руки и грохнулся навзничь.

— Х-ха-а!..— хрипел и рычал Гедеонов.

— В пор-рошок, мать бы...

За криницей вздымались и ложились костьми человеческие валы в адской битве. Люто рубились пригнувшиеся, извивающиеся змеями черкесы, не уступая мужикам и пяди земли. Но вот громада, развернувшись, полохнула черкесов боковым ударом и опрокинула их под гору. Оттуда глухие доносились хрипы: шла последняя резня.

Топот, стальной лязг скрещивающихся сабель, кос и топоров смешивались с ревом и хрипом остервенелых черкесов. Мужики же бились молча.

— А-а!..— подхватился в горячке Гедеонов.— Не берет?.. Поджи-га-ть!.. Скор-ее!..

А его уже оцепляли окровавленные, свирепо сопевшие и неумолимые мужики. Гулко плевались в руки, целясь в него топорами...

Подоспел Крутогоров.

Гедеонов, закрыв лицо рукавом, подполз к Крутогорову:

— Прости-и...

Обхватил судорожно его ноги, трясясь и стуча зубами.

— Я сам себя проглотил... Я, железное кольцо государства! — взвыл он.— Да и... иначе и не могло быть...

— Ну... што ж? — грозные протянулись руки мужиков.— Што за комедь?

Ясные поднял Крутогоров в таинственном звездном свете глаза:

— Вы пришли в мир, чтоб гореть в солнце Града... А чем лютей зло, тем ярче пламень чистых сердец!

В рыхлой, шелохливой мгле насторожились мужики, как колдуны на шабаше, уперлись носами в густые, дикие, сбитые войлоком и развеваемые по ветру бороды. Нахлобучили на глаза шапки. Заткнули топоры за пояс, косясь в лунном сумраке на застывшего в ужасе Гедеонова и ворча:

— Знать, и гаврики льют воду на Божью мельницу?

А Гедеонов, точно комок, перевернувшись в горячке и упав к ногам Крутогорова, стучал загнутым костлявым подбородком оземь, хрипел глухо:

— А-га-х!.. Прости-и!.. По челове-честву!

Из-за разорвавшихся над белопенным озером, рыхлых, опрокидываемых ветром туч вынырнуло бледное жуткое кольцо луны и облило зеленым сном сады, срывы, смятенные человеческие валы под горой, мертвые раскинувшиеся тела и среди них, в цепи бородачей, темно-красную черкеску Гедеонова.

— Переходи к нам...— веяли на Гедеонова дикими бородами мужики.

— Я? К вам? В пор-рошок, мать бы...

Зашабашили бородачи зловеще. Угрюмо и неотвратимо напосудили топоры, молча пододвигаясь к подхватившемуся вдруг Гедеонову:

— Ну... выгадывай...

— Пощадите...— жалобно заныл генерал.

И забился в горячке немо. Под бледным неживым огнем луны полы и рукава черкески трепались, как крылья мертвой птицы. По впалым зеленым щекам черная

текла запекшаяся пена, будто заклятое колдовское снадобье.

— От-пуст-ите... ду-душ-у... на покаян...

Крутогоров, подойдя к нему, наклонил голову:

— Русский народ не только народ гнева... но и народ всепрощения...

— А-га-х!..— рыгал Гедеонов кровавой пеной.— Не-г-эт...

И, подхватившись, точно на крыльях, развевая полами черкески, помчался наискось, под гору. Плюхнул в ивовый куст проворно.

И, пригинаясь под ивняком, уже карабкался, точно кошка, над обрывом к хате плотовщиков, смутно светившей в ущелье, на песчаном откосе, красным окном. Но вдруг, сорвавшись, с грохочущим корнистым оползнем покатился вниз, к ухающим вспененным волнам.

Под обрывом, у берега хлопал и скрипел привязанный к березе плот из обаполок. Засыпанный песком и заваленный хворостом Гедеонов, выкарабкавшись, помчался к хате плотовщиков шибко и отчаянно. Но навстречу, от хаты, выползали из засады свирепые обормоты... Тогда Гедеонов, вернувшись, с разбега вскочил на плот, обрубил кинжалом веревку. Подхватил шест и, отодвинув плот от берега, поплыл, гонимый ветром и волнами.

Полная луна, выплыв из-за нагромоздившихся, словно горы, туч, обдала белым ярким серебром черный, захлестываемый волнами плот и согнувшегося, прыгающего дико по разъезжающимся доскам Гедеонова с длинным шестом.

Лунный шалый вихрь, подвернувшись, взрыл ворчливое, рябое озеро, захватил плот. Обаполки закачало дикими волнами, раздвинуло...

Провалился Гедеонов меж скрипучих набрякших обаполок. Застрял в них головой. Хряско под гул волн забился и захрипел...

Ухало озеро. Качала плот вспененная, пьяная рябь. Хлюпали и скрипели остроребрые обаполки, оттирая защемленную меж них, облитую зеленым светом луны и захлестываемую волнами круглую голову Гедеонова...

Мужики рубились.

VI

Под гул набата, лесной шум и смутные крики громад Мария пробралась с сатанаилами и обормотами в глухой, заколоченный сруб, в конце села, в старом дублистом саду. Заперла за собой крепкую тесовую дверь наглухо. И открыла отверженцам великое свое сердце.

— Прокляли меня все... Как же ж мне быть?.. Помогите мне, злыдотнички. Как бы-ть?

И зарыдала неудержимо:

— Одна-а я на све-те...

В темноте Вячеслав, зажегши огарок, прилепил его к подоконнику. И закрутился, согнутый, по пустой полусгнившей хате. Завыл, точно бешеный волк, став на корячки:

— Ко-нчено!.. Недостоен бо есть... и смер-ти! У-у-г... Жи-знь отдал... гаду... Думал, богу служил... А вышло — смерду!.. У-у!.. Подметке!.. Смерть моя!..

Подполз к Марии ничком.

Охватил ее ноги:

— Ко-нец мой!.. О-о-ох!.. Любил я тебя... Марьяна, до сме-рти!.. Дух живет... где хочет... Выше всех считал я... себя-то... Думал, сын Тьмяного!.. Сын бога! Ха-а!.. Гнус я!.. Недостоин бо есмь... и взглянуть... Великий род твой, Марьяна! Воистину божественный род! А я... Ко-не-ц!.. Все-о ру-хну-ло!..

По углам при мертвом желтом свете свечи кружились уже в зловещей пляске смерти, дико водя круглыми совиными зрачками, сатанаилы...

Хрипло Вячеслав выл, распростертый в прах. Оглушенные воем, пятились немо в порог, приседали на корячки обормоты...

Бледный какой-то, с синими кругами у глаз послушник, сверкнув под красным кутом на жутком свете свечи жженым кудрявым золотом, ахнул тонко и нудно:

— А-а!.. Веревку-то и забыли... Постой...

Пошарив в карманах, достал крепкий шнур, сложил его в петлю. Вскочил на стол, прицепил наспех к крюку. И, просунув кудрявую жженую голову в петлю, вывернул дико круглые, вылупленные, налитые кровью белки:

— Эй, толкайте стол... и квиты!.. Порадуем Тьмяного!..

Вячеслав, расползшись как-то, обхватив красными волосатыми руками голомшивую голову, глядел узкими загноившимися прорезами на мертвый язык свечи и выл протяжным, безнадежным, диким воем.

— Сколько... душ спасено?..— угрюмо гукнул из угла какой-то пузач.

— Не виляй...— ощерились на него смертные плясуны.— Должать должал Тьмяному... А теперь вилять хвостом?.. Зачинай хвалу!

Вдруг кто-то потушил свечу. В нудной тошной свалке полегли сатанаилы и захрипели хвалу черному царю, зловеще и глухо... Дух захватывало, и заходились сердца от жути смертной, от немого хрипа...

И вот все смолкло. В густой тьме полезли монахи по лавкам, по стенам, шаря около гвоздей и крючков, с разорванными рубахами.

— А-а-х! Что ж это! — всплеснула в темноте руками Мария.— Бра-тцы мои!

— Ко-не-ц!..— прохрипел Вячеслав тупо и дико.

— А Град?.. — запылала Мария.— Как же так?.. А Христос?.. Чуете — псалмы поют?.. Слышите звоны?.. Видите свет невидимый?.. Это солнце Града взошло! Идите же за мною в Град!..— кликала она, вся — трепет, вся — огонь.— Браточки мои! Поцелуемся!

— А на костре нас там... не сожгут? — загудела толпа в темноте.— В Граде-то?..

— Недостойны бо есмь!.. — хрипел и маялся Вячеслав.— Аль пойти?.. Ать?.. Дух живет...

И вдруг заликовал, горя:

— Марьяна!.. Све-т!.. Све-т!.. Гляди, в окнах свет!..

В сплошном сумраке, чуть прорезываемом сквозь щели заколоченных окон зелено-алым светом луны и зорь, к пахучим, мягким Марииным кудрям в сладком священном трепете припали монахи, ликующе крича:

— Веди, заступница!..

В саду за сенями росли глухие гулы и трески.

В тревоге открыли монахи запертую наглухо дверь сруба. И застыли.

Отовсюду на низкие черетняные сети ползло свирепое,

жуткое, буйно-смятенное пламя, облившее сараи, плетни и стены сруба запекшейся кровью...

Монахи, на чьи искаженные смертным ужасом лица кровавый лег отблеск гудящего огня, отшатнулись от двери и сбились кучей в углу сруба.

А пламя, охватив сени и сруб, перебиралось на тесовую дверь ревущим, бушующим ураганом, заплескивало багровыми косицами притолки.

В хату забил дым, застилая груди чадом и жаром. Сбросив с себя одежды, выпрямилась Мария неподвижная, строгая и грозная, глядя в глаза огня, охватываемая алыми его поясами.

— А-а! — раскрыла она черные, без дна, глаза.— Бери... Огонь! Бери!..

Упала ниц, так, что обожженные вороненые волосы ее разбежались по груди и плечам пышными волнами. А в бело-розовое крепкое, гладкое, словно выточенное из слоновой кости, тело кроваво-красный впился свет огня, захлестнувшего стены.

— Брата люблю! Бога! — билась Мария.— Как же мне разлюбить?.. Радость пришла! Солнце!..

Полуобернувшись, обжигаемая огнем, подняла безмерно раскрытые, бездонные глаза на окаменелых, строго молчаливых сатанаилов и обормотов, черных от жуткой смерти. Кликнула клич:

— А-х! За мною!.. Слышите звоны?.. Чуете песни?.. Радость пришла!.. Солнце обрел мир! А-х!.. Целуйте!..

Гудели и ломались под напором огня сени. Дикий вихрь остервенело рвал с крыши пылающие черетнины, бросал в залитые огнем окна.

Наддавшая буря обрушила стропила, латы и втулы. По разломанным простенкам, по вздыбленным и обугленным дрекольям кроваво-красная ползла гора, ревя, как тысячеголовое чудовище, забивая смертными валами окна.

В огне метнулась опаленная Мария под кут, полосуемая ножами пламени. Подняла глаза и сердце:

— Радость!.. Здра-вствуй!.. Солнце!..

За нею, упав на колени, подняли сердца и длани сатанаилы. Вячеслав, трясясь, задыхающийся, распростертый в прахе, забился в предсмертном бреду. И из

груди его мутная вырвалась, безнадежная мольба, о чем — чернец не знал и сам...

— Не от-ры-ни!..

— Родные мои!.. Браточки!.. А... А...— задыхалась в дыму Мария.

Гудящий огненный ураган захлестнул все, круша и беснуясь. В дверь, в окна, цепляясь за втулки, били валы адова огня. Трещала и ломалась крыша.

В горячке Вячеслав, заползши под печку, хрипел одну только мольбу смерти:

— Не отве-ргни... Марь-я... на...

Смутно, словно сквозь сон догадалась Мария, придушенная огнем и дымом... И всем трепетным, обожженным телом, рванувшись туда, откуда шел Вячеславов хрип, распласталась, светлая и багряная, как бесплотный дух...

А Вячеслав в буром едком дыму, сжимая судорожно старый переплет, разгадывал древний вещий сон:

— А как же... Гедеоновский... дьяволов род наш?.. Гадово семя?.. Што это... такое?.. А-ть? Ду-х... а...

Сине-бурый, смрадный огонь искромсал его, проглотил. Перед вспыхнувшим, точно факел, сердцем земная юдоль черный развернула свиток. Слизлая, блудная юность, темный, бездонный омут пыток, смрада; поруганная и обманутая вера в Тьмяного — смерда! — чертов скит, кровавые жертвы...

Но благостный и огнезарный подошел Христос. Надел на всех светлые короны. И с нежной Марией, невестой неневестной, ввел отверженных в голубо-алый предвечный Град...

VII

В зеленом луче звезды, пышный раскинув по плечам водопад волос, охваченная белыми шелками, сходила с горы высокая, стройная красавица с жуткими зорями и сумраками в вещем сердце.

Глаза ее были бездонно расширены и страшно. Под нитью алмазов нежная грудь подымалась и опускалась мерно, дыша темным трепетом и огнем. Густой сумрак

от волос закрывал лицо ночной волной. Но синие зрачки цвели, как бездны.

Со склоненной русокудрой головой и гибкими, белыми, простертыми руками подошла она царственной поступью к Крутогорову, обдав его шелестом шелка и цветов. Густые опустила, выгнутые ресницы, дрожа, молвила строго:

— Теперь мы с тобой... квиты.

А сердце Крутогорова, пьяное от бурунов и солнц, цвело и пело. И пытало незнакомку веще и глухо:

— Где я тебя видел? Когда? В снах?.. В зорях?.. В черном свете?.. И этот гул... И ты — вещая... Кто ты?.. Чего ты хочешь? Мести?.. Гибели?.. Пыток?.. Мы дадим тебе солнце!

Гордо сцепила незнакомка руки:

— Гибель! Ха-ха! Ты не видел, как я продавала себя. Ты бы...

Голубые горние светы все еще цвели и околдовывали. И полонили сердце темным. Но вот белые ночные ветры, загудев в вершинах, развеяли чару. Вещие сны разбудили сердце, взворохнули. И Крутогоров, приблизив взгляд свой к безднам незнакомки, сжал хрупкие ее пальцы, нежные, никогда не виданные... А солнечный голос его упал горько:

— Ты знала Гедеонова?..

— С тринадцати лет...— ударила незнакомка низко и глухо.— Со мною тогда он убил свою жену... многих убил. Но я любила только тебя... Теперь... нет.

Отступила назад, не подымая сурового, скрытого сумраком лица. Точеными повела грозно плечами, шелестя шелком и сыпля алмазные искры...

— Кто меня... не любил?.. Не было на свете души, что не любила бы... меня... А ты — проклинал... Но теперь мы с тобой квиты...— шла незнакомка в лунном свете, низко опустив голову и в гордом выгибе сомкнув руки.

Крутогоров, закаляя сердце, вещими охваченное зовами, близко и жутко настиг ее. Литую поднял прядь волос с наклоненного лица ее, пылающего глухим огнем.

— Кто ты?..— падал его голос все ниже и ниже.— Где ты меня видела? Я не поверю!.. И ты продавала себя?.. Ты, что в шелках и алмазах?.. И с вещим сердцем?..

За садом страшное полыхало багряное зарево. Над

крутым срывистым берегом гудели в огне хибарки мужиков, бросая кровавые бездны в шалое темное озеро.

— Горят — счастливые! Горят! — ликовала загадочно в белом шелку красавица, повернув лицо на огонь.

Крутогоров, спеша через пышные дикие цветники к гудящим в огненной буре хибаркам, молчал странно.

Но вдруг, из-за ночных призрачных цветов, обернувшись, окликнул незнакомку:

— Кто ты?

— Люда.

За Крутогоровым и Людой, в тайне древнего лунного сада, смутно гудел, как прибой океана, ветер. С зыбких, обрызганных темными зорями вершин падали колдовские, свежесорванные цветы, шумы... И жутко и молча шли поэт и Заряница, странно нежные, овеянные чарами и песнями ночных солнц...

В зеленой звезде голубой ветер разбрасывал волосы Люды — пышные волны огня.

Сад колдовал. В глухом огне Люда, обвив собой Крутогорова, исходила темной страстью и болью:

— Не так целуешь... Ох, не так!.. Вот как надо целовать!..

Душистая и беспощадная, вскидывая шелест тугого шелка, подводила нежными горячими руками пылающие губы Крутогорова к своим пьяным губам. Исступленно, яростно, немо рыдала, пила вино любви из его губ:

— И еще... вот как!..

Жуткими жгла хмельными устами закрытые, отуманенные его глаза, сердце, сладко и больно шепча:

— Ох, и еще вот как!

Древние сны разгадывались и хаосы. И шел в бездны огонь сердец...

Крутогоров, раскрывая вещее додневное сердце, поднял Люду, загадку и страдание, и отдал всего себя ее пыткам, жадным, ненасытимым устам-цветам... А Люда, муча его безжалостно, впивалась звездным огнем в его душу, прижимала горячую голову к своей скользкой груди... И вскрикивала радостно, светло, грозно:

— Я — лесная! я — вольная!.. Я люблю тебя, радость-солнце!.. Ох, да не так целуешь!..

За садом, у синей горы, в нежном сумрачном свете

зарниц цветистые степи обдали вещих шалыми волнами ароматов и бурь.

В хвойном ущелье, над озером горели хибарки. Взметаемые ветром огни, качаясь, плавали над ущельем и падали в темную хвою багряными цветами...

А с горы сплошным солнечным гулом неслись радостные, светлые хвалы, песни победы...

И из-за синих лесов грозно шло росное, ясное солнце, раздувая гул в садах Града.

Но гул садов, шелест леса, движенье победного голубо-алого света, шум ароматов, рос и цветов заглушал вещий клич поэта и Заряницы...

— Я люблю тебя... песня моя!

— Я люблю тебя... радость солнце!

Над степью таинственные плыли звоны.

Из-за придорожной черемухи вышел вдруг темный и тревожный Никола с опущенной низко раскрытой головой и взглядом неподвижным, как смерть.

— Где любят всех... там никого не любят!..— глухо и немо прошептал он за плечами Люды.

Но и в шепоте его слышны были безумные бури и жуть.

— Только тебя люблю!.. Да люблю! Да люблю ж я тебя!.. Да смучу ж я тебя!.. О-х!.. — сжимала Крутогорова страстно огненными руками Люда. И исступленно, мудро и вдохновенно целовала его в сердце.

— А меня?..— встряхнул кудрями Никола, дрожа и жутко смыкая глаза.

Отступил назад. Медленно и со звоном вынув из-за пояса нож, ударил им молча, точно огнем, в сердце Люды. И та с легким мертвым криком повисла на руках оглушенного Крутогорова, обильно поливая алой кровью степные цветы...

Мудрый, еще ничего не поняв, преклонив колена, благоговейно положил Крутогоров на росные, обрызганные кровью цветы Люду. Открыл вещие, полные ужаса любви глаза свои. В росном солнце лежала Заряница, царственная и светлая, как сон, отдав сердце и глаза — они были все еще сини, все еще бездонны — солнцу.

— Про-кля-тая!..— пал Крутогоров ниц, занесенный туманом...

Но вот, прозрев, встал он. Обвел загадочными глазами степь. Николы уже не было.

И пошел Крутогоров в Светлый Град.

В Град, над крутой, в древних садах горой, зацепливаясь за башню, низкая проходила, зеленая звезда утренняя, и голубой цвел свет неведомого солнца...

С цветами и радостью победные шли мужики из дольной хвои...

Синие сады, леса, и голубые ветры, и жемчужные волны, и белокрылые ангелы на золотых парусах, изогнутых полумесяцем, пели, светло ликуя: благословенны зовы, и бури твои, и ночи, благоуханное солнце! Тебе — сны и молитвы! Воскреси! Пошли бездны, все, что заклято тобою, грозы, ужасы и тайны, о солнце, о пребожественное светило! Да будут благословенны земля, и жизнь, и сумраки, что цветут, расточая ароматы и сладкие шелесты, и поют в веках победную, огненную песнь: Солнце! Солнце! Солнце!

1910—1913 гг.

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕЛЬ

Роман

Глава первая

В ЦАРСТВЕ СИНЕЙ ЛАМПАДЫ

ПЕТР ЕРЕМЕИЧ

Смерть!

Нужна она, желанна в свой час, и нет больше муки, если смерть в свой срок долго нейдет к человеку, уже сложившему на груди руки в переднем углу.

Тогда человечье сердце томится и тоскует по ней, как некогда оно томилось и тосковало, поджидая, когда постучится любовь черемушной веткой в окошко.

Хорошо умереть, коли в головах у тебя и в ногах теплятся тихо путеводные свечи, а у дома, плечом прислонившись к крыльцу, терпеливо дожидается сосновая крышка!

Тогда смерть похожа больше на заботливую, самую младшую внучку, которая закрывает деду нежной ручкой сгоревшие веки, тогда умереть можно с улыбкой, с хорошим неискаженным лицом...

Как умирают все мужики, вернувшись с пашни или покоса!

Но ничего нет смерти страшнее, и как не ужаснуться, не облиться холодом и трепетом с кончика волосинки и до мизинца, когда над тобой беззащитным, жалким, несмотря ни на какую силищу, кажется, с самого неба занесен нещадный чугунный колун, под которым сама земля дрожит и расступается, разлетаясь пылью и прахом, тогда... ничего нет смерти страшнее, тогда если и струсишь — будет не стыдно, потому... есть ли они на самом-то деле, эти герои?!.

Или выдумали их генералы?!.

Вернее, что так!

* * *

Когда немцы прекратили стрельбу, Зайчик встал и отряхнулся.

Земля даже за ворот набилась, сползая щекоткой по телу, и пробкой сидела в носу,— ничего и никого вокруг было не видно, то ли оттого, что сразу так затемнило из тучи, то ли потемнели глаза и их земля запорошила,— ни нашего штаба, ни немецких окопов на том берегу Двины, похожих на тонкую бровку над хитрым глазком,— все, все пропало, прикрытое черной пеленой предгрозовой пустоты.

Зайчику самому было в диковину, что большого страху он на этот раз под немецкими ядрами не испытал, и даже про себя теперь счастливо улыбался, сладко поеживаясь и косясь в немецкую сторону, где уже привычно для глаза то и дело с одного и того же места поднимался кверху зеленый петух — оглядит, окинет далеко зеленым глазом, лопнет, и посыплется в разные стороны отливный хвост, и видно издали, как падают в темноту топыристые перья, а из-под самых ног у Зайчика, словно из земли, выпрыгнут темные тени и... в перебежку!.. И свежие ямы от немецких разрывов с лосной, еще не обветренной землей по краям поглядят на него, как большие пустые глаза человека, забытого смертью.

Стал Зайчик в этом призрачном, неживом свете оглядываться и вспоминать, как на штаб идти, где ему нужно было выправить отпускные бумаги, да, должно быть, немец все же с разума сбил.

Проплутал он сам не знает сколько времени по низовине, часто в непрогляди спотыкаясь и падая на торчки и то забирая куда-то в сторону, то опять подходя к самым нашим окопам.

Опамятовался Зайчик, только когда сразу чуть не по колено попал в холодную воду.

В это самое время с немецкой стороны пополам разрезало небо, разворотило на обе стороны, и из черной пазухи тучи на минуту повисла вниз золотая нитка, бабахнуло, и до самых немцев перед Зайчиком зачешуилась вода, с Двины понесся шум, как будто стояла не осень, а ударил первый весенний паводок, когда на больших реках ломает-

ся лед, из земли рвутся ключи и вода отовсюду юлит, суетится бесчисленными ручейками и спешит притоками рек омыть поскорее после зимней спячки земное лицо.

— Вода?.. Откуда тут вода? — схватился Зайчик за сердце.

До боли в глазах уставился он в темноту, и показалось ему, что вода крадется в темноте, догоняет его и вон там в стороне уже обегает его, забираясь в те самые ямки, по которым перебегал Зайчик во время обстрела.

Сорвался Зайчик и опрометью, наобум бросился напрямик, натыкаясь на кусты и деревья, в одиночку стоявшие за нашими окопами, к штабу; должно быть, только чутьем, внушенным смертельным страхом перед новой погибелью, выбрался на большую Тирульскую дорогу, по которой и попал в проливной, какого в жизни своей еще не видел, ливень все-таки куда надо — на станцию.

Никого не расспрашивая и уже не думая о бумагах, мокрый до последней нитки, вскочил Зайчик в товарный вагон и еще затемно укатил с одним приказом в кармане и солдатскими письмами за обшлагом.

Странное состояние было в дороге у Зайчика.

Сразу, когда он повалился в кучу храпевших отпускников, его бросило в жар, даже пригрезилась отцовская баня и покойная бабка Авдотья, со всего размаху бившая его голиком по горящим лапостям, а проснулся, и... как ни в чем: обсушился солдатским теплом, и только в голове туманило и ныло в затылке.

Потом всю дорогу шутил с солдатнёй и делал все, как и надо быть человеку с мозгой и смекалкой, деньги, какие были, зря не бросал, сдачу проверял и хоть натыкался неловко на людей и смотрел на них мутными, чудными глазами, а все же благополучно добрался до нашего уездного города Чагодуя, где и нанял Петра Годового, чертухинского троечника, у которого в ин-поры пятнадцать лошадей в Чагодуй ходило, а из Чагодуя куда только тебе надобно!

* * *

Вскочил Зайчик в кибитку, в кибитке сено набито в сиденье, покрытое дерюгой из цветистых тряпок, внутри коленкором или ситцем с набивными птицами бока и верх

околочен, и на ноги застегнут кожаный фартук, чтоб седока не марали ошметки с дороги:

— Сиди как за пазухой!

...И Зайчик сидит, заправивши руки в рукава, и в глазах у него — оттого ль, что попал к Петру Еремеичу в тройку, оттого ль, что перед глазами побежали родные места,— прочистилось, словно разошелся туман и так далеко-далеко просветлело...

В глазах замелькало село за селом, за деревней деревня, и вертится поле в глазах, как в нашем Чертухине в Ильин день карусель.

У карусели синяя, из синего атласа, крыша, по карнизам висят осенние быстрые тучки, как будто и впрямь размотано кружево с большого мотка и привешено низко над желтой жнивой, над лесом, лежащим вдали золотою каймой, над прозеленелым покосом — над черной, с лосниной на солнце морщиной мужицкой кривой борозды...

Крива борозда от мужицкого плуга, как крива и морщина на лбу с бисеринками пота — от думы, висящей, как птица за кормом, над этой кривой бороздой!..

Кое-где промелькнет вдали бугорок, покатый увал, едва заметный для глаза, как девичья грудь под рубашкой, а то — все равнина, равнина, равнина, а как поглядишь в эту равнинную ширь, и глаз не хватит, потому что конца ей не видно и нет.

Проезжал нашим полем когда-то большой богатырь по прозванью Буркан — сын мужичий, потерял он, должно быть, на Киев дорогу, а ехал из города Твери,— проезжал по нашему полю и в поисках верной дороги поднялся на стремя: хотел его край увидать, и не мог богатырь дотянуться до края глазами и полевую даль, Чертухино, наши покосы и поймы от всей души похвалил!

— Последний разок посмотрю, побываю, а там, может, закаюсь навек!

Луга покошены, нивы пожаты, и только кое-где, как диковину, увидишь средь сжатого поля кресты из снопов, стоят они солдатской шеренгой, расставивши ноги, и то ль их солдатка увезть не успела, то ль с горя, что мужа забрили в последний набор, об них позабыла совсем... стоят они, поджидая хозяйку, и с краю полос возле них — недожатый клин, свалявшийся с ветру и прибитый дож-

дем, как грива на лошади, на которой катался всю ночь домовой.

«Идет на урон сторона,— думает Зайчик, глядя на эти кресты и на полосные борозды с краю,— идет на урон».

— Луга-то, Петр Еремеич, убрали? — кинет Зайчик вопрос на подъеме — когда ямщик дает лошадям отдохнуть.

— В сарае! А сено нонешний год такое — только и есть самому!

Петр Еремеич ответит, спину ни накось, ни вбок не свернет и вожжи из рук ни на минуту не пустит, и спина перед глазами у Зайчика на облучке как щит широкий и крепкий, который разве на большом ухабе качнется вместе с кибиткой, а так — ни туда ни сюда!

Петр Еремеич ответит, только голову из ворота вытянет, повернув длинную шею, как гусь на кота:

— У нас, Миколай Митрич, теперь сено возят на бабах!

— Ну, скажешь ты, Петр Еремеич!..

— А ты что, не веришь?.. Мужиков да коней позабрали, остались кобылы да бабы!

— А как, Петр Еремеич, ты уцелел?..

Зайчик смеется, и Петр Еремеич чуть-чуть.

— Да я-то по косому объехал, кого на тройке, кого на катюхе гужом!

— Ладно, Петр Еремеич: хоть ты со скотиной!

— Ходят слушки, что скоро все заберут! Последняя!

Свистнет, ударит вожжой коренного по круглому заду, кибитку сразу так и сдернет с места, как будто оторвет от земли, а Петр Еремеич вперед протянет обе руки и вожжи напружит — всполохнутся и запоют колокольцы, и задымятся хвосты у пристяжек...

...И кажется Зайчику, что Петр Еремеич с такой широкой спиной, с плечами во весь облучок, с такой нарядной курчавой кромкой под войлочной шапкой, что совсем он, совсем не ямщик, а старинный, чудесно воскресший гусляр, который присел на дороге средь поля и в обе руки бьет по четырем туго натянутым струнам невиданных гуслей!..

...И слушает Зайчик его, и слушает поле, и поле как будто вот, подобравши зеленый с желтым разводом подол,

начинает кружиться, кружиться, и кружится лес за полем, поодаль, и машет вершинами желтых берез на опушке, и хлопает будто в ладоши, ссыпая с них ворохом желтые листья; сидит крепко Петр Еремеич и только слегка перебирает ременные струны!

Эх, черт бы совсем распобрал, Петра Еремеича нет, а тройки вышли из моды!

Теперь, как слезешь с чугунки, так прямо-прямехонько — в лес; вытеши палку потолще да посукастее, чтоб не разлетелась об воровью башку, просунь промеж ног, да и трогай! Хочешь шажком, а коль очень уж спешно, так можно с притрухом: ты сам себе кучер и конь!

Эх, Петр Еремеич!

ЧЕРТУХИНСКИЙ ТУМАН

...Нагрянул Зайчик в побывку, заранее даже и вести не подал.

В аккурат как-то под вечер все чертухинские солдатки так к окнам и прилипли, еще издалека заслышав, что Петр Еремеич кого-то везет, за грудь держатся, без платков бегут на крыльцо, наплевать, что в углу ребятишки горло дерут: все вестей ждут от своих не дождутся!

Прокатил Петр Еремеич из конца в конец по Чертухину, инда только пыль на подсохшей дороге поднялась, и так никто и не разглядел хорошенько, кто это за пылью в кибитке.

А Миколай Митрич, радостный, светлый, словно видит впервые родное Чертухино, всем рукой машет и трясет боевой фуражкой, раскланиваясь, как именинник.

Встала тройка, словно в землю вросла, у самой что ни на есть лавки Митрия Семеныча Зайцева, так что коренник уперся высокой дугой в застреху домового крыльца; тут только и догадались, кто это нашим солдаткам в кибитке прибластился, бегут со всех концов, словно опоздать боятся, словно гость так завернул, на минутку, а вот маханут кони хвостом у крыльца, и поминай его опять как звали,— живо у крыльца бабы и девки сгрудились, локотками подперлись, то и дело ни с того ни с сего хватаясь и утирая глаза.

Вышел Митрий Семеныч на галдарейку, бороду гладит и не верит глазам, что сынок приехал, больно уж, де, не ждали да не чаяли!

Сестра Зайчикова, Пелагушка, из окошка высунулась — вот-вот упадет, а мать Фекла Спиридоновна как выскочила на крыльцо простоволосая, увидала, что Миколенька из кибитки вылезает и саблю в руке держит, так и уронила голову, как срезанную, в кубовый передник и на все Чертухино заголосила от избытка чувств.

Митрий Семеныч народ растолкал, бросился на Зайчика, словно бить его хочет, будто это и не Зайчик вовсе,— подбежал к нему с лицом страшным и радостным, положил ему голову на плечо и тоже заплакал...

* * *

Зайчик, как вошел в избу, в угол помолился, отвесил всем по поклону, и так, кажется, и поплыло все у него из-под ног, голову вдруг сильно закружило.

— Собери мне постель, матушка, в горнице,— сказал он Фекле Спиридоновне,— больно я уж умаялся.

Фекла Спиридоновна пугливо посмотрела на сына и побегла с самоваром за печку, а Митрий Семеныч мигнул Пелагушке на горницу.

— Сынок... ах, сынок, да господи боже!.. Вот уж не чаяли!

— Обыдёнкой, батюшка, вышло... я и сам-то не думал!

Постелила Пелагушка кровать в передней избе, а Митрий Семеныч чайный стол на маленьких колесиках к кровати подкатил.

— Ты,— говорит,— Миколенька, лежи, отдыхай с дороги, а мы с матерью около тебя посидим, чайку попьем да на тебя посмотрим: в кои-то веки видим тебя живого, слава богу, да в полном здравии... В последние разы ты и писем-то не писал... а ведь что не надумаешь!

— Пристал я, батюшка, что-то,— тихо говорит Зайчик.

— Ну, если и пристал малость,— прибавил Митрий Семеныч, поглядевши пытливо в какие-то странные глаза сына,— так у матери под юбкой живо отудобишь!

Ощупал Митрий Семеныч Зайчика всего с головы до ног дометливым стариковским глазом: ничего по-прежне-

му, на вид вроде как здоровый, ладно сшитый паренек.

— Отудобишь,— довольно решил Митрий Семеныч.

— Отудобишь, отудобишь, Миколаша,— радостно говорит Фекла Спиридоновна, внося самовар в горницу,— смотри, Миколенька, как наш старик-то старый тебе обрадовался: только успела отвернуться, а он так потолок весь паром и обдал!

Зайчик в кровати ноги расправил, чистое белье, словно перушком, тело замоделое гладит, от подушки травой-мятой пахнет,— лежит Зайчик как барин и матери улыбается.

— Матушка ты моя милая, если б ты знала, как я по вас соскушнился!

Митрий Семеныч в середку стола сел, Пелагушка за самовар спряталась, а Фекла Спиридоновна расставляет на стол чашки, голубые любимые Зайчиковы кумочки,— похоже сейчас на то, что мать с чердака молодых голубят принесла в переднике, сейчас их пшеном кормить на столе будет...

— Сынок... сыночек мой!

Митрий Семеныч на блюдечко с золотым обрезом горячего чаю налил, локтем руку с блюдцем подпер, на блюдечко дует, а сам все на сына глядит — все глазам не верит — да блюдечком бороду закрывает, чтобы кто не разглядел, как по бороде нечаянная слеза катится.

— Жарко... инда пóтом пробило,— говорит он, заметив, что от женниных глаз скорей кошелек спрячешь, у самой Феклы Спиридоновны глаза помаргивают и теплятся, удерживая радостные слезы: не любил Митрий Семеныч глядеть, как другие плачут...

— Полно тебе, Митрий, седни и печь не топили,— тихо говорит Фекла Спиридоновна...

Митрий Семеныч через блюдце посмотрел на нее: дескать, дура!

— Что, Миколенька, каково на хронте? — спрашивает он сына твердым голосом, этой твердостью так и хочет Фекле Спиридоновне намекнуть: ошиблась, матушка, это у тебя глаза на мокром месте, по делу и по безделью всегда за глаза хватаешься, нельзя сапогом под бок ткнуть, а я слезой исхожу, только когда лук в тюрю режу.—

Мы к газетам тут не больно привышны! Да к тому же и врут больше того!

— Мы, батюшка, теперь почитай что на мирном положении, в позиции и в глубоких окопах под блиндарями... только вот вши больно едят, а то бы — все ничего... редко кого убьют ненароком!..

Фекла Спиридоновна — в передник, Пелагушка — за самовар.

— Это они, Миколенька, от страху заводятся! — говорит мать из передника.

Митрий Семеныч строго на передник смотрит, словно так и норовит без слов растолковать понезаметней: да не суйся ты, дура, когда тебя не спрашивают, если ничего не понимаешь, у человека чин как-никак, на плечах эполет с синей дорожкой, посередине с черной звездочкой, а ты о страхе каком-то канитель заводишь,— знай, дескать, передник, свое дело: ухваты да клюшки, пироги да ватрушки!

И трудно почему-то Зайчику признаться, что мать правду сказала.

Не потому, конечно, что хронтовика такого хотел из себя дома на печке изображать, а потому, пожалуй, что страху этого сам по-настоящему не раскусил и по правде не знал, что он-то сам, храбрый или трусливый.

— От поту вша заводится,— строго сказал Митрий Семеныч.

Фекла Спиридоновна села за стол и оглядела мужа неразумными глазами:

— Полно, Митрий, уж то ли не потеет человек, когда землю пашет, а никогда и вошка от такого пота не укусит!

— Ну, разварилась картошка: сама с себя шинель скидает,— намекнул опять Митрий Семеныч, по мужицкой привычке не говоря всего спряма, но Зайчик понял с одного слова.

— Выпусти-ка,— говорит он,— матушка, меня с кровати слезти... Чтой-то я, приехал, а и на двор не выйду, на скотину не гляну...

— Поди, поди,— говорит Митрий Семеныч охотно,— поздравкайся!

* * *

Вышел Зайчик в одном исподнем в сени, а за сенями тут же двор, большой, широкий, под князьком на лохмотах соломы паутинка висит, и в ней играет вечерний хилый лучик, скользнувший сверху из слухового окна, через которое голуби летают, на дворе корова Малашка стоит у яслей, сено по целой рукавице охаживает, а рядом с ней мерин Музыкант — уши расставил, и оба на Зайчика смотрят: молодой хозяин приехал!

Музыкант даже, показалось Зайчику, из темноты головой мотнул, словно, как и надо быть, с ним поздоровался...

Смотрит Зайчик, в углу петух на шесте: привстал, на ногах — сапоги желтые, на голове — корона царская, тоже на Зайчика глядит, и кажется Зайчику, что петух немало диву дается, что Зайчика видит: как это, дескать, такое выходит?..

Потом, видно, решил, что это он, петух, в своих петушьих расчетах сбился да спутался на старости лет и что так на самом-то деле и надо, чтобы Зайчик сейчас стоял тут, у лесенки на накат, на котором по этому лету куры цыплят высиживали, стоял тут в полутьме и его сапогами любовался,— решил и вдруг громко захлопал крыльями: лоп-лоп-лоп-лоп-лоп, и так запел, как будто Зайчик и не слыхивал до сей поры, как деревенские петухи поют.

Прислонился Зайчик к лесенке, смотрит на то место, где он в детстве на перекладине домового видел, и думает сам про себя, куда это он за эти годы девался, даже и следка от его копытца в Малашкином шлепке не видать,— постоял так да и стоять до утра бы остался, вдыхая в себя коровью теплоту, смешанную с вкусным лошадиным потком, если бы не тронул его за плечи сзади отец и не сказал ему строго, будто Зайчик маленький и в чем-то уже успел провиниться:

— Иди-ка, Миколай, в горницу... да ложись спать в самом деле, завтра наговоримся!

Вошли они в горницу, смотрит Фекла Спиридоновна на сына: глаза красные, словно кто в них соли там в темноте насыпал, под носом помокрело...

— Ложись, ложись-ка — эк тебе глаза-то пылью, должно, с дороги набило... а я с радости и не заметила даве,— ложись со Христом... Ложись!

Засуетилась было Фекла Спиридоновна, но Митрий Семеныч отвел ее от постели рукой: дескать, убирай чашки и не верещи попусту — все равно фефя галицкая и что к чему не понимаешь!..

* * *

...Зайчик остался один...

Пелагушка, пока он до ветру ходил в сени, снова пышно взбила перину, а в углу затеплила у самого носа Миколая-угодника две синих лампадки...

Такой от лампадок свет сразу пошел тихий да мирный, так тихо, словно боясь, что его услышат, сверчок зачиркал из-за лежанки, выставившей брюхо в темном углу...

...И поплыла в горницу тишина, как молоко густое, будто на всем белом свете теперь только и есть, как этот сверчок с ленивой песенкой да он, Зайчик,— и как-то сразу после первой же сверчковой песенки на все тело Зайчика напала истома, а по рукам и ногам поплыло тепло: будто Зайчик, как бывало в старое время, когда у отца еще лавки и избы этой большой не было, а стояла у них на заднем выгоне лачуга о двух окнах у самой земли, в которой дождик всегда шел гораздо дольше, чем на улице,— вылез сейчас вот, напарившись перед праздником всласть пахучим веником, из пузастой печки и теперь лежит на ней, разбросавши руки и ноги.

Чувствует Зайчик, что связаны его руки шелковым поясом и он не дома у себя лежит, а в сказочной красоты терему, плененный навеки в стране безымянной и никому не ведомой, но столь прекрасной, что и не стоит тужить и горевать об этом плене, а лежать так и лежать, качаясь в парчовой люльке, ни о чем не думать и терпеливо ждать своего часа, а что будет в сей час — жизнь или смерть,— неизвестно!

А Зайчику надо бы знать!

Надо бы знать без ошибки!

* * *

Все сильнее и сильнее разгорается синий свет у лампады, так и заливает всю горницу, и сверчок так и исходит весь в своем стрекотании,— все тише и тише от того стрекоту в сердце...

И Зайчику кажется, что синяя волна бьется уже вот тут, совсем близко около него, около самого сердца, но она не зальет, не затопит, и бояться ее нечего: это волна из Счастливого озера, она догнала его и настигла: ей жаль, что Зайчик покинул ее берега . . . .

. . . .

И плывет, плывет отцовская изба, как диковинный корабль, в далекое и блаженное царство, где люди живут и не знают, а самое главное, знать им не надо: что жизнь и что смерть?..

* * *

...Долго так Зайчик пролежал с широко открытыми глазами, не шевелясь и не смея пошевелиться.

Потом вдруг словно тихий ветер прошел из-за двери, лампадка погасла, мигнула другая, и с нее слетел огонек куда-то в темь, за божницу... Сверчок нехотя чирикнул последний раз в темноте, заглотнулся и замолчал.

Зато так и забил свет из окошка, у которого поставила Пелагушка кровать, чтоб, как проснется усталый братец, так сразу бы увидел родное село...

А Зайчик сейчас уж к оконцу приник, прильнул к стеклу горячим лбом, загляделся, и, словно сноп спелой ядрицы, упал ему на рубашку месячный свет.

Смотрит Зайчик в окошко дремотными глазами, с которых сон наполовину свалился, дрожит под одеялом частой мелкой дрожью, и сладко ему оттого, что стережет отцовскую избу высокий месяц с высоко занесенной в лохматое облако головой, а он покойно лежит у окна на кровати и до малости вспоминает свою прошедшую жизнь...

Колышется все перед глазами, преображается каждая мелочь, приобретая иное лицо и значенье, и будто в воспоминаниях этих, так чудесно перевитых с негаданным

часом возвращенья под отцовскую кровлю, не он уж теперь, а чертухинские избы поплыли над землей, и крыши у них как крылья у птиц на первом взмаху от земли.

Видит Зайчик: у крыльца, куда так и бьет месяц, так и сыплет горстью лучи, забирая все выше, ископытили кони Петра Еремеича землю и из мокрой земли вода проступила, а первый зазимок сейчас ледок, как гусиные лапки, натянул в лошадьих следах.

«Значит,— думает Зайчик,— птицам пора улетать!»

Глядит Зайчик на улицу, и нет ни единой души, и в окнах нигде огонька, только туман так и валит из-под невиданных крыльев чертухинских птиц, вдоль села так и стелет овчину и сбирает клубы на горке у дома, где живет отец Никанор,— чудится Зайчику, что там, у Никанорова дома, туман уже не туман: это чертухинские девки ведут хоровод...

Платья на девках кисейные, белые, ленты в косах атласные, с отливом и ворсом, и из белой березовой коры башмачки на ногах.

Ходят девки, не касаясь ногами земли, чтоб не портить обувки, ходят они, за руки держат друг дружку, и сыплет на них осохлые листья из чистого золота ясень, такой же старый, но еще бодрый, веселый, как и отец Никанор.

А посреди хоровода Клаша, дочка отца Никанора...

Не с ней ли Зайчик вместе в школу под горкой ходил?.. Не с ней ли венчался... в духе и свете?..

Такая большая поднялась за время, как Зайчик Клашу не видел, а теперь совсем не узнал: с лица ее веснушки словно кто смахнул платочком, как соринки, стала она выше и тоньше, и месяц сейчас бьет Клаше в лицо нежным лучом и вплетает сине-зеленую ленту в тяжелую косу.

«Должно что,— думает Зайчик,— замуж выскочит скоро... может, даже этой весной... Ужели ж забудет и не дождется?..»

Клаша стоит середь хоровода, смотрит на небо, звезды считает, месяцу, пролетным осенним тучам, летящим на север за снегом, машет белым платком и — для кого, неизвестно — запевает песню на круг:

Уж ты Лель мой, Лель,
Люли-Лель!

Не ходи ты, Лель, воевать!
Ты не целься в лоб,
Уж ты в грудь не цель:
Не клади ты в гроб
Да чужую мать!
Лель мой, Лель!
Лель мой, Лель!
Люшеньки!
Не губи ты, Лель,
Душеньки!
Уж ты Лель мой, Лель,
Люли-Лель!
Не ходи ты, Лель, на войну!
Ах ты, милый друг,
Не гони под ель
На усохлый сук
Молоду жену!..
Лель мой, Лель!
Лель мой, Лель!
Люшеньки!
Не губи ты, Лель,
Душеньки!

Кончила Клаша песню, а в сердце у Зайчика еще звучит хороводный припев.

Стоит Клаша в кругу, взявшись за сердце, из глаз ее катятся крупные, по горошине, слезы, отчего еще светлее у Клаши глаза — две синих лампады, в которые сверху смотрит луна,— еще лукавей играют ямки у губ, и со щек так и пышет румянец, словно открыла она девичье сердце и горит, горит от стыда!..

Зайчик в подушку уткнулся, а месяц за тучу уплыл...

ЧЕРНАЯ ТЕЛЕГА

Чу́дно пахнет подушка сестрицы Пелагушки, насовала она под наволоку пахучей мяты и божьей травы, от которых приходит легкий сон к человеку, и Зайчик словно лежит сейчас в огороде, уткнувшись в окошенный вал у частокола, мокрый от частой росы, и солнышко будто вот только что за Чертухиным выкатило свой золотой глаз и съесть еще совсем росы не успело.

Лежит Зайчик усталый, но крепкий, как песочный брусок, которым вот уж какой год все одним косу точит и ни-

как сточить не может: по жилам кровь так и играет, и слышно за сажень, как она падает в сердце, будто с большого обрыва, и звонко стучит о самое сердечное дно, зароется там, отдохнет и снова заколет в лопатки и плечи и будит с зарею — гонит с постели бить рижскую косу на бабке, раскидывая по всему Чертухину уверенный радостный стук молотка, а потом скорей косить, скорей косить, размахивая косой во все плечи, пока роса на лугу, словно брызги, как будто по лугу ходил всю ночь отец Никанор с водосвятьем.

* * *

Долго ль так Зайчик лежал, мало ль — кто это знает?

Может, и осень прошла за это время, и зима пропорошила в околицу белым пушистым хвостом,— кто это знает?..

Время — не столб у дороги!

На нем все наши зарубки первый же ветер сдувает, и часто не знаешь: когда это было — вчера иль сегодня.

Иль когда еще сам на свет не родился!

Только от сестриной мяты да от плативой божьей травы так и наперло в нос Зайчику, поднял он голову, обсохла без солнца роса на подушке — Зайчик часто в последнее время плакал во сне,— в окошко взглянул, потом обернулся на дверь: спаси бог, не узнал бы кто про его огородный сон и про эту росу на траве, похожую больше на слезы!..

— Какие уж тут огороды... ведь скоро Покров!

И Зайчик сейчас и не помнит, куда он рижскую косу повесил, так и не кончив покос перед войной.

Пришлось последний лужок добивать казачихе!

Но крепко, видно, и Митрий Семеныч и Фекла Спиридоновна, умаявшись с этой проклятой торговли хуже, чем с пашни, спят за пятой стеной, а Пелагушка подавно: у девки еще и грудь не налило!

Спит — выдерни ноги, и то не услышит!

Глядит Зайчик в окошко, меж двумя облаками тихо за горку катится месяц и, ниже, ниже нагибаясь к отцовской избе, через силу с великой дремоты озирает вокруг, да и все на селе кто на месяц в этот час ни посмотрит, у вся-

кого слипнутся веки и сам приоткроется рот, только вот один Зайчик поглядит на него, и еще шире станут глаза.

В тайне от сына берегла Фекла Спиридоновна его лунатные ночи, когда он мальчишкой лазил по краешку крыши и подолгу сидел на князьке, болтая ногами и упершись детскими немигающими глазенками в месяц над крышей.

Колдун ли снял на десятом году с Зайчика этот мечтунчик, само ли по себе прошло — бог его знает!

Только еще и теперь часто Зайчика месяц будит, и он подолгу не может заснуть, пока всласть не наглядится...

— Месяц!— думает в такие минуты Зайчик,— ты солнышка светлее и лучше!..

* * *

Глядит Зайчик в окошко, но теперь уж нет никого у дома отца Никанора, рассыпался по избам девичий круг, словно бусы с порванной нитки, а Клаша — дочка отца Никанора — давно в летней светлице спит одна под самой крышей, держит сонной рукой крепкую грудь и грезит с улыбкой о том, что в палисаде, на старой антоновке, больно два яблока славно налились:

«Завтра проснусь, спрошу у отца позволенья,— сорву и кому-нибудь подарю на долгую-долгую память... а если отец не позволит — запла́чу!»

«Пожалуй, позволит,— думает тоже и Зайчик,— завтра пойду навестить отца Никанора!»

И только это Зайчик подумал да опять в окошко взглянул, как вдруг из Чертухина, но только с другого конца, покатила большая телега, в телегу впряжена большая свинья, и хвост у свиньи длиннее, чем кнут у подпаска Игнатки.

Кто сидит на телеге — поначалу было не разобрать.

Потом, когда она на пригорок поднялась, Зайчик, приставивши руку к глазам, чтоб месяц глаза не туманил, и вплотную прижавшись к окну, разглядел: сидит на этой телеге дьякон с Николы-на-Ходче, свесивши ноги, так что телегу всю покосило и колесо с этого боку чертит о накрылье, и на крутом повороте будто так крикнуть и хочет:

«Эй, сторонись, прохожий! Не видишь, а то задавлю, и мокренько не будет!»

Сидит на этой телеге дьякон с Николы-на-Ходче и бьет по свинье староверской лестовкой.

«Ох, этот дьякон,— думает Зайчик,— водосвятный крест пропил, ну вот у него теперь и гульба!»

«Много ты знаешь,— будто отвечает Зайчику дьякон, повернувшись бочком с телеги,— да ладно, вот съезжу на требу, человек за горой удавился, вот оберну, господин охвицер, и тогда уж мы с тобой потолкуем!»

Странно Зайчику: до дьякона будет верста, а слышно-о! А может, даже больше версты!

Ночью все предметы ближе подходят, только меняют лицо.

«Должно, что по росе так голос приносит,— решил Зайчик,— ну и дьякон: коса больше, чем у отца Никанора!»

Смотрит Зайчик, ничуть и не страшно!

Ну что ж из того, что под горой человек на осине висит?..

Мертвых Зайчик видал...

На войне... подумаешь тоже, какая нередкость...

Да и мертвые страшны не все, а первые три дня после смерти так и все мертвецы добрее и лучше живых!

«Невежа! А еще охвицер,— кричит ему с самой горки дьякон,— науку тоже прошел, а в голове нескладиха!» Зайчика пот пробил, и к ногам побежали мурашки, силится и не может понять, как же это: Зайчик только подумал, а дьякон уже услыхал...

В этой время дьякон свернул с горки, снял с осины человека, должно быть, была это баба, а если мужчина, так, наверно, заезжий купец — больно брюхо велико, у мужиков таких не отрастает,— снял человека, на горку опять маханул и... круто... на небо!

По небу грохот пошел, катится по небу телега, так тьма и растет...

От грохота падают звезды, месяц, совсем незрячий, за горку хотел укатиться, расплылись с дремоты и губы и нос у него по лицу, стал он похож на яичко, какие Зайчик с горки по Пасхам в детстве катал,— хотел укатиться, да

дьякон вдруг телегу круто на него повернул и... раздавил, инда колесо так и скрипело, так и гремело.

— Э-эй, сторонись, сторонись! Задавлю, как яичко!

Тьма повалила вниз и вверх от телеги, и только минутку колесный обод сиял яичным желтком, позолотил и потешил глаза хмуро-золотистый свет, а потом, попавши в колею, погаснул, и... ринулась тьма на землю и небо!

* * *

Слышно только, как над самым селом катит телега и камушки с-под колес летят со свистом и падают на крышу, то тихо, то барабаня крупной дробью в железо.

Сколько времени пролежал так Зайчик, бог его знает!

Слышал только, закутавшись с головой в одеяло, только оставивши маленькую щелку для глаз, как под колесный скрип и визг от накрылья телеги хлопал на шесте крыльями старый петух и не вовремя пел — видно, хотел разбудить хозяев и пораньше поднять на ноги...

Потом вдруг, будто над самой кровлей, раздался грохот и треск,— должно быть, дьякон не в меру свинью разогнал, телега задела за придорожный пень, и все: дьякон, телега, свинья и толстый купчина или баба — кто их там знает — все полетело под откос в овраг, с оглобель золотые тяжи свалились, вожжи, постромки, обшитые рясной парчой, разорвались на мелкие части, мелькнув только в окошке, заставив зажмурить глаза и схватиться за сердце; долго-долго гудело в великой утробе земли и под застрехой высокого неба — потом все утихло, в окнах, будто развесили трепаный лен, сбелело, за пряслом мутный день поднял белесую голову и взглянул в окно растекшимся глазом.

* * *

Зайчик с постели поднялся, глаза ломило, словно с долгой натуги, и наяву ли, в полусне ли увидал чуть приоткрытую дверь, из-за которой высунула к нему как снег за это время побелевшую голову Фекла Спиридоновна:

— Вставай, Миколенька, вставай!.. Мы с отцом уже попили чаю, не хотели тебя будить... уж и гроза сегодня

прошла перед утром, да диво-то — в такую пору с молоньею и градом,— не запомнит никто!

— Затрещала сорока! — прогудел за ней Митрий Семеныч.

— Должно, что скоро, отец, выпадет снег! — обернулась Фекла Спиридоновна.

— Не загадывай срока, тащи лучше самовар поскорее,— отвел Феклу Спиридоновну Митрий Семеныч от двери и вошел к Зайчику в горницу.

ЧАЙНЫЙ КОРОЛЬ

Зайчик вдруг почувствовал себя веселым и бодрым, увидя отца и мать с самоваром: видно, все же отдохнул в огородной ограде, отдышался от порохового дыма на мяте и божьей траве, глотнувши всласть домашнего уюта и тишины.

Мать водрузила на стол самовар, как роту расставила блюдца и чашки, а посредине поставила блюдо, в котором по крутым краям взбирался Афон, нарисованный очень искусно, в блюдо положила печеных яиц, которые Зайчик очень любил, свежий ломоть душистого хлеба на яйца, сбоку поставила большую чашку снежной сметаны, а на спинку от стула повесила колбасиный круг домашнего изготовленья, сочный, душисто скопченный самим Митрием Семенычем и большой, как лошадиный хомут.

Смотрит Зайчик прямо в лицо самовару, и в самоварной начищенной к такому случаю меди видит свое лицо, такое красивое, здорово-ядреное, но скорбное и нежное, затаившее где-то в глубине засиненных под черной ресницей глаз такую печаль и тревогу, которым, кажется, нет и не будет конца.

— Ну вот и дело, видишь, на лад пошло: ишь, Миколаша — как огурчик с гряды,— сказал Митрий Семеныч,— лежи... лежи... Лежа и чаю попьешь, а я начал за тебя положу.

— И то, батюшка, полежу! — улыбается Зайчик.

Митрий Семеныч встал под икону, подкинул к ногам подрушник, осенился, затрусил бородой на икону и скоро бухнул в землю три раза.

— Я, Миколай, каждый день сорок поклонов кладу за тебя... да мать тоже столько...

Улыбается Зайчик отцу.

— На старости лет ты бы спину себе не трудил,— говорит.

— Э, что за труд: родительская молитва со дна моря достанет.— Подошел к столу Митрий Семеныч, потирая руки и оглядывая все повеселевшими глазами: — Ну, давай-ка колбаски!..

— Хорош у нас самовар,— говорит Зайчик.

— Король, одно слово,— гладит бороду Митрий Семеныч.

И правда: Зайчик взглянул на камфорку — корона!

Корона и есть!

И сам он пузатый король, и только кажется это, да так все говорят: поставь самовар!

Кажется всем: с т о и т самовар!

А в самом-то деле ведь он все сидит, да и встать-то не встанет, если никто не поможет, потому что у него короткие ноги и встать на них сам он не может, ну и ставит его Пелагушка или Фекла Спиридоновна, а он ведь... и сам бы поставиться мог?!

— Ну вот убежать — это дело другое! — промолвился Зайчик, заглядевшись на самовар.

Пелагушка вошла, вся покраснела, застыдилась брата: как-никак охвицер. Мать на отца поглядела, Митрий Семеныч на мать.

— От судьбы, Миколаша, никуда не уйдешь, нет, уж лучше терпи помаленьку да почаще богу молись! — сказал вдруг Митрий Семеныч.

— Да-да, Миколаша, куда убежишь?.. В темный лес? — всполохнулась Фекла Спиридоновна.

— Да что вы такое подумали? — смеется Зайчик.— Я говорю, что самовар убежать всегда может, и вспомнил, как он скоро поспел, когда я приехал.

Отец закатился смехом, и все лицо у него обдало искрой:

— Коро-оль!

Фекла же Спиридоновна не подошла, а подплыла к Зайчику, схватила его за вихорки, притянула к себе и крепко припала к губам:

— Шутник мой, Миколенька,— нас только, стариков, напугал... А мы-то подумали...

— Нет, батюшка... оттуда я убежать не могу,— не улыбнулся Зайчик, но на лицо просветлел,— ты знаешь, батюшка, где теперь эта книга, о которой нам говорит Андрей Емельяныч?..

Митрий Семеныч на Зайчика смотрит во все глаза, как будто не узнавая сына, Фекла Спиридоновна застыла с полным блюдцем в руке, Пелагушка уставилась прямо Зайчику в нос.

— Она там!..

— Мудреный ты, Микола, стал, да это неплохо,— сказал Митрий Семеныч.

— Все лучше, чем дурак или озорник! — прибавила Фекла Спиридоновна.

Пелагушка фыркнула неизвестно с чего, Митрий Семеныч огрел ее взглядом, все взялись за блюдца и... замолчали.

* * *

Зайчик блюдечко допил, держит в руках пустое блюдце и на окошко глядит:

«Ах, боже мой, боже, какая прекрасная, светлая наша страна!

Какие по взгорьям ее, по полям и овражкам раскинуты тонкие-тонкие шали, с каким нежным-нежнейшим и замысловатым рисунком!

Вышивала, узорила их золотая рука, и краски все эти нашло и взлелеяло доброе, чистое сердце!

Кому непонятна любовь к ним?..

Кто может прожить без любви к ним?..

Кто может обойти их с презреньем, насмешкой оскаливши зубы, кто может насмеяться над этой сыновней любовью?..

Если уж есть у нас эта любовь, так березовой болоны она тверже — тверже и крепче,— но зато растет на прямом стволу нашей великой судьбы, как болона растет на березе, и самих нас уродит!

Насмеяться же над этой любовью — пусть над этим уродством — может преступник, лиходей поневоле или в душе душегуб по рожденью!

Как, как не любить, как не верить, как не ждать, не томиться?..

Не плакать подчас беспричинно: ведь плакать все больше и больше причины!

Куда подеёшь ты всех этих калек, уродов с румяными лицами, но без рук и без ног, привыкших к земле и простору, а ныне гниющих где-нибудь в лазаретной помойке; с широкою грудью, в которой сердцу большому, простому, мудрому, тихому, доброму, как ни у кого, осталось одно: уйти в темный лес и сделаться страшным разбойником?!»

...Думал так Зайчик и все глядел за окошко.

* * *

На одном глазу у него висела крупная слеза, но он опомнился, колыхнул плечом, будто сбрасывал что-то очень тяжелое с плеч, тряхнул головой, и слеза упала незаметно в пустое блюдце.

«Чтой-то я, дура, сижу и молчу, у нас ведь новость какая,— первая заговорила Фекла Спиридоновна.

— Ну, пошла курица болтунов на чужом дворе высиживать,— сказал улыбаясь Митрий Семеныч,— ври, ври больше, чтобы верить дольше.— Хотел еще что-то прибавить, пообиднее да посмешнее, да не сказал, не хотел, видно, обижать старуху при сыне.

— Да ты ведь и не знаешь, Митрий Семеныч, я и забыла совсем тебе поутру сказать за столом.

— Ну, полно клохтать... Что же за новость?

— Подожди, Митрий Семеныч... схожу за кипятком, долью старика, а то, как Миколаша сказал, и верно что сядет на жопку!

— Мы, Миколаша, пьем всегда с подогревом,— гудит Митрий Семеныч.

— И радости всей-то у нас: ты, Пелагушка да вот — самовар! — говорит Фекла Спиридоновна, сокрушенно склонив набок голову.— Подождите-ка, вот подолью и все расскажу по порядку.

Фекла Спиридоновна льет в королевскую утробу горячую воду, король на левое ухо корону повесил, медную

мантию с плеч приподнял и положил на Афонскую гору, запыхтел, засопел, как будто сидел на столе и крепко без просыпа спал, а тут вот его разбудили, но какие же теперь дела государства на старости лет: горячих угольев опять наглотался и снова, покамест его не разбудят,— заснул!

Митрий Семеныч глядит на самовар и смеется:

— Король, а корона на дужке!

Зайчик тоже смеется, а Пелагушка так и не сводит с Зайчика глаз: уж больно братец чудён и больно она его любит!

Зайчик, улыбаясь отцу, глядит в окошко, а перед оконцем все Чертухино как на ладони.

— Хорошо же наше село, Миколаша! — говорит Митрий Семеныч в раздумье.

— Хорошо, батюшка... очень, потому что родное и такого другого нигде не найти,— Зайчик ему отвечает.

— Да нету... Гляди, Миколаша, любуйся... на родное место посмотришь, и на сердце станет складнее и все кругом веселей!

И Зайчик любуется.

По засельным взгорьям рассыпано золото, лес за селом отряхает парчовую одежду, как будто кончился пир и веселье, теперь пора на покой до нового вешнего звону!

Над лесом голубой покров, и будто лес опрокинул себе на склоненную голову большую чашу и из чаши льется голубое вино.

Льется оно, льется ему на разоблаченные плечи, на скошенный луг возле леса, на желтую ленту дороги, которой повязаны всходы на взгорье зеленые, яркие, как будто умытые первым зазимком, растаявшим с первым лучом из-за тучи, которая, верно, теперь в Чагодуе, а может, и дальше и из окошка только краем видна!

Из тучи бежит торопливое солнце: и верно, надо спешить — в овраге лежит белый горох ворохами, не время еще доставать белую шубу, еще Никита-Гусе-Пролет не вспугнул с озера уток, не пронес высоко над полем венцы журавлей и сам еще не уехал на первой туче со снегом, растянув и разбросав с нее по всему необъятному небу гусиные стаи, как плетеные вожжи с раскатистых дровней, для людского глаза похожих на тучу.

— Чудесная у нас, батюшка, сторонка! — говорит Зайчик в полузабытьи.

— Ворона и та свою сторону любит, не токмо что человек,— отвечает Митрий Семеныч, а Фекла Спиридоновна и Пелагушка смотрят на них и молчат.

* * *

Король на столе в короне, ему на корону забрался пузатый шут с длинным носом и разрисованным брюхом — его король хоть и любит не очень, но какой же король без шута? В королевстве подданных нет, живут все свободно, как будто и нет короля, и один только шут подставляет ему свой круглый рот — дыру на затылке, и король, забавляясь спросонок, льет в затылок шуту горячую воду...

Да и шут не всамделишный, так себе: брюхо у шута слилось с головой, и в голове у него не мозга́, а чай китайский заварен.

«Ну что ж... проживем и с таким,— шумит пузатый король,— ныне время настало такое!»

Да, время тугое!

Сидит Фекла Спиридоновна и на блюдце дует.

Знает она хорошо старика, что хоть и корит он ее за болтливость, а самого парным молоком не пои, а сплетку какую-нибудь да сплети.

Нацедила она Митрию Семенычу новую кумку, подала через стол и смотрит в глаза — что-де на рот повесил фунтовый замок? Ты рот не разинешь, так я и подавно!

— Да уж, Митрий Семеныч, и новость... такое дело случилось!

— А мы, Миколаша, с тобой и забыли... Ну-ну, разевай да скорей подавай,— сказал Митрий Семеныч и губу о блюдце обжег.

— Ишь, разоспался старик,— щелкнул он по медному брюху.

— Говорить ли уж, нет ли — ты все равно не поверишь и скажешь, что дура... Да ладно, хошь верь, хошь не верь, после узнаешь, что правда,— начала Фекла Спиридоновна, а Митрий Семеныч опять перебил:

— Да вали под самый нос жито и овес, посля разберем!

— Ладно, ладно, старик... так вот дело какое!

Митрий Семеныч перестал улыбаться, Зайчик уставился матери в рот, откуда глядели два заячьих зуба, а Пелагушка так в мать и впилась: уж больно она любила рассказы.

Глава вторая

ПЕЛАГЕЯ ПРЕКРАСНАЯ

У ГОЛУБОГО КРЫЛЬЦА

Да не лучше ли нам самим рассказать, так будет складнее: и толку больше, и правды.

Так вот вся история.

* * *

Пелагея Прокофьевна Пенкина, когда на войну проводила из дома мужа, сначала очень томилась, много плакала за печкой, чтобы свекровь не видала, запустила было хозяйство, а потом понемногу прошло.

В два года один раз Прохор Акимыч приезжал домой в побывку, но недолго пробыл: две недели прошли, как в угаре!

Качалась изба две недели, качались у окон столетние ветлы и липы, ходило в глазах все в избе, и за окном поутру, не глядя, что дело было по лету — стояло покосное жаркое время,— висел голубой туман, все плыло вдали, не исчезая из глаз.

Справили вместе покос, набили сеном сарай, сараюшку и на задворках сметали два стога.

Глядя на эти стога, как они оттопырили брюхо к плетню, оглянет Пелагея тихо и жалобно свой ровный и круглый, как причастная чаша, живот, привстанет незаметно от мужа за стог и скорее утрет сениной глаза.

Тяжела была ей эта пустошь в утробе.

Пелагея было приладила люльку к матице в первые годы, как вышла за Прохора, нашила малютке рубашек, накроила пеленок из новины, и все это роскошество вот уж семь лет лежит на дне сундука. А в прошлом, по осени, проточили мыши дыру в сундуке, ни мужниной шубы, ни

порток, ни рубах, ни цветной полушалок не тронули, а сряду младенца изгрызли на клочья.

Пелагея тогда промолчала, но тоску глубоко затаила в душе.

А тут вскоре, только Прохор Акимыч уехал с побывки на позицию, свекровь захворала.

Недолго промаялась старая Мавра, в неделю исхудала в щепу и скоро перешла жить на кладбище.

Осталась Пелагея одна.

Свекор, правда, хоть и был еще жив, но ничего уж не видел, ходил под себя, про все запамятовал, что было на долгом веку, и даже, как звать Пелагею, забыл.

Словом, остались живыми только два синих глаза в большом и обильном хозяйстве.

Пелагея пахала, Пелагея косила, сеяла, жала, убирала скотину, печку топила — по полю и дому все так и кипело у нее в руках, а руки с этой работы становятся все крепче, грудь все круглее, туже, и в бедрах скопилась такая истома, что если б в те поры приехал Прохор, так уж, наверно, был бы сынишка.

* * *

Лежит так всю ночь Пелагея одиночкой, не спит по часам, а только заснет, глядит — рядом Прохор!

И так чудно́ ей, что Прохор зачастил приходить во сне,— проснется, а рядом с ней никого, такая досада!

А уж то ли не был яров Прохор, не солощ до Пелагеи!

Бывало-ти, за ночь всю так изомнет, истилискает, перевертит и искрутит, что на другой день туман в глазах стоит до полудня и ноги и руки как суслом нальются, а грудь так и прет из-под кофты, словно ищет сама детские губки.

Но хоть и яров был Прохор Акимыч, а не было что-то детей!

Прохор часто, перед тем как возиться с женой, подолгу молился!

Потому и в сектанты в свое время ушел, но задолго еще до Ильи, когда нас всех усадили в телеги и повезли на разбивку в Чагодуй, Прохор вышел из Ангельской Рати, отчаявшись найти сына в благодати поста и презрения

плоти, нарушил обет, прорвался Прохор Акимыч как буря и в первую ночь возвращенья на землю едва на тот свет не отправил жену.

Заплакала Пелагея, сходя с голубого крыльца, взяла она с собой голубой сарафан с золотыми бубенчиками на рукавах и на полах, и Ангельский Круг с той поры опустел: словно ветер задул огонек под его крылечным князьком!

Прорвался Прохор Акимыч, а под Пелагеиным сердцем по-прежнему пусто и пусто, как осенью пусто в стрижином гнезде, когда стрижи уже улетели, а воробьи еще не успели в нем поселиться.

Потому даже с охотой пошел Прохор Акимыч на немцев.

В последнюю ночь стал было на молитву по старой привычке, ударил было сам себя сыромятиной по голой спине, но Пелагея затащила его на постель, взвалила на себя, как куль, туго набитый зерном, и всю ночь проносила в жадной и жаркой пустыне; в жадной и жаркой пустыне расцветет сокровенный сад, и на суку у высокого дуба в парчовой люльке под пологом тихой зари семь лет уже качается Прохоров сын, с того самого часа, когда Пелагея с Прохором ушли с земли по ступеням голубого крыльца.

Утром, в проводы, Пелагея шаталась как тень!

Не выла, как другие бабы, и только, вернувшись домой, пролежала, не вставая, два дня...

* * *

Лежит и сейчас Пелагея одна, не дышит, а в грудь сердце так и бьет молотком: баба была терпеливая, верная, мало таких!

Привстала она немного с постели, казалась постель горяча.

На люди же идти за такой нуждой совсем непосильно:

— В бороде у чужого мужа заплутаешься хуже, чем в темном лесу!

Пелагея свесила ноги с постели, пятки как на сковородке горят, встала и заметалась в избе по углам, прижимаясь утробой к чему попадется — и к клюшке, и к дужке дверной, раскулямлило бабу!

Вдруг свекор чихнул!

Пелагее как гром этот чих в уши ударил, ринулась она к печке, схватилась за тощую ногу, за ногу свекра с печки в охапку — и в постель, на себя! Свекор хрипит, сопит, кровь у него так и хлынула к сердцу от страху — подумал старик, что дьявол с большими рогами во сне стащил его с печи и вот сует на лопате в огненный ад!

А Пелагея глаза закатила, мнет, тормошит, кусает ему и плечи и живот и хватается за причинное место: ничего Пелагея не видит в черном бреду!..

Аким скоро сопеть перестал, улегся спокойно, а Пелагея со спертой грудью забылась, проспала даже раннее солнце и сгоняла скотину на полдни, за церкву, куда коров из леса пригоняют доить.

Всю ночь Пелагее проснилось, что рядом с ней Прохор, бородой рыжей Пелагею одел и нос ей щекочет усами.

Проснулась она поутру, глядит: рядом лежит Аким, только весь посинел, из носа висит красная нитка, губы в седой бороде запеклись, и в деснах закушен язык...

Так и обмерла Пелагея!..

* * *

И как все это случилось, право, думала мало Пелагея.

У всякой бабы дума об этом-таком гораздо короче, чем мужичья дорожка из церкви в кабак.

К тому же сны ей стали сниться впоследки такие чудные, страшные.

То Прохор идет печальный такой, худой, высокий, борода по колено и желтая-желтая, словно рогожка... Присядет к ней на кровать, ни слова не скажет, словно немой, только гладит живот мозолистой лапой, иногда прижмется в колени, а сделать, что надо, как будто боится.

Глядит Пелагея на Прохора и бороду держит в руке.

— Хороша борода,— говорит она Прохору,— большого младенца завернуть можно!

Потом пойдут они в поле вместе с Прохором, Пелагея с серпом на плече, а серп — словно полумесяц упал на плечи, Прохор же с такой светлой косой, что так вот и брызжет, так и горит и отдается своим светом в росистой траве.

Пелагея согнется в полосе, зажмет в руку колос, а Прохор уже кричит:

— До-мой!

Пелагея только положит серп на полосном краю, а Прохор уж тут.

Только это совсем не Прохор! Будто он, а будто и нет! На пятках копыта, борода полсажени али рыжая грива — хорошо не видно, а только окликнешь:

— Прохор, что ты как нарядился?

...сейчас же задом норовит ударить под живот — теперь уж вовсе не Прохор, а мерин, рыжий-рыжий, какой у отца Никанора издох прошлой весной.

Вскрикнет, проснется Пелагея, покстится торопливо в ворот рубашки на грудь и снова заснет.

Ин нет: полежит две минуты, и снова опять!

Только будто теперь уже не мерин отца Никанора, а подпасок Игнатка стоит на том месте, где Прохор только что был, обернувшись в Никанорова мерина,— стоит и смеется!

В руках Игнатки борода полсажени, веревочкой привяжет — Прохор!

Отвяжет — Игнатка!

Инда чудно́!

Только Игнатка смелее, трется об юбку, словно теленок, под юбкой щекочет травинкой и так лукаво туда поглядит, как будто уж и не видывал сроду, а у самого щеки горя-ят!

Пелагея тоже краснеет, крепко колени сжимает и все норовится убежать, а ноги, как связанные, подгибаются сами. Пелагея валится в луг, и такая вырастает кругом трава, душистая, высокая, мягкая, такие большие цветы расцветают в этой траве, только и видно, что синее-синее небо, словно бельевая вода в корыте, да этот пащонок Игнатка.

Подпасок Игнатка, хоть было ему только четырнадцать лет,— крепкий, высокий, с крутой грудью, с румянцем, обветренным в поле, прибластился раз Пелагее, когда она однажды поутру коров выгоняла, немного заспавшись, и Прохор с полусонных глаз еще совсем не ушел...

«Помилуй осподи!» — подумала баба.

А сама так и впилась в Игнатку. Игнатка же прошел

мимо нее с длинным кнутом на плече и даже взглянуть-то не глянул: в ребячьих мозгах, как в чистой воде,— все на донышке видно!

«Ребенок»,— решила Пелагея и, вздохнувши, вернулась домой.

Сама не поймет, с чего стала злиться, швыряет ухватами у печки, молоко пролила из подойника, клюшкой хватила по кринкам на залавке, а свекор лежит на печи и хоть ничего не видит, а мыслит сам про себя, всю жизнь в слепоте вспоминая:

«Эх, видно, неладно! Эх, видно, неладно!»

Ну, так и случилось: стащила Акима невестка с печи прямо в огненный ад!

Что ж, такому умереть давно бы надо, не сто же лет ходить под себя и избу поганить.

* * *

Обмыла Пелагея деда Акима, достала ему чистую сменку, снарядила по чину, отченашинский пояс по белой рубахе повязала, лампадку зажгла и пошла сказаться отцу Никанору.

— К вечеру завтра,— сказал отец Никанор,— аль в полдень: живо сварганим!

Взял отец Никанор из рук Пелагеи беленое полотно и благословил ее, хоть и знал, что Пелагея три года была матерью божьей, застольницей в Ангельской Рати.

«Видно,— подумал он про себя,— пришло такое время: кто ни поп, все батька!»

Потрусил на Пелагею бородой и усмехнулся.

— Ты могилу-то вырой поглубже,— прибавил он, взглянувши строго на Пелагею,— а то ноне роют: копнут, чтобы хвоста не было видно, и ладно!

— На славу, батюшка, будет,— ответила Пелагея с поклоном.

С утра, еще до отца Никанора, как только коров подоила и прогнала в выгон, Пелагея побегла на погост и вместе с Трифоном, сторожем нашего кладбища, выбрала место рядом с свекровью.

Трифон за гроб и крест принялся, а Пелагея юбку со всех сторон подоткнула и окопала заступом по мерке.

Показалась ей тогда суровая суземь кладбища твердой как камень, но Пелагея кое-как растолкала ее топором, сняла с трудом верхнюю твердую корку и в завтрак стояла в земле с головою.

Раз или два уперся заступ в чьи-то желтые кости, словно слитые с желтым песком, заступ не шел дальше в землю, будто чужие кости не пускали Акима к себе на житье. Но Пелагея что было силы хватанула по ним топором, и кости рассыпались в брызги, обдавши искрами руки и ноги.

— Ишь, землю-то как утоптали! — крикнула она Трифону.

* * *

По смерти сила и мужичья крепость из гроба уходит в землю — потому так и тверда земля на погосте,— жильная кровь подымается кверху, как молочный снимок, и там недрится в корнях трав и цветов. Потому-то трава на могилах мягка, а цветы растут или красные, с шапочкой красной или с красной каемкой по краю, или ж на листочке, если его поглядеть на свет, всегда найдется кровинка,— глазная вода вливается в корни деревьев, растущих возле могилы, по древесным жилам взбирается к самой вершине, чтоб лучше видеть оттуда, с самой высокой ветки, родное село, где прожил век человек, и поле, которое он обработал.

Потому-то и тянет молодых парней в полночь побродить по погосту, у креста на могиле понюхать цветы, когда кончат хороводы и парень липучкой к какой-нибудь девке прилипнет.

* * *

Так Трифон объяснял Пелагее, когда пришел к ней немного вздохнуть от рубанка, а Пелагея слушала Трифона молча, опершись подбородком о заступ. Слушала баба Трифона только вполуха и, не отдохнувши как надо, снова за заступ взялась, забыла о нем и о смерти и желтым песком засыпала Трифону ноги, пока он сидел у могилы и что-то еще говорил.

— Некогда думать о смерти: надо могилу копать! — сказала Пелагея Трифону, когда он выбил трубку о камень и встал, чтобы идти дострагивать доски.

— Ты, Трифон Иваныч, почище стругай! — крикнула Трифону Пелагея.

— Вымою... будет что надо!

К завтраку смерила заступом:

— Эна... сажень!

Пелагея кликнула Трифона, Трифон подал ей руку, упершись босыми ногами о край, и Пелагея, приставивши заступ к стенке могилы, легко взобралась наружу.

— В земле, дядя Трифон, тепло, как в избе!

Смотрит Пелагея на Трифона, красная, потная, на щеках веселые ямки, а в золотых ресничках висят песчинки, песчинки набились и в косу, коса от работы разбилась и до пояса покрыла ей спину.

Трифон в могилу взглянул, заступом деловито смерил и начал Пелагею хвалить:

— Добрая горница... скажет Аким спасибо!

— Хороша? — говорит Пелагея с улыбкой.

— Чего же еще!.. схороним, уж не убежит!.. пойдемка, у меня осталось только крышку доделать!

Пелагея погладила доски у гроба:

— И верно, что вымыл: ни задоринки руки не слышат!

Сказала Пелагея спасибо и гроб, как перушко, взвалила на плечи.

После Трифон крышку принес и поставил ее к двери у входа...

* * *

Пелагея весь день хлопотала, не пила, не ела и в тот день не топила печь: боялась, как бы дедка Аким до утра из гроба не вытек!

В полдни опять смоталась к отцу Никанору: лишний раз попросить никогда не мешает. Долго Пелагея просила прийти завтра и справить свекра пораньше.

— Псаломной молитвы не будет? — спросил отец Никанор.

— Да нет уж, батюшка: сама почитаю!

— Как знаешь...

— Не на что, батюшка...

— Тебя учить — только портить,— шутливо сказал отец Никанор.

Пелагея вернулась домой и тут же достала с полки Псалтырь, стерла с него передником пыль и встала к свекру в угол, к окну: побежал псалом за псалмом, и в избу надвинулись тени.

БЕС-ОЧАЖНИК

...К вечеру, когда пригнали коров и в окна просунулись красные пики, расколовшись на мелкие красные брызги о гроб с дедом Акимом, Игнатка-подпасок пришел домовать...

У нас пастухи в Чертухине ходят по ряду. Корова считается ножка, летник подтелок — полножки, а четыре барана — черёд, идут за корову. Значит, так: сколько пойдет копыт у тебя на выгон в Егорье, столько и чередов пастух будет жить и харчиться...

Пелагея совсем про черед забыла в хлопотне, а Игнатка пришел чуть ли не на две недели.

— Здорово, хозяйка! — крикнул ей громко Игнатка из двери.

Пелагею холодной водой так и обдало, потом бросило в жар, Псалтырь в расплохе она Акиму положила на нос и к печке позвала Игнатку...

— Не обессудь, я сегодня и печь не топила,— шепчет ему Пелагея, усадивши его за залавок.

— Мы понимаем,— тоже чуть слышно Игнатка хрипит, вспомнив, что громко нельзя говорить, когда в избе есть покойник.

Дала Пелагея ему ломотуху черного хлеба, кринку с толстым верхом поставила, чашку и ложку с полки достала, а сама, не взглянув на Игнатку, строгая, бледная, опять встала к свекру в угол и долго глазами искала Псалтырь.

Читает Пелагея псалмы, еле шепчет губами, а в ушах так и хрюпают корки на белых зубах у Игнатки. Долго чавкал подпасок за печкой. Пастухи, убегавшись за день за стадом, любят за столом посидеть... И сыт уж как будто,

а рот как за ложку заденет, так разве отцепит один только сон. Игнатка уронил голову на залавок, посыпались пастушьи кудри, как ветки с подрубленной ивы, и рука с ложкой повисла с залавка.

Пелагея услышала храп, обернулась, и сделалось весело ей и смешно. Подошла она с Псалтырем и долго гладила нежные, мягкие кудри Игнатки.

— Ишь, притомился, никак не добудишь! Игнатк, а Игнатка...

Игнатка чуть голову поднял, посмотрел на нее полуглазом, а потом опять опустил и опять захрапел. Только крепче ложку зажал — и во сне, видно, все еще пил молоко и доедал ломотуху.

— Игнатка, да што ты, в самом деле, иди-ка ложись на постель...

Пелагея толкает его Псалтырем и нос чуть в пальцах зажала.

Игнатка вскочил и выронил ложку.

— Ишь, как тебя развезло,— смеется ему Пелагея.— Иди-ка, ложись, печь не топлёна, а я уж сегодня не лягу.

Игнатка кой-как, протирая глаза кулаком, добрел до постели, распутал калишки и полог закинул, чтобы во сне мертвеца не увидеть, кашлянул, чихнул, зевнул и скоро опять как камень на дно речное пошел.

* * *

Встала солдатка снова под образ, лампадку оправила — больно дымила — и свекру в бороду смотрит.

Свекор лежит как живой, только закрыты глаза. Стал Аким словно чище, белее на синем свету от лампадки, с носа сошли черные горки от грязи, что в поры набилась за долгие годы лежанья без умывки на печке.

И так он на Прохора всхож, вот только Прохор рыжей да моложе, а батюшка сед, и нехорошей такой сединою: как будто борода у него долгое время в чулане лежала и покрылась серою пылью.

Стоит Пелагея, Псалтырь не читает; и ей не страшно, и... страшно: будто все так уж и надо и иначе даже не нужно и быть не могло!

Только в полночь, когда по Чертухину перебоем петухи запели, смотрит она, что и дед Аким на нее тоже глядит.

— Ты,— так и пылит борода,— ты,— говорит,— молодуха, не бойся, греха на тебе я не вижу...

Пелагея глядит на Акима, Аким же глядит на нее.

— Кровь, кровь,— пылит борода,— коли к сердцу подвалит, так в ней не волён уж никто!..

Пелагея дрожит, хотела крест на лоб положить, а рука надо лбом так и застыла: старик опять рот широко раскрыл, словно целит на ложку!

— Ты,— так и пылит, так и пылит, словно с веника пыль, борода,— ты,— говорит,— около меня много не майся, мне теперь хорошо, на двор здесь не надо ходить, и за мной выносить тоже не надо... Здесь я лежу в лебяжьем пуху, под головой у меня большая подушка, как облако, мягкая, а под кости подостлан некошеный луг...

Глядит на него Пелагея, а старик чуть с изголовья привстал да пальцем Пелагею и манит.

— Ты,— словно пыль по дороге от ветра поднялась,— ты,— говорит,— ухо поближе подставь: я тебе на ушко!

Нагнулась Пелагея и подставила ухо. Дует Аким шепотом, шелестом губ в Пелагеино ухо, и кажется ей, что меж ними течет сейчас большая река: она стоит на одном берегу, Аким — на другом.

— Кровь человека, как ветер пушинку, несет!.. Кровь баламутит!.. Уйди от стола и с мужем ложись... Рад я, что перед смертью сына дождался: теперь умереть мне за шутку!.. Иди-ка, ложись!.. Иди-ка, ложись!..

Сказал последнее слово Аким, лег опять на подушку и руки сложил на груди, как ему Пелагея сложила, когда убирала по чину...

* * *

Недвижен старый Аким.

Падает синий свет от лампадки ему на лицо, просветленное, тихое, бледное, словно с иконы сошел.

И где вот сейчас Микола-угодник, в гробу под божницей лежит или, как уж сто лет, смотрит только одними глазами с широкой доски с сусальным окладом,— что сон и где явь — понять невозможно!..

Только синий свет от лампадки колет глаза синей иголкой, щекочет ресницы и гонит слезу на щеку.

Приложила Пелагея к сердцу Псалтырь, чтоб унялось, Живую Помощь прочла и долго лежала лбом на холодном полу. Потом встала и даже зевнула чуть-чуть — спать от устатка так и тянуло,— отвернулась от свекра и твердо пошла в другой угол у двери, где полог закинут и за пологом тихо: как будто там нет никого!

Подошла Пелагея к пологу, полог откинула, смотрит: Прохор лежит! Пелагея ни со страху ни с радости кофту и юбку в клочки на себе разодрала: руки тряслись, словно ветки на листопадном ветру, застежки, крючки как собаки сцепились — рукой не разнять!

Что дальше тут было, об этом не знает никто, да и нам лучше тоже не знать.

Бес ли очажник над ней подшутил и на подбородок Игнатки напялил мочалку, иль все померещилось бабе с устатку да горя,— что тут сказать, чужое горе как густая каша — чем глубже ложка уходит, тем больше сала на дне!..

* * *

...Только подпасок Игнатка поутру коров выгонял и шатался как пьяный, ин бабы смеялись, и так покраснел, когда с прутом Пелагею увидел, что, кажется, в небе так и заря не горит!

В деревне такие дела до людского глаза доходят не сразу, никто ни о чем и думать не мог: все поминали добрым словом Акима!

Стали болтать языки, когда у Пелагеи юбка спереду стала короче и стан — словно у ели срубили верхушку, а сбоку оставили сук. Глядит и сама Пелагея, что дело неладно. От Прохора нету вестей и слуху нет никакого...

— Ну, хоть на денек бы приехал, пока не больно заметно...

* * *

...Полощет она белье на реке, вальком на плоту по рубахам колотит, а сама то и дело на юбку глядит.

— Растет!

Бросит белье колотить и опять спорынью да малину пихать куда надо, а помощи нету и нету.

«Приедет вот Прохор, пропала моя Пелагея!..» — думает так про себя и в воду глядит.

Из воды иль глубоко в воде синеют две потухших лампады, на осенней ряби двоятся, троятся, лицо в речной воде худое, испитое, бледное, не краше в гроб человека кладут!

Вдоль дубенского берега белые бантики лилий, большие, немного сжелтевшие, с отставшими вбок лепестками от первых зазимков — и так-то похожи они на повязки из атласной ленты, которой когда-то убрала тяжелую косу Пелагея, когда с Прохором шла под венец.

Качаются тихие лилии на тихой волне и понемногу листочки роняют на дно. Уронила слезу Пелагея в дубенскую воду, глядит на белые бантики, и молодость где-то проходит далеко-далеко, в окошко черемушной веткой стучит, с горки катится весенний месяц, а за ним в белой рубахе идет Прохор, у которого в ту пору только-только начиналась бородка.

* * *

...Как раз о ту пору с чертухинской горки поднялась на ветру и завилась в круг серая пыль по дороге. Не видно сперва ни кибитки, ни лошадей, ни дуги над коренником, и только звонки-невидимки звенят и звенят, словно это звенит роща со взгорья, стряхая листы с ветел, осин и берез на дорогу...

Ничего, никого за слезой не видать!

Кто это едет?

Может, Петр Еремеич катит чагодуйского купца, может, и вовсе не он, да и тройки нет никакой, и купцу в эту пору к нам незачем ехать — разве лен собирать, так он еще не мят и не трепан и лежит вон, словно иконный оклад, возле реки, на самом раскатом берегу, у большого дубенского плеса.

Стоит Пелагея в руке с застывшим вальком на прибрежной плотине, другой рукой под глаза, пыль отмело на другой бок на дороге, и тройка Петра Еремеича как на ладони: черный в корню, а с боков гнедая пристяжка!

«Он, он — Петр Еременч!» — долбит Пелагеино сердце...

Пелагея собрала поскорее белье да к дому. Прогнал Петр Еремеич мимо нее лошадей по селу, и вот померещилось ей, что в кибитке сидят не один и не два, а целых четыре, но кто это — никак нельзя в пыли разобрать.

Сама же и крикнула Марфе-соседке с крыльца на крыльцо:

— Четверо!

— Наверно, твой Прохор с Зайцем приехал!— ехидно ответила Марфа.

Пелагея ей ничего не сказала, вернулась в избу и прилегла в углу на залавок у печки.

А сердце так и колотит:

«Приехал Прохор!.. Прохор приехал!»

Лежала она, знать, так очень долго, на улицу к бабам не вышла, а в полночь, когда над Чертухиным стояла большая луна, достала с матицы плетеные вожжи, будто за сеном — принесть скотине беремя, чтоб в долгую ночь голодна не стояла, да, выйдя из дому, свернула к зайцевской лавке.

— Пойду-ка, сама погляжу! Прохор, наверно, узнал и нарумянился с Зайчиком пьяный!

Прокралась Пелагея как тень по селу, на селе в такой час трудно и так кого встретить, но Пелагею безлюдье и тишь еще больше пугали.

Добралась она до дому с вожжами в руке и прильнула к окну. Сквозь мутные стекла видит: в углу лампадка горит, в постели кто-то лежит под лоскутным одеялом, а рядом на стуле сидит ее Прохор: головою поник, руки на обе коленки, думает, будто свое горе никак ни понять, ни измерить не может.

* * *

А сидел это Митрий Семеныч, в постели храпела Фекла Спиридоновна, ничего ни во сне, ни наяву не видя с устатку да радости: Зайчик в побывку приехал!

Митрий Семеныч не спал, да и спать ему не хотелось. не сразу уложишь день в голове по порядку!

Думает Митрий Семеныч о сыне.

— Неладно, неладно,— шепчет Митрий Семеныч,— неладно все это скрутилось!

Уставился Митрий Семеныч в окно, в которое ветки склонила рябина и будто с месяца тянет поспевшую кисть.

Не разглядел Пелагею Митрий Семеныч в окне, может, Пелагеины красные, пылавшие в жару и бреду, округлые щеки принял за грозди рябины и не заметил воспаленных страхом и тревогою глаз.

Пелагея же так и прилипла глазами к его бороде. На Прохора Митрий Семеныч с лица хоть и не схож, да все мужики с бородой для бабы всегда немного похожи. Только Прохор с сильной рыжиной, а Митрий Семеныч черный, словно цыган, несмотря на лета.

В мутном стекле, где мухи кружками уклались на осень спать и паук растянул над ними паутину, чтоб с первым их пробуждением весной они и его разбудили, сквозь паутину и мушьи дорожки едва ли могла Пелагея, окромя бороды, еще что разобрать.

— Прохор! — сказала она и от окна оторвалась.

Рябина над нею качнулась вершиной, ветер отбросил ветки и вверх заломил, нарвал листьев с самой верхушки и всю Пелагею осыпал, взвил юбку и холодом обдал живот...

Скрылся месяц за тучу, и все — звезды, Пелагею, бакалейную лавку, рябину, простершую косы и руки на ветер, Чертухино, избы и церковь поодаль села — накрыло черной рукой.

ВИДЕНЬЯ ДЬЯКОНА ОТЦА АФАНАСИЯ

Страннные подчас штуки творятся с людьми. Так все кто-то запутает, свяжет концы и начала, что жизнь станет похожа на длинную нитку, очень долго лежавшую на дне большого кармана, и если ее вынуть оттуда, то и на нитку она не будет похожа,— станешь распутывать и не распутаешь ниточный катушок, пока не положишь его в воде полежать, выпустить усиком кончик, откуда и весь узелок.

Так и в истории с Пелагеей Прокофьевной.

Много прошло времени и много воды утекло, пока из-под вешнего снега на будущий год не показался разгаданный конец, который держала Пелагея в застывшей и посинелой руке, лежа на опушке чертухинской рощи под кустом горькой калины.

Слухи же шли про Пелагеин конец всю осень и зиму.

Не знаю, кто их, как мух за оконные стекла, напустил в бабьи пересуды и толки, только можно теперь сказать без ошибки, что пошли они действительно от нашего, своего села Чертухина, дьякона отца Афанасия...

Отец Афанасий в тот день ездил в город Чагодуй за овсом.

Прослышал он, что там на четверговом базаре очень дешев овес, и в полночь с хмельком, но без овса и без денег возвращался чертухинской рощей домой, уткнувшись в передок телеги и душу свою поручив в этой дороге бывалой кобыле Гнедухе.

В тот же день и Зайчик приехал.

Отец Афанасий разминулся с ним, должно быть, в дороге потому, что выехал еще утром рано и гнал Гнедуху так, что на ляжках у ней набилась в пути белая пена: приехал он в Чагодуй, когда еще и базар не открылся.

Походил отец Афанасий, пошнырял, кой-кого расспросил, видит, что вовсе не так уж дешев овес.

«Ишь ведь, что наплетут,— горько думал дьякон,— вовсе незачем было гнать за десять верст за дорогим киселем».

Видит ошибку свою отец Афанасий и решил ошибку эту разгладить, чтоб было покойней на сердце и выгоды больше.

Встретил он на базаре, как раз уж теперь и впрямь не во сне, как это с Зайчиком было, а в самом живом его виде, рыжего дьякона с Николы-на-Ходче, который шел шатаясь, как жердь на колодце, по базару и, видно, тоже кого-то искал.

Известно, что бывает у двух дьяконов, которым церковь давно надоела, как нашему брату репа за чаем, да притом же один шел и шатался, а другой приехал овес покупать, прослышав дешевые цены, а цены-то были, напротив, тугие...

Долго ходили два дьякона рядом, приценяясь ради

важности то к тому, то к другому, друг на дружку при этом остолбенело глядели.

— Не купить ли, отец Афанасий... хомут? — таращил глаза дьякон с Николы-на-Ходче.

— Да мне бы... тоже надо седелку! — не раз уж заботливо отвечал ему отец Афанасий.

Но, видно, на хомуты и седелки цены были неподходящи, а потому забрели оба дьякона на базарный приселок и туда потом загнали подводы, чтобы вместе животину поставить и досмотреть ее на постоялом дворе.

Что дальше тут у них было, из скромности дьякон отец Афанасий по возвращеньи ни гу-гу не сказал, а только под вечер оба они: дьякон с Николы-на-Ходче как приехал в пустой телеге, так и поехал дорогой на Ходчу, значит — однюю дорогой, а дьякон отец Афанасий с пустыми мешками — другой, в ту же сторону, только много левее, на наше Чертухино,— у дьякона отца Афанасия бездонный из розовой байки карман долго болтался наружу, пока отец Афанасий его не заметил и не запрятал, сказавши, теперь уж тоже немного шатаясь, отчего — неизвестно:

— А седелку-то зря, говорю... зря не купил... Овес — тот очень дорог!

Так рассуждая, отец Афанасий кой-как выправил лошадь, подтянул супонь, проехал приселок, твердо сидя в телеге, а как увидал, что Гнедуха пошла, словно сонная, шагом, свесивши морду и с морды губу с зеленой от сена слюной, так и лег в передок, накрывшись с головой ватною рясой, и дальше что было в дороге — не помнит.

* * *

Гнедуха была дорогая кобыла.

Знала она эту дорогу лучше, чем дьякон отец Афанасий Псалтырь, и шла всю дорогу спокойно, ни разу нигде не трухнув, ни о что не задев, и к нашей чертухинской роще поспела, когда уже смерклось...

Заря завалилась под облак над лесом, Гнедухе показался тот облак похожим на очень большие ясли, набитые доверху сеном, кошенным в дурную погоду и потому не зеленым, а исчерна-желтым и дух полевой потерявшим, а заря — на нее самое, но только в самые ранние годы:

помнит она, как однажды, катаясь на спинке широким двором, чтобы размяться, она завалилась ногами под ясли и так до утра пролежала, а утром дьяконица Марфа Петровна и дьякон отец Афанасий долго тащили ее за хвост из-под яслей. В таком размышлении Гнедуха почти всю рощу прошла, едва переступая с ноги на ногу, и, только когда засветлела опушка, она вдруг уши подняла торчком, потом опять приложила, потом опять подняла, потом, вытянув их, как у зайца, спугнутого с лежки возле дороги, вдруг отпрянула вбок с храпом и прытью, для ее лет небывалой.

Дьякон отец Афанасий сковырнулся сразу с телеги, так как за долгий путь из передка отъехал к самому краю, и долго стоял, протирая рясой глаза и не видя, где, в какой стороне дорога, где Гнедуха и эта телега, с которой он повалился и носом попал в колею...

Разобрался во всем дьякон отец Афанасий, когда вдруг за Чертухиным такая из туч пошла перегромка, какой и средь лета не слышал никто.

Потом сквозь сучья на самой опушке сверкнула ярко-зеленая пика, воткнулась в пашню острием и в землю ушла.

Будто это перед утром на черном-черном коне, а не на белом, как на иконах рисуют, ехал чертухинским всепольем Георгий и гнал по нему пикой черного-черного змия.

Дьякон отец Афанасий крест хотел на лоб положить, да так щепотью лба и не тронул: впереди шел человек...

Человек был высокий, гораздо выше кустов, стоявших сбоку возле дороги, с большим животом, и шел он не по дороге и ноги на землю не ставил, как все, а шел аршина два над дорогой, а сам за веревку держался, правда не двигаясь с места.

Веревка свисала со старой осины, которая протянула сук на дорогу, как руку с широкой ладонью, а в ладони звенят на ветру пятаки и семитки, что ей набросали за долгий век купцы из Чагодуя, проезжавшие к нам чертухинской рощей, и богомольцы, что в Бачуринский монастырь сходились в Петровки в старое время без счета...

Дьякон отец Афанасий направил Гнедуху опять на дорогу, под гривой у ней погладил, чтоб не пугалась, окликнул два раза того, кто шел над дорогой, держась за верев-

ку, потом, раскумекав, в чем дело, Гнедуху повел под узду.

Глядит дьякон отец Афанасий: никто и не шел по дороге, да мало ли ночью что померещиться может,— а висит это баба, совсем почти над самой дорогой, и если не снять ее с дряхлой осины, так даже, пожалуй, совсем не проедешь в широкой телеге — в том месте возле самой дороги стоят высокие пни и коряги от сваленных в бурю когда-то деревьев, и дорога идет коридором по зарослям, мелким и частым, как нитки в непочатом стану.

Привязал дьякон отец Афанасий Гнедуху на повод, а сам стал искать, где кончик от этой веревки, на которой болтается баба.

А кончик был на стволу у осины, немного повыше, как в пояс ему, и был он завязан умелой и твердой хозяйской рукой.

Дернул дьякон отец Афанасий за конец, осина немного качнулась, и хрустнули сучья, Гнедуха рванула с испугу вперед, а баба в то время упала с веревкой на шее прямо в телегу.

Дьякон отец Афанасий едва успел вскочить на закорки да вожжи в руки забрать от Гнедухи, чтоб в колесо на скаку не попали и набок старой дуре башку не свернули. А Гнедуха несет и несет и бьет копытом по оси.

Еле сидит дьякон в телеге, ряса разметалась на ветер крылом, так ему в бок и полощет, а тут еще град посыпал, стуча по телеге, по бабе с большим животом, по Гнедухе, которая словно вконец ошалела на старости лет, сбилась, видно, сразу с испугу с дороги и понесла, сначала по пашне вдоль чертухинской рощи, а потом заломилась где-то в кусты, зацепила, должно быть, за пень, свернула набок телегу и снова бабу сначала свалила, а на бабу потом полетел и дьякон отец Афанасий.

Кой-как дьякон отец Афанасий телегу от пня отцепил, Гнедуху под гривой погладил и взял ее опять за узду, а баба — то ли забыл назад ее положить на телегу отец Афанасий, то ль не хотел — осталась лежать под кустом, положивши под голову руки, которые у нее сами так подвалились, когда она упала с телеги.

Проплутал так с Гнедухой своей на узде дьякон, должно быть, до самого утра, объехал как-то кругом все наше село и, на самом рассвете, на еле шагавшей Гнедухе

ввалился в Чертухино, но только с другого конца, чем это было бы надо.

Как тут носило его — и понять невозможно.

У нас есть такие места, куда и днем-то свернуть не каждый решится...

Только въехал дьякон в село, только крыльцо свое разглядел, как с него, заждавшись дьякона с чагодуйским овсом, дьяконица Марфа Петровна вышла и поплыла навстречу супругу гусыней...

Какой у них был разговор, никто не слыхал, потому и рассказать о том невозможно.

Дьякон потом все это, как только можно было подробно, объяснил отцу Никанору, а тот своей попадье, и попадья уж потом по селу распустила язык...

Попадья каждый раз от себя прибавляла все новые, с каждым рассказом, прибавки, одна другой почуднее, и в середине зимы, незадолго до святок, когда в долгий вечер сидят и не знают, что сделать, чтоб покрепче, поскорее заснуть и до бела не проснуться, у ней эта исторья была хоть куда.

И все это так выходило:

Когда Марфа Петровна подошла к своему дьякону, так немало сначала сама испугалась. В телеге не видно не только мешков, набитых дешевым овсом, но и самих-то мешков было не видно. Дьякон сидел в телеге без шляпы, и хвостик косички был весь в какой-то липучей и мерзкой грязи, ряса вся тоже, а сзади телеги тащилась большая веревка, и на веревке болталась мертвая петля.

Марфа Петровна будто на улице слова ему не сказала, видит, что с дьяконом что-то случилось, и даже подумала, что дьякон совсем не в полном рассудке и смотрит на Марфу Петровну, как видит впервые, проживши с ней сорок три года...

Расспросы начались у дома.

— Дьякон, где же овес?

Дьякон долго молчал, глядел исподлобья, потом вдруг весь просиял и Марфе Петровне на вопрос ее будто так отвечал:

— Марфа Петровна, дорогая супруга моя, говори слава богу, что дьякон твой отец Афанасий вернулся живым и теперь стоит у дома, слава богу, родного...

Тут он Марфе Петровне все рассказал по порядку: как он с утра в Чагодуй собрался, как в Чагодуе ходил по базару и искал дешевый овес — сначала-де все дорожились, потом цена схлынула, как с поля вода по весне, обчистил он с мерой какую-то дуру и, овес погрузивши в телегу, напился чаю на постоялом дворе, а напившись чаю, тронулся в путь.

Но не проехал он и версты, как колесо обломилось,— вернулся, значит, назад, починил колесо у кузнеца Поликарпа, что держит кузницу у самой дороги, отдал ему два мешка овса за работу и к вечеру только тронул обратно.

Но тут-то все и случилось.

Только он чертухинской рощей проехал, только в опушку Гнедушка вошла, слышит:

— Стой!

Стоит какая-то баба с веревкой и за узду держит Гнедуху.

— С чем едешь? — спрашивает баба с веревкой.

— Овес везу,— дьякон с перепугу ответил.

— Врешь,— говорит баба с веревкой, да веревку петлей дьякону прямо на шею,— фальшивые деньги везешь!

Вот, пес ее раздерет, откуда у дьякона фальшивые деньги?..

Дьякон, конечно, кричать, веревка кричать не дает, Гнедушка начала бить с перепугу в телегу пятами, баба Гнедушку за хвост, Гнедушка от бабы, ну и катались так у опушки, пока дьякон не догадался и овес с телеги сам не свалил прямо на землю бабе под ноги.

Баба тотчас отстала, взвалила себе три мешка сразу на плечи и, шут ее знает куда, понесла, а дьякон стал охаживать лошадь и дорогу искать.

Искал, искал, да вот и нашел ее, только с другого конца.

Марфа Петровна диву сначала далась, жалела и охала, холодную воду в волненье пила, а потом, когда дьякон заснул на кровати словно убитый, она подошла и понюхала, чем это так разит от него из-под самого носа.

О чем говорила с ним дальше Марфа Петровна, нам неизвестно, но тут в руках у нее осталась одна половина ко-

сички, а у дьякона отца Афанасия от неизвестной причины под глазом повис большой синий фонарь.

Так у нас на селе, положим, не только одна попадья, а потом и все говорили,— но где Пелагея, никто до весны и не сведал.

Ходили искать — не нашли: уж больно боялись этой веревки с мертвой петлей на конце, с которой дьякон поутру сзади телеги въехал в село.

А пока изба Пелагеи стояла пустая, на окнах сосед доски набил, на которые часто поутру взглянет подпасок Игнатка, постоит немного у окон, а потом отвернется и стадо погонит на выгон, щелкая длинным кнутом.

Глава третья

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

Проходил этот день Зайчик как в тумане из угла в угол по горнице... Письма матери велел разнести, а сам отговорился нездоровьем. Несколько раз заходил в горницу Митрий Семеныч. Войдет, сядет на табуретку и ничего не говорит, в руках ключи от лавки держит, словно боится их потерять, и Зайчик ничего не говорит — только по горнице ходит, о чем-то кумекает, а Митрий Семеныч сидит, молчит и смотрит на сына.

— Ты, Миколай, пожалуй, уж теперь бы до Чагодуя дошел,— скажет только заботливо Митрий Семеныч,— полежи-ка лучше, ноги еще пригодятся.

— Нет, батюшка, я ничего,— ответит Зайчик, а самого так темной пеленой и подернет.

Не хотелось Зайчику, чтобы хоть догадкой узнал отец, какие ему сны стали сниться. И страшно Зайчику от этих снов, и знает Зайчик, что будет холодно и пусто в душе, как в глубоком колодце, если уйдет из этих снов Клаша, если порвется нить, идущая от явного сна к яви.

Путает эта нить концы и начала в жизни и делает ее похожей на сон.

Митрий Семеныч без слов понимал, отчего это такие круги у него под глазами, словно кто под ними углем

прочертил: известное дело, присуха! У парня выхватили, можно сказать, девку из-под самого носа.

— Ты, Миколай, себя береги,— сказал Митрий Семеныч и вышел, так и не чуя, что долго теперь он не увидит любимого сына, не сядет с ним чай распивать, и Чайный король не будет спешить поутру устроить Зайчику пышную встречу в своем королевстве.

Вскоре и Зайчик вышел на улицу, ничего никому не сказал, а мать хоть и встретил, так кинул ей на ходу, что идет навестить отца Никанора и так, вообще прогуляться... Да так на самом-то деле и думал.

— Поди, поди, погуляй, ветром голову лучше раздует, как рукой снимет устаток,— пропела ему Фекла Спиридоновна вслед.

* * *

Зайчик идет, немного шатаясь, немного согнувшись, в глазах избы так и клонит к земле, и еще больше похожи серые кровли на крылья, которые птицы сложили, севши средь поля на корм, но при первом сполохе готовы их снова расправить, хлопнуть ими три раза и подняться высоко-высоко, куда ни стрела, ни копье, ни пуля уже не достанут...

Теперь не узнаешь Чертухина...

В этот час раньше на улицах всюду сидят молодые мужики под окном, ребята в свайку играют иль дуют в лапту, парни и девки на выгоне ходят хороводами, а тальянка Ваньки Комкова так и задыхается своей бумажной сборчатой грудью.

И избы как будто слушают, как молодые хозяева песни поют. Слушают избы ушами застрех и крылечек, радуясь их молодой и беспечной судьбе, заранее зная и чуя ее немудрую тайну: вот отцы сыновей переженят, выдадут замуж девчат, и тогда все пойдет по-другому.

Молодость, молодость... Всякий бывал молодым... Знать, и дана ты только на то, чтоб потом, когда все уже минет, о тебе вспоминать и жалеть, что прошла ты и назад не вернешься...

На улицах безлюдье.

Не видно даже псов и свиней, которых раньше в Чертухине много водили.

Встретился Зайчику дядя Прокоп, но Зайчик еле-еле узнал, кто это ему шапку снимает.

— Миколай Митричу, с приездом,— говорит бородатый Прокоп, идет с ним рядом, толкует ему, что старшего сына убили, второй провалился сквозь землю — ни духу ни слуху вот уже три года, а третий — где-то там на Кавказе, куда и на лошади трудно проехать: писал он недавно, что жив, а что будет дальше — страшно сказать и страшно подумать...

— Известное дело — убьют,— сказал Прокоп Зайчику, а этот вперемежку и думал и слушал Прокопа и, только когда последнее слово Прокопа услышал, так хорошо разглядел, словно до этого вовсе не видел, что рядом шагает Прокоп, в одной руке палкой чертит по дороге, а другой держит его за рукав и чай пить зовет завернуть.

— Нет уж, Прокоп Парамоныч, пойду в лес погуляю... Так неужели и Ваньку Комка?..

— Да, Миколай Митрич, глушат, как рыбу по льду... Слышали, матерь-то божья?.. Накинула петлю и с петли в лес убежала... Чудно́...

Зайчик вырвал рукав у Прокопа, ничего не ответил ему, но очень опять побледнел и зашагал от него, словно тот оскорбил его чем и обидел.

Прокоп постоял, клюшкой своей по земле почертил, посмотрел вслед, ничего не понявши в этой поспешности Зайчика, отвернулся и равнодушно зашагал домой, краснея в вечернем закате красной дубленой шубой из новой овчинки.

Издали Зайчик на миг обернулся на старого дядю Прокопа, а он уж стоял под окном и говорил со своей невесткой и горько качал головой, показывая вслед ему палкой...

* * *

К дворовым воротам, резным крылечкам, на завалки под низкими окнами изб так и било вечернее солнце.

Пожелтелая, чуть трепетавшая в тихих ветровых погудках листва, нехотя будто, падала к окнам и дверям, сучья выше поднялись, сбросивши листья, и только изредка кой-где на самой вершине, на веточке, как нарисован-

ной в синей прозрачной осенней прохладе, листок — аль это поздняя бабочка села и крылушки греет и крылушками так и трепещет, словно хотела бы вот улететь, да уж поздно: скоро наступит зима...

Зайчик идет по селу.

С гумен за селом так и тянет дымком от снопов, пропотелых на жниве и в скирдах, сбоку села стоит большая сельская рига, у риги ходит с Серком дяди Прокопа их Музыкант, вертят они машину, под навесом клубами вьется пыль от зерна, а солома так и валит щетинистым валом на ток — ходом идет молотьба, выдался урожайный год, и все поспешают скорее с поля убраться, зерно на базар отвезти и сыновьям и отцам отослать побольше гостинцев в окопы.

Смотрит Зайчик на эту работу, у самого давно не труженные плечи так и зудят.

«Эх, теперь бы складать солому в ометы, ток по заре огребать да ворочать мешки на телегу: выправить кости, спину размять!»

Не до того теперь стало, сердце облито угрюмой думой, и смерть, словно сторож, и здесь не отходит от сердца, все время, как сторож, стоит и гремит своей колотушкой.

Зайчик прошел по гумнам, за гумнами видна ограда по скату, а сбоку стоит дом отца Никанора, дом обнесен резным палисадом, окна в налишинах, хитрых и тонких, как кружева, наплетенные в приданое Клашей,— дом красной краской окрашен и тесом обит, а по тесу налишины — белой.

В окнах солнце заходит, а у припертых ворот в палисад лужу ледком затянуло, и по ней так и брызжет вечернее солнце: словно подъехал вот к попову дому витязь чудесный и знатный, сбросил поспешно у входа свой шлем и щит золотой, пику к косоногой яблоньке приставил, а коня в серебряной попоне в лужайку подальше пустил — там над Дубной на пологом уклоне к воде затевает осенний туман ворожбу, густеет вода, чернеет под вечер, как стоялое сусло, готовясь подернуться к утру по берегу тонкою кромкой...

Зайчик вошел в палисад.

Отец Никанор сидит с своей попадьей под яблоней в самой яблонной гуще на желтой скамейке, и, только его

увидал, взглянул на попадью из-под шляпы с большими полями и поднялся навстречу:

— Здравствуй, здравствуй, гость дорогой.

— А мы вот сидим с отцом Никанором и о тебе говорим: чтой-то, де, к нам не зайдет... приехал, чин получил и носу не кажет, совсем уж наш Коля зазнался...

Зайчик руку отцу Никанору пожал, попадья подошла и по лбу ему языком провела: Зайчику так показалось, у попадьи были всегда словно мокрые губы.

— Неможется очень. То ли с дороги, то ли не спал.

— Да и верно: круги под глазами, и цвет у лица нехороший... За ворот не льешь ли без меры?

— Не пью!.. Много не пью!..

Зайчик вздохнул, достал папиросу, отцу Никанору одну протянул и долго не знал, о чем бы спросить и как бы спросить незаметней, узнать и поскорее уйти...

— А мы третьеводни Клашу проводили,— говорит попадья и на Зайчика смотрит...— Ты ничего ведь не знаешь?..

— Слышал,— тихонько Зайчик отвечает.

— Ну и ладно — значит, дело обмялось,— весело говорит отец Никанор, положивши на плечи Зайчику руку.— Такой молодец да красавец... Да я, Миколай Митрич, и чьхнуть-то подумал бы...

— Полно, отец, и Клаша наша небось не урод...

— А я разве хаю?.. Вот я говорю, что обмяться пора...

— Пора бы,— вздохнув, говорит попадья,— почитай, третий год уж идет.

— А муж кто у Клаши?— шепчет Зайчик и в землю глядит.

— Супруг совершенный,— гудит отец Никанор и снова пыхнул папиросой.

Яблонька низко нагнулась, свесила ветку и прямо отцу Никанору в колени на рясу сронила два крупных яблока, налитых с краев душистым соком, и с легким, едва уловимым, румянцем... Зайчик смотрит на яблоки, смотрит на этот румянец и вспоминает далекие годы, когда от стыда и смущенья, что на щеках непривычный первый пушок, и в зеркало страшно взглянуть,— а взглянешь, увидишь чужое лицо: в первых порывах сердце сторонится всех, таится от посторонних глаз и от себя самого.

Зато в лесу где-нибудь можно глядеть и глядеть на себя сколько захочешь...

Там никого не стыдно, и румянец на щеках в темной воде похож на скрытый румянец созрелых антоновских яблок, его никому не видно, его заметит лишь тот, кто яблоко первый раскусит...

Глядит Зайчик на яблоки, себя вспоминает года четыре назад, ходьбу с Клашей по ягоды, по грибы и робкую первую тайну, теперь очевидную всем и, может, даже смешную для всех, потому что едва ль ее у кого не бывает.

Только она теперь для Зайчика страшная, страшнее напасти и смерти, ибо раскушенный яблок на ветку назад не повесишь, а две половинки не склеишь: большего горя у юности нет и едва ли бывает!

«Хорошо еще,— думает Зайчик,— что не рассказала всего: а то уж и посмеялся бы, наверно, отец Никанор!»

— Муж Клашин купеческий сын... Из хорошего дома... Два дома в Чагодуе и самых-то лучших... Два в Питере...

— И четыре в Москве,— басит, взявши бороду в рот, отец Никанор,— богатей!

— А какой речистый: так вот и льет,— говорит попадья, расставив перед Зайчиком руки.

— Поставный... Поставный... У Клаши, ты знаешь, двойня была...

— И тоже, должно быть, опять: была у нас, так с утра до самого вечера, что ни поест, все наружу...

Зайчик стоит, повернуться не может, не может уйти, смотрит то на попа Никанора, то на попадью, Марью Иванну.

«Нет, нет,— думает Зайчик,— все это неправда, и может ли это случиться, хоть все и за то, что никто не приврал и полслова».

Но странно, и раньше, как только Зайчик узнал обо всем стороною, он сам себе так и сказал: не поверю! Да и как тут поверить?!

Для него по-прежнему Клаша гуляет в белом со сборками платье, смеется лукаво ему где-нибудь из угла, в глаза поглядит, улыбнется, и Зайчику больше не надо ни знать ничего, ни расспрашивать,— он верил, что Клаша не может так ни себя, ни его погубить, тайно повенчавшись с

ним в свете и духе, на вечную любовь и вечную верность!

— Не верно,— шепчет Зайчик и глядит в глаза отцу Никанору и рядом с ним — попадье.

Попадья глупо заморгала на отца Никанора глазами, взяла два яблока, упавших с антоновки, и ему в карманы сует, один даже в конверт завернула:

— Уж больно налился, так губы и тонут...

— Прощайте,— Зайчик сказал, приложился к фуражке по-военному, как будто не поп Никанор перед ним, а наш ротный, и это не Марья Иванна в темном платочке и с мокрой губой, а гнедая кобыла капитана Тараканова Палона Палоныча — Щука,— слез он с нее, треплет по гриве и строго на Зайчика смотрит: «Ну, что, господин зауряд, дела, видно, совсем никуда не годятся?»

— Милости просим еще,— попадья говорит, отец Никанор одною рукой за шляпу, другую ему, но рука у него так и осталась недоуменно висеть, потому что Зайчик уж вышел в калитку...

* * *

Чудесный витязь коня из Дубны напоил, шлем золотой и золотой щит с земли подобрал, пику от яблоньки к стремю приставил и вон уже скачет теперь по опушке чертухинской рощи, машет на ветру белой покрышкой коня, и конский хвост и конская грива о деревья полощут, да и сосны и ели, березы и ивы словно нагнулись над дивным конем и его седоком лучезарным, тянут сами ветви к нему, кидают охапкой листья на шлем и на латы...

Зайчик на поле вышел и большими шагами направился к роще.

ЗОЛОТОЙ ПОКРОВ

...Зайчик подошел к чертухинской роще, когда на небе в синий облак уткнулись большие рога от зари. Зайчик снял хронтовой картуз, того же цвета, как и сохлый луг под ногами, и долго стоял непокрытый на лесной перекличке. С березы, немного сбежавшей с опушки на луговину,

рябиновый дрозд окликал, мотая строго хвостом и кивая довольно головкой:

— Хорошо, хорошо, что за день остались все целы.

И кажется Зайчику, что сейчас он совсем не в лесу и что береза с дроздом на верхушке — совсем не береза, а на ротной поверке стоит это Иван Палыч в желтой гимнастерке, только не строгий, а заботливый, тихий, и лес построен сплошными рядами, и задних рядов не видать.

— Зайчик! — кричит рябиновый дрозд.

— Здесь! — Зайчик ему отвечает.

Дрозд на него посмотрел искоса с вершины березы, три раза мотнул хвостом и головкой, а потом отвернулся и дальше зачастил.

Потом дрозды все сразу поднялись, повились немного над этой березой и с радостным криком упали в лесную утробу.

Зайчик фуражку надел, улыбнулся и дальше пошел по тропе, по которой старый леший Антютик когда-то прогнал крупных зверей на новое место.

Идет он заклятою тропкой, с лица у него долго не сходит улыбка, а с неба заря как будто тоже не хочет сходить.

Пылает заря все ярче в полнеба и облак, недвижимо повисший над лесом, то золотом весь обольет, то обовьет его зеленою, синей, бордовой лентой с узором прозрачным и еле заметным для глаз.

Зайчик так счастлив, что сейчас в лесу нет никого.

Никого он не встретит, никто не увидит его, и он никого не увидит.

А шел он посидеть немного под густою елкой, где Фекла Спиридоновна, сбирая когда-то малину, в малине его родила. Хорошо у своей колыбели, под этой густой елкой, посидеть ему и подумать: до края наполнено сердце, и жизнь вся разломлена, словно краюха, на равные половины: одна половина у Клаши в белых руках, а другая... Зайчик об этом сейчас и подумать не в силах, и вспомнить страшится!

Хорошо идти по тропе и вспоминать, что по ней пробегли когда-то медведи и лоси, за ними с большой дубиной в руке — леший Антютик...

* * *

Не небольшом повороте опушки Зайчик вдруг услыхал, что кто-то кроме него тоже по лесу идет, но только другою тропинкой.

Ходят по этой тропинке девки и бабы за первозазимошной клюквой на Светлые Мхи.

Зайчик присел на пенек у тропы и стал дожидаться: в лесу — не на улице в городе, все интересно, кто идет, кто́ прошел,— ждешь человека, издалека учуя шаги, ан выйдет тебе на дорогу навстречу такой, как Антютик,— не зверь он, не человек, не мужик и не баба, а вместе как будто и то и другое.

К тому же Зайчик, услышавши шорох в лесу на куманичной тропе и вспомнив рассказ поутру Феклы Спиридоновны про Пелагею и нашего дьякона отца Афанасия, сперва немного струхнул, а потом охрабрел, заслышав в вечернем шорохе леса унылую, тихую песню. От этой песенки у Зайчика сразу пошли круги пред глазами, а в сердце полилось тепло.

Зайчик не раз мне говорил, что он сам эту песню с тоски да скуки придумал, а запеваха Марфушка ее переняла у него; может быть, Зайчик сам ее где-нибудь, шатаясь по белому свету, услышал, запомнил и в нашу округу пустил — почем знать, да и знать нам не очень уж нужно:

Я ли да у мамоньки, как в ночи луна,
Как луна высокая и всего одна?
Я ли лен не выпряла, не доткала стан?
Я ль дружка упрятала от тебя в чулан?
Спрятала, растрогала, довела до слез —
Много слез у мамоньки, а у ночки звезд.

Дочка ты у тятеньки, как в ночи луна,
Ночка чернокосая и всегда одна!
Ты и лен-то выпряла, и доткала стан,
И дружка не прятала от меня в чулан:
Твой дружок с позиции **нам** письмо привез —
Много слез у мамоньки, а у ночки звезд!..

Зайчик смотрит на Марфушку сквозь ветки и сучья, пригнувшись к земле: идет она теперь вдали по дороге в село, и у ней за спиной большая севальня, полная первым морозом тронутой клюквы и яркой, как бусы, брусницы.

Марфушка эта — рябая, кособокая девка с большими ногами, шили ей сапоги на одну колодку с отцом, к тому же лицо у Марфушки было такое, как будто вчера за него задела телега и все налево его своротила.

От Марфушки как от чумы бегали парни, хотя она и не липла, хорошо разглядев свой вековушный шесток. Одна была украса у этой Марфушки: звонкий и нежный — поищи по округе другого, не сыщешь — девичий голос.

Не заслушаться им, не загрустить от него было нельзя никому...

Хотел было Зайчик Марфушку окликнуть, клюквы попросить и сказать ей, что больно она поет хорошо, но раздумал — не хотел бедную девку конфузить; идет она, согнувшись старухой, казакин весь в отрепье и перехвачен толстой веревкой, а на ногах, завернутых в тряпки,— коты...

К тому же и в самом деле в семье у них было неладно: отец с полгода тому, поехавши в отпуск, домой не приехал, куда подевался, неизвестно, как в воду пошел, пропал человек: ни слуху ни духу.

Зайчик поднялся с пенька и к заветной ели пошел по тропинке.

«В песне,— думает он,— черноокая, в жизни — кособокая...»

И кажется ему, что и сам-то он похож на эту Марфушку: за него тоже задела телега, и Зайчик проходит в человечьем лесу, на одно ухо лишь слыша и видя на один только глаз — но так он больше видит и слышит.

* * *

На крутом повороте ели и сосны уходят в густую чащу, и на опушке толкаются, упираясь сучьями в пышные бедра и груди друг другу, лесные вековухи — голенастые липы, шумихи-березы, ивы плакучие вдовы и с знойным румянцем на щёках солдатки-осины. В ветвях, то грустно опущенных с самой вершины, то заломленных в безысходной тоске и отчаянье кверху над головой, глубока-глубока синева.

И не поймешь: ветки ли это уплыли, оторвавшись от сучьев, как от причала, в бездонную синь, и там в глубине

листву отряхают, иль синева на ветви упала, не удержавшись в выси непостижной на листопадном ветру.

По лесу идет шум и затаенный звон, как будто в чаще густой и далекой стоит невидимо для глаз лесная обитель, где сейчас отходит лесная вечерня, и старые колокола, висящие на суку у столетней сосны, чуть колыхнул ветерок...

И старцы на паперть выходят, и посох в руке их ведет беседу с подсохшей землею, стуча об нее острием, и староверский люстрин на поддевках у них шумит на ходу, как осенние листья.

Скоро будет густая елка.

Зайчик к ней подоспеет еще до последней зари — заря висит осенью долго потому, что солнце с неба падает вкось и не сразу в землю уходит, а катится, как колесо, по хребтине, где край у земли, а за краем небесная пустошь и голубой луг с золотыми цветами: в полночь цветы срываются с веток на тихом запредельном ветру и падают сверху на землю, чертя над землей золотую дугу.

И странно Зайчику, что сердце так беспокойно. Прыгает сердце в груди, как белка по игольным сучьям, завидевши в наземных ветках воронье гнездо — охотничью шапку. Предчувствует сердце само лихую минуту, в эту минуту оно вздрогнет и обольется кровью сверху донизу.

И сердце вздрогнуло...

* * *

Зайчик хотел сперва закричать и бежать назад на дорогу: невдалеке, в стороне от опушки, под низкорослым кустом лежал человек.

От неожиданности или испуга Зайчик не мог разобрать, мужик это лежит или баба, но потом, когда в глазах прояснилось, он робко увидел открытую грудь в разорванной кофте и юбку в причудливых клочьях, взбитую возле белевших колен, словно черная-черная пена.

Стал Зайчик вглядываться и опасливо подходить, но лицо было закрыто растрепанной по сторонам косой и веткой, положившей на лоб румяную, как на огне раскаленную, кисть.

— Пелагея! — невольно вскрикнул Зайчик, откинувши косу.

Но никто ему не ответил.

То ли по лесу еще торопливей листья падали с деревьев, шурша, то ли дышала высокая грудь Пелагеи во сне — не поймешь; вдали прокатился его отголосок: «Пелагея!» — и замер в барсучьей чаще.

— Пелагея,— шепчет Зайчик, будто не хочет уже разбудить, понявши, что впрямь, может, ночью сегодня дьякон отец Афанасий встретил ее на дороге в чертухинской роще, но только совсем по-иному все было, ничем как рассказывал дьякон.

* * *

На Пелагеиной шее, которую в ин-времена держала она словно лебедь на озере,— синим кольцом завилась змея. Мертвая петля эту змею повязала на белую кожу и в давешней тряске сперва разошлась, а потом совсем при падении скинулась с шеи. Остался только кровавый подтек, как змея,— след от петли, да во рту был прикушен немного язык, и в пушистых ямках у чуть посиневших губ застыла смертная пенка.

А так Пелагея лежала словно живая.

Глаза были закрыты; брови пушились, как две сережки с плакучей березы, и золотились ресницы в еще не угасшем свете зари. И только на белых коленях, у ляжки, зияла припухшими складками рваная рана, и в ране с янтарной кровью смешалась колесная мазь — дьякон отец Афанасий, когда выправлял телегу с Гнедухой, задел Пелагею, должно быть, скрененною осью и острой чекой от оси оставил о ночной встрече с чертухинской божьей матерью глубокую мету и след.

Прикрыл Зайчик колени и вздутый живот разорванной юбкой, повернул Пелагею лицом на зарю, а руки так и оставил под головой: так больше на то походило, что спит Пелагея под горькой калиной на пожелтевшей осенней траве, а вот отдохнет немного — и встанет сама, и вернется домой, и сядет чинно под окна, чтоб видели люди живот и промеж себя говорили:

— Пелагея родит...

Чтоб думали все про себя, что Пелагея вернулась на землю, сошла с голубого крыльца, пришла к родному дому

и хочет быть матерью не в бесплотном сне и уединенной молитве, а перед людьми, наяву...

На лице Пелагеи покой и страданье, свет неизбывный и неизбывная скорбь.

Зайчик на землю припал и заплакал.

Плакал он долго навзрыд, крепко прижавшись к земле головой и кусая землю зубами, чтоб кто-нибудь, проходя по дороге, не услыхал и не набрел на него с Пелагеей.

Вспомнил Зайчик ее с венцом на голове, наподобие того нимба, которым сияют с тяжелых окладов в молельне святые, в голубом сарафане с парчовой полосой на груди и по подолу, с бубенчиками по вороту и на рукавах — в одеянии Матери Ангельской Рати.

И как тут не плакать, как не сронить слезу в глубокую реку, где свет — как песчаное дно, но тьма и туман над рекою; как не плакать, живя в такой серой, туманной, печальной сторонке! О, где ты, пресветлый Иордан, в который смотрятся избы под тайной полуночной звездой!

Теперь Пелагея на изумрудном дне лежит, недолго она прожила на его берегу, так и не раскрыв, не разгадав чудесного сна о матери божьей, сошедшей на землю по семи ступеням смертных грехов и смертных соблазнов, чтоб принять муки рожденья в плоти, но бесплотного сына.

БЕЗУМНЫЙ ИКОНОПИСЕЦ

Зайчик стал собирать охапками листья. Листья шуршали в руках, топорщились сухие ветки под ними крючками, мешая побольше захватить. Забросал Зайчик ими всю Пелагею, не видно ни черной юбочной пены, ни белых колен, на лицо же ветром снова качнуло калину, и на него упала красная кисть, закрывши сережки бровей и золотистые пряди волос около скорбного лба, теперь посеревшие, будто тоже выцвели к осени вместе с травой на лугу...

Теперь так похожи эти тонкие кольчики и завитушки под веткой калины на кудреватые струйки, плывущие с трубки, которую Прохор, может, в то же самое время курил в блиндаже, любуясь Пелагеей, висящей на сырой стене блиндажа:

— Загляденье мое... Пелагеюшка!..

Не знал Прохор и мог ли за тысячу верст угадать, что сейчас лежит Пелагея Прокофьевна на опушке чертухинской рощи в золотом осеннем покрове, более пышном, цветистом и ярком, чем тот, которым попы покрывают мертвеца, пронося его по селу на кладбище,— приняла Пелагея причастье из чаши бездонной и скорбной...

Была только в груди у него лихая ломота в том месте, где сердце лежит...

Такая ломота раньше бывала только в покосное время в руках.

Думал Прохор Акимыч, что это с того так и ломит, что нет тяжелее работы, как лежать дни и ночи на нарах и не видеть конца ни этим нарам ни дням...

— С этой работы и есть нет охоты,— говорит Прохор Акимыч, выискивая возле коптилки рубашку и белея брюхом, как березовый пень.

— Да, братец, кто кусает локти, а кто чистит ногти,— из угла ему басит Иван Палыч...

— У нас вошь о вошь, у них грош о грош,— отвечает Пенкин.

— У кого грош, тот и гож,— подъелдакивает Сенька.

— Слушай-ка, пенка с горшка, толщиной два вершка, небось наш Стратилат теперь чертухинским бабам письма читает?

— Достает лапкой, что не покрыть шапкой,— сохальничал Сенька, по обычаю пьяный.

Иван Палыч так и заекал кадыком от удовольствия.

— Гляди, как бы твой Стратилат сам не залег с Пелагеей, он ведь только тихоня: чужое не тронет — свое не отдаст!

Весь блиндаж нахмурился, словно была у всех одна бровь и под бровью один глаз и у каждого рта одна и та же щелка-морщинка, в которую видно всего человека насквозь.

— Ты, Иван Палыч,— отвечает ему Прохор, не то печалясь, не то смеясь,— ты в бога-то веришь, видно, как и не я же: только у елки, из-за которой тебя ни богу, ни немцу не видно... А Миколай Митрич человек правильный...

— Эх, Пенка, на наших бабах теперь небось пастухи стадо пасут,— намекает ему Иван Палыч на историю с

Игнаткой, о которой у нас в роте совсем незадолго узнали из слухов, которые бог весть какими путями докатились до нас: должно быть, приносит их с ветром!

Прохор же, к большому удивлению всех нас, не огрызнулся, а сел в темный угол, только часто хватался рукою за грудь, словно и впрямь, как подшутил над ним Иван Палыч, боялся кошелек потерять.

— Ты, брат, держи кошелек-то покрепче, а то сам из-за пазухи выпрыгнет,— издевался Иван Палыч...

Знал Прохор Акимыч, про какой кошель говорит злой кадык, водя своими мыльными пузырями по его голой спине, по которой так и пролегли вшивые тропки-накуски, но Иван Палыч и не ведает, какое в этом кошельке у Пенкина сейчас богатство лежит и как он и в самом деле боится его потерять: не прошла даром сыромятная молитва, и ныне Прохорова люлька уже не будет пуста!

Странно, что Игнатке Прохор не уделил никакого внимания в мыслях, когда получил от Поликарпа письмо: он верил в свою Пелагею, как в гору!

— Неужели? — Прохор шептал по ночам и тайком под шинелью крестился.

Он рисовал себе в уме Пелагею с большим животом, тугим и упругим, и в тысячный раз решал в темном мозгу одну и ту же задачу: неужли ж... неужели?

* * *

Вспомнил и Зайчик сейчас Прохора Пенкина, сунулся за обшлаг у шинели и вытащил с самого дна письмо в четвертушку, смятое, со стертым адресом,— едва рассмотрел: село Чертухино, Пелагее Прокофьевне Пенкиной.

Все письма матери Зайчик отдал поутру, а это, должно быть, забилось в дороге на самое дно и осталось в его рукаве... Да все равно было поздно. Пелагея теперь стоит на самой последней ступеньке голубого крыльца, оттуда ей видно всю землю, а ее не видать никому...

Зайчик конверт разорвал и стал читать письмо к Пелагее...

Сперва шли поклоны, поклоны тому, поклоны другому и даже тому, кому и совсем посылать их не нужно: на по-

зиции всякого вспомнишь, и хочется всем из окопа рукой в письме помахать, потом шли успехи в делах и хозяйстве, по дому и полю, а также здоровье, которое больше богатства и прежде всего.

«Береги,— Прохор писал Пелагее,— береги, Пелагея, здоровье, в работе спину не очень труди — как заломит, сядь отдохни, работа от рук не уйдет... К тому же прослышали мы, писал мне о том Поликарп, что ты ходишь с грузом и скоро будешь родить. Не думаю я ни про что, что мне плетет со зла Поликарп, всему, что ни скажешь, поверю, а чего не доскажешь — узнаю потом по глазам... Приеду, наверно, в Покров на побывку, тогда и кума выберем, а ежели что, может, и правда...»

Трудно было дальше письмо разобрать, в этом месте оно все истерлось, и только внизу под карандашною мутью стояло:

«Прохор Акимов, муж ваш по плоти и духу»...

* * *

Смотрит Зайчик на это письмо, и сейчас у него перед глазами стоит наш окопный блиндаж как живой. По нарам, свесивши ноги, сидят чертухинские мужики в шинелях внакидку, в углу у самого входа винтовки свалены в кучу, как хлам, в оконце, только руку просунуть, льется вечерняя муть из двинского болота, и лица у всех восковые.

Видит Зайчик солдат как живых.

Похожи они сейчас в воспоминании его на икону Всех Святых, только у каждого есть что-то в лице, что искажает задуманный образ и заставляет глаза отвести от него...

Словно писал Всех Святых безумный иконописец, в середине работы заменивший пособье в работе — пост и молитву — пьянством и диким разгулом.

Смотрит с этой пьяной иконы на Зайчика насмешливый Прохоров взгляд, улыбка, словно колючка с чертовой тещи, висит в его бороде, а глаза затаили и спрятали свет, которым ночью только горят кошачьи зрачки.

А что у него теперь на уме, никому хорошо не известно, только губы очерчены горькой чертой, завязаны около нее узелочки морщин, как на память, чтоб не забыть чего-то до смерти, да по лбу наискосок хитро изогнулась морщина...

На какой же иконе не найдешь глубоко проведенных морщин?

Только там они прямы, как борозда после старого пахаря, который кладет борозду к борозде, как страницу к странице, а на блиндажной иконе они у всех покосились, скривились, сошлись и смешались, потому что, видно, писал ее разгульник живописец не для того, чтоб на стену, пропахшую ладаном, в тихом притворе повесить, а для того, чтоб на столб, крашенный в черную краску, прибить в знак, что в этом месте широкой дороги царит разбой и убийство.

Ходу прибавь, пешеход! Ямщик, подхлестни лошадей!

Берегись!

Берегись!

Берегись!

Глава четвертая

РЯБИННАЯ ЦЫГАНКА

ЯГОДНЫЙ БУКВАРЬ

К вечеру, когда Марфушка вернулась с клюквой из лесу, по Чертухину ходили самые черные слухи...

На Марфушку смотрели, дивились, что девка жива и что баба с веревкой у ней не отняла лукошко с брусницей и клюквой, как это случилось с чагодуйским овсом нашего дьякона, избежавшего чудом петли. Марфушка, ушедши по ягоды с утра, не знала всех этих историй и сама немало дивилась страшным рассказам, но приврать еще ничего не успела, должно быть, со страху и говорила на выгоне бабам и девкам, что никого не видала — тихо, дескать, в лесу, как в церкви, на ключ запертой.

Солдатки решили, что Марфушку уже так, по сиротству, не тронула баба.

Одни говорили, что баба эта похожа на Пелагею, а другие напротив.

— Пелагея не баба — картина, а у этой нос большой и кривой, и похожа она как две капли воды на последнюю нашу колдунью Ульяну, которую тому назад лет пятнадцать в лесу рыскучие волки загрызли, а она все это время

сидела в волчьей утробе и вот теперь в войну объявилась и верховодит в лесу...

В лесу у нее, в непролазной чаще, есть тайный ход в самую землю, возле барсучьей норы, завален сучьем он, малиной высокой и частой оброс, будешь нарочно искать — не найдешь.

Этим-то ходом с Ульяной-лешихой Пелагея в землю ушла, чтоб родить не на глазах у людей, как добрые люди, а тайно.

Ульяна туда же стащила чагодуйский овес, чтоб из овса делать ребеночку соску,— Пелагея родит, плод оставит лешихе, а сама вернется и будет в Чертухине жить и Прохора ждать как ни в чем не бывало..

Да тут еще к вечеру, когда потемнело совсем, пошли еще новые слухи, что вместе с ней и Зайчик ушел, набредши случайно, гуляя по лесу, на эту барсучью нору; будет Зайчик теперь Пелагеина сына качать, ходить за ним и баюкать, потому что так Зайчик решил: лучше приблудыша киликать, чужого ребенка пестовать в руках, чем винтовку,— душе от того больше приволья!..

Пошло тут одно к одному: Пелагея, дьякон, чагодуйский овес, Зайчик, который отказался чай пить идти к дяде Прокопу и чай пить домой не пришел, хотя за ним Пелагушка несколько раз, уткнувшись в передник лицом, моталась к отцу Никанору, но Зайчик оттуда давно уже ушел, а куда — сама попадья разводила руками...

Все это спуталось, набилось в мозги, как мякина в сенную плетуху, и никто не знал хорошо, как все и по какому порядку случилось...

* * *

Митрий Семеныч сидел на крыльце до самых сумерек и смотрел на след от сыновних сапог:

«Нет, видно, Андрей Емельяныч правду говорил, что книга потеряна в темном лесу... а кто искать пойдет, не найдет и назад не вернется...»

Чуяло старое сердце беду...

Погасла заря, разливши по полю холодную кровь, по улице ветер сгонял желтые листья, подметал их под заборы, а на небо покатился за крайней избой над самым

прогоном круглый поднос с нарисованной рожей, немного скривленной набок... месяц — не желтый, не красный, а словно из прокаленной, кованой меди.

«Видно, в сам деле убег»,— подумал еще раз Митрий Семеныч...

Фекла Спиридоновна с глазами, словно упавшими в черную яму, с краснотой под бровями и с пухлым мешком у ресниц, возилась на кухне, переставляя ухваты и клюшки без дела с места на место, как часовых в перепутанной смене, а рядом пухтел самовар — пузатый король — и трубил в длинную трубу, надев ее себе на корону...

— К горю, Митрий Семеныч,— говорит Фекла Спиридоновна,— целый час глотает уголья, как вату, воет и никак не может поспеть...

— Не каркай, само постучит у окошка... давай сапог, я ему брюхо продую...

Фекла Спиридовновна достала из-под шестка голенище, сняла корону и раструбом надела сапожный бурак на самоварную глотку; из-под ног королевских посыпались искры, сердито треща, завилась зола, король вздохнул облегченно, уселся еще тверже на двух кирпичах, и скоро забил из него под матицу пар и на пол вода побежала...

Сели второй раз за стол вечерять, дули долго на блюдца и, не глядя друг на друга, молчали...

После девятой чашки Митрий Семеныч щелкнул по медному брюху и сказал, не обернувшись к жене:

— Долей, может, скоро Миколай подойдет...

— Ох, отец, чтой-то он нонче словно в свисток задувает...— косится Фекла Спиридовновна королю на короткие ноги...

— Убежал, вот и свистит,— Митрий Семеныч ей отвечает, строго глядя тоже на эти ноги...

— Кто убежал?.. Куда убежал?..

— Кто убежал: самовар!.. Кому же у нас еще убежать: скотина вся на дворе...

— Ох, как бы, отец, беды не стряслось: найдут!.. Намеднись искали этих дезиков, нашли, говорят, на болоте и тут же всех вспороли корьем...

— Да будет тебе. Миколай небось ходит по лесу, сосны считает... Придет, не впервые!

А сам глядит, как медный король скроил ему рожу,

забивши бороду в рот, брови раздвинув и будто высунув желтый — на медном — язык...

* * *

...А Зайчик и верно лежал в эту пору под густою елкой на мху, накрывшись серой шинелью, и думал давнишнюю думу.

Идет старец из пустыни, чернризец, слезно плачет.
А навстречу ему сам господь бог:
— И о чем ты, старец старый, плачешь,
И о чем ты, старый старец, воздыхаешь?..
— Как же мне-то, старому, не плакать,
Как же старцу мне не воздыхать:
Уронил я ключ от церкви в сине море,
Золотую книгу потерял во темном лесу...

Да, видно, золотая книга в лесу.

Читают ее теперь пушистые зайцы, неразумные дети, у кочки умявши траву, листают их лапки золотые страницы, мелькают пред ними заглавные буквы, заставки с хитрым и тайным рисунком, и встает перед открытой нежно-звериной душой скрытый за строками смысл... величавый, как мир пред зарею, и пугливый пред людским глазом, как пугливо только заяц перед хитрой лисицей, учуявшей на полуночной росе воздушный заячий след...

А может, книгу давно размыли дожди, страницы оборвали ветра-непогоды, и страницы легли цветной луговиной на лесные поляны, а буквы рассыпались в мох,— на мху теперь для чертухинских девок и баб заглавные буквы в красную краску растут куманикой и клюквой, строчки повисли на пьяничные и черничные ветки, а точки-знаки, где вещей кончается смысл, ткнулись в колючие иглы можжевелевой гущи, и ест их одна только вещая птица: глухарь!

Ходят бабы и девки по ягоды в лес и по складам читают великую книгу: ягодой пичкают малых ребят, посластиться дают старикам, и старики каждый год и не знают, что проходят, вместе с внучатами, премудрого мира букварь...

* * *

Потому-то и мудр простой человек, и речь его проста и цветиста!

ПОД ЗАВЕТНОЙ ЕЛЬЮ

Потерял Зайчик черту, где начинается сон, а явь и виденье из-под ног уплывают, как песок на крутом берегу.
Протекают сны в этих крутых берегах, как прозрачные воды реки, не знающей дна: стоят в ней города и селенья и те же люди и звери живут, которых мы видим и днем перед глазами, только соткано это все из лунной кудели, нежно, воздушно и, должно быть, правдивей, чем наяву...

Мудр и правдив человек, когда спит...
Широко раскрываются очи, когда слипаются веки и тело тонет на дно.

Только где эта память, чтоб видеть, что видим во сне: человек ее давно потерял, променяв на науку и опыт замечтав улететь на луну — прародительницу тайны и снов... Потому-то можно человеку почесть себя за счастливца и можно его за счастливца принять, если он помнит при пробужденьи, с кем и где пролетела последняя ночь.

Потому-то мужик и привык ложиться, как потемнеет, чтоб с первым лучом идти на работу, а барин, который стал умнее себя, в эту пору зевает и зря только жгет керосин...

Из этой барской зевоты родилась наука, скука ума, камень над гробом незрячей души; плавает в этой науке человеческий разум, как слепой котенок в ведре...
Придет в свой час строгий хозяин, начнет разметать духовную пустошь, увидит ведерко, и вот тогда-то котенок и полетит на луну!..

* * *

Не может Зайчик понять, что он: спит или не спит, видится это иль видит он сам и не может не видеть того, что стоит перед глазами:

— Хочешь, молодой хозяин, погадаю, а хочешь, на гитаре сыграю...

Стоит перед ним цыганка под густой елкой, тонок стан у этой цыганки, как тонок он у рябины, тянущей Зайчику зрелую гроздь...

Одета цыганка в цветистую юбку и кофту, и в юбке и кофте, в цветах и разводах по яркому ситцу как будто сразу две пышут зари: заря перед ночью, когда вечер погас и золотую голову уронил на колени, когда вдруг под синим покровом будто вырастет мак и тут же завянет, и только от лепестков по земле прольется слабый тайник — полусвет... и рядом тут же в другой полосе или сборке горит и пылает другая заря,— заря, когда ночь — цыганка сама — еще не ушла, но у ней уже подогнулись колени, и с плеч ее катятся звезды за полупрозрачный шелк на груди, и она хмурит на них черную бровь, гадая по ним о судьбе, на земле еще бродят, скрываясь перед утром, пугливые тени, обращаясь в тени кустов и деревьев, а по лесу идет невидимка — предутренний свет!

Кажется Зайчику, что и рябинная ветка похожа на тонкую загорелую руку, а ягодная красная кисть, зажатая в руку,— на колоду причудливых, раскрытых веером карт, по которым гадают цыганки судьбу...

Смотрит Зайчик на привиденье, не успевшее скрыться пред утром, не страшно нисколько ему, что еще не обернулось оно в прозрачную тень от рябины, и потому тихо сказал:

— Садись, погадай...

Ворожея под елью прошла полукругом, на бесшумном ходу сливая в складках две затаенных зари, откинувши черную косу с синею лентой за спину, и под косой в розовой мочке полыхнулся на миг золотой амулет — монета из дальней страны, куда укатил от Аксиньи Петр Еремеич.

Зайчик увидал за спиной у цыганки гитару, под гитарой — солдатский соломенный мат и потому не удержался и, улыбаясь, спросил:

— Гадалка, откуда мат у тебя?..

— Оставили дезики... На нем хорошо полежать, когда заночуешь в лесу... Ты что же это, молодой хозяин, лежишь на боку?..

Цыганка смотрит на Зайчика нежно, как мать, и Зайчик чувствует холод под боком, на лице колкую изморозь и дрожь от зазимка.

— Возьми,— говорит, наклонившись, цыганка ему,— постели...

Зайчик взял соломенный мат, подостлал его под себя и почувствовал сразу такое тепло, как будто лежит он в отцовской избе на лежанке, которую Пелагушка топила, мешая в ней сковородней, когда он гулять выходил...

— Цыганка-гадалка, садись, погадай...

Цыганка кивнула ему головой, мелькнул под черной косой амулет, зазвенели на шее цветные стекляшки-мониcты, и запела гитара, повиснув на сохлом суку...

Какая чудесная песня вьется в игольных ветках, будто старая ель каждой иголкой запела, вспомнив далекое, потонувшее теперь за облаками, забытое время, когда деревья, травы и камни, как люди, говорили и пели и мир был полон цветистых звуков, шепотов, вздохов, шорохов и затаенных смешков, в которых былинка больше тайну его понимала, чем теперь человек...

Цыганка села на корточки рядом, с юбочных зорь побежал холодок, а из черных-иссиня глаз покатилась звезда за звездой, как только в раннюю осень бывает...

Цыганка сунула загорелую руку за кофту и достала гадальные карты, она стасовала их, положила наверх червонную даму, а подниз короля и веером их разложила по мху...

Смотрит Зайчик на карты, каждый король даму из такой же масти под ручку ведет, каждая дама держит в руках белый платочек, и каждый король саблей чертит по земле, как петух перед курицей серебряным бравым крылом.

Смотрит Зайчик, что короли все эти похожи лицом как две капли на нас, солдат из двенадцатой роты, только вместо фуражек — какие-то с длинными перьями шляпы, на ногах чулки и баретки с бантами и самых разных цветов, и с плеч до земли упадают плащи из такого сукна,

в цветную полоску, в зеленый горошек, в котором разве ходят одни барчуки...

Дивуется Зайчик на эту картину, а цыганка тоже глядит и смеется...

— Понимаешь?..— спрашивает цыганка.

— Нет, цыганка-гадалка,— говорит Зайчик,— не понимаю пока... Это что же мне выходит: на балу, что ли, танцевать?..

— А на гитаре ты умеешь играть? — спрашивает цыганка...

— Нет,— отвечает Зайчик,— умел когда-то, когда к отцу Никанору ходил часто в гости, а теперь позабыл, как и в руки берут...

— Напрасно, молодой хозяин,— отвечает цыганка,— девицы очень любят гитару, играют они с вашим братом хитрые штуки...

— Ты это, цыганка, про Клашу со мной?..— спрашивает ее Зайчик...

— Нет,— цыганка отвечает,— с Клашей сыграл ты сам хитрую штуку...

— Не великая хитрость: любить!

— Любовь как стрела, молодой хозяин... как стрела: пота́ и жив человек, покуль она в сердце торчит,— вынешь: смерть!

У Зайчика прыгнуло сердце, как белка на сук, и он схватился за грудь, а цыганка взяла его руку и от груди отвела:

— Ты не видишь здесь тайного смысла, протри лучше глаза, погляди хорошенько.

— Я вижу, что короли и дамы танцуют...

— Ты, молодой хозяин, смотришь на масть,— цыганка ему говорит и водит по картам рукою,— ты смотришь на масть, а надо на крап больше глядеть...

Зайчик протер глаза рукавом, приподнялся на локоть, приложил другую руку к глазам и смотрит, сощуривши глаз...

— Не щурься,— учит цыганка,— гляди, как кот на сметану...

— Гляжу,— тихо Зайчик ей отвечает...

— Видишь,— спрашивает цыганка,— по крапу льется вода и все короли в воде тонут?..

— Вижу,— говорит Зайчик...

— Видишь,— спрашивает цыганка,— одну руку дамы держат у сердца, а в другой белым платочком глаза утирают?..

— Вижу,— говорит Зайчик...

— Ну вот,— улыбается цыганка,— значит, ты видишь сейчас свое счастье...

— Ты, цыганка-гадалка,— говорит Зайчик обиженно,— мне плохо гадаешь: все время тебя отгадывать надо...

— Это,— улыбается Зайчику цыганка,— ты, должно быть, спросонок своего счастья не разглядел... счастливый счастья не видит! Только нищий хорошо видит суму, хотя у него и нет глаз на затылке!

— Нет,— говорит Зайчик,— видно, я без счастья родился — вижу только, как короли в воде тонут, а дамы в белые платочки плачут...

Цыганка опять взяла Зайчика за руку, смотрит на него, словно разглядывает — счастливый он или несчастный, а из глаз так и падают звезды за кофту, где дышит высокая смуглая грудь и от дыханья идет холодок и истома, какие плывут поутру, когда еще не занялась заря...

— Скажи, молодой хозяин,— спрашивает его цыганка,— что человеку всего дороже?

Зайчик посмотрел опять на карты, как короли тонут да дамы плачут в платочки, вспомнил, как дезиков порют и как не хочется всем умирать неизвестно за что, смекнул и цыганке твердо ответил:

— Жизнь!

— Ну вот,— говорит цыганка и карты рукою смешала,— догадался: тебе бы надо плавать вместе с другими, а ты вон под елью лежишь да у цыганки пытаешь судьбу...

— Вот как? — удивился Зайчик.

— Бойся, молодой хозяин,— поднялась цыганка и сунула карты за кофту,— бойся всякой воды, горькой и соленой, простой и сычёной, пуще огня: огонь тебя не тронет, а в воде, если не пожалеет судьба, и в ковшике, и в кумке, молодой хозяин, утонешь...

Сняла цыганка гитару, свернула соломенный мат,

перекинула их за плечо и, отряхнувши с пылающей юбки еловые иглы и мох, сказала:

— Прощай!

ПОСЛЕДНЯЯ ТРОЙКА

Кудай-то, в сам деле, Петр Еремеич девался...

Кто говорит, что Аксинья Егоровна в позадопрошлом году его сама удавила на лестовке в темном чулане по злости и с камнем в мешке сунула в крещенскую прорубь в Дубну, кто — по-другому: будто Петр Еремеич еще много за-раньше, весною, на Волгу повез седока и там с седоком, с тройкой последних коней и последней кибиткой посередине реки угодил в полынью и теперь на залихватской тройке катает водяного царя Вологню в перегоне от Кимры до самой Твери, а оттуда, нипочто сгоняв лошадей, значит, обратно: тешится старый мокрыга, катается с горя да скуки,— по Волге пошли пароходы, жестяные баржи с черною кровью, в рот и глаза ему гадют, спать не дают, а вода несет равнодушно и пароходное это дерьмо и по речному донцу катит песок золотой,— ну, старый мокрыжник и рад был Петру Еремеичу и подрядил его на круглое лето: у Кимры часто перевозчики в воде слышат бубенцы...

А Зайчик (как-то недавно я с ним о Петре Еремеиче вспомнил: сидели мы с ним за большой самогонной бутылью и говорили, что хороша стала теперь у нас самогонка и что за такой самогонкой хорошо посидеть и прошлое вспомнить и добрым словом его помянуть!), так Зайчик клялся, божился, что Петр Еремеич уехал на тройке...

— Уехал,— говорит,— да и только... но куда вот... Зайчик сказал, что забыл, и все водил рукой перед глазами, как будто хотел рассеять самогонный туман, туман голубой, какой стоит на лесной опушке только ранней весною: он, Петр Еремеич, будто Зайчика вместе с собою тащил, да Зайчик того побоялся, что примут за дезика и вспорют корьем.

Долго водил рукой перед глазами: есть-де, такая страна,— а какая — так и не вспомнил...

Я сначала ему не поверил, а потом, когда повернул большую бутыль вниз головкой и из нее упала на пол

слезинка, махнул тоже на этой рукой и увидел, что иначе быть не могло: Петр Еремеич поехал узнать, сплетка это иль правда и можно ль ему Аксинью в подать казне уплатить.

Хитрый мужик был Петр Еремеич, а тихой — словно теленок...

Зайчик рассказывал так.

* * *

Когда Зайчик под густою елкой проснулся или, напротив, заснул, кто его знает, потому что понять его трудно, как и что случилось с ним за эту ночь,— Зайчик, может, совсем и не спал... только рано поутру цыганка-гадалка стояла еще пред глазами, и по лесу тихим звоном звенела гитара, и за лесом тихо занималась заря...

Зайчик хотел было еще кой о чем ее расспросить, но цыганка помахала ему цветистым платочком, улыбнулась ворожейной улыбкой и развела низкие ветки рябины, словно открыла в рябиновый терем потаенную дверь...

Смотрит Зайчик, стоит возле ели рябина, на ней такие же листья, такого же цвета, как кофта с цветами и юбка с разводом, в которых цыганка была, и тянет рябина ему тонкую ветку, и в ветке, похожей на шитый рукав от рубашки, рдеет спелая красная кисть.

Зайчик съел эту кисть, на зарю покрестился и пошел снова по лесу бродить...

Чувствует Зайчик себя бодрым, веселым, счастливым, идет он по лесу, как по церкви жених в ожиданьё приезда невесты, и весело думать ему, что просыпаются птицы, что пробуждается жизнь, что теперь уж где-то далеко за рощей гитара цыганки звенит: то ли летят журавли, растянувшись отлетною лентой, то ли гуси гогочут с болота, спустившись покормиться в дороге на скорую руку, то ли за рощей серебряно звенит колокольчик — не поймешь, да и понимать было не надо...

Зайчик вышел на большую дорогу и пошел на зарю.

Тут-то вот Петр Еремеич его и нагнал:

— Мир доро́гой, лесной человек,— кричит Петр Еремеич,— сторонись, задавлю-у!

— Мир доро́гой, Петр Еремеич,— Зайчик ему отвечает.

— Куда собрался по рани такой? — спрашивает его ямщик, осадив лошадей и натянувши ременные струны.

— Да так вот: гуляю по лесу...

— Ну, если прогулкой — садись!..

Петр Еремеич протянул Зайчику руку, чтоб Зайчик в кибитку взобрался,— Зайчик в кибитку вскочил: задымились хвосты у пристяжек, запел и заплакал в голубином клюву дуговой колокольчик, прощаясь навеки, должно быть, с родной стороной, и Зайчик, еле держась за бока у кибитки, глядит, как Петр Еремеич перебирает ременные струны, слушает, как поют под рукой у него волшебные гусли, как под старинные гусли Петр Еремеич ведет разговор...

— Уезжаю совсем, Миколаша...

— Что ты, Петр Еремеич?..

— Вчера в село прислали гумагу: немедля представить в Чагодуй лошадей, несмотря что кобыла, что мерин...

— Значит, на хронте квасы...

— Известно...

— Гибнем, Петр Еремеич...

— Известно, а лошади при чем при всем этом?

— На лошадях скорей убежишь...

— Нет, нет уж: лучше я на край света с лошадьми убегу...

— Знаешь, дезиков порют... корьем...

— Животину последнюю дать со двора?.. Эх, Миколаша, так ли нас пороли отцы — не страшно!..

Петр Еремеич отвернулся от Зайчика, прошелся слегка кнутом по лошадиным хребтам и, вытянув руки, напружил в руках ременные струны...

Запели старинные гусли, закружились столетние сосны, взлохматив зеленые патлы, закружились столетние ели, завихрив зеленый пробор...

Будто это в хороводе кружатся парни и девки, справляя осенний праздник-отжинки, и парни бросают в девок еловые шишки: дескать, знай, с кем дело имеешь, и девки от парней зеленым платочком закрывают лицо, а солнце на девок и парней из-за леса катит большое колесо и косы и кудри им золотит.

Смотрит Зайчик Петру Еремеичу в спину, слушает, как

Петр Еремеич поет на широком облучке, как ему лесной хоровод подпевает, и рад бы Зайчик вместе с ними запеть под трехконные гусли, с расписною дугой: на дуге воркуют два голубка, как живые, дуговое кольчико держат, куда повод продет и колокольцы разных голосов подобраны... да утренняя сладкая дрема зажала Зайчику рот и нежной истомной рукой повела по глазам...

* * *

Мчитесь же, кони гривастые!..

Мчитесь же с ветром и ветра быстрее уносите кибитку и сами спешите укрыться от пометки каленым железом в чагодуйском приказе, от которой потом никуда не укрыться, так и издохнете в дышлах, катая по бездорожному полю солдатскую смерть...

Не клином сошлась в этом приказе земля...

За высокой горою, где солнце под вечер заходит, где солнце всходит поутру, лежит блаженная разголубая страна...

В этой стране нет лиходейства и злобы, коней там седлают только на пашню, да только когда едут в гости друг к другу, ни кнутом по голове их не бьют, ни по глазам кулаком...

Ни темниц, ни острогов там нет, и одна есть только темница в самом сердце страны, а под темницей есть подземелье, и в том подземелье томится колодница-смерть...

Потому-то там живет человек и никак-то нажиться не может...

Живешь хоть бы ты сто лет — мало...

Стоят там мужицкие избы на берегу у самой реки, а в реке струится живая вода: окунешься поутру в нее, идя на покос,— и снова опять молодой.

Царя у них нет, царицы век не бывало, пастух там выше министра, церкви там строят лишь для того, чтоб в них запирать молодых на первую ночь, оттого приплод здоровей и красивей, а если кто хочет молиться и душу в молитве излить — для того за околицей лес, над лесом зеленый купол, по лесу лиственный звон и постлан под ноги ради молитвы мшистый узорный подрушник.

Налогов, поборов — спокон ни полушки...

Только и есть всего одна подать, в Успенье, после отжинок от каждой деревни в казну забирают по бабе иль девке...

Для чего — неизвестно...

Вот только трудно проехать туда и пройти...

Ни проходу туда пешеходу, ни проезду туда ямщику!..

Стоит та страна за горой, на гору до самых бровей нахлобучена белая шапка, под шапкой большой великан, у великана в руках молния-пика, на груди золотой щит горит, как огневая заря, крепок сон его и тяжка походка, под чугунной ступней из земли выбивает потоком вода, великан черпает холодную воду сонной рукой и осыпает вниз мелким, звонким дождем, а чуть шевельнется или поворотится во сне с боку на бок, десятипудовые камни посыпятся словно щебенка и ринется меж камней водопад: не вздумай в неуказанный час подойти и поискать пути иль путинки и нарушить его величавый покой...

Раз только в год, когда у нас к концу подходят Петровки и мужики выходят траву делить на покос, ихний народ в большой горе открывает золотые ворота — ну, тогда въезжай, если хочешь...

Только не забудь перед этим со всеми проститься: тебя будут гнать, а ты сам не пойдешь, потому что живут мужики в этой стране и никак-то нажиться не могут...

* * *

...Так Зайчик-мечтун рассказывал мне за самогонной бутылью, до слез уверял, что все это видел и слышал, и я бы его огорчил и обидел, если б тогда не поверил ему, почему и всем нам теперь лучше поверить, хоть Зайчик в самом-то деле, верно, всю дорогу проспал, качаясь в Петровой кибитке, и проснулся только, может, в Чагодуе на постоялом дворе, за которым дымил паровоз, фукал, пугая свиней, и переставлял с места на место, казалось, без цели, так, от нечего делать, вагоны.

Глава пятая
БОЛОТНОЕ МАРЕВО
ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

В Чагодуе был сегодня базар, и вдоль коновязи у трактира Ивана Иваныча Петухова, густо набившись, стояли телеги и дроги, задравши высоко к небу оглобли, в передках лошади сено смачно жевали, а в трактире слышались ругань и брань, и из форточки клубом валил серый, густой, как снятая сметана, смешанный с махорочным дымом пар, и в пару разгульная песня:

Ах, мне не надо бы коровы с молоком,
Эх, лучше дай-ка мне кисет с табаком...

— Пойдем, Миколаша,— тычет кнутом Петр Еремеич в трактир,— небось чайком угостишь...

— Пойдем, половинку раздавим,— Зайчик ему говорит...

— Дело, у Петуха хороша самогонка... Два раза водили в тюрьму, да за эту водичку не толь из тюрьмы — с того свету отпустят...

Вошел Петр Еремеич в трактир, Зайчик за ним, кнут у Петра закинут за пояс.

Народу в трактире — со всех волостей.

Каждый привел свою лошадь, ждут в трактире приемки и заранее с горя, что не на чем будет скоро пахать, хлещут огонь-самогон, вытирая губы сермяжной полой, крестясь над полным стаканом, как будто каждый боится в нем утонуть, а опрокинув, ставит на стол с такой распрокудытвою бранью, от которой в тоске замирает душа.

Сел Зайчик за стол с Петром Еремеичем, смотрит вокруг на неприветные лица, и хочется тоже ему скорей стакан запрокинуть, залить сверху сердечный огонь огневым самогоном, вздохнуть полною грудью за тяжкой стаканной работой и на всех поглядеть сквозь туман, чтобы лучше услышать — с трезвым в трактире у нас и говорить не будут: наверно-де жулик иль барин...

— Ну, как, Еремеич: всю тройку, видно, привел? — спрашивает косоротый мужик.— По первой, наверно, пойдут...

— Откуплюсь,— отвечает Петр Еремеич,— на чем же земский будет кататься?..

— Что говорить, вот наше-то дело.

— Забирайся на бабу...

— Гы...

— Ляжку в запряжку, плешку в тележку, ну, и поезжай с богом: меньше корму уйдет...

— Гы...

Половой принес чашки, два чайника на широком подносе, играя ими на скором ходу, будто хотелось бы их уронить, да никак не уронишь, в одном чайнике чай, в другом — самогон чайного цвета, заправленный нюхательным табаком, чтоб больше на чай походил, глаза отводил, на сторону гляделки заворачивал и доходил скорее до дела. Зайчик налил стакан под полой, поставил под стол между сапогов, Петру Еремеичу стакан под полу сунул, а в чашки разлил из другого чайника чай и сунул для виду в чашку баранку...

— Ты, Еремеич, сидишь с их блавародьем,— начал косоротый мужик,— будь другом, спроси, правда ль, что немец уделал коня из железа с стальными ногами?..

— Верно,— поспешил Петр Еремеич ответить...

— А верно ль, что дым у него идет из ушей и от дыму энтого наш брат аж валится с ног?..

— В точности,— говорит Петр Еремеич,— из ноздри пышет огонь, и копытом он на пол-аршина в землю уходит...

— Ну, коли так, к чему же наши буланки...

— Наши буланки пойдут на баранки...

Зайчик опрокинул в глотку стакан, то же сделал Петр Еремеич, в глазах у Зайчика все завертелось, и косоротый мужик будто сел кверху ногами и глядит на него сапогом...

— Хочется мне еще вас спросить: быдто немец жгет такую траву, и от этого травного дыму в этом месте трава не растет...

— От этого дыму у лошадей сходят копыта... а у людей отпадают носы!

— Ну и вот, как же тут воевать, коль воюет с тобою сам девятый дьявол?

— Не девятый дьявол, а полуднённый черт.

— Это то же на то же.

— Бес... из полуденной страны! Наши-то бесы — ночные!

— Нашему бесу только бы бегать по лесу!

— Все это правда,— Зайчик обоим им говорит,— только не это обидно, и не оттого люди заходятся страхом...

— Известно, первое дело, что страх!

— Страшно всем оттого, что друг друга не видим... У смерти руки больно, брат ты мой, отросли: до нее, глядишь, надо полдня бы идти, а она хвать тебя верст из-за тридцать и отпевать попу ничего не оставит.

— Не спишь, да выспишь, дело выходит!

— Перед глазами нет никого... С глазу-то на глаз можно скорей помириться... Когда не видишь, кого ты убил, становится страшно: повадится он во сне приходить, и его ничем не прогонишь. Так ведь и до веревки недолго...

— Правильна речь,— говорит косоротый мужик.

* * *

За прилавком стоит Петухов, хозяин заботливый, скорый на руку и счет, рядом жена, опаристая, грузная баба, с двойным подбородком и лицом, как прижаристый блин, а за ними низкорослая дочка на полку чашки, чайники ставит в порядок, в одну сторону ставит, с другой — половым подает, задевши щепотку из банки с чайной трухой,— дочка, значит, ворочает всею посудой, мать режет хлеб и колбасу, а сам Иван Петухов,— строгий, с достоинством в каждом движении, с разглаженной лампадным маслом скобой, с руками на счетах, где так и заскачут костяшки,— дивиться надо такому проворству, с которым денежка к денежке льнет.

Звенят по прилавку пятаки и семитки, как листочки с высокого древа, что за Петуховым, как живое, стоит на картинке, на которой выписаны славянскою вязью: направо на каждом суку — добродетель, налево — порок, а под древом будто сам Петухов идет со своей грузной, семипудной супругой, за ними цепочкой, мал мала меньше, по возрасту дети, и у всех под ногами у них не земля, а пушистый облак постлан цветным ковром на ступени.

Сидят мужики в Петуховом трактире, от шуб их пахнет свежей овчиной, крепким дегтем от сапогов, ото всех вмес-

те здоровьем и несметной силой, висит махорочный дым над головами, как полог, и под пологом, как ангелы божьи, в белых рубахах, в белых портках, с белой салфеткой под мышкой, как белое вскрылье зажато под руку, с большим за поясом кошелем из белой бумаги — как ангелы божьи, вихрем носятся шестерки с лицами радостными, приветливыми, разобьется каждый в лепешку, только б тебе угодить.

Мужики ж, как, положим, и все, угождение любят, а видят его только в трактире...

* * *

Зайчик налил еще по стакану, выпил и только успел поморщиться да губы смахнуть рукавом, глядит — навалилась на Петра Еремеича высокая жердь, одетая в рясу, с козлиной рыжей бородкой и с рыжей гривой на самом верху.

— Дружище мой, Петр Еремеич...

— Садись, садись, отец дьякон... садись, еретик!

— Не сам ли сице, еретице!

Дьякон боком оглянул Зайчика, и брови взметнулись у него на дыбы:

— Воину!..

Дьякон протянул Зайчику тощую руку, зажал его руку в руке, как в клещах, несмотря что такая худая, рясную полу откинул и сел...

— Не осудите, господин офицер, сказано ибо: да не осудимы будете...

— Ты, отец, уж того?..

— С утра... Старшина угощал...

— У него седни как праздник...

— Лошадиный молебен...

— Выпьете, отец дьякон? — Зайчик робко спросил.

— Почту...

Зайчик мигнул половому на чайник, половой чайник схватил на бегу, держась на носочках, исчез, как видение, и скоро опять около вырос, под мышкой с белым крылом, и слегка приподнял на чайнике крышку, показать, далеко ли влага от горла и сколько, значит, вошло: до горла — бутылка, вровень же с крышкою — две...

— Не заглядывай, братец, кобыле под хвост,— говорит шестерке Петр Еремеич,— не равно только сглазишь!..

Половой махнул белым крылом и растаял в широкой улыбке.

— Миколаша, разлей...

— Гы... Гы... Еремеич сумеет сказать!..

Зайчик налил стаканы, сначала дьякону подал, потом Петру Еремеичу, потом налил себе и тут же стакан опрокинул.

Дьякон держит стакан в тощей руке, смотрит на Зайчика и, пригубив немного, говорит:

— А я к вам специально сряжался: побалакать... Люблю!

Зайчик вспомнил телегу, свинью с длинным хвостом, Пелагею и не мог решить, что сейчас-то он грезит и дьякона видит во сне иль и впрямь они пьют самогонку и Петр Еремеич рядом сидит и осовелыми водит глазами...

— Мне надо бы многое вам рассказать... мы хотя и не очень знакомы, а все же...

— Полно, дьякон,— говорит Петр Еремеич,— рассказывать, пей!..

Дьякон глаза закатил, бороду поднял, ус в стакан окунул и потянул по глоточку, как лошадь пьет холодную воду...

— Славна-а-а... ну, так вот, Петр Еремеич, друг закадычный, теперь у нас все пойдет по-другому...

— Будет все то же...

— Знаешь, Петр Еремеич, я ведь в Питер собрался...

— Как же тебя сама-то пустила?..

— Убежал!..

— Почто тебя гонят?..

— Как же, брат мой: хочу расстригаться...

— Нно-о-о?..

— Не верю... Вы, господин офицер, отсюда куда?..

— Да тоже туда же...

— Миколаша, не брешь... Ты ведь прогулкой!

— Ну, значит, вместях и поедем.

Зайчик сидит неприкаянный, не может он глаз с дьякона с Николы-на-Ходче отвесть, есть у него тоже кой о чем его расспросить: про крест водосвятный, правда ль, тогда он в Чертухине был, и почему потом не заехал,

как о том с черной телеги кричал, и почему сейчас дьякон в Питер собрался...

Снилось, дескать, али не снилось?

— Поеду к царю,— говорит дьякон,— скажу, что в бога больше не верю...

— Он те за косы повесит...

— Не повесит: я ему докажу...

— Чего тут доказывать, пей!..

— Пью, господин офицер, за ваше здоровье...

— И я за твое, Миколаша...

Выпили: дьякон, как — лошадь холодную воду; залпом — Петр Еремеич и Зайчик.

— Хороша! — крякнул Петр Еремеич.

Дьякон отвесил губу:

— Так вот, Петр Еремеич, поеду к царю и скажу: ваше величество, в бога не верю...

— Экая невидаль,— Петр Еремеич, смеясь, говорит,— да разве это стать важно: веришь ты или не веришь?..

— Я рясу ношу, мне это важно...

— Рясу ты можешь носить и в бога не верить: ты, дьякон, не знаешь писания... что про последние дни в писании сказано?..

— Это ты, Петр Еремеич, насчет премудрости, что ли, завернул?..

— Хошь бы да, что... не поймешь?.. А ведь сказано, поди, ясно...

— Как же: отдаст господь премудрость свою в руци человеци...

Дьякон пробасил и руки поднял, словно держит апостола, а не самогонный стакан...

— Да, дьякон, в последние веки... а дальше-то, дальше сказано что?..

Дьякон приставил палец ко лбу:

— Дальше — не знаю...

— Ну вот... а дальше все и понятно...

— Что дальше, Петр Еремеич? — Зайчик впился в ямщика...

— Дальше: господь отринет лицо свое от земли и забудет о ней навсегда... а ты говоришь, дьякон, важная стать: веришь ты или не веришь...

— Мудрено, Петр Еремеич, что-то выходит...

— Ничего и мудреного нет: бог в нас с тобой, дьякон, больше не верит...

— Тэк-с...

— Надо, дьякон, чтоб бог верил в людей, а люди могут в вере блудить сколь им угодно...

— Это, значит, ихнее дело,— вставил косоротый мужик.

— Заворотил,— говорит дьякон,— тут не разберешься без новой бутылки...

— Петр Еремеич уж скажет,— хмыкнул косоротый мужик.

— Лешего встренешь в наше время в лесу?..— подмигнул дьякону Петр Еремеич.

Дьякон подумал:

— Пожалуй, что нет...

— Ну и вот: все отчего?..

— А от чего бы это... в сам деле?..

— Человек на горке, а леший внизу, а человек взял да и перестал в лешего верить...

— Ну?..

— Ну, леший и скис, как мухомор от теплой погоды: теперь что леший, что болотная кочка, у него целый день на спине просидишь, не сведаешь...

— Значит, точка!

— Вот, дьякон, и выходит: вера — единый исток дыхания и жизни здесь, на земле, оттого и не падает волос без веры, а жизнь, сила земли, стекает сверху вниз по ступенькам...

— Тебе бы, Петр Еремеич, в попы,— говорит косоротый мужик.

— Хороший бы был протопоп,— оскалил хайло рыжий дьякон.

— Езжай-ка, дьякон, к царю, он те под рясой крапивой нажгет...

— И поеду... Вместе с господином офицером поеду... Дойду до царя, потому больше нету моего терпежу: дьякон — и в бога не верю...

— Да, это правильно: дьякон без веры как мужик без порток...

— Дык, Петр Еремеич, друг закадычный, как же тут быть?.. Ты подумай...

— Запьешь от горюхи...

— И то уж пью, сколько кто поднесет...

Дьякон уронил рыжую голову, потянулся в карман за красным платком, у Зайчика сами дрогнули губы, а Петр Еремеич подставил стакан под дьяконов нос и сказал:

— Причастись!

* * *

В это самое время часто зазвонили к обедне в чагодуйском соборе, колокола так и залились с высокой колокольни, словно в припляску: веселый был в Чагодуе звонарь.

Мужики порасправили бороды, кой-кто на лоб крест положил.

Иван Петухов на табуретке поднялся в угол прилавка и, с широким крестом во все брюхо и плечи, оправил большую лампадку, остриг фитиль в поплавке, и по трактиру пошел, пробираясь золотистым лучом под махорочным дымом, тихий и ласковый свет.

Колокола заходились все чаще и чаще, все быстрее струилась колокольная дробь, и когда Зайчик выходил с дьяконом из трактира, то показалось обоим, что так уж это и надо теперь, чтобы пьяный в доску мужик в лад колокольному звону застучал каблуком и заорал во всю глотку:

Ни в бору соловушка!..
Ни в дому золовушка!..
По колено кровушка!..
Пропадай-ай, головушка!

Стоит Зайчик с дьяконом возле Петровой кибитки, а Петр Еремеич оправляет своих лошадей, снимает с них овсяные мешки, поправляет шлеи и уздечки, хомуты стягивает супонью, упершись левой ногой...

Кони уши подняли, глазами уставились в купол, где галки собрались грачей провожать, откуда льется такой развеселый перезвон колоколов, от которых, кажется, сами так вот и ходят копыта...

В дуге шевельнул языком колоколец, пробуя голос в дорогу, с ошейника брызнули бубенцы, когда головой мотнул коренной...

Дьякон подошел к Петру Еремеичу и тихо спросил:

— Куда теперь, Петр Еремеич?

— И сам, брат ты мой, не знаю... Поеду куда глаза поглядят...

— Ну, значит, пути да дорожки...

— Спасибо, простая душа... А ты, Миколаша, трогай домой, поклон передай и Аксинье скажи, что вернусь, наверно, со снегом... на мерине пегом!

— Уж не дралка́ ли, Еремеич, хочешь задать? — Дьякон уперся длинными руками в колешки.

— Мудреного нет ничего... Ты, Миколаша, Аксинье непременно скажись!

— Хорошо, Петр Еремеич: Аксинье сказать, чтоб тебя дожидалась!

— Пускай, да не больно, а то одолеет в дороге икота... Ты, самое главное, дьякон, запомни: коль нет царя в голове, так незачем ехать к царю! Не поминайте по лиху...

Петр Еремеич коренному всадил сразу кнута, пристяжки вошли в хомуты, дуга голубками вспорхнула, заплакал под ней колокольчик, и скоро колеса пропали, завернулась чагодуйской пылью кибитка, и только за пылью Петр Еремеич издали машет кнутом, будто кнутом им кажет на солнце.

Зайчик и дьякон с Николы-на-Ходче смотрят вслед Петру Еремеичу и не могут сказать друг другу ни слова...

ГОРОД ЧАГОДУЙ

Город наш Чагодуй в губернии самый старинный.

В чагодуйском соборе, в главном престоле, под большою плитой упрятан золоченый сундук, в том сундуке лежат вот уж какую сотню годов на серых коряблых листах славянские записи, сделанные кем и когда — неизвестно.

Говорится в этой летописи больше о вере, о том, что есть истинный бог, и как можно найти о том откровенье, какой человек больше богу угоден и сколь ненавистны богу попы. Писал их, эти записи, верно, заядлый раскольник, сектант и смутивец, которых в старое время было столько в нашей округе, сколько в лесу теперь не осталось волков.

О вере судить по нашему времени трудно.

Только известно, конечно, не без причины и простой народ их любит не больно, каждый мужик ждет, что непременно обломится ось, если увидит, что ряса переплыла дорогу... По сей-то причине наши попы, напавши на эту летописную запись, конечно, сразу ее сначала в поповский бездонный карман, а потом, дабы сектанты опять не украли, подняли плиту в соборном престоле, вырыли вроде могилы, сделали гроб золотой, в гроб положили коряблую книгу и навеки ее там погребли.

А имя сей книге: «Златые Уста»!

Об этом знают во всем Чагодуе два-три старожила, и даже теперешний соборный наш протопоп об этом, наверно, не знает, потому что приехал недавно совсем в Чагодуй и с низшим священством кумовства и знакомства не водит...

Ну, да потом обомнется, не обомнется, так обомнут...

Это не старое время — бить попов крестом по башке, как это случалось со старым владыкой, который, к слову сказать, хоть и был злее черта, а дьякона с Николы-на-Ходче очень любил за худобу и смиренье.

Так вот в этой-то книге, которая тайно лежит в гробу в чагодуйском соборе, и есть указанья, при ком и когда был заложен наш Чагодуй, и по этой записи в книге будто так все выходит.

Когда татарский хан Манамай уводил свое войско с Руси, Русь покоривши, напала на это Манамаево войско в том месте, где теперь стоит Чагодуй, от комаров ли болотных иль по какой другой неизвестной причине, сначала большая дремота, потом и слепота, которая в наших местах зовется куриной и бывает от самых разных причин, в последние ж годы все больше по причине плохой самогонки и от употребленья в питье сапожной политуры и лака.

Конечно, в те времена политуры и в заводу не бывало, мужики ходили в лаптях, а куриная слепота, должно быть, была в наши болота послана произволеньем, дабы не ушел Манамай живым в свою манамайскую землю и не увел с собой наших девок и баб.

Бабы и девки за косы связаны были и шли позади всего войска, уставши плакать и богу молиться.

Вот татарье как ввалилось в наши болота, зацепили они в свои чувяки болотной воды, тут и заночевали на горке, где теперь построен собор и в соборе под плитой лежит чудесная книга.

«Златые Уста»!

Сначала они задремали и сами мало тому удивились, задремали с устатку да горя и бабы и девки, а поутру бабы и девки проснулись как ни в чем не бывало, а Манамай как вышел из шелковой с золотой макушкой палатки, так и схватился сначала за бритую голову, а потом за широкие из поповской парчовой ризы штаны...

Глядит Манамай, что войско его, знать, с ума посходило: стоят друг против дружки, на глазах у всех висит куриная пенка, видно, хорошо и не видят друг друга, а тузят по чем ни попало...

— Чаго дуешь? Кого дуешь? — кричит им Манамай...

А они знай свое, дураки!.. Тартарьё!..

Бабы и девки стоят позади, не плачут и не смеются, да и не до смеху: понять ничего не поймут и только разинули рты, как вороны в жару...

Бросился Манамай разнимать, а войско и его под микитки, никто ничего ведь не видит.

Глядят наши бабы и девки: куча мала!

Манамай лежит поверх кучи, чуб у него оторвали от плеши, и он висит на одной волосинке, во рту желтая глина набита, а на парчовых портках ходят друг вокруг друга, воркуют десять голубых голубиц, в клювах держат зеленые ветви в знак, что кончилось на Руси татарское иго и наступил в родной стороне мир и покой,— Манамай, значит, несудо́мой, песьей смертью издох, а рисунки на рясной парче, из которой Манамай сшил себе в похвальбу шаровары, как знак воскресенья — ожили... явленно, в крови и плоти!

Распутали бабы и девки косы друг другу, и кто пошел по домам, кто не хотел уходить от чудесного места, под сердцем тая тяжкий поминок татарского плена, который уже шевелился в утробе и крепко сжимал кулачки...

Заплакали бабы и девки от горя и радости вместе, от горя, что народят они теперь злых татарчат, от радости, что, может, удадутся по матери, что, может, от материнской слезы злючая чужая кровь с лица у младен-

ца еще в утробе сойдет, сотрет всякую память и след.

Проплакали бабы и девки до самого вечера, к вечеру стеклись бабьи да девичьи слезы по горке вниз, собрались они в пробоине, где шло тартарское войско, где колеса глубокую колею проложили, и потекли на дубенские поймы быстрою речкой.

Думали-думали бабы и девки, да, подумавши, и остались на этом месте родить, сначала настроили хат — получилась деревня, потом дальше да больше, пришли навестить мужики, стало большое село...

Так-то год за год и вырос наш город, по прозванью Чагодуй, на малой реке Чагодуйке.

* * *

Так дьякон с Николы-на-Ходче рассказывал Зайчику историю знаменитого города Чагодуя (в какой он губернии, можешь и сам догадаться) и ворочал во рту хмельным языком, как пастух кнутом по болоту.

Зайчик шел с дьяконом рядом, немного, как и дьякон, шатаясь, думал, слушая этот рассказ, что потому-то, должно быть, так и похожи на старых старух убогие избы на том берегу Чагодуйки, что когда поглядишь на чагодуйских мальчишек, засмотришься в раскосые в щелку глаза, так подуматься может само, что пробежал мимо тебя татарчонок, да и сам подойдешь и лишний раз взглянешь на себя в Чагодуйкину воду, как в тартарары: не тартаринов ли лик выглянет там из воды,— шел так Зайчик и думал, а дьякон держал его за рукав и громко икал...

— Где теперь, отец дьякон, Андрей Емельяныч, ведь книгу попы у него отобрали?..

— Цыганы убили: тогда я самолично видел, как его лупцевали!

— Хороший был человек...

— Разбойник: за бога зарежет... К тому же лошадьми торговал!

— У всякого свое пристрастие есть!

— Лошадь уж известное дело: она и во сне-то приснится, так означает по Соннику: ложь!

— Не дело, дьякон, городишь...

— Не люблю я сталоверов пуще всего... кичливы они и жестоки... Уж и это не вера: попом может быть любая Матрена, а молятся богу в исподнем...

— Адам нагишом богу молился... исподнее наше — адамовы листья после грехопаденья...

— То-то и дело: Адам! В нем вся закорючка: первородный грешок — от него же не спрячешься ни в куль ни в мешок!

— Охальник ты, дьякон!

— После того как Адам повалился на Еву, можно что угодно вертеть: все будет одинаково ложно!

— Охан!

— Так и этак: все равно — что дерево, что бревно!

— Дьякон!

— Вся и заповедь нового века: хлеб в поте лица для честного человека, но не для подлеца!

— Да, отец дьякон,— говорит Зайчик с пьяной улыбкой,— тебе непременно надо ехать к царю!

— Дык подумай: говорил же Петр Еремеич, что бог от земли отвернул ухо, значит, человек живет в брюхо, для чего ж тогда церковь, дьяконский чин и молебны?

— Церковь как птица: она колоколами поет!..

* * *

Высоко над соборным крестом серебристо всполохнулась голубиная стая.

На соборной колокольне звонарь ударил достойну, залепетали язычками на тонкой веревке в веселых руках малые колокола, как мелкие пташки на смородиновом кустике, трепеща в своем птичьем беззаботном восторге легкими крылышками, а над ними, как вспуганный с вековой сосны сыч-ухач, высоко плывет и ширяет трехсотпудовыми крыльями самый набольший колокол, у которого выше дьякона ростом язык...

Дьякон снял широкую шляпу, остановился и Зайчика остановил и положил три поясных поклона на церковь, откуда понемногу народ выходил; мужиков было мало, больше сидели они по трактирам, подальше от городовых и начальства, привыкши два дела вместе не путать: сегодня прием лошадей, никакая молитва в башку не поле-

зет, а стоять остолопом мужик и в церкви не любит...

— Отец дьякон, ты ведь в бога не веришь?..

— Это я для отводу... Знаешь, как колдуны отводят глаза?!

Дьякон поглядел на Зайчика прищуренным глазом, вспыхнул в рыжей тощей бородке румянец, и ясней на носу стали синие нитки, потом дьякон, как будто что теперь вспоминая, провел рукой по высокому лбу и рыжую гриву прижал на затылке. Зайчику померещились у самого лба два черных тонких рожка, как у молодого барашка...

Вдруг дьякон с испугом назад оглянулся, шляпу сунул в карман, полы у рясы в обе руки подобрал, как это делают только купчихи, когда из церкви выходят в дурную погоду, и, не протянувши Зайчику пальца, пустился по рынку бежать...

Мужики стоят у возов и гогочут:

— Дьякон-то запил опять... Гусар!..

Около соборной ограды остановилась телега, запряженная в бурую в черных пятнах кобылу, с телеги с завороченной юбкой на спину, чтоб не запачкать лица у нового платья в телеге, вылезает дьяконица, ищет кого-то глазами, полными слез, но ничего уж, видно, не видит, кроме оглобель, вздернутых кверху, да гогочущих возле них мужиков:

— Гуса-ар!

Смотрит и Зайчик, что дьякон с Николы-на-Ходче так быстро куда-то пропал, что только и можно подумать, принявши в соображение дьяконов рост и непомерную его худобу: «Не обратился ль дьякон с Николы-на-Ходче в одну из этих тележных оглобель, чтоб избежать на людях встречи с супругой?..»

ВОЕННЫЙ ДОКТОР

Зайчику стало тоскливо и грустно: Петр Еремеич уехал на тройке, дьякон бесследно пропал, остался Зайчик один. Знакомых в городе, может, и встретишь, да это не так уж и нужно.

Самогонный хмель то в голову выше и выше всходил, ударяя в виски молоточком, то в ноги вливался, и по ногам

тогда кто-то водил горячей рукой, и они немного косились и неровно ставили след. Присевши на толстую тумбу возле соборной ограды, долго думал Зайчик, куда бы пойти полежать, да так и не пришел ни к какому решенью, пока над самой, показалось ему, головой не ударил с размаху сорокапудовый язык в колокольное брюхо, разломив его пополам тягучим, из самой чугунной утробы хлынувшим звоном.

Из собора народ повалил в обои ворота ограды...

Смотрит Зайчик на пеструю, разноголовую ленту, которая вьется на Миллионную улицу, всматривается в лица чагодуйских франтих и мещанок и не может никак двинуться с места, ни головы в другой бок отвернуть, ни оторваться глазами...

Мимо него проходят, жеманясь, девицы, дочки первогильдейских купцов и заправил, улыбаются, чуть повернувшись,— молодой да красивый такой хронтовой офицер!

Долго стоял так Зайчик, как в забытьи, хорошо было ему смотреть на девичьи улыбки, на круглые, румяные щеки и тоже украдкой заглядывать в синие омуты глаз...

Вышел из церкви почти весь народ, и Зайчик уж было с тумбы поднялся, но как раз в то же время поплыл из оградных ворот молодой протопоп, прощаясь с какой-то молодой и очень богато одетою дамой.

Невдалеке стоял кучер, держа под уздцы пару заводских полукровок. Кучер увидал богатую даму, должно быть хозяйку, на козлы вскочил, уселся на них поскладнее и чуть-чуть тронул вожжами.

Дама подобрала немного подол от шелковой юбки и зашумела шелком на ходу, направляясь к пролетке.

Зайчик так и вцепился глазами.

Может, она, а может, он это грезит иль все ему видится спьяна.

Хмеля, однако, как не бывало.

В голове далеко все и отчетливо видно, как в протертом на Пасху окне. Только сердце стучит в груди большим молотком и кровь ударяет в виски, на минутку скрывая все пред глазами.

Дама поравнялась с тумбой, на которой Зайчик сидел, на пути ей встала телега, навитая сеном, мужики никак не могли протолкнуть телегу ни взад ни вперед, лошаденка

выбивалась из сил, тужась вытянуть воз из большой колен в мостовой.

На минуту дама уставилась в испуганные глаза лошаденки, потом, решивши кругом ее обойти у ограды, попала Зайчику прямо с глазу на глаз.

— Клаша! — тихо окликнул Зайчик ее.

Клаша вздрогнула вся, бессильно расставила руки, уронивши подол синей шелковой юбки, как будто хотела что-то схватить и поймать, но в глазах вдруг у нее потемнело, она схватилась рукой за глаза и, не сказавши ни слова, только тихо и глубоко вздохнув, как вздыхает человек перед легкою смертью, повалилась на конский помет и объедки от сена, лежавшие у соборной коновязи сухою и мягкою горкой...

* * *

...Довез Зайчик Клашу в пролетке до загородного Колыгина дома, стоявшего неподалеку за вокзалом в березовой роще на самом берегу Чагодуйки, и хотел было уйти незаметно, когда кучер осадил лошадей у большого крыльца.

Всю дорогу, как Клаша лежала в легком полузабытьи у него на плече, Зайчик смотрел ей в лицо, любовался каждой чертою и складкой, словно хотелось запомнить получше каждую мелочь, чтоб вспоминать и как живой в воспоминанье потом любоваться...

Клаша была, как и три года назад, так же худа, бледнолица, только будто еще тоньше и изогнутей стала золотистая бровь, как только что народившийся месяц. У прнустных ямок поместились две горькие складки, да на лбу чуть заметно провела лихая присуха небольшие, едва заметные, как жилки в кленовых листочках, морщинки.

Смотрит Зайчик в лицо своей Клаше и только теперь вот понял, сколько он с ним потерял в своей жизни, чего ему никогда не вернуть, чего и слабого повторенья нигде никогда не найти...

— Все было так, как должно было быть и не могло по-иному случиться...

Сложил он с плеча Клашину голову, хотел занести левую ногу на приступок пролетки, чтоб ускользнуть

незаметно перед домом, откуда, он ожидал, должен сейчас выскочить Клашин муж, свекор Клашин, которого Зайчик больше всего ненавидел на свете: перед войной скупил он за гроши остаток чертухинской рощи на свод, в которой Зайчик родился, в которой Зайчик с Клашей гулял и так и не мог по робости странной, слишком влюбленной души в свое время ни до чего догуляться.

Пришел чужой человек, запрятал Зайчиково счастье в карман, без вздохов, без томительных лунных ночей схвативши сразу в охапку его, а Зайчик боялся и пальцем до него дотронуться, как будто страшился, что пропадет оно от одного прикосновенья.

— А вот ведь, пропало!

— Не уходи,— Клаша ему говорит,— проведи меня, Коленька, в дом!

Зайчик снял Клашу с пролетки и как перышко внес на крыльцо, вошли они по лестнице в дом, у окна сидела старая няня, а по большому залу бегали два карапуза и в прятки играли... Увидевши мать, они подбежали и нежно прижались к ногам, глядя на Зайчика исподлобья, боясь и смущаясь незнакомого дяди.

— Ну, няня,— сказала Клаша, показывая на Зайчика ручкой,— если б не доктор, не знаю, что б со мною и было: глаза помутились...

— Ах, барыня милая, третий месяц самый тяжелый...

— Вы, няня, детей ко мне не пускайте, а если кто спрашивать будет, скажите: больна...

— Хорошо, барыня милая, ладно...

— У нас, доктор,— сказала Клаша Зайчику очень устало,— все в доме в разъезде... Пойдемте ко мне, я боюсь за здоровье...

Зайчик стоял серьезный и тихий и мало что понимал из того, о чем Клаша с няней своей говорила, и, только когда Клаша ему указала на лестницу, идущую в мезонин, он стронулся с места и пошел впереди Клаши.

Клаша на середине лестницы обернулась и сказала заботливо няне:

— Ты, няня, пожалуйста, не беспокойся: я за доктором сама двери закрою...

— Слушаю, барыня милая, ладно...

Прошелестела Клашина юбка, сделалось от этого

шелеста в комнате тише и в окнах синей, остался на лестнице тонкий запах духов, и няня думает про себя, что-то, де, доктор очень уж молод, да как-то смотрит чудно, как осовелый, и не скажет даже ни слова: видно, теперь за войну все изменилось,— у докторов, бывало, всегда небольшое брюшко, голос вкрадчивый, руки в перчатках и в руках наготове черная дудка, а тут только под носом черно, вроде как кто сажей намазал, шинель как у солдата, только на плечах какие-то палочки вдоль и поперек — всего и отличия.

Задумалась няня, на лестницу смотрит, понять ничего не поймет, но ничего и подумать тоже не может: за три года все шло как по маслу, не считая того, что у них там наверху, ну да этого где ж не бывает — в каждом дому по кому, где по большому, где по маленькому, хоть и не видать никому...

Задумалась няня, а карапузы устроили хитрую штуку: забрались они под широкую нянину юбку и там присмирели, хочется крикнуть няне: «Ау!» — да больно под юбкой у нее хорошо, на кубовом поле солнце играет, растут на нем голубые цветки, и у цветков желтые, круглые глазки.

— Хорошо у няни под юбкой, словно в саду...

— Ах вы, пострелята! — ласково крикнула няня и потащила обоих за руки в детскую спальню.

ВЕРХОМ НА СВИНЬЕ

Хмель ли давешний ударил в голову снова, или не вынесло сердце радостной встречи, только у Зайчика все плывет перед глазами и из-под ног убегает земля.

Подкатилось близко белоснежное облачко, покрыто облачко легкой, прозрачно-паутинной кисейкой, и на кисейке внизу смотрят пристально Клашины буквы, больно задевая за сердце красным крючком: у Клаши имя все то же, только другая фамилья.

На облаке, как в старину, лежит прекрасная, прежняя Клаша.

У Клаши все то же небольшое, с неправильными чертами лицо, будто только слегка положенными на полотно,

и художник так и не кончил капризной картины или совсем забыл про нее в поисках волшебной, иной красоты, а Клаша так и осталась как странный и легкий набросок.

Все та же у Клаши улыбка, улыбается Зайчику Клаша, и Зайчику кажется, да и Клаша сама ему о том говорит, что ничего у них не случилось, все как было, так и осталось, в духе муж они и жена, нет у ней иного мужа, нету детей (все позабыто!), откуда ж им быть, коли... в духе, оттого-то и льется на Клашу из итальянского большого окна свет самых различных оттенков сквозь разноцветные стекла, словно это стоят разноцветные чаши с разноцветным вином, и кто-то их поочередно подносит к губам, и Зайчик пьет вино из разноцветных чаш, и как не свои руки и ноги, и сердце скоро, должно быть, биться совсем перестанет.

Тихо в Колыгином доме, как некогда было тихо и светло от лунного света лампад в староверской молельне, в которой навеки соединились в духе и свете Зайчик и Клаша, не нарушивши юность и чистоту...

Осеннее солнце бьет в полушторы, отражается на золоченых ручках дверей и по полу стелет прозрачный ковер отраженных вихластостволых берез, протянувших в самые окна оголенные сучья.

Только и слышно всего: тикают стрелки часов, бьется домашнее сердце.

Смотрит Зайчик, как кошачьими лапками перебирает ветерок в открытой половине окна кисею занавески, на которой по легкому, прозрачному тюлю скачет в неведомую страну неведомой страны королевич.

Королевич в шляпе с длинным пером, сам красоты несказанной, скачет королевич на белом, белоснежном коне, и у коня снежная грива запуталась в стремя, и белопушистый хвост словно вот на быстром скаку сейчас оторвется и рассыплется в комнату белой метелью...

Держит королевич над головой высокого сокола в тонкой руке, сокол соколиные крылья широко расправил, вот-вот сорвется с мизинца, взовьется вот и полетит: под самым карнизом, где от второй полотняной шторы на всем лежит, как ввечеру, полусвет, застыла оледенелыми крыльями лебедица, на маковке с белой короной,— царевна: видит она, что от королевича с соколом на руке ей никуда не укрыться, потому и поет она, раскрывши широко уста —

тонкий клюв — на лету, последнюю, лебединую, девичью песню.

— Коленька... милый!

Лежит Клаша, полузакрывши глаза, расширивши тонкие ноздри, и у глаз ее, у каждого висит по тяжелой слезинке.

Держит Клаша у сердца в маленьких белых руках с пальчиками, словно коготки у маленькой птички, Зайчиковы бессильные руки возле упругих, почти еще девичьих грудей с темно-розовым кружком материнских сосков, похожих на садовую, с легким пушком в конце лета, малину.

Смотрит Зайчик как опущенный в воду.

На Клашином пальце чужое кольцо с дорогою прозрачной слезинкой, как дождевая капля первой весенней грозы, и по руке возле кисти обвилась два раза сонная змейка и кажет Зайчику золотой язычок.

Сорвать бы с руки дорогую браслетку, кольцо укатить в мышиную дырку, чтоб им играли мышата, а слезку с колечка бросить в траву!

Но ничто уж теперь не поможет, в духе дух пребывает, как дары на престоле, они нерушимы в Зайчиковом сердце, а плоть... злая блудница, рассыпавшая золотые волосы в дорожную пыль!

— Коленька, ты ли?

— Да, это я, Клаша.

— Коленька, ты?

— Что ты наделала, Клаша?

— Коленька?!

Качается все перед глазами, от ветру ль качается рыцарь на шторе, на ветру ли сокол крыльями машет, и на ветру ль, не сдержавшись, лебедица камнем падает вниз.

Опавшей белой березкой Клаша прижалась к Зайчику на колени, дрожит, как березка от тихого ветру, и плачет неслышно, заломивши голые руки.

Текут по рукам ее слезы, и губы у Клаши как два уцелевших на самой вершине листка.

— Верь мне, мой милый, у меня никого нет, кроме тебя...

У Зайчика ж ни охоты, ни воли, ни силы нет не поверить...

* * *

...Сколько так время прошло, ни Зайчик ни Клаша на часы не глядели, только когда медным лбом об пол стукнули гири, в дверь тоже стукнул кто-то тихонько два раза.

Клаша раскрыла глаза, оторвала от Зайчика руки, покраснела, вся загорелась и, тревожно взглянувши на дверь, привстала с постели, рассыпав косы на грудь и на плечи: похожа она стала на Аленушку в темном лесу над водоемом, покрытым зеленою ряской...

— Барыня,— шепчет няня за дверью.

Клаша спокойно спросила:

— Что тебе, няня?

— Алексей Иваныч приехал, прислал спросить о здоровье.

— Скажи, няня милая, через минутку приду.

— Свекор,— шепчет Зайчику Клаша,— веришь теперь или нет?

Помутилось все у Зайчика перед глазами. И стыдно, и горько, и больно ему, и обидно, что сидит он теперь, словно вор, попавший в ловушку, из которой иного выхода нет, как только в окно или на чердак через крышу...

— Клаша, прощай!

— Любишь?

— Люблю.

— Веришь?..

— Верю, но и ты мне поверь.

— Я тебе верю!

— Поверь, как мне тяжело!

— Коленька, мне тяжелее...

— Прощай!

Поцеловал Зайчик Клашины руки, поглядел близко в анютины цветочки Клашиных глаз, висят на цветочках две бисеринки, выпил их Зайчик, чтоб еще раз навсегда отравиться любовной отравой, и на цыпочках к окну подошел.

Глядит Зайчик: окно выходит на двор, ворота в ожиданье скотины настежь раскрыты и на дворе никого — в Колыгином доме не любили шума и не держали много прислуги, купцы из мужиков степенны и строги в своем обиходе, у них только появляется особая серьезность

в лице и сиянье, простое довольство и замысловатая твердость в чертах.

Смотрит Зайчик из занавески: окно не высоко, раньше в лунатные ночи он прыгал и выше, сходило, а сейчас сойдет и подавно. Вгляделся Зайчик, лежит большая полуторасаженная, облитая жиром на четверть свинья возле самого дома, положивши в истоме пудовую голову наземь, хрюкая и изредка поводя ухом, большим и круглым — с добрый хозяйский картуз.

Поглядел Зайчик на рыцаря в шляпе с длинным пером, на сокола в тонкой руке, на коня, разметавшего белую гриву, и горько стало ему и смешно,— шутит окаянная судьба злые и хитрые штуки, наяву подставляя ему, чтоб не вывихнул ноги, свинью.

Обернулся он к Клаше еще раз. Клаша в подушку уткнулась, и Зайчика Клаша не видит, и, видно, Клаша не слышит, как Алексей Иваныч Колыгин, заждавшись ее и плотно с дороги уже закусив белужьей ухи, сам пришел навестить и в дверь к ней громко стучит...

* * *

Отряхнула с крыльев красные перья заря, как птица в большой перелет. По котловинам, по желтым дорогам, бегущим по сторонам, как нити в ряднине, встает вечернее марево. То ли поднялась пыль от мужицких телег, побывавших в чагодуйском приказе, где всем лошадям повыжгли сегодня каленым железом круглые пятна на крупах,— оттого они и несутся что духу домой, да и мужики, почитай, все под сердцем с самогонным запалом,— оттого и хлещут они лошадей и вожжой, и кнутом, лишь только скорей бы до дома доехать и спать на полати залечь.

То ли поднялись с берегов Чагодуйки закутанные в белые саваны Манамаевы бабы и девки, связанные крепко за длинные русые косы, идут они большою татарской дорогой в темень и синь, откуда выглядывает краешком ущербный месяц, как Манамаева мурмолка из парчи, с загнутым кверху тонким концом.

Идут Манамаевы девки и бабы, над ними порхают

десять голубых голубиц, роняя наземь из крыльев сизые перья зари.

Словно большие холсты с торопливым рисунком углем, раскинулись поля и поляны, по краям почернели лесные короны над ними,— как в полусне, на тонких паутинках замигали зеленые осенние звезды, будто боятся они вниз оборваться и прочертить по небу вещую золотую строку, по которой чагодуйские невесты будут гадать о возвращенье своих женихов, а нагадают — их верную гибель, смерть и безвестие в чужой стороне.

Стоит Чагодуй, как старик с сукастой палкой, возле железной дороги, по которой то и дело снуют красные червоточки вагонов, а впереди них, похожий на большого жука, пыхтит черный паровоз, обдавая пристанционные избы, уткнувшие в насыпь носы, неожиданным свистом и паром, будто хотел бы насмерть их распугать, если бы только они не были слепы и глухи.

Только одна колокольня стала еще будто выше.

Горит на ней крест, распластавший по небу руки, словно хочет сброситься вниз, и под ним и над ним — синева, синий купол и синее небо, и от купольных звезд, как лучи, протянулись к крестным рукам золотые цепочки.

На соборной колокольне веселый звонарь держит наготове колокольные вожжи, чтобы вовремя стронуть звонких чугунногривых коней, чтобы повеселее ударить к вечерне, когда молодой протопоп выйдет из дома против собора с вишневым садом у окон.

Держит звонарь за узды чугунных коней, и, пока протопоп расчесывает у зеркала гриву, взбивая высокий зачес, смотрит звонарь кругом на поля вокруг Чагодуя: по полю катят телеги — как тараканы в них лошаденки,— колеса стучат и гремят о дорогу, мужики с самогона горланят и свищут, всё как всегда, полсотни лет одна и та же картина...

Только от рощи, где Колыгина дача смотрит красной крышей и над ней, как чертовы рожки, две дымогарных трубы,— по направленью к сжатым в кучу вагонам на запасном пути бежит что есть духу большая свинья, а на свинье верхом кто-то сидит и бьет сапогом, держась за длинные уши.

Сергей Клычков

СУНДУК НА КОЛЕСАХ

Что в жизни не может случиться подчас с человеком?..

Диковины нет никакой, диковиной все кажется людям, которым иль час еще не приспел или совсем не приспеет: с каждым судьба по-своему шутит, она большая шутница, хоть шутки ее часто дорого стоят.

Видно, и с Зайчиком в этот раз она зло пошутила, после свидания с Клашей прокативши его на свинье.

К счастью, все благополучно сошло.

Когда Зайчик прыгнул из окна на свинью, он на свинье, конечно, не думал кататься, он рассчитывал только помягче упасть, чтобы не сломать себе ноги.

Чудной, чудной, а парень не промах!

Но случилось все по-чудно́му. Ноги у него съехали при паденье с свиньи, одна нога попала под брюхо, другая за спину, Зайчик на свинью плюхнулся верхом, свинья с перепугу вскочила, ринулась сразу с басовым хрюком и гуком прямо в ворота, а Зайчик, чтобы не упасть да снова опять не разбиться, схватился за круглые уши и свиную спину коленями сжал.

И горько, весело и смешно было ему самому, вспомнил тут, как, бывало, в детстве в ночное гонял он Лысанку, держась крепко за шею и гриву.

* * *

Прокатил Зайчик в повечеровый туман на коне с хвостом закорючкой и брюхом чуть не до самой земли...

Свинья с перепугу сначала гнала все напрямик, потом взяла полукругом по сжатому полю, и, когда у нее в глазных щелках замельтешили разных окрасок вагоны, когда вдали поправее, где стоит чагодуйский вокзал, словно свистнул в два пальца и махнул белым платком чернобородый, черноголовый кучер Василий,— когда клубом выпустил пар большой паровоз, уставивши на свинью два огненных глаза, она на всем скаку остановилась, уперлась в землю пятаком, а Зайчик на спине у нее не сдержался и кувырком через свиную башку полетел на траву.

Свинья словно в землю врылась ногами, смотрит на Зайчика и будто ехидно смеется, собравши под зобом

морщины в гармошку и завязавши их возле рта в смешной узелок. Показалась эта улыбка Зайчику очень похожей на то, как Пенкин — был случай такой — смотрел на него, когда Зайчик кланялся Пенкину в ноги,— смотрит свинья, как живой человек, только вот сказать словами не может.

Взял Зайчик палку с земли и запалил ее в пятачок.

* * *

Скучно стало на душе и безотрадно.

Все мутит перед глазами, будто кто с глаз уносит на руках запеленатый в туманный саван мир, уснувший вещим под звездами сном.

Мир — нелюдим, и никого в мире теперь не осталось.

Клаша уплыла на облаке розовокрылом в иной неведомый край: нет ей теперь возвращенья, и к ней тоже нигде нету дороги. Не в этом же красном вагоне, похожем на старый сундук на колесах, догнать можно опять навеки уплывшее счастье.

Его и на Петровой тройке уже не догнать.

Да и тройку теперь не догонишь: гикает Петр Еремеич по дальним полям, проезжает шажком по темному лесу, пока в приказе строчат за бумагой бумагу и на бумаге под Каинову печать льют красную кровь сургуча.

В стороне от Чагодуя заря, словно сидит там середь поля, по дороге в Чертухино, у кочки на корточках в новом нагольном полушубке пастух и коротает ночное, грея возле костра захолодевшие руки.

Поклонился Зайчик заре, словно простился с родным человеком, и встал на приступок вагона.

Ручка от двери обожгла Зайчика холодом, распахнул он дверь и вошел в сундучную темень вагона: стояла лавка, как свинья, расставивши ноги, в окно глядела зеленая заревая звезда и в углах уж залег сумрак, тяжелый и плотный, от которого словно рябило в глазах, как рябит в них, когда смотришь в темную воду.

— Сяду в вагон, а там будь уж что будет!

Зайчик на лавку прилег, зарыл голову в руки и сразу от земли оторвался и покатил в сундуке на колесах; колеса затарахтели, отбивая однообразный настойчивый счет, как будто вся жизнь теперь в одном колесе, и если колесо

со счету собьется, то и жизнь сама и колесо, и все вместе с ним полетит в черную прорву и будешь лететь так быстрей, чем птица летит, быстрей, чем жадный зверь догоняет добычу...

Качается красный сундук.

Качается все в голове, откроешь глаза на минуту, и потолок под ногами; вентилятор, словно в преисподнюю ход, закрыт до часа чугунною крышкой, и Зайчик уж будто не на лавке лежит, а лавка сама забралась на Зайчика и давит его своим брюхом.

«Крышка, видно, всему...»

Вспомнилось Зайчику вдруг: молельня, лампадный сумрак в молельне, из углов святые смотрят, поблескивая ризами в синем свету, на правом клиросе Клаша стоит в белом платье, с черемухой в дрожащей руке и не смеет на Зайчика оглянуться... на левом — сам Зайчик... у него тоже захолонуло в сердце, в двери с улицы щелкнул замок, ушел теперь Андрей Емельяныч, и Зайчик и Клаша до зари... одни, с глазу на глаз до утра, когда придет Пелагея и осыплет их хмелем и напоит свяченой водой.

Может быть, надо бы, может, не так, собраться с духом, подойти к Клаше, взять из рук черемуху, тронуть чуть за руку и Клашиных губ коснуться губами, взглянуть в глаза и сорвать очарованье и тайну... в глазах же плывет золотой венец, кажется он Зайчику столь несбыточным и чудесным, что как-то чудно́, что положил его Андрей Емельяныч на полку после венчанья, завернувши в простую холстинку... а может, так лучше... так вот простоять до зари, не отрывая глаз со страницы, на которой раскрыта на подставке непонятная книга: на книге сбоку застежки, на желанье отныне запрет, но в душе радость и свет... радость и свет...

А теперь... страшно... так страшно!

Страшно открыть глаза, еще страшнее закрыть.

Закроешь — и вот летишь, но только не кверху, а вниз, куда и лететь-то нельзя, куда можно лишь провалиться: пусть под притаившимся осенним небом, страшно в черной, бездонной утробе земли!

Кажется Зайчику, что это не лавка под ним и на нем, а колыгинская полуторасаженная свинья, вскочившая с ним и за ним в вагонный сундук. Только закроет глаза,

а пятачок у самого носа, у ссохшихся губ нижняя свиная губа, и на губе висят ниточки от бордового пойла и хлебные крошки. В руках Зайчик чувствует ноги, холодные копытца крепко жмут ему пальцы, а на животе такая черная тяжесть, что лучше умереть, чем шевельнуться.

Плюнет Зайчик в губу, и все пропадет на минуту, откроет глаза — потолок завертится внизу, как карусель, а пол кверху привскочит, и вагонные лавки на нем все кверху свиные ножки поднимут.

«Крышка»,— думает Зайчик, пришедши в себя на минуту.

И снова сами слипаются веки... гонит ветер мир перед глазами, как всадник коня.

У коня такая ж метельная грива, как на Клашиной шторе, только на коне теперь сидит молодой Колыгин, на нем золоченый камзол, в руке сияет у него на ладони, как амулет, неразменный рубль, за который можно какое хочешь счастье купить, от любой беды откупиться, потому-то со всех концов и сторон стаями летят лебедицы, и крыльями машут, и, клювы раскрывши, кричат:

— Слава! Слава! Слава!

...И среди лебедиц быстрее всех несется белая лебедь, на маковке с белой короной,— теперь похожа она на прежнюю Клашу.

Замирает у Зайчика сердце, заходится дух, а рядом сидит большая свинья, чешет брюхо копытом и умно так глядит ему прямо в лицо, оскаливши зубы.

— Нет, не уснешь... не уснешь!..

Зайчик привстал и прижался к окошку...

Так кончилось у Зайчика с Клашей венчание в свете и духе!

Глава шестая

ОБРАЩЕННЫЙ МИР

БОЖЕНЯТА

За окном ветреная листопадная ночь.

То ли гремят под вагоном колеса, то ли ветер, согнав-

ши опавшие листья к дороге, крутит и вертит их и загибает в лиственные колеса и катит за колесом колесо по дороге, наполняя осеннюю темь шипом, гуком и приглушенным звоном.

И Зайчику жутко, что сейчас нет около него никого, и хорошо, что никто не увидит и не узнает, как больно ему и как ему сейчас тяжело.

Уселся Зайчик половчее на лавку, по телу мурашки ползут, свесил он ноги, и показалось ему, что сапогом он за что-то задел и в чем-то запутался шпорой.

Нагнулся Зайчик, руку вниз протянул и со шпоры отдел — не поймешь в темноте — то ли хвост, то ли клин от люстриновой юбки. Похолодела с испуга сначала рука, а потом показалось занятно, кто это под лавку, где Зайчику казалось, что нет никого, забился и так присмирел, что ни разу не чихнет от подлавочной пыли и не шелохнется, чтоб на другой бок перелечь...

Потащил Зайчик за полу или подол, казалось, тащил его долго, а ему все не видно конца.

Пощупал Зайчик на руку и к окну поднес, чтоб на звездном свету разглядеть,— видно, поповский люстрин, и по всему тоже видно, что это не юбка, а ряса...

«Дьякон,— подумал Зайчик,— никто, кроме него, сюда не забьется».

— Дьякон!— Зайчик шепнул и крепко дернул за рясу.

В ответ кто-то чуть-чуть шевельнулся.

— Разве не вы это здесь, отец дьякон?— громче Зайчик сказал.

— Нет, это... я!

— Ну, так и есть, дьякон с Николы-на-Ходче!..

— А вы... это кто?..

— Я,— говорит Зайчик, хотелось ему соврать, да самому страшновато,— я-то... я Зайцев, Миколай Митрич, чертухинский зауряд...

— Эвона,— радостно вскрикнул дьякон под лавкой,— гора, значит, с горой!

Зайчик от этого вскрикнул, выпустил полу, а дьякон зашевелился, застучал затылком под лавкой, рукой заскребся по полу, как мышь под сусеком, и скоро села рядом с Зайчиком большая оглобля, головы на четыре Зайчика выше, на верхушке широкая шляпа, под шляпой

висит борода, которая даже и в темени кажется рыжей, и на ноге большенный, как окоренок, сапог...

— Гора, значит, с горой,— дьякон гудит, запахнувши рясные полы,— в Питер, значит, все же решили...

— Пожалуй... а вы, отец дьякон... как попали сюда?

— Кондуктор упрятал, сказал, что этот вагон будет в составе.

— В составе?..

— Да, питерский поезд... Я ведь вам говорил, что вместе поедем?!

— Да. Я компании рад,— хмуро Зайчик ему отвечает...

— Ну, господин охвицер, много я здесь под лавкой продумал: решил, что об этом таком даже и думать больше не стоит.

— О чем?

— Да все о том же: есть бог или нет и почему я в бога не верю...

— Да это вы, отец дьякон, больше все спьяна...

— Пьян, да умен, знаешь... почему дьякон водосвятный крест пропил на самую Пасху?.. Что он, жулик какой или вор?.. Что он, не мог бы пропить свою рясу... Почему именно крест — первый вопрос?..

— Почему?..— улыбаясь, Зайчик спросил.

— Да оченно просто: потому что он больше не нужен... а ряса... у меня старые рясы супруга режет на юбки...

— Выходит, все в пользу...

— Да нет, в соответствии... Бога-то нет?..

— Мелешь ты мелево, дьякон: бога нет, что же тогда остается?

— Эна, о чем ты грустишь; остаться есть кое-чему — мир забит, как трехклассный вагон на большом перегоне... Рассуди: Петр Еремеич что говорил?.. бог-де от земли отвернулся, сел на облачную колесницу и, значит, поминай как звали... Тю-тю...

— Бог забыл о земле...

— Так... остался, значит, во-первых, черт?..

— Черт!

— Черт! Только рога он подтесал терпугом у кузнеца Поликарпа, оделся в спинжак и гаврилки... Служит... пользу приносит... и получает чины!

— Мели, отец дьякон!

— Нет, не мелю: черт иногда даже не брезгует дьяконским чином...

Зайчик взглянул на оглоблю, волосы у него зашевелились и сами зачесались назад, а у дьякона шляпа будто немного поднялась на воздух, и на минуту над рыжею гривой мелькнули два развилкой расставленных пальца просунутой как-то сзади тощей руки... Пальцы были похожи как дважды два на рога или рожки.

— Только и это не важно,— дьякон, близко нагнувшись, шепнул Зайчику в самое ухо.

— Как же это не важно — ведь черт?..

— Просто, понятно: без бога черту нечего делать... это он со скуки идет в пристава или земские, а то в дьякона или попы... соборный наш протопоп... чертушок!..

Дьякон подвинулся ближе. Зайчик отсел.

— Разве ты это не знаешь?

— В первый раз слышать...

— А отчего у него тогда впереди высокий зачес?.. Не иначе... потому только и можно узнать: на копытах — щиблеты, хвост подвязан на брюхо, а рожки — в зачес!

— Полно тебе, отец дьякон: у протопопа крест на груди весит три фунта...

— Да это не крест, а подкова... ты думаешь, все как бывало: все по старинке живешь... бабка на кринку покстит, положит крест-накрест лучинки, и в молоке бесенок купаться не будет, креста лучинного побоится... теперь, брат, все пошло по-другому... бог ведь не видит... он отвернулся... а человек, где крест ни положит, там для черта и щель.

— Стыдно, дьякон!..

— Ничуть даже: за что купил, за то и продаю!.. Жизнь, брат... ох, она умнее нас с тобою раз в десять!..

Зайчик хотел было сложить крестное знамение, да дьякон его за руку схватил:

— Подожди-ка... ты к баптистам сходи... они те про крест растолкуют!..

— Не пойду я никуда,— Зайчик ему говорит,— ты, отец дьякон, лучше прилег бы да немного проспался: перехлебнул!

— А ты меня много поил?

— Тебя, отец дьякон, споить — надо скупить весь самогон во всем Чагодуе...

— И то, брат, не хватит!..

Дьякон залился в козлиную бороду мелким дробным смешком, сложивши на животике руки и смотря Зайчику прямо в глаза...

«Что он мне мерещится снова?— думает Зайчик.— Тогда надо крест положить... отчего он мне не дал?»

— Да крестись, крестись, если хочешь: вижу, что и меня принял за черта! Нет, брат, у меня рога отросли совсем от инакой причины.

— По семейной?..— тихо Зайчик спросил.

— Должно быть,— дьякон вздохнул,— да черт с ней, великая важность... Ты вот что скажи: мы о чем говорили?.. У меня память девушкина стала!

— Говорили... говорили... мы, дьякон...

— Так?..

— ...о черте...

— Это не суть важно... важно вот что: ты, да я, да мы с тобой... да весь род человечий.

— А как же иначе?..

— Вот в том-то и дело, что род сей должен был бы... того...

— Исчезнуть?

— Да. Испариться... На наше счастье, ты говори, остались еще боженята!

— Это, дьякон, что такое?..

— Самое главное: с чего свинья сыта бывае.... крошки после обеда...

— Крошки?..

— Ну да... не в точности, а что-то вроде... вроде Володи... понимаешь: бог создавал землю, как на пиру сидел,— пир, хмель отошел, бог от стола отвернулся, и на столе остались одни только крошки...

— Боженята?

— Ну да, китайцы, малайцы, болгары, татары... всякому даден свой божененок... и заметь: у всякого свой поп и свой дьякон...

— Пожалуй, это и верно.

— А как же, нету в мире единого бога... вот тут-то дьякон и прав — пьян, да умен...

— У меня, дьякон, от твоих разговоров болит голова и... под сердцем мутит...

— Недаром, значит, меня мужики прозвали гусаром?

— Пожалуй, и так, что недаром.

— Невежа ты, братец, а еще охвицер!

— Я-то... такой же офицер, как ты дьякон!

Дьякон голову назад запрокинул и так смехом залился, что сундук вот сейчас бултыхнет, и колеса на человечьем языке затараторили: «Так... так... такы... такы...»

— Все одинаково скверно: нету бога, нету человека!

Дьякон поднял кверху указательный палец, весь просветлел, с бороды красное полымя так и бьет по углам, а в углах сидят какие-то люди, не слушают их, не думают ни о чем и, положивши головы на кулаки, спят праведным сном без видений.

— Человек... бог... вот когда это стало смешно: у человека гордости мало, у бога ж еще меньше... терпенья!

— Дьякон... дьякон... ведь сказано: долготерпелив!..

— Не подфальшуем... бог отвернулся... черт стал мещанин... остались одни бесенята да одни человечки — волки да овечки!

— Дьякон... дьякон...

— К царю!

Дьякон снял с живота отрепанный пояс, захлестнул его на вентилятор, а на кончик билет привязал и пятерку:

— Видишь, кондуктор будет идти, увидит и скажет: они, то есть, значит, мы, господа, подшофе, стукнет по глотке и не будет до самого Питера нас беспокоить...

— Умно!

— Не подфальшуем... Ложись, заячий хвост, и говори, что все слава богу!

Дьякон плюхнул на лавку, Зайчик рядом с ним лег, дьякон крепко обнял его, и Зайчику кажется, что нет у него сейчас большего друга, как дьякон с Николына-Ходче.

— Спи, Зайчик миленький, спи!

Чувствует Зайчик, что спит... так спит, что его никто не разбудит... за ногу дерни, с лавки стащи — ничто не поможет: дьякон крепко его обнимает, ряса у дьякона теплая, рука словно клещи, буди не буди — не подняться!

* * *

— Дьякон, скажи ты мне ради всего, отчего мне хочется плакать?

— Спи! Зайчик миленький, маленький, спи и говори, что все слава богу!

— Все — слава богу!

— Слава!..

Сундук так и бросает из стороны в сторону, колеса под ним тарахтят, говорят на языке человечьем: «Так-так, так-так, рас-такы такы-таку твою-так...»

ОБОРОТЕНЬ

Вагон действительно оказался в составе; должно быть, задолго еще до полночи большой паровоз, так испугавший колыгинскую свинью свистом и паром, перевел потихоньку весь состав сперва на чагодуйский вокзал, постоял немного на станции, пофукал, попыхтел, нетерпеливо дожидаясь кого-то, потом вдруг свистнул заливисто черной трубой, сдернулся с места и покатил...

Тогда-то, знать, как показалось Зайчику, и заговорили колеса на человечьем языке, и в этом спешном говоре чугунных колес и услыхал тогда Зайчик нарочито придуманное человеком для очистки совести согласие со всем и на все, о чем и на что никогда и нигде не сыщешь ответа.

«Так-так-так, иначе быть и не может!..» — всю ночь не переставая говорили колеса, а Зайчик внимательно слушал и безмятежно, казалось ему, спал под дьяконской рясой...

Поезд был, должно быть, специального назначения, первые часа три или четыре шел, ни на одной станции не постояв ни минуты, словно вел этот поезд не машинист, а сам дьявол и ехал в этом поезде человек, куда-то спешащий и за эту поспешность продавший машинисту, то есть рогатому бесу, ни за грош свою христианскую душу...

Только после двух или трех больших перегонов паровоз подкатил на какой-то маленькой станции к столбу водо-

качки, повернул от него рукав к себе в брюхо и долго и жадно глотал холодную воду...

Все это Зайчик хорошо слышал и больше чувствовал каким-то в особицу даденным ему чувством, о котором, правда, ученые люди не знают, но это не значит еще, что его не может быть иль не бывает...

Напился воды паровоз, попыхтел около пакгауза, где развалены были в беспорядке патроны и гильзы от мелких орудий — должно быть, был неподалеку патронный завод,— побегали возле колес машинист с большими рогами и кочегар, у которого хоть рогов было не видно, но зато так он был весь черен и на лице было столько размазано масляной сажи, что при свете горящей пакли на небольшой палке у него в руке он без труда мог сойти за полчерта; потом подошел к ним человек в интендантской шинели, дал им обоим по сторублевке, машинист и кочегар очень заторопились, потерли, помазали, слазили под паровоз, где главный пупок, за которым и надо следить да следить, чтобы вся его паровозная утроба — винты, трубки да разные гайки — не сдвинулась с места, потому что под этим пупком, как и у человека, у него кишки и брюховина; постучали машинист и кочегар в разных местах в паровоз, как доктор стучит в нас молоточком, узнавая наше здоровье, потом вспрыгнули в паровозное брюхо, дернул машинист за медную ручку, паровоз нехотя крикнул, пар повалил на оба бока, и опять — тра-та-так-так — заговорили колеса...

Так Зайчик все чувствовал, видел и слышал в полусне, ему не хотелось подымать голову, чтобы лучше все разглядеть и лучше услышать, ему хорошо было под ватной теплой рясой. У дьякона, несмотря на его худобу, было больше тепла, чем у печки, а что делалось вокруг него, он видел и так: видел, как нервно на остановках ходил высокий, как редко люди бывают высоки, чиновник в новой серой шинели с погонами Союза Городов или Главного Интендантства... подошел высокий человек на одной остановке к паровозу вприпрыжку, почти на самом свету сунулся в тендер, что-то шепнул машинисту в самое ухо, а тот прикрыл шапкой рога и руки к нему протянул и растопырил!

Человек в интендантской шинели сунул опять сто-

рублевку, машинист шапку приподнял и мотнул только рогами...

* * *

...Зайчик поднялся, только когда кто-то его за ногу начал долго и больно тянуть, не говоря при этом ни слова.

Раскрыл он глаза, смотрит: стоит перед ним этот высокий в серой шинели и так уперся в него, словно разглядеть никак не может, тоже спросонья...

— Вы изволите здесь, господин офицер, как очутиться?— спрашивает его высокий в серой шинели.

— Я?— Зайчик поднялся на лавке, посмотрел — рядом дьякона нет, и даже нет никакого знака, что в вагоне еще кто-нибудь был, кроме него и этого интенданта.— Я?.. Очень просто! Я в Чагодуе залез в этот вагон отоспаться и рад, что поспал и действительно очень нехудо... а вы, простите, будете кто, если посмею спросить?..

— Очень приятно... очень даже приятно... а почему вы, так сказать, очутились... в таком, можно сказать, положении?..

— Я?— Зайчик кругом оглянулся и покраснел.— Я, знаете, в отпуске, в Чагодуе с приятелем встретился...

— А... это... эт-то бывает!

— А вы, простите, кто изволите быть?..

— Э... мелкая сошка: интендантская крыса — зауряд-чинуша Пантюхин!.. Поезд, видите ли, свой разыскал... угнали его, видите ли, в этот ваш Чагодуй по ошибке, как говорят... чуть, знаете ли, под суд не пошел... тоже у меня, знаете-понимаете, вышло по нетрезвому делу!..

— Скажите!..

— Такой беспорядок! Такой беспорядок, господин зауряд!..

— Да... да... а не то што вы здесь со мною ...лежали?..

— Что вы, у меня свой целый вагон! Ваш вагон прицеплен совсем по ошибке, должно быть, в спехах: очень уж я распушил весь ваш Чагодуй, перепугались!.. Начальник станции на колени вставал!

— Должно быть, вы их подтянули?!

— Еще бы, такое нахальство: целый поезд с казен-

ным и ценным казенным имуществом, в этом поезде — сукно, полотно, обмундированье!.. Еще бы немного — и кто-то здорово руки нагрел...

— Подлецы!..

— Еще какие и сколько!.. Впрочем, господин зауряд, вам куда?.. Дальше-то вам куда надо?..

— Мне?.. На позицию!..

— Через Питер?..

— Так точно!..

— Счастливо, значит, вы попали проспаться в этот вагон!..

— Что?— Зайчик вскочил и к окошку прильнул.

За окнами высоко стояло солнце, по бокам в глазах сливались рельсы в одну беспрерывную сетку, а по рельсам туда и сюда весело сновали паровозы, шипя и посвистывая изредка тонким свистком.

— Что, разве мы едем в другом направленье?..

— Да нет, нет, в самый раз... Только я сейчас вагон ваш отцеплю... он мне не нужен, потому что на кой мне черт сдались пустые вагоны... Вам придется того, или ко мне пересесть... или... ведь... я дальше... вернее всего, не поеду...

— Как не поедете, господин интендант?..

— Очень просто: мне дальше не нужно!..

— Где же мы, значит, простите, сейчас, в настоящее время?..

— В Питере, милый мой, в Питере... Только, изволите видеть, не на пассажирском, знаете, а на товарном...

— В Питере?..

— Да... да... в Питере... Вам же в Питер и нужно?..

— Да, мне в Питер и нужно... Только вы-то что же это... как бы сказать?..

Видно, что после бредовой ночи Зайчик с трудом ворочал мозгами, поминутно хватаясь за лоб и глаза, как бы не веря еще чему-то или чего-то не понимая: чиновник как чиновник, лицо серее сукна, только бельмы будто рыжие, и этот... страшенный рост!

— Вам бы немного... того... полечиться... от разных навязчивых штук...— говорит он Зайчику, заложившему руки в карманы.

— Вы думаете-е?

— Твердо уверен... Впрочем, господин зауряд, давайте-ка вылезать...

— Что... уж приехали?..

— Так точно-с, Питер!..

Зайчик встал, потянулся и сказал интенданту:

— Спасибо вам, большое спасибо!..

— Вылезайте, вылезайте, мил друг, вылезайте... Из одного «спасиба» теперь шубу не шьют... Хе... Хе...

Зайчик пожал крепко интендантскую руку, виновато улыбнулся и пошел, немного шатаясь и протирая глаза.

— Так, говорите вы, подлецы?!.

— Так точно, так точно, подлецов теперь сколько хочешь!.. Да... Да... сколько хочешь... Вылезайте, мой друг, вылезайте... Желаю вам на войне, так сказать, всяких успехов... всяких успехов!..

— Благодарю вас, господин интендант...

— Побольше, так сказать, немцев убить, а самому целым остаться... Же-ла-ю... Хе... хе...

Поезд в это время сердито забормотал тормозами, зашипели на рельсах колеса, и Зайчик спрыгнул с подножки.

Туда-сюда посмотрел: большой коридор из красных товарных вагонов, запрудивших все железнодорожные пути, словно лед Дубну в половодье, не видно ни неба — висит оно дымное только над прогалом между вагонов, как грязное тряпье развешано,— ни людей, ни деревьев, на сердце от этой пустыни стало у Зайчика снова темно и в глазах потемнело.

— Желаю, господин офицер, желаю... побольше немцев... немцев убить... хе... хо... нюшки... хе... хе...

Схватился Зайчик за сердце и смотрит; под вагонами опять засеменили колеса, а на приступке стоит дьякон с Николы-на-Ходче и машет ему полой, как черным крылом полуночник.

Зайчик снял фуражку и тоже ему помахал...

ВЫДУМАННЫЕ ЛЮДИ

Город, город!
Под тобой и земля не похожа на землю...

Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мытй...

Оттого выросли на ней каменные корабли, оттого она и вытянула в небо несгибающиеся ни в грозу, ни в бурю красные пальцы окраин — высокие, выше всяких церквей и соборов, красные фабричные трубы...

Оттого-то сложили каменные корабли свои железные паруса, красные, зеленые, серебристо-белые крыши, и они теперь, когда льет на них прозрачная осень стынь и лазурь, похожи издали на бесконечное море висящих в воздухе сложенных крыл, как складывают их перелетные птицы, чтобы опуститься на землю...

Не взмахнуть этим крыльям с земли!

Не подняться с земли этим птицам!

Оттого-то и прыгает по этой земле человек как резиновый мяч, брошенный детской шаловливой рукой, вечно спешит он, не зная покоя, не ведает тишины, уединенья не зная даже в ночи, когда распускается синим цветком под высокой луной потаенная жизнь сновиденья, потому что закроет человек усталые очи, а камни грохочут и ночью и улица булыжной трубой сотрясает его ненадежное ложе; потому-то и спит городской человек, грезя и бредя во сне недоделанным делом, то ли молот держа в усталых руках, то ли холодный рычаг от бездушной машины, то ли кошель с тайной, при свете дня на дне невидимой дырой...

А коль забредет сюда в улицы, изогнувшие в каком-то тайном недуге свои выложенные булыжником спины, ненароком зайдет зеленый странник — какое-нибудь деревце, так и стоит возле подъезда или где-нибудь в стороне, как отрепанный нищий, покрытый уличной пылью, протянувши бессильную руку в дырявых заплатках полуомертвелых листов для подаянья, но пройдет много народу, да и не пройдут, а пробегут и проскачут, каждый по неотложному делу или безделью,— пройдет много за день мимо народу, и никто его не заметит... и копейки никто не подаст...

Разве только в глубину зеленых, в пыли потонувших очей, спрятанных где-то глубоко-глубоко в зеленых глазницах, посмотрит ему, печально понуривши голову на

стоянке, извозчичий конь, пока его хозяин, седока поджидая, сидит, как барин, в пролетке, на спинку сиденья откинув кудрявый мужицкий пробор, и грезит оставленным домом, хозяйством, и спорит в полузабытьи со сварливым соседом из-за лишнего лаптя надельной травы... посмотрит конь в зеленые очи, голову ниже уронит и тоже заснет, вспоминая во сне неизвестно о чем-то далеком, зеленом, душистом, лежащем теперь перед глазами, как бесконечный зелено-пушистый ковер...

Думал так Зайчик, шагая с окраины в город... и спотыкался о камни.

* * *

Из улицы в улицу, по площадям и переулкам — везде столько народу, столько разбросано лиц перед глазами, столько в глаза устремлено чужих и по-чужому уставленных глаз, то ненавидящих без всякой причины, то испытующих: кто ты такой?— оставляющих след за собой, который висит как паутина, то заранее любящих, только таких из тысячи встретишь разве одни.

Глаза утопают в этом роскошестве глаз.

От множества глаз в глазах у тебя поплывут золотые круги, в голове зашумит и затуманит, как будто поплывут глаза по бесконечному морю глазной синевы, сероты с янтарным отливом, вороненой стали зрачков — жгучей и вместе холодной, как раскрытая бездна,— черных мужских ненавидящих, женских к себе в глубину узывающих глаз...

Хорошо, хорошо плыть в беспечной ладье без весла и кормила всему верящих, все любящих глаз по этому бесконечному морю, в котором никогда не бывает покоя!

Все сливается в ропот, земля ходит под ногами, как под рыбацкой лодкой ходит волна...

В такие дни в пригороде у заставной дороги, по которой ездят одни мужики по утрам на базар из ближней деревни на дрянных лошаденках в телегах, похожих на гроб, в которых лежат бараньи туши с перерезанным горлом, с головами, свесившимися с боков, чтобы чертить искаженной губой по ободу колеса и дразнить голодных собак и людей в рабочих слободках,— в такие дни черный

встает сатана и вертит всем городом из-за заставы, как шарманщик вертит шарманку!..

* * *

Идет Зайчик по улице, кишащей, как тропа в муравейник, разбежался глазами и в черной думе наступает встречным на ноги...

Взбаламучена улица, люди снуют и спешат, у одних лица печальны и строги, эти тихо идут, сами у них подгибаются ноги, словно их кто по коленям хлестнул, у других... а впрочем, такие лица у всех: они сами на себя теперь не похожи.

Спешат люди — мужчины и женщины, тянут насильно за руки за собой ребятишек, чертящих башмачком о панель.

Спешат молодые и старые, автомобили и лошади — все смешалось в одну набитую туго толпу...

Только изредка пройдет не спеша, щурясь в золотое пенсне иль монокль, какой-нибудь столичный щеголь, питерский франт, которого с Невского нипочем не прогонишь дубиной...

— Да... все же счастливчики есть...— сказал Зайчик вслух, рассуждая с собой, встретив румяного юношу, одетого модно, с иглы: машет он презрительно тросточкой, заложил руки в карман и идет походкой молодого ленивого льва...

— Есть... фон-бароны!..

— А вы?.. Вы разве так уж несчастны?..

Зайчика кто-то тронул за руку, за ним шла, очевидно, давно уж какая-то женщина, одетая в серый английский костюм очень дорогого сукна, в густой вуалетке,— показалась она Зайчику столь же молодой, сколь и красивой...

— Простите меня, сударыня... извините меня... я, кажется, вас немного толкнул...

— Да... наступили на ногу... чуть-чуть... меня очень занимает: о каких счастливцах вы говорили?..

Женщина смотрит на Зайчика просто и прямо, под вуалеткой насмешливая улыбка, в которой все же больше любопытства и доброты...

— Я очень не люблю несчастных людей, хотя счастливой себя назвать не могу...

Зайчик чуть приостановился и как-то невольно протянул женщине руку, женщина быстро схватила ее и подцепила под локоток.

Как давно знакомые, пошли они дальше, неловко натыкаясь друг на дружку в людской толчее.

— Да я тоже, пожалуй... О счастье своем я думаю часто... реже — о счастье других!

— Разве?.. Думать о счастье — уже наполовину быть несчастливым!..

— Это, пожалуй, и правда...

— Нет... нет... я глупость сказала: несчастным я вас не считаю!

— Я очень счастлив на... несчастье!

— Тоже ведь счастье?.. А счастливым быть нужно... и важно! Я не люблю несчастных людей, да их никто ведь не любит! Однако... давайте о чем-нибудь повеселее!

Женщина крепко прижала его руку к себе и весело засмеялась.

Зайчик смотрит в прыгающие глаза и сам себе начинает не верить: под вуалеткой знакомые дорогие черты, солнце ли так освещало лицо женщины, идущей с Зайчиком рядом, при каждом повороте головы выдавая все большее сходство, призрачен ли свет вообще в этом меркотном городе, да еще осенью, когда все предметы, строения, деревья и люди, кажется, светят насквозь,— только не может Зайчик оторваться и не смотреть на чудесную игру осеннего солнца: пусть оно шутит с ним, лицо женщины все больше и больше становится похожей, нежней и прекрасней.

Да и было ли все это удивительным в том положении, в котором очутился Зайчик, вчера лишь еще только потеряв Клашу, как ему показалось, уже навсегда...

Трудно привыкнуть к сердечной потере, словно вот был на руке дареный на долгую память перстень, в перстне камень самой чистой воды... и вот теперь как равнодушно смотреть на пустое гнездышко в дареном кольце?..

Долго потом будешь под ноги смотреть, где бы ни шел и о чем бы ни думал, и каждый простой стекляшок,

валяющийся в панельной грязи, потянет к себе наклониться, поднять, поднести на ладони близко к глазам — такова уж сила любви в человеке и равная ей горечь утраты.

Зайчик шел, молчал, упорно под ноги смотря, женщина тоже молчала...

— Вы... вы... о чем думаете?— тихо спросила она.

— Я думаю?.. Думаю вот о чем: как вас зовут... и какое у вас может быть имя?..

— Да вы бы спросили, чего же тут думать?!.

— Да, мне бы хотелось бы знать...

— Нет, я не скажу: у меня глупое имя... я сама себя зову по-другому...

— Мне хотелось бы знать, как вас зовут...

— Как окрестили?.. На что это вам нужно?.. Так точно?..

— Нет, вы, ради бога, со мной не шутите... мне нужно всерьез...

— Вы, должно быть, за меня загадали?.. Скажите, правда ведь?.. Да?... По-моему, вы сейчас шли и гадали... судьбу...

— Это, может, и верно... как понимать...

— Ну, вот видите!.. У меня был такой один штабс-капитан... знакомый: идет по улице и тумбы считает, загадает вот так от угла до угла, сколько их будет. Как ошибется — значит, убьют!..

Женщина заглядывает Зайчику в лицо и смеется...

— Долго он так гадал?— улыбаясь ей, спрашивает Зайчик.

— Нет, скоро убили... Хотя тумбы говорили иначе...

— Меня не убьют... и на тумбах я не гадаю... Мне цыганка гадала на картах...

— Цыганка?.. Ах, интересно... а... где?..

— В лесу...

Женщина нагнулась вперед, заглянула ему в глаза с тревожным любопытством и опять улыбнулась.

Зайчик подумал:

«Как Клаша... только жаль: конечно, это не Клаша!..»

— А знаете,— говорит нараспев женщина,— вы сами немного похожи... на... на лесного Леля... вы очень... очень красивый... Расскажите мне про цыганку!..

— Цыганка мне говорила, что я утону...

— И вы верите этому вздору?..
— Это не вздор! Утонуть можно двояко!
— Чудной вы... легко же вас обмануть...
— Зачем? Я вам ничего худого не сделал...
— Нет... нет... милый... напротив... Вы знаете, зачем я пошла вслед за вами?.. Я встретила вас и вернулась...
— А зачем?
— Я немного рисую.

Женщина остановилась у подъезда очень высокого дома, у стеклянных с медными ручками до самого полу дверей стоял швейцар в синей ливрее, с усами, как лисьи хвосты, с бровью, упавшей совсем на глаза.

— Зайдите ко мне... на минуту?..
— Я... не знаю...
— Дороги?..— ухмыльнулась женщина.
— Нет, ваше имя не знаю...
— Хорошо!..

Женщина сняла быстро с глаз вуалетку, и из-под шляпы выбился снежный, серебряный локон, еле заметно вьющийся струйкой на плечи.

— Вы седая?..
— Нет, поседела!.. Хотите знать теперь, как старуху зовут?..
— Хочу,— говорит Зайчик с дрожью,— очень хочу...
— У меня очень кухарочье имя... Меня зовут...
— Клаша!— Зайчик радостно вскрикнул...
— Клаша... да, милый, Клаша... Так гораздо лучше звучит...

Женщина подцепила опять его под руку, они было прошли уж мимо усача в синей ливрее, почтительно нахмурившего бровь, но у самой дверки подъемника Зайчик уставился воспаленными глазами на усача и сказал тихо женщине,— прыгали у ней в глазах огоньки!

— Странный у вас швейцар!.. По-моему, он ненастоящий!..

Женщина хихикнула и заправила под шляпу выбившуюся прядь.

— По-моему, он... выдуманный!
— Нет-нет, милый, он... из Рязанской губернии!— сказала строго женщина.— А впрочем, может быть, вы и правы — теперь ведь очень много ненастоящих людей!..

Зайчик взглянул в упор на лукаво-смеющееся лицо женщины и вдруг дернулся с места, выскочил на подъезд и во весь дух побежал на другую сторону улицы, держась за фуражку...

* * *

В уличной сутолоке, в безумной гоньбе извозчиков, лихачей, автомобилей, трамваев Зайчик легко мог попасть под колесо, но он, хотя и находился в полубреду, близком к тому, какой бывал у него некогда в детстве в лунатные ночи, потому-то, должно быть, был достаточно легок и увертлив, чтобы не поломать себе обо что-нибудь шею...

Пробежал он так три или четыре квартала и остановился на изогнутом через грязную реку мосту.

Глядит он... словно впервые их видит... глядит на бронзовых, лосных, будто окаченных ливнем коней: вздыбились они на граните, вот так и хочут, кажется Зайчику, подмять его под себя чугунным копытом.

«Творится со мной что-то неладное,— думает сам про себя Зайчик,— а впрочем... теперь на все наплевать... главное — как ведь похожа!.. Видится, значит!»

Зайчик оперся на мостовые перила и загляделся в грязную воду.

«Если буду тонуть, то хорошо бы все же в чистой воде,— думает Зайчик...— а впрочем, да... она ведь это, наверно, намекала на водку: в ковшике, говорит, молодой хозяин, утонешь! В кумке!..»

Уперся Зайчик в одну точку на воде и повис на перилах...

По воде бегут не спеша масляные кружки, ветерок чуть охватит жирную поверхность едва уследимой рябью, течет, как в сказке, мертвая вода в гранитных берегах и со дна не кажет лица: ни плотица серебряной чешуей не блеснет, играя с подругой на солнце, ни букаражка не пустит пузырь, ни тинки у берега никакой не видать, а вода тянет к себе, шепчет еле различимым в грохоте шепотком, и мост вздрагивает, когда пронесется по нему грузовик, будто хочет сбросить Зайчика в воду...

«Господи!» — Зайчик припал к перилам и закрылся рукой...

— Лелик!.. Коленька!.. Как и откуда?— услыхал вдруг

Зайчик над ухом радостный голос.— Ты что это тут?

Зайчик нехотя обернулся, перед ним стоял веселый, вечно смеющийся, длинноволосый приятель, которому всегда удивлялся Иван Палыч, заглядывая в Зайчиков портсигар с приятелевым потретом на крышке, когда тот угощал его папиросой, тянул к нему руки и уже целовал его губы и щеки.

— Здравствуй, здравствуй!.. Какой молодчина!

Смотрит Зайчик, что приятель самый что ни на есть настоящий, пришел в себя и тоже бросился к нему и стал его целовать...

— Дорогой мой, я очень спешу... проводи меня на Рижский вокзал.

— Спешишь?.. Да что же ты как пень торчал на мосту?

— Я, видишь ли, заблудился... и очень устал...

— Переутомился... да это, брат, все... а вид у тебя хоть куда!.. Казенный хлеб, видно, в пользу!

— Здоровый?! Скажи, ничего?..

— Говорю, хоть куда — боевой!.. Только глаза... А ну покажи, вчера перебрал!..

— Да нет, я пью аккуратно... Так ты проводишь меня?..

— Вот еще, Лелик!.. Конечно... Извозчик! Извозчик!.. На Рижский...

Тпрукнул усатый лихач, Зайчик с приятелем вспрыгнули на подножку пролетки и покатили.

— Я, милый, заблудился, словно в темном лесу!..

— Ну-ну, рассказывай как?

— Да никак надоело!..

— Пишешь?..

— Куда тут!..

— Это от лени, ты больно ленив!..

— Полно, милый... Не хочется сейчас об этом и говорить... Вот что, скоро будет конец?...

— Конец?.. Немцу насыпим и... баста!..

— Не верится что-то...

— Да и нам тоже... не очень!..

— Вот видишь?!

— Могу только сказать: скоро, Лелик мой, скоро!

— Только б скорее, а на остальное все наплевать!

— А родина?

— Родина?.. Родина!..— Зайчик просветлел и схватил приятеля за руку.— Разве родину можно отнять?

— Немец придет и отнимет...

— У нас немец в болотах потонет, помнишь, как в сказках!..

— Нет, Лелик, техника! Это не сказка... а впрочем, я с тобою согласен: мы теперь между Аникой и Иванушкой-дурачком!..

— Вот-вот... Только б скорее!..

— Видно, тебя проморило... Что же ты скачешь, заедем ко мне, отдохни...

— Нет-нет, не могу... Мне трудно тебе рассказать почему, но не могу!..

— Верно, опять что-нибудь с чертями неладно? Чудак-человек!

— Не поверишь! Лучше уж я промолчу... Что это, Рижский?.. Ты заплати, у меня ни полушки!..

Приятель ссадил Зайчика у вокзала, поцеловал его крепко в самые губы и сказал лихачу:

— Обратно!..

Зайчик достал портсигар из кармана, помахал им на прощанье, а приятель, поднявшись с сиденья, еще раз крикнул ему:

— Береги, это счастливый подарок!..

Зайчик улыбнулся и стал расспрашивать носильщика, где стоит последний очередной эшелон на позицию... Носильщик показал на ворота, куда въезжают ломовики, за шлагбаум: вдалеке у товарных пакгаузов дымил паровоз, а за ним тянулась (казалось, ей нет и конца) длинная лента товарных вагонов, доносились оттуда громкие крики, песни и свист и заливистые переборы тальянки...

«Туда — легко, трудно — оттуда... как с того света»,— думает Зайчик, не спеша шагая к вагонам...

Ближе крик и свист. Вагоны набиты, тесно в них, как в базарный день в лавке Митрия Семеныча, все свистит, свиристит, хочется, видно, серым шинелькам заглушить сердечную боль и тоску показной веселостью, ненужным криком и не враз начатой песней, которая так же неожиданно обрывается на полуслове, как, может, скоро сборвется и жизнь...

Соловей, повада-пташка,
Не пой лету под конец,
Ты не жди меня, милашка,
На побывку под венец!..

— На позицию, ваш-бродь?..— спрашивает солдатик с умильным, именинным лицом.

— Да, братец,— сказал Зайчик, остановившись,— опоздал на свой эшелон.

— На Ригу изволите?..

— На Ригу...

— Мы тоже, вон там офицерский... первый от паровоза...

— Да нет, туда далеко идти... дай-ка мне руку, я с вами устроюсь!..

Десять волосатых рук сразу протянулось к Зайчику, он уперся об закрай пола вагона и вмиг очутился в знакомой, пропитанной особым солдатским душком тесноте, к которой за четыре, почитай, года привык не на шутку; в углу на нарах лежали солдаты, Зайчик прилег к ним и скоро заснул спокойным ребяческим сном...

Глава седьмая

У СМЕРТЕЛЬНОГО ОЗЕРА

НОЧНАЯ СКАЗКА

Да, так вот всегда и бывает!

Кому беда, кому еда, так уж устроено в жизни, а для нас с этой водополицы получилось вроде как праздник!

Утопло у нас всего человек полтораста, а чертухинских десятка два или поболе... Солдат ровно гриб: смерть ногой счеканет, а грибник пройдет и головы не наклонит!

Пропали, дескать, без вести, неизвестно, в каком таком месте!

Никто и не доискивается, кто да что, поставил только Иван Палыч крест в своем нарядном листу, тем и делу конец! Каждый же из нас в отдельности бог весть как

рад был сам за себя и самому себе даже не верил, что сух вылез из бани!

Иван Палыч, когда перешли мы в резервы, первые дня два или три проснется в полночь, скинет штаны, заворотит до непотребства рубаху да сонный и ходит, как блаженный, по конюшне, пока его кто-нибудь не заберет под локотки да не уложит на нары или не вспрыснет холодной водой.

— Ишь ты, тьма те возьми,— скажет только Иван Палыч, очухавшись,— грезится все, что тону иль купаюсь, и будто я не Иван Палыч, а семилеток Ивашка, и будто перехожу за коровой Янтарный брод на Дубне и вода корове только по муклышку, а мне по самое горло... хоть бы домой отпустили...

— Все равно управют теперь молотьбу и без нас,— утешает его всегда Каблук или Пенкин,— поспеешь разве к пастушьей разлуке...

— Э-э... да на пастухов хоть одним глазком поглядеть... сам бы пошел в пастухи!

— Говорят, Иван Палыч, что наш командир подал рапорт, каждый, значит, на целый месяц поехал бы в отпуск, а по возвращении крест получил, да писаря его искурили...

— Известно, сукины дети!— хмуро промолвит Иван Палыч.

Иван Палыч, два Каблучка, все Морковята да уж и много других, которых не упомню, пролежали первые дни в большой лихорадке, по ночам нас всех било под одеялом, в голову лезла разная чушь и нескладиха, а по утрам ходило все перед глазами кверх-кувырком, котелок с кипятком словно набок валился, и с языка подчас срывалось такое чудно́е, от чего и самому потом становилось чудно́.

Один только Пенкин, казалось, ничем не страдал, лежал целые дни на матрасе, набитом пахучим сеном, и все время глядел в потолок, вставая только к обеду иль к чаю, да, не глядя ни на кого, что-нибудь отмочалит да обсмеет кого, от чего никому не обидно, а только в горле щекочет...

— Иван Палыч,— скажет вдруг Пенкин,— ты умный мужик или нет?

Иван Палыч заекает кадыком и не сразу ответит:

— Дураком родная мать не зывала!

— Ну, тогда отгани мне загадку...

— Ну?

— Как шуринов племянник зятю родной?

— Смекалистая загадка... надо подумать... зятю родной?

— Да... ты долго не думай!..

— Деверь, што ли?..

— Нет, брат, не деверь!

— Сваток?..

— Ну... сваток! Разберись в голове, уклади по порядку...

— Нет, брат Пенкин, не знаю!

— Ну вот, Иван Палыч, а ты говоришь, что мать дураком не зывала...

— Да ты говори!

— Скажу завтра утром!— И на другой бок повернется...

Иван Палыч посмотрит Пенкину в спину и сам про себя начнет выводить родню за родней, а все не выходит...

«Как решето голова: одни только дырки!..»

Думает, думает так Иван Палыч, кувыркнется и захрапит... Ночью проснется Иван Палыч, словно шкнет кто, и глаза не знает куда девать: не спится!

Полезет разная чушь в голову, инда и въявь станет страшно...

— Прохор, не спишь?

— Нет, сон черту продал!..

— Дорого взял?

— За твою башку меньше дадут!..

— У моей башки, Прохор, ума есть лишки, а у тебя и впереду и сзаду ни складу́ ни ладу!

— Шея курья, голова дурья!

— Тьфу те в прорву!

Смотрим мы на них и за животы держимся, каждому подбивало ввязаться, да на язык так горазды не были.

Долго препираются оба, потом все уладится, и Пенкин вполголоса, чтобы нас не побудить, рассказку сказывать будет; хорошо было слушать Пенкина в полусне,

вроде как видишь все тогда наяву, и у Пенкина голос становится то тише, словно уходит, то будто шепчет в самые уши, а перед глазами, утонувшими в сон, все, что ни скажет Прохор, стоит как живое:

— Во время иное и в месте ином,
Может, в конце, а может, в начале земном
Стояла Гора Золотая...

Стояло на этой горе в ин-времена большое село по прозванью Праведное; и жили в этом селе правильные люди. Гора была золотая, по селу шла золотая улица, на улице стояли золотые избы, и жили в этих золотых избах люди с золотыми сердцами — правильные люди.

И мы иногда в добрый час говорим про другого: золотой человек, скажем и сами после не верим, да и трудно как-то этому верить!

Жили так правильные люди, соблюдали свой правильный закон, пахали свою золотую землю и добро копили...

* * *

Однажды, не помню, в каком году, в каком месяце, сидели правильные старцы на завалинке у понятой избы, дела свои правильные решали... Сидят старцы, в бороды свои укутались... Глядят, идет по селу чужой человек.

Кликнули старцы чужого человека и спрашивают его: откуда и куда прохожий человек идет?

— Иду я,— говорит им прохожий,— по белу свету,
Ищу правду, а ее нигде нету...

— Как,— спрашивают правильные старцы,— нету?
Мы, старцы правильные, и царь,
И псарь
У нас одинаково правду любят...

— Нет,— отвечает прохожий,— правда человечья
Что шерсть овечья:
Из нее можно валенки скатать и варежки сплесть,
У кого какая совесть есть...

— Как же так?— спрашивают правильные старцы.

— Очень просто,— отвечает прохожий,— правда человечья, что каша с салом,
В большом и малом

Пропитана ложью,
Не то что правда божья...

— В чем же тут различие:

В смысле,— спрашивают правильные старцы,— или в обличии?

— Человечья правда — посох, а божья правда — крылья!

Сказал так прохожий, в сизого голубка обернулся, кверху турманом взвился, а потом сел на застреху и ворковать зачал...

Сидят старцы правильные, голубиную воркотню слушают, а сами про себя думу думают:

«Надо идти на старости лет правду божью искать, у разных людей ее поспрошать, в разных местах ее доглядеть...»

Только куда вот идти — невдомек никому...

— Пойдем,— говорят правильные старцы,— куда глаза поведут...

Вырезали старцы правильные по березовому посоху, бороды вокруг пояса обернули да — на большую дорогу; остались в селе Праведном одни только воробьи под застрехой да бабы с малыми ребятами на улице...

Только тронулись старцы правильные в путь, голубь с кровли сорвался, в синее небо за ними взвился, крыльями лоп-лоп захлопал, громко загургукал... Откуль ни возьмись налетел на него серый ястреб, крылья сизые голубиные смял, перушки мягкие выщипал, кровь сладкую выпил... Собрал ветер голубиные перья и понес их сизым облаком по поднебесью.

Летит по небу облако, словно платочком издали машет...

Летело так облако ровно три дня, шли так правильные старцы ровно три года, на третий год в Ерусалин-град пришли.

Видят старцы, что отдохнуть им пора,
Отдохнуть пора, постучать у чужого двора,
За чужим столом посидеть — закусить,
О правде божьей чужих людей расспросить...

Идут они по Ерусалину-граду, видят: навстречу им пузатый поп!

Идет поп, как большая бочка катится, селезенка у

него, у мерина, на ходу екает, а в брюхе бурлит, словно опара всходит...

— Скажи, ваше священство,— спрашивают правильные старцы,— где правда божья живет?..

Поп на них глазами уставился, словно никак дураков не разглядит, молчит, пыхтит, обеими руками за живот держится, словно лопнуть боится, потом на самую большую церкву пальцем утыкнул,

Громко икнул

И покатился...

Пришли правильные старцы в церкву, запружена церква народом, уставлена церква иконами, увешана церква лампадами, утыкана церква свечами, со всех сторон угодники смотрят: кто повиднее — под самый перед.

Кто победнее, так в самом углу...

Ходили старцы правильные по церкви ровно целый день, народ локтями толкали, лбами у каждой иконы стукали, пришли к вечеру в последний притвор, глядят: в притворе гроб стоит...

Гроб золотой парчой околочен, камнями драгоценными усыпан, а над гробом лампада большая светится — полтора пуда лампадного масла войдет...

Спрашивают правильные старцы:

— Здесь правда божья живет?

— Здесь,— отвечает им монах.

Склонились старцы правильные к парчовому гробу, в землю поклон положили, смотрят: нет ли где в гробу дырки какой, на божью правду взглянуть...

Глядели, глядели — нет нигде щелки никакой, глядь, только в одном месте черный таракан сидит, длинным усом водит, старцев правильных посмотреть в щелку манит. Прильнули старцы, смотрят, смотрят, ничего не видят, ни тьмы, ни свету,

Ровно как в гробу, ничего и нету...

Поднялись старцы правильные с приступок, монах лампадку поправил, лампадного масла подлил, в кадило ладану положил...

Крестятся старцы истово, на лампаду большую уставились, а в лампаде маленький бесенок купается, кверх брюхом в лампадном масле плавает и красный свой

язычок поверх масла выставил, словно на старцев правильных дразнится.

Постояли правильные старцы, покумекали,
Спросить о правде божьей больше некого.
Говорят они монаху:
— Чтой-то в гробу нетути праху?
Чтой-то в лампадке гадёнок плавает, портит лампадное масло.
Смотри, монах, как бы лампада не погасла...
Осердился монах на правильных старцев.
— Не дает вам бог,— говорит — смерти,
Вот вам везде и видятся черти...
Подумали старцы, в уме все прикинули,
По последней полтине вынули,
Монаху на масло подали,
А сами встали поодали...

Постояли они так, пока в куполе звон не пошел, пока из церкви народ не повалил. Вышли и старцы правильные, смотрят, облачко сизое за град Ерусалин бежит, платочком машет...

Увидали старцы правильные платочек, стучаться на чужой двор раздумали, посидеть-закусить расхотели, завернули у пояса бороды да и снова в путь. Много ли, мало ли старцы правильные шли, оттянули им спины кошели, обшаркали они ноги о пырь-траву, надсадили глаза, дорогу разглядывая...

Шли так правильные старцы, шли и на Афон-гору пришли. Подошли они к Афон-горе рано по утречку, березовым посохом в ворота стучат...

— Кто там?— спрашивает сторож с колотушкой.

— Мы,— говорят старцы правильные,— по белу свету ходим, божью правду ищем, нигде не находим...

— Напрасно вы время проводите,— говорит сторож из ворот,—
Правда божья у черта в батраках живет...

— А в каком таком месте,— спрашивают правильные старцы,— это будет?

— Выйдите назад, тогда,— говорит сторож,— и скажу,
И дорогу покажу,
А то если кто сюда войдет да знать это будет,

Все равно выйдет — забудет.

— Ладно,— говорят правильные старцы...

Прошли правильные старцы в Афонские ворота, от ворот кверху ступеньки идут, на каждой ступеньке стоит церковка, на каждой приступочке — часовенка...

Поднимаются правильные старцы по ступенькам, а впереди их идет

Монах,

В гарнитуровых штанах,

Шелковую купчиху под ручку ведет...

Идут старцы за ними, на Афон-гору лезут, на самой на Афон-горе, видят, золотая клетка стоит.

В золотой клетке затворник сидит.

Подошли старцы к затворнику-притворнику, а он себя сыромятиной по заду бьет.

— Зачем это он?— спрашивают старцы правильные у монаха.

— Затем,— говорит монах,— чтобы на Афон-гору больше купцы подавали, в святые хочет попасть...

— Так,— говорят правильные старцы и три поклона в землю положили...

Встали старцы правильные с земли, на завторника-притворника смотрят, открылась у затворника-притворника крышка на голове, и все у него в голове старцам правильным, как в сундуке, видно.

Смотрят старцы правильные, а там из мозгов черт колбасу вертит.

Да на правильных старцев рогами крутит...

— Убивает плоть,— говорит старцам правильным монах.

В гарнитуровых штанах.

Старцы правильные ему ничего на это не сказали, боялись, что он их с горы вниз столкнет, три поклона еще ударили, бороды вокруг пояса закрутили, да и вон пошли...

Подошли они к сторожу у врат.

— Скоро же вы,— говорит он,— воротили назад...

— Говори,— просят правильные старцы,— куда нам теперь идти...

— Вот,— говорит сторож и колотушкой показывает,— идите все прямо полями и лесами,

Горами и реками,

Ко месту некому,
Убогому,
Калекому,
Низкому-пологому,
Где ель не растет, ива кудрей не ронит,
Где человечья нога во мху тонет...

— Ладно,— говорят правильные старцы,— как это место прозывается, под какой звездой это место находится?..

— Прозывается,— отвечает сторож, привратник-совратник,— прозывается это место Чертухиным, Антютик в Чертухине ходит за старосту, правда божья у него в батраках, в услужении, стоит то место вон под той звездой, что на землю глядит, как зеленый глаз.

— Спаси те Христос, а заодно и нас!

Поклонились привратнику-совратнику правильные старцы до самой земли
И в путь потекли...

Шли так старцы долгие годы, шли так долгие месяцы, сизое облачко в небе растаяло, разнес ветер сизые перушки в разные стороны, упали они на дальнем севере вместе с снежными хлопьями,— не так ли и душа человечья в смертный час
Скрывается с глаз?..

Шли старцы по темным ночам,
По дремучим лесам,
По ковровым лугам,
По речным берегам,
Шли по дорогам нехоженым,
По тропам проложенным,
По задам, по околицам,
Где трава колючая колется,
Где пески сыпучие ноги секут...

Шли правильные старцы потайно мимо сел, мимо деревень
И в какой час, в какой день
Пришли на Светлые Мхи, в наше Чертухино...

Сели правильные старцы у мокрыжины, на наш дремучий лес дивуются, воткнули в землю свои посохи; глядят, лежит у болота чекрыжина, а под чекрыжной корягой леший Антютик спит...

Обрадовались правильные старцы такой находке, позвали на ответ Антютика:

Где у него правда божия тутытка?..

Сел с ними Антютик, слушает, как ходили правильные старцы по миру, что от него, старого лешего, требуется.

Слушал, слушал их Антютик, наконец говорит старцам правильным попросту:

— Проходили вы, видно, бороды, попусту,

Совратил вас, видно, привратник-совратник, указал вам отсель,

Где за десять верст кисель.

Хорошенько меня слушайте: мне-то вас обманывать незачем...

Я ни зверь, ни человек, ни баба, ни мужик, ничего не делаю,

Только по лесу бегаю...

Правда же на земле вот какова: кажное дерево на свой лад шумит, кажная трава свой голос подает,

Кажная птица на свой манер поет,

В кажном монастыре есть свой звон,

У кажного есть свой закон,

По своему закону, по своей правденке всякий живет...

Только закон с законом не сходятся, только правда на правду войной идет:

Волк ест козу,

Коза ест лозу,

А сидят все на одному возу,

Вот тут уж и я разобрать не мог,

Что правда, где ложь.

Тому хорош,

Этому плох,

Тому плох — этому хорош,

Тут ничего не разберешь,

Живи как хошь,

Потому — какая вошь

И та живет и жить хочет

И тоже о своей правде хлопочет...

Только над всей этой правдой, похожей на ложь, есть единый свет,

Ему ни конца ни начала нет.

Держит он над землей днем золотой фонарь, ночью

серебряный, развешивает облаки днем, чтоб не жарило, ночью лампады теплит, чтобы было в лесу светлей.

Держит он в руках землю, как малое дитё, на все, что творится, сквозь пальцы смотрит; наклонит он над землей синие очи,

Росою луга намочит,
Деревья освежит,
Землю дождем напоит.
Прорастет на земле всяк
Зверь, злак.
Птица и гад.
И всякому он рад,
Всякого растит и холит,
Всякому мирволит...
Потому-то и дерет волк козу,
А коза
Лозу,
А лоза
Божью слезу
Из земли пьет.
Тем кажный и живет...
У всякого своя правда и ложь,
И всякий по-своему плох и хорош...

Ну, а теперь,— кончил Антютик,— давайте-ка с устатку да дорожки

Поедим клюквы да морошки...

Стал Антютик старцев правильных в плечи толкать-будить, да так и не добудился: вогнал он старцев правильных в такую дрему,

Что не разбудить никому...
С той поры прошло много-много лет,
Теперь уж и Антютика нет,
И от старой чертухинской рощи
Остались одни только мощи:
Пни да коряги, сучья да прутья, да корни что в земле!..

Остались только по сю пору божьи подожки, что и теперь стоят на мокрыжине, к которой ни подъехать ни подойти, можно только издали поглядеть, стоят березовые посохи, около них кочки мхом поросли, только с кочек тянутся бороды да ползет вьюн-трава по земле, окна-провалины прикрывает...

* * *

Так приходит в свой час и были, и выдумке, и жизни, и всякой сказке конец...

Хорошо спать, и хорошо всем спится после Пенкиной сказки: видится всем наш родной край, наш дремучий лес, полусведенный ни за грош богачом Колыгиным.

Проспишь до утра, словно по лесу этому нагуляешься, вольного елового духу в грудь наберешь, исходишь всю вырубку, увидишь издали Светлые Мхи: на мхах без листьев березовые посохи стоят, нет на них листика, только в прилетный день по весне мелкие птахи сидят, лес делят — кому где гнезда вить.

ПЕК ПЕКЫЧ

Зайчик тихо шагал по Тирульской дороге, торопиться теперь было некуда; на сердце — тревога, в душе — безнадежье...

Да и кругом не заметно умиротворенной человечьей руки: недорубленный бор смотрит вдали искаженным и обезображенным лицом, словно палач в середине казни сам испугался — вывалился у него топор из повисших рук, а жертва так и осталась с недорубленной головой лежать на помосте; уцелевшие ели и сосны смотрят уныло на вырубку, на отрубленные и брошенные без толку вершины соседей, на коренастые пни, откуда по капле течет смоляная слеза.

Стоит сосновая роща порублена, каждое оставшееся деревце на вырубке словно человек, раздетый ворами на дороге: не знает он, что ему делать, кому жалобу нести, кого просить.

Смотрит из-за них синим опечаленным глазом Счастливое озеро, трепыхает на нем быстрое парусное крыло, низко наклонившись к воде под неумелой женской рукой, и по берегу, где недавно еще стояли рыбацкие чистые хаты, теперь только пеньки да обугленные бока полусгоревших строений: бросил немец на рыбачье село с летучей машины в сухмень стальное, начиненное огнем, высиженное самой смертью яйцо, замутила чистые озерные воды ядучая сиротская слеза.

Летят по небу гуси с грудным настороженным гоготом, вытянув шеи, забирая все выше и выше при виде окопных дымков, тянут под самыми облаками с серебряным присвистом журавлиные стаи, оглашая дали печальным прощальным курлыканьем:

«Родина, родина, тебя скорей журавли могут унести на своих крыльях, чем огнем лютый неведомый враг выжечь из сердца, отнять и ввергнуть в небытие: нет для тебя погибели, потому что велика и величава полевая печаль от века, ни один народ ее не примет, ни одна душа не благословит, ни одно сердце песни о ней не сложит!..»

Летит стая за стаей, лента за лентой, и эти журавлиные ленты под небом разве только встречный ветер всколышет, а вожак впереди и крылом не дрогнет, и тревожного знака не подаст молодым, когда стосковавшийся в серой шинели мужик приложится желтой щекой к ложе винтовки, мушку на вожака наведет, потом зажмурит от солнца глаза и дернет курок:

— В белый свет, как в копеечку...

Подморгнет товарищу, упершему в землю глаза, и тоже в землю молчаливую уткнется и больше не взглянет на небо с журавлиными лентами в синей косе...

Разорвет их только разве поутру да в вечер железная птица, вылетевшая из-за немецких берегов на разведку...

* * *

Пошел Зайчик к штабу полка и начал раздумывать, куда ему лучше сейчас заявиться — в штаб или прямо идти в свою роту.

К командиру пойти — налететь на разгоняй, в роту — на распаляцию к Палон Палонычу! Да и где теперь рота, тоже не известно, хоть и насидели место, а за такой срок все может случиться!..

«Пойду лучше к Пек Пекычу»,— подумал вдруг Зайчик, вспомнивши давнишнюю славу у нас старшего писаря Петра Петровича Дудкина, который тайно ворочал всеми полковыми делами.

«Только скверно: денег нет ни копейки...»

Сунулся он в карман гимнастерки, не завалилась ли где какая бумажка, нащупал в углу катушок, вытащил, развернул: сторублевка.

«Это Клаша, наверное,— подумал Зайчик,— а может, и та... впрочем, сейчас это не важно...»

Было еще довольно раннее утро, писаря еще не вставали, и Пек Пекыч в отдельном своем помещении в постели лежал, как генерал.

Зайчик постучал к нему и вошел. Пек Пекыч и головы не поднял...

— Доброе утро, Петр Петрович,— сказал Зайчик, присевши к нему на кровать, и руку ему протянул, в которой ловко был зажат катушок,— выручайте, голубчик...

Пек Пекыч глаза чуть приоткрыл, катушок учуял ладонью, сунул его себе под подушку и недовольно сказал:

— Откуда же это вас присадило?.. Я вас исключил...

— Как исключил!..

— Без вести.

— Как же, Петр Петрович, голубчик, надо бы это исправить!..

— Да, конечно, не беспокойтесь: будет все в самом наилучшем виде.

— Вот и ладно.

— Завтра же водворим на прежнее место...

— Вот и ладно: поменьше бы только хлопот да представлений!

— Уж будьте — уверочки...

— К полковому ходить?..

— Ни-нни...— Пек Пекыч поднял маленький пальчик,— обтакается так: он, ваша светлость, и так как очумелый!

— У него больные печенки.

— Нет, это от двинской воды. Разве вы ничего не знаете?

— Петр Петрович, я ведь только что...

— Понимаю, у нас, батенька, следствие, суд будет!

— Вот как, с чего бы это? Казалось — командир не из последних: «Георгия» носит.

— Только что разве вот Жоржик поможет. Кажется, за все ваш Таракан будет платиться усами...

— Капитан Тараканов?..

— Ну да, ваш командир: недосмотренье,— Пек Пекыч

скуксил в комочек лицо и поднял бровку одну выше другой,— недосмотренье...

— Петр Петрович, что же случилось?

— Как «что случилось»? Вот тебе раз! У него полроты водой унесло, а он и не знает!

Зайчик вскочил как ужаленный и обеими руками схватил себя за глаза.

— Правда это, Петр Петрович, что вы говорите?

— Сущая правда, ваше благородие... Вот уж да!.. Такой был водополь: синаево море! Да ведь и про вас-то подумали, что утонули вместе со всеми... хотя Таракан ваш говорил, что вы... того... деранули к немцам будто бы вплавь... давно, дескать, случая ждали!

— Осподи боже! Да я...

— Этот, говорит, навряд-офицер давно у меня на замете!

— Да?.. Час от часу, вижу, не легче!

— Ну да ведь кто теперь ему поверит... Таракан наш срахнулся — суд, батенька, следствие будет, потому — недосмотренье! Шутка — Двину прозевал!.. Солдаты небось не щепки; надо было вовремя убрать и распорядиться... и... и донести!

Стоит Зайчик, смотрит на Пек Пекыча, словно чего-то никак понять не может, а Пек Пекыч ноги под одеялом обхватил и сжался в комок, стал совсем тоненький, маленький, жухленький, на промокашку похож, вот положи его в синюю папку с надписью «Дело», что на столе, и никакого Пек Пекыча на свете не будет.

— Что это вы,— спрашивает он,— глаза-то на меня так вылупили?

— Да так, ничего, удивляюсь...

— Чего удивляться?.. Можно сказать, везет, как утопленнику: теперь-то мы вас как-нибудь отрапортуем, а вот если здесь в эту потопицу попали, то ли с головой бы скрыло, то ли под суд тоже... потому хоть и боевой вы офицер, а против Таракана все же ведь чином не вышли!

— Выходит, Петр Петрович, я в самом деле в выигрыше?

— Ясно. Таракану-то теперь не отвертеться! Полковник Телегин вывезет, у того Жоржик, а у Таракана, кроме усов, ведь ничего нету. Вот что, вас спрыснуть нужно!

Пек Пекыч спустил ноги с кровати и показал ручкой на рабочий стол, на котором лежали грудой папки с делами.

— Потрудитесь, ваше сиятельство, достаньте, там под нижней папкой штабс-капитан сидит!

— Что это еще, Петр Петрович, за штабс-капитан?

Пек Пекыч залился тонким смешком, ноги за голову загнул и в таком положении отрапортовал Зайчику:

— Его благородие штабс-капитан 1-го шустовского полка... четыре звездочки носит.

— А...а...— протянул, улыбаясь тоже, Зайчик,— насилу понял...

Достал Зайчик коньячную бутылку, а Пек Пекыч из ящика под кроватью чайный стакан и наперсток. Налил Зайчик полный стакан, хотел его Пек Пекычу из вежливости первому предложить, да тот замотал головой и руками:

— Нет, нет,— пищит,— я из портняжного наперстка пью, меня бог ростком обидел...

Взял наперсток и выпил его потихоньку.

— Зато,— говорит,— умом ублаготворил...

Вкатил Зайчик в утробу чайный стакан, все у него позеленело в глазах, и Пек Пекыч стал какой-то зеленый, как травяная лягушка, а Пек Пекыч смотрит на него зелеными глазами и квакает:

— Где это вы, говоря между нами конечно, времечко провели?

— Я-то,— задумался Зайчик с ответом,— я-то, Петр Петрович, где был — там меня нету...

— Бабёшки, наверно,— осклабился Пек Пекыч.

— Бабёшки не бабёшки, а что-то вроде того: я всю эту неделю, Петр Петрович, на Счастливом озере в лодке проплавал.

— Это где же, далеко отсюда?

— Да нет, отсюда только не видно... Получил я тогда, видите ли, Петр Петрович, приказ... приказ-то ведь вроде как был?..— встрепенулся Зайчик.

— Ка-ак же, был... Вот еще, если бы не был: погонки-то у вас полетели бы, пожал что, теперь вместе с галками!..

— Да и слава бы богу, Петр Петрович, я ведь не очень.— Зайчик придвинулся к Пек Пекычу поближе.—

Получил, значит, приказ ехать на побывку, пошел в самый памерек напрямик на самом виду, а немец меня, проклятый, и спутал с дороги... К тому же, признаюсь, Петр Петрович, за мной бежала вода!

— Водополь! Знаем... знаем эту историю... Таракан в штабу все описал в полной подробности: брюшеньки все надорвали, как он вас изображал в лицах.

— Да?.. А тут еще ливень пошел, пролило меня до костей, трясучка взяла, а я все иду да иду... К утру, гляжу, пришел в одно место, и идти больше некуда... перед глазами вода... я вдоль по берегу: ни души... Потом гляжу, в стороне под кустом дымок, как шерстинка, висит, я к кусту, под кустом сидит женщина, ни старуха ни молодуха, а только такая красавица, Петр Петрович, каких теперь нам больше и не увидеть.

— Н-но,— говорит Пек Пекыч, приставши на локтях,— хороша?..

Слаб был по женской части Пек Пекыч.

— Чудо... Спрашиваю: как, красавица, называется это море... Да это, говорит она, вовсе не море, это озеро, это ты ростом не вышел, что его берегов не видишь.

— Вот так бабец,— крякнул Пек Пекыч.

— Да... как же, спрашиваю, красавица, это озеро называется?.. Называется, говорит она, это озеро Счастливое, только на нем теперь несчастные люди живут... Чего тебе, говорит, офицерик, надобно?.. Или у тебя своего горя недостает, что нас пришел навестить? У нас, говорит, в озере с сиротских слез вся рыба сдохла... Сел я к ней возле огня... Нечем, говорит, мне тебя, окромя воды озерной, попотчевать, был, говорит, у нас домик вон на том берегу, да и тот солдаты на костры растащили, вот, если хочешь, садись со мной в лодку, бери в руки парус. У меня, бывало, говорит,— а у самой слезы кап-кап,— муженек об чем ни соскушнится, выйдет с парусом в озеро, все горе забудет...

— Верно, из здешних солдаток,— заметил равнодушно Пек Пекыч,— лихой народ!

— Лихой, целую неделю к берегу не подъезжали... Накатался, Петр Петрович, досыта!..

— Ну и бабец!

— Да... бабочка, можно сказать!

Зайчик налил себе еще полстакана, Пек Пекыч плутовато надел наперсток на палец, сделавши знак, что больше нельзя и не хочет.

— А то нитку в иглу не проденешь! Пейте сами, ваша светлость, на доброе здоровье, у меня хороший запасон!

— Ну, так как, Петр Петрович, дальше-то будет?— осторожно Зайчик спросил, поморщившись и обмахнувши губы.

— Будьте покойнички, получите роту!

— То есть как это, Петр Петрович?..

— Да так, очень просто! Таракана отставим, а вас назначим!

— Право бы, лучше, Петр Петрович, по-прежнему, какой я командир!

— Ну, уж это, батенька мой, никак невозможно... после такой истории. Таракана в щель! Сиди и усом не води!

— Тогда назначьте кого-нибудь другого. Право же, я...

— Полноте, вы боевой офицер, боевой офицер! Вот что, берите-ка штабс-капитана в карман... да нет, это допейте, а там вон... возьмите еще, у меня запасон!.. Вот так... теперь идите в резерв... До свидания, господин подпоручик,— помахал Пек Пекыч ручкой.

— Какой еще, Петр Петрович, там подпоручик? Что вы?..

— А как же?.. Вы исключены, можно сказать, с повышением в чине... представили вас!.. Потому пострадали, можно сказать, за отечество... Ну, а назад козла рогами не ставят... То-то, будьте покойнички!

Петр Петрович подал Зайчику руку, ухмыльнулся, как кот свернулся комочком и, помахавши из-под одеяла расправленной сторублевкой, фальшиво захрапел.

Зайчик вздохнул, засунул в нутряной карман свежую бутылку и, немного шатаясь, вышел.

МНОГОБОГ

Нагадала, значит, цыганка Зайчику в ручку!

Он и не видал, когда возвращался на позицию по Тирульской дороге с побывки, что проходит как раз мимо той самой рощи у озера, в которой стояли мы после

водополицы в глубоком резерве, забытые, кажется, и богом, и до время нашим начальством.

Начальству было в ту пору совсем не до нас.

Вышла такая история, что в самом деле было для него лучше припрятать остатки двенадцатой роты куда-нибудь к сторонке от лишних разговоров. Вначале-то взялись было всерьез: действительно, суд вроде как састожить, следствие навести по закону, а полковник Телегин, полковой, был не дурак, знал хорошо, что пройдет неделя-другая, оботрется, что-нибудь новенькое случится, да еще почище нашего водогона, и делу конец!

Да так оно потом и случилось! Только Таракану остригли усы!

Расположились мы в конюшнях в каком-то имении, неподалеку от озера, где и вправду стояла деревушка, как наврал о том Пек Пекычу Зайчик, почему-то не захотевши ему сказать о себе правды.

От всех барских построек уцелели только эти конюшни; должно быть, барин жил тут богатый, а может, был у барина конский завод... От барского дома торчком только подымалась средь сада большая труба над голландкой, в которой уже навили себе гнезд воробьи, да в стороне на самом въезде в имение стояла сторожка без окон и без дверей.

Туда мы ходили.

Окол сторожки под кустом валялась статуя, голая такая баба, станушка сползла с нее на коленку, и видно, что обе руки держала она посередке, как будто собиралась купаться, да кто-то из нашего брата из озорства или любопытства на одурелый глаз вздумал взглянуть, отбил ей обе руки, но ничего не увидел, повалил ее сапогом и напихал в ноги соломы.

* * *

Что Зайчик вернулся, и мы долгое время не знали...

Да, правду говоря, и не думали об этом, в суматохе да расстройстве решивши после водополя, что Зайчик или утонул, заблудившись в дороге, или попал все же не в ту ямку во время обстрела и ему оторвало задние ноги.

Узнали мы только от Сеньки, денщика командира.

Как-то день на шестой, когда всем получшало, Иван Палыч встал с утра очень в хорошем благорасположении духа. Брюки почистил, пуговицы мелком натер, сапоги смазал колесной мазью, которую ему кто-то из ленивой роты принес, нестроевой сродни был там у него, долго молился богу перед чаем, а за чаем сидел приглаженный, чистый, под кружку откуда-то блюдце с голубыми цветами по краю и золотой каемкой достал.

— Должно, что после барыньки — в саду нашел,— сказал Иван Палыч.

— Хорошее блюдце... ты не забудь... не равно — домой захвати!— усмехнулся Прохор.

— Думаю так, Прохор Акимыч, что скоро... по снежку, может...

— Нешто бы!

По небу, чистому и глубокому, словно приподнятому осенними ветрами, прогнавшими перед скорым снегом непогоду, летели гуси беспрерывной лентой. Смотрели мы на эти ленты, сидя на лавочке возле конюшен, и на душе у каждого вставали чертухинские наши родные места, опавший лес неподалеку от села, синий купол, и синее небо, и у окна привычная рябина, с которой треплют дрозды переспелую и хваченную морозцем ягоду, и уже почернелые кусты крыжовника и смородины на огороде в задах, где как-то по-особенному в последние осенние деньки попискивают синицы, подвешиваясь и боком и вниз головками к облетевшим веткам.

И не заметили мы в этой задумчивости, как к нам подошел Сенька Кашехлебов. Подошел от тихо, степенно снял фуражку и подал всем руку:

— Честной компании!— Странно даже было взглянуть на Сеньку.

На этот раз он не только не был под мухой, но смотрел как-то необычно серьезно, и около рта его не было так всегда и прыгавшей складки, готовой сложиться в беспричинную усмешку или рассыпаться в мелкие ниточки веселых морщинок по щекам, похожих у глаз на заячьи лапки.

— А-а... Семен Семеныч!— сказал Иван Палыч, раскуривая трубку.— Как ноги таскаешь?..

Сенька только рукой махнул, подсаживаясь к нему. Все так и уперлись в Сеньку.

— Что же ж такое больно не весел?..

— Откомандировали!

— Кого... тебя?..

— Да меня-то что: капитана нашего откомандировали!..

— Ну-у?..— протянул, скрывая удовольствие, Иван Палыч.— А мы тут ничего не знаем... приказа неделю в руках не держали! Куда же?

— Да в лазарет...

— Что же такое, Семен Семеныч?..

— Хорошо не поймешь!— неохотно ответил Сенька.

— Жар, что ли, зашел?..

— Нет... в голове что-то... такое!

— Перепил, значит... Да ты расскажи по порядку...

— Да расскажу... теперь торопиться некуда... мать их за заднюю ногу, уж как капитан просил оставить меня при себе, а не выгорело!

— Полно, Семен Семеныч, у нас веселее!— утешил Сеньку Прохор.

— Мучает меня, Прохор Акимыч, места не нахожу... привык, как теленок к пойлу, а теперь, значит,— ша!.. Засну — нечистый веревку сует...

— Да, плохо-то плохо тебе без их высоко! Да что случилось-то с капитаном!..

— А я и сам хорошо не пойму... Пришли мы тогда, значит, после этого водогона в офицерский лезерв, прекрасно все, как быть не может, сбегал тут же за заливухой и только вернулся, взошел, гляжу — их-высок катается по полу в растяжку и бормочет такое несуразное, чего и до сих пор понять не могу...

«Никаких чертей я,— кричит их-высок,— не признаю!.. Признаю только одного всемогущего бога!.. Вон... вон... вон!— кричит.— Чтобы духу твоего, многорогий черт, не было!»

Я бросился было его подымать, чуть заливуху не пролил, их-высок выпучил бельмы, перевернулся на спинку и... на меня:

«Ты,— говорит,— кто это будешь, позвольте вас расспросить?»

— Значит, уж узнавать перестал,— заметил было в сторону Прохора Иван Палыч, но тот и не обернулся, уставившись в Сеньку.

— «Да... чего вы,— я говорю,— ваш-высок, спятили, что ли?.. Или уж я очень долго ходил, что у вас не хватило терпенья?..»

«Извольте,— говорит,— извольте мне отвечать: кто вы такой?.. Кто вы такой?»

«Да я же это... я, ваш-высок!»

«Многобог?»

«Вы лучше,— говорю,— выпили бы... а не то меня побили! Пейте,— говорю,— ваш-высок, пейте и мне немножко оставьте!»

Глотнул он чутельку, гляжу, в глазах прочистилось, зубы оскалил, смеется.

«Дурак,— говорит,— ты, Сенька, ничего не понимаешь!»

Известно, дурак, я уж к этому привесился, с дурака меньше спрашивается, лишь бы не дрался.

«Ты что,— говорит,— Сенька, можешь на это сказать?..»

«Ничего,— говорю,— ваш-высок, окромя хорошего!»

«Тогда,— говорит,— садись и стукнем! Ты,— говорит,— Семен Семеныч, самый умный мужик есть на свете!»

«Лестно,— говорю,— слышать от ваш скородия такие слова...»

Сенька остановился и взял из рук Иван Палыча трубку, чтоб прикурить «козью ножку», которую заворотил толщиной чуть не в палец, запыхал сразу, глубоко вдыхая в себя махорочный дым и понемногу выпуская его из ноздри. Мы, мало что толком разобравши, глядели на Сеньку, да и Сенька был сам на себя не похож.

— Ну-к что ж,— сказал Иван Палыч, принимая трубку обратно,— я еще во всем этом ничего такого худого не вижу!

— В том-то и дело, все пошло как и надо: выпили, закусили, потом опять выпили, два раза в этот день бегал за заливухой, а потом... сызнова все зачалось!

Иван Палыч трубку положил на коленку, нас оглядел, да и мы все переглянулись: видно по всему, что Сеньке на этот раз не до шуток.

— Ну?— поторопил Иван Палыч.

— Ну... только это было мы к вечеру с их-высок расположились, слышу — в дверь кто-то скубется... Их-высок обернулся с походной кровати, будит меня разутой ногой, а я спал возле на полу, на шинели, побледнел и заорал во всю глотку:

«Кто там, в рас-пруды-на-туды-твою вас?..»

А из-за двери кто-то чужим голоском, инда и мне стало страшно.

«Это я,— говорит,— господин капитан... пришел доложиться по случаю приезда!»

«Какого приезда?..— кричит их-высок.— Кто там еще может приехать?..»

«Да я,— говорит,— я!»

«Да кто там за «я», в рас-пруды-на-туды?»

«Да я же,— говорит,— навряд-поручик Зайцев».

Их-высок так и подернуло, привстал он с кровати, смотрит на меня и вроде как сказать ничего не находит, а мы как раз перед этим приходом говорили о Миколае Митриче, потому что в этот день было в приказе: пропал!

— А мы и того не знаем,— перебил Иван Палыч.

— Как же... по приказу он исключен... как без вести... и в чин произведен!

— Семен Семеныч, что-то больно нескладно выходит!

— Да ж я же не знаю, как там решило начальство... только в тот самый вечер их-высок как раз мне и говорил, что Миколай Митрич вовсе не без вести, а просто учесал к немцам и теперь у них служит шпионом...

— Ну, городи! Вроде как что-то не больно...

— Их-высок так говорил... Это, говорит, так уже беспременно верно, потому что все на это похоже... Ну, значит, каково же было его удивленье, когда сам Миколай Митрич пришел, да еще преставляться по случаю производства.

«Входите,— кричит их-высок,— господин навряд-офицер, я к вашим услугам!» — а сам за стакан да за шашку, в одной руке стакан, а в другой — шашка:

Ну, думаю, да-а-а!

Дверь потихонечку отворилась — и Миколай Митрич... в натуральном виде... Чуть малость выпимши.

Сенька опять прикурил у Ивана Палыча и посмотрел на всех исподлобья. Мы подвинулись ближе, а у Сеньки складка у рта совсем подобралась и в глаза уткнулись три желтых морщинки.

— Да рази Миколай Митрич вернулся?..— спрашивает Пенкин.

— Выходит, что да, хотя опосля того вечера он мне не попадался... так что, пожалуй, я даже толком не знаю, потому уж больно в тот вечер мы были все трое сизо!

— Скоро-ти обернул,— протянул Иван Палыч.

— Ну так и вот... входит, значит, их благородье, их-высок разинули рот, я, братцы, потому уж больно не ждали, тоже малость подобрался,— что дальше будет?

Он молчит, и мы молчим!

«Здравия желаю, господин капитан,— говорит Миколай Митрич, чуть шатаясь, а руки по швам,— здравия,— говорит,— желаю!»

«Нет... не-ет,— закричал их-высок,— вы скажите сначала, навряд-офицер, живой вы сейчас... али мертвый?..»

«Что вы, господин капитан?.. Как же так можно... я, можно сказать, преставляться!..»

«Извольте,— говорит,— по всей дисциплине мне отвечать: живой али мертвый? С того света аль с этого изволите прибыть?..»

«Что вы,— отвечает Миколай Митрич. Видно, что тоже не в себе, в глазах словно дым, губы трясутся, и подбородок дергается,— что вы,— говорит,— господин капитан, разве на том свете есть штабс-капитаны?..»

«То есть как это так, господин навряд-офицер? Вы изволите... что... смеяться надо мной?» — еще пуще закричит их-высок и — за шашку. Я сзади за кончик держусь, думаю, отсадит руку — отсадит, а драться не дам.

«Никак нет,— говорит спокойно Миколай Митрич,— и не думал даже, не капитаны, а... штабс-капитаны.— Достал из кармана бутылку и на четыре звездочки капитану показал, взял табуретку, сел и говорит:— Как вам известно, у капитана погон чистый, а у штабс-

капитана четыре звезды! Да-с! Налей-ка нам, Семен Семеныч!»

Ну, думаю, пронесло! Их-высок даже выронил шашку и тоже сел.

Налил я им по стакану, себе чашку под столом набурлыкал, смотрят они друг на друга пронзительно, и, вижу, в руках стаканы дрожат.

«Я,— говорит Миколай Митрич,— больше вас, господин капитан, не боюсь. Мне теперь ничего не страшно, окромя во... воды!»

«Ну, мне это,— отвечает их-высок,— это только приятно... я трусов да мертвецов терпеть не могу!»

«Тогда за ваше здоровье»,— обрадовался Миколай Митрич и потянулся чокаться, не донес стакана и так его пропустил в один дух, что их-высок свой оставил и «Здо́рово!— говорит.— Гдей-то вы так расхрабрели?»

«Долго рассказывать, господин капитан... Давайте,— говорит Миколай Митрич,— поговорим лучше о чем-нибудь таком душеполезном... Я ведь знаю, что вы совсем не такой солдафон! Ведь вы в семинарии были...»

«Да,— говорит их-высок,— метил в попы, а оказался, как видите, лоцман!»

«Очень,— говорит Миколай Митрич,— даже приятно... Вот... вот... Как вы,— говорит,— полагаете, господин капитан, есть у нас теперь бог или остались одни только черти?..»

Их-высок как вскочит и — за шашку, а Миколай Митрич ни в чем, только малость привстал на табуретке..

«Ага,— закричал их-высок,— черти?.. Черти? Ага, я знаю теперь, кто вы такой!.. Что, есть бог, господин наврядофицер?..»

«Прах! Прах, унесенный буйным ветром! Смерть, господин капитан! Смерть — бог над нами!..»

«Я так и думал, так и думал,— шепчет мне капитан,— так и думал, слышишь, что говорит?»

Я только головой ему мотаю: дескать, как нам не слышать, уж так-де хорошо понимаю, а сам на обоих гляжу и вижу, что дело пустое, а как с ним сообразиться — не знаю!

«Знаю,— еще раз повторил их-высок и руку к самому носу Миколаю Митричу протянул,— знаю теперь, кто вы такой!.. Вы... вы...» — но не докончил.

Миколай Митрич даже вскочил.

«Позвольте,— говорит,— мне течение мысли вашей, господин капитан, не очень понятно...»

«Непонятно? Вы смеете говорить: непонятно?..»

«Непонятно, господин капитан!»

«Непонятно... так сядем... налей-ка нам, Сенька,— говорит их-высок, отбросил шашку и сел.— Вам непонятно?.. Значит, вы и в самом деле живой человек, прапорщик, тьфу, подпоручик Зайцев, значит, вы того... не черт и не дьявол?»

— Допились, значит, оба,— говорит Иван Палыч, но Сенька не взглянул на него и продолжал:

«Позвольте чокнуться, господин капитан»,— говорит с улыбочкой Миколай Митрич.

«Да я с удовольствием, если так... только позвольте, позвольте, как же вы это сказали?»

«Что изволите, господин капитан?» — опять улыбается Миколай Митрич.

«Да ведь, по-вашему, так и выходит, что на свете теперь ничего, кроме чертей, не осталось?»

«Это уж точно, господин капитан... бога не стало, остались одни только черти... разного вида!»

«А вы,— говорит спокойно их-высок,— хилозофию, господин навряд-офицер, изучали?..»

«Нет,— отвечает Миколай Митрич,— у меня мечтунчик с детства пристал к голове, как у некоторых бывает родимчик!»

Их-высок опрокинул стакан и — об пол.

«Так-с... слушаю, господин навряд-офицер! Хорошо-с! Извольте теперь отвечать мне по всей дисциплине: бога нет?..»

«Был!»

— Умственный разговор,— перебил Иван Палыч наше общее молчание, но Прохор на него рукой махнул, как на муху, а Сенька словно не слышал:

— «Так-с! Хорошо-с, господин навряд-офицер! Что нам остается?»

«Боженята, господин капитан!»

«Многобог! Вот кто»,— поднял руку их-высок, разжал пальцы на кулаке и бросил их книзу.

«Никак нет,— упирается Миколай Митрич,— боженята!»

«Многобог!»

«Никак нет: боженята!»

«Как боженята,— шепотком прошипел командир,— какие такие еще боженята?..»

«Очень простые, господин капитан, ко всякой нации теперь приставлено по божененку... Оттого,— говорит Миколай Митрич,— и войну ведем, что эти самые боженята спать людям не дают хуже, чем блохи!»

Что тут произошло, и рассказать невозможно: их-высок за тубаретку, размахнулся — хвось по столу.

«Вы,— кричит,— немецкий шпион! Вон, распросукин сын! Вон! Сенька, вяжи его! Вяжи сукина сына! Шпиона пымали!..»

Ну, братцы, я в сени, скорее в штаб, Миколай Митрич, гляжу, за мной бежит, еле одышится, а там уж стекла звенят, пальба поднялась нам вдогонку, пули только под ногами: вжик... вжик... Спятил, рехнулся! А все из-за пустого дела,— прибавил Сенька, выбивая из трубки,— выпили бы, как добрые люди, закусили, а то нет... Ну, за то и додрыгались!

— Вот ведь какое дело,— передохнул Иван Палыч,— что же дальше-то было с капитаном?..

— Да известно: сообщил Миколай Митрич в штаб, связали их-высок и откомандировали в... лазарет!

— Нескладно вышло! Теперь их-высок, наверно, в отставку, зато полковника с косой полоской получит!— закончил Иван Палыч.— Интересно бы знать, кого теперь назначат нам в командиры?..

— Найдутся,— сказал Прохор,— об этом тужить нечего! Это у них всё,— похлопал он Сеньку по плечу,— от беспривычки, с богом-то так вышло!..

— Да уж нескладно!— согласился Сенька.

Закинул Прохор кверху голову и заулыбался во все скулы: над самой у нас головой высоко летела журавлиная стая, унося с собой под крылом загубленные, трудные солдатские души.

Глава восьмая

СМЕРТНЫЙ ПЕРЕВОЗ

ПЛАВУЧИЙ ОСТРОВ

Как говорил Пек Пекыч, так все и случилось.

Получили мы еще в резерве полковой приказ, который Иван Палыч долго вертел сначала в руках, а потом приставил к самым глазам и расстановисто всем нам прочел:

§ 17. Следствие по делу командира 12-й роты капитана Тараканова по обвинению его в бездействии власти и упущении по службе в боевой обстановке временно приостановить ввиду тяжкой болезни означенного обер-офицера.

— Эна, как нашего капитошу завалили,— пыхнул дымом Иван Палыч и палец поднял, а глаза у самого смеются и под козлиной бородкой довольный калачик собрался.— Знаете, кто теперь командир?

Нам что ж, нам кто ни поп — все батька! Однако мы все в один голос спросили: а кто, господин фельдфебель?

Иван Палыч собрал гармошку на лбу, опять поднял указательный палец и пробасил:

— Его благородие господин подпоручик Миколай Митрич Зайцев...

— Вот это да!

— Проведен по приказу... выходит, и в сам деле вернулся!.. Вернулся... да еще с чином!

— Ну и слава с Христом, что не черт с хвостом!— крикнул радостно Пенкин...

— Говорить тоже надо по делу,— ревниво наставлял Иван Палыч,— командир — дело не махонькое...

— Да нам-то што за беда?..

— Вам-то известно... только знаете, отчего так все случилось? Я вечерысь Пек Пекыча встрел, про Миколая Митрича, видно, он из хитрости да малого почтения ничего не сказал, а мне, видишь ли, говорит: здравствуйте, говорит, господин фельдфебель — всему голова! Да-а!

Враскосок идти на этот раз Иван Палычу даже Пен-

кин не стал, все были этой переменой довольны, да и не о том каждый из нас думал.

В полдни, дня через четыре, заявился и сам Зайчик.

Поздравили мы его с благополучным возвращеньем и ротой, а у него и радости-то от этих поздравлений никакой на лице...

Уставился на Пенкина и первым долгом сказал:

— Вы извините,— говорит,— меня, ребята, пожалуйста, что писем ваших я не довез: я их в почтовый ящик бросил, вот только письмо Пенкина у меня как-то за обшлаг завалилось, вот и конверт еще цел. Пенкин, вернуть тебе, что ли?

Пенкин покрутил головой.

— Вы, значит, ваше-высоко, и домой не попали?..— спрашивает осторожно Иван Палыч.

— Нет, Иван Палыч, попал я совсем в другую сторону,— печально отвечает ему Зайчик.

— Ну и то слава богу, что целы, мы думали тогда, что немец вас прикокошил... Изволите роту принять?..

— Да, согласно приказу... Сегодня к вечеру, Иван Палыч, придет пополнение, произведем тут же разбивку и...

— Неужели ж, ваше высоко, и в отпуск не пустят после такого купанья?— отрывисто проговорил Пенкин.

— Сегодня говорил Пек Пекычу. Ни в каком, говорит, виде, потому — нету солдат...

— Чтоб у него, у черта, рога отвалились...

Зайчик вдруг заторопился уйти, и мы все подумали, что это он от повышения так гнушается нами, и не знали причины: трудно было Миколаю Митричу лгать перед нами, а сказать правду труднее — жалко было ему Прохора Пенкина!

— Послали письма, Иван Палыч?.. Известили?..— спросил он, обернувшись.

— Как же... мы уж об этом забыли.

— Обсохли!— злобно пробурчал Пенкин.

Ночью в новом составе — хорошо еще и не разглядели наших новичков, сброд какой-то совсем непонятный: кто из Луги, кто из Калуги, народ мореный, по два раза, по три под огнем побывали,— ночью перешли мы на линию, только на новое место, не хотело начальство остатки

прежней двенадцатой мокрыми окопами пугать, выбрало местечко посуше.

* * *

Место это нам мало по духу пришлось, та же Двина, те же окопы на том берегу, хотя у немцев ни деревца, ни кусточка, а у нас за спиной высокие сосны, ели по земле подолами пушатся, кое-где у них сбиты макушки, как ножом обрезаны пулеметным огнем сучья с боков, сперва можно подумать, что в этом месте стрельбы большой не бывает, но в первую же ночь оказалось иначе.

На левом фланге у нас, посредине Двины, был небольшой островок, принесло его бог знает откуда в этот последний разлив и, словно на грех, остановило против нашей двенадцатой роты; немцы на нем успели уже укрепиться, с обоих углов островка глядели бойницы, вылупившие на наши окопы ничем не прикрытые раструбы, островок был забит пулеметами, минометами, и житье в этом месте у нас было совсем горевое...

Хорошо, что Иван Палыч с разбивкой так подгадал, что островок больше пришелся на пришлых.

Зайчик показывался редко в окопах, больше сидел в блиндаже, чему мы мало дивились, незачем было зря высовывать нос: тому руку оторвет, тому ногу минометом выхватит, а то так и совсем разнесет, подметок от сапог не оставит, плохие прогулки!

Пробовали было наши артиллеристы раза два или три по этому островку пострелять, да сначала все перелет брали, потом, как вздумал молодой подпоручик взять островок этот в вилку, так и вкатил чуть ли себе не в затылок.

И как только немцев на этом острове угораздило укрепиться?

Должно быть, в первый же день, как у нас беготня была по случаю наводнения.

Правду-то говоря, и немец не страсть что от этого островка получал, только снаряды попусту изводил да себя беспокоил, выбил он у нас человек двадцать солдат за все время, попортил малость блиндажи да окопы, одна докука только, но, видно, уж надоело пивному немцу стоять на двух верстах одному да на нас глаза

без толку пялить, обрадовался он развлеченью: как-никак, а игра природы, под самый нос подставила нам Двина поганый островишко, на котором и мышке побегать негде, а немец и его приладил на зло и погибель нашу.

СЕНЬКИНА КОШКА

Однажды сидели мы в блиндаже, Иван Палыч только что благополучно воротился с обхода, залегли мы было все по-хорошему спать, иные уже спали, разинувши рот до ушей и вызывая храпом дремоту другим на глаза.

Пенкина было что-то давно не слыхать, он все больше спал иль притворялся, что спит. Сенька с тех пор, как его отчислили после болезни Палона Палоныча в роту, тоже как скис, мучился без заливухи, и если говорил, так больше ругался заковыристой бранью, да и в денщиках Сенька ходил у Палон Палоныча не по закону, потому Сенька был кавалер, сам же капитан Тараканов, хоть и по пьяному делу, но крестик навесил, а кавалеру в денщики никак нельзя. Ну да какой же закон, если его нельзя обойти? Капитан же без Сеньки ни часу не мог обойтись, потому и сходило до время...

В этот же вечер и Сенька, и Прохор молчали, лежа на нарах, у прочих же разговор не ладился и приходил к концу, каждый ворочал слова, словно большие колеса из кузницы катил, круглые, тяжелые, окающие, не скоро их изо рта выпихнешь языком, но только Иван Палыч пожелал храпевшему Пенкину спокойного сна, который ни «да» ни «нет» на это пожелание ему не ответил, Сенька вдруг прямо к Иван Палычу в ноги, сел у него в ногах и кричит:

— Иван Палыч, немцу островушному — ша!

— Подожди ты орать, а то связать прикажу!— говорит ему Иван Палыч, со всего размаху толкая его в бок кулаком.

— Постой, Иван Палыч,— кричит расходившийся Сенька,— давай мне веревку подлиннее... я ему докажу!..

— Да что ты, спятил, что ли?.. Вешаться, что ли, хочешь?— смеется уже веселым, заливистым смехом

Иван Палыч.— На глазах у смерти вешается кто же, заливушное брюхо?..

— Нет-нет, Иван Палыч, я бы за бутылку бы, да что — за глоточек один, сейчас его искоренил без остатку...

— Это кого же, черта, что ли?

— Нет, Иван Палыч, островушного немца искореню...

Иван Палыч поднялся на локтях, глядит на Сеньку: что у него, клепки, что ли, из головы выпали? Так не похоже — Сенька как Сенька, глаза только так и горят как уголья и руки на коленях трясутся...

— Ты что это, Сенька, мелево мелешь, ложись сию же минуту, а то назад руки скручу и шомполом по сидячему месту...

— Иван Палыч,— тихо говорит Сенька,— послушайте вы меня, дурака, ведь дурак, да не очень, семь лет управлял большим перевозом, ты это только пойми...

— Да это мы всё понимаем; ты ведь не на Волге сейчас, а на Двине, тут, брат, несь не бабы полощут белье — он те так полоснет!

— Вода, Иван Палыч, по всему свету по одному закону бежит...

— А... это верно,— говорит Пенкин спросонья, повернувшись к Сеньке лицом и полой протирая глаза...

— Знамо дело, что верно,— торопливо подхватил Сенька...

— Ты, Иван Палыч, послушай Сеньку, он ведь ба-альшой кесарь, да командиру доложь, может быть, толк какой будет...

— Ну, бреши, Прохор Акимыч...

— В нужде, Иван Палыч, человек в два раза умнее...

— Ну, так и быть, рассказывай, Сенька!

Мы все приподнялись с нар, закурили, приготовились все заранее вдосталь от новой Сенькиной выдумки посмеяться, а Сенька только всего и сказал:

— Надо мне, Иван Палыч, для всего дела веревку подольше, пороху побольше, ночь потемнее да артиллериста поумнее... Вот, и больше ничего не скажу...

Лег на нары и только потом, когда все угомонились, он опять тихонько подошел к Ивану Палычу и прошептал ему на ухо:

— Вы спите, Иван Палыч?

— Нет, не сплю, решаю твою задачу,— говорит ему миролюбиво фельдфебель...

— Все равно не решите...

— Почему? Что же, у меня, по-твоему, ума твоего меньше?..

— Да нет, ума-то у вас больше, да я самого главного не сказал, что еще для этого нужно...

— Ну, а что еще, Семен Семеныч?— приподнялся Иван Палыч и воспаленными глазами посмотрел в воспаленные Сенькины хитрые глаза...

— Усё узнаете, скоро захвораете!..

— Слушай, Семен Семеныч, коли наладишь такое дело, так ведь я не знаю какую награду получишь... Скажи. Семен Семеныч, что еще надобно?..

— Ин ладно, давай полтинник, скажу...

— Дам, собачий сын, говори!..

— Дашь?

— Дам!..

— Дашь?

— Дам, ей-богу же, завтра дам и за заливухой пущу...

— Ну тогда, Иван Палыч, хорошенько слушай.

— Ну,— пригнулся к Сенькину уху Иван Палыч.

— Нужна еще для этого дела — кошка...

— Ну это уж ты врешь, Сенька, какую там тебе тут, на позиции, кошку, тут и котенка-то не достанешь...

— Вот теперь и подумай, а к завтрему с вас полтинник... дозвольте!..

— Выкусишь!

Иван Палыч повернулся на другой бок и скоро захрапел, а Сенька долго еще сидел на нарах ножка на ножку и о чем-то очень упористо думал...

* * *

На другой день, когда рассвело и косой лучик нас на ноги поднял, Иван Палыч никакого полтинника Сеньке, конечно, не отдал, а только поднял Сеньку на смех.

— Кошка кошке розь,— сказал Пенкин Иван Палычу,— одна кошка мышей ловит, другая кошка ведро достает...

— А ведь и в самом деле, Прохор Акимыч,— говорит, приподнявши брови, Иван Палыч...— А? Что ты тут скажешь?..

— Ну, вот то-то и дело, у Сенькиной кошки железные ножки...

— Доганулся, Сенька, знаю. Получай полтинник!..

В это время пришла смена из Акулькиной дырки, из наблюдательного против плавучки, куда время от времени Иван Палыч, чтоб не было очень заметно, что он своих однодеревенцев бережет, назначал кого-нибудь из чертухинцев. Смотрим мы, лица у Голубков сильно помяты, губы трясутся, бороды скомканы и словно заворочены в рот...

— Что, Голубки?— спрашивает Иван Палыч, ничего еще не подозревая.

— Одного Голубка ястреб склевал, перушек даже не оставил...

Мы перекрестились. История эта стала знакомая: шли неосторожно с поста, подшумели, немец с этого чертова поплавка услыхал и из миномета мину пустил. Говори — вечная память!..

Иван Палыч не нашелся даже что и сказать, снял только фуражку и крест на лоб положил.

— Разнесло?..

— Искали-искали, лоскутинки нету нигде: схоронил, только креста не поставил!

— Ну, Иван Палыч, на твой полтинник назад,— отрубил Сенька, соскочивши с места как кошка,— пойдем к командиру...

Иван Палыч взял полтинник, положил его почему-то на стол, а не в карман и сказал:

— Верно, Семен Семеныч, пойдем: может, что и надумаем... А?— обернулся он недоверчиво к Пенкину...

* * *

Пенкин молчал, сурово нахмуривши брови и заломивши на затылок картуз...

...Зайчику Сенькин план пришелся очень по духу; сперва он сидел и словно не слушал, глядя поверх Иван Палыча куда-то в темный, завешенный паутиною угол, ду-

мая будто о чем-то давнишнем, чему никак не мог найти разрешенья, отчего на чистом белом лбу у него пролегла горько изогнутая, еле заметная черточка крест-накрест, когда же Сенька все рассказал про кошку с железной ножкой, про то, как он служил на Волге перевозчиком и как им хозяин дорожил за большую сноровку и знание дела, несмотря на то что Сенька любил заливать,— одним словом, сразу про всю свою жизнь и ту удивительную затею, которая ему спать не дает,— у Зайчика глаза прояснели.

Поглядел он на Сеньку, будто только что разглядел, а допрежде и не видел. Сенька же Зайчику смотрит в глаза, а Иван Палыч засел в стороне и водит своими усами, как таракан из щели.

— Ты, Сенька,— герой!— сказал Зайчик, поглядевши в сторону Иван Палыча...— Сегодня же пойду к артиллеристам и посоветуюсь с ними...

— Узнайте, ваш-высок, а я за всякое время,— застенчиво, не похоже на Сеньку, проговорил он, поднимаясь со скамейки и делая знак Иван Палычу.

— Только не забудьте, ваш-высок, заливухи еще, сами знаете: осень, вода!..

Сенькин план был очень простой: надо было плот сколотить или что-то вроде корыта, которое бы могло поднять на воде пуда два или три, корыто это привязать на веревку, веревку утвердить на остро отточенную кошку, чтобы сразу лапами врезалась в дно и в песке закрепилась, к корыту приделать круто поставленный руль, так чтобы в него било теченье и относило корыто с пироксилиновой бомбой к берегу немцев,— такое устройство часто увидишь еще и теперь на Волге на большом перевозе: баржа на канате ходит сама, хочешь — на тот берег, хочешь — на этот, как руль у баржи повернешь, туда ее волной и погонит...

Как только Иван Палыч с Сенькой ушли, Зайчик тоже заторопился, почти вслед им вышел из блиндажа и, размахивая руками, пошел по ходам сообщения на батарею, с которой так неудачно стреляли по островку.

Офицер, который командовал ею, был еще совсем молодой человек, слушал он Зайчика, покусывая розовую безусую губку, а когда Зайчик кончил, восторженно начал

крутиться из угла в угол по крошечному блиндажу, заложивши за спину руки...

— У вас есть человек, кто эту кошку закинет?..

— Есть, он все это и придумал...

— А ведь знаете, подпоручик, из этого должен бы выйти очень немалый эффект: едва ли мы сковырнем немца с этого островка, но что мы его испугаем, так это как пить дать, все будет зависеть, по моему мнению, от того, есть ли у немца на острову огневые припасы иль нет... Если есть... тогда...— Юноша обеими руками показал, как немцы полетят кверху на воздух.

— Ну, а если припасы найдутся, они ведь на них не скупятся, минометных бомб на острову, я думаю, пропасть: три ночи стояла луна, мы очень хорошо следили за лодкой — никакого намека...

— Я думаю тоже, что они в первый же день завалили весь остров этим добром... Тогда!..— Юноша опять всплеснул кверху руками.

— Давайте попробуем и без всяких реляций...

— Да нет, я и не думаю, бомбу мы сами сготовим... я думаю для этого газовый баллон подыскать...

— Ну, а мы тогда будем сегодня же сколачивать плот и закидывать кошку...

— Давайте, давайте — без дела ведь скучно, целый день только и знаешь что спать...

Зайчик поднялся и пожелал артиллеристу успеха...

— Какие солдаты, однако, у нас молодцы,— говорит Зайчику юноша,— и отчего неладиха такая?..

— Сам черт не поймет!..

Зайчик пожал ему руку и вышел...

* * *

...У нас закипела работа, каждый хотел что-нибудь сделать, тот тащит бревно, тот волочит доску, которую выломил в нарах, всем пришелся по вкусу Сенькин задор.

Пенкин с утра ушел с ним в кузницу в нестроевую команду, где до обеда они сварганили кошку.

— Ну-ка, попробуй, какие у этого котика лапки,— сказал Сенька, когда они с Пенкиным вошли, а Иван Палыч недоверчиво их оглядел: дескать, хватили,

наверно, ну тут и делу конец. Но не только Пенкин, но и Сенька был ни в одном глазу.

— Насилушки достали канату... Говорим, что вернем, дьяволы-черти, а они не дают... так мы думали, думали с Пенкиным, а потом взяли да и украли...

— Н-но?..— протянул Иван Палыч.

— Каптер и не сведает. После, потом объясним, экая важность!..

— Да, важность какая — казна!..

Позвали мы Сеньку плот поглядеть, сколочен он был в три ряда из комлистых бревешек и два человека легко мог поднять на воде...

— Ай да плот, вот это я понимаю, да я на нем на тот свет съездил бы в сутки...

— Плот,— говорит Пенкин,— только водяному тонуть...

— А руль-то... забыли... без руля он все равно что Пенкин без носу.

Вмиг пришвартовал Сенька большую доску от нар, привязал ее с одной стороны на веревку, так что плот стал похож на рожу, скривленную набок, отошел на два шага и говорит самодовольно:

— Ну, теперь, братцы, не трогать, командир придет, покажет устройство...

* * *

...Вечером пришел к нам Зайчик, был он навеселе, немного качался, в глазах висела муть, как паутина, но говорил все по делу, сел рядом с Сенькой на нары, а Иван Палыч и Пенкин немного поодаль...

— Ну, Сенька,— говорит Зайчик,— пришел немцу хомут!..

— Не хвалясь, ваш-высок, а богу помолясь...

— А ты, Сенька, по-моему, в бога не веришь!..

— Как же это так можно в бога не верить?.. Я об этом даже и думать раньше не думал,— раскрыл Сенька удивленно глаза...

— Неверие больше барское дело,— строго говорит Пенкин, даже не ституловавши Зайчика,— нашему брату без веры жить все равно что зимой ходить разутко́м...

— А я вот, Пенкин,— задумчиво говорит Зайчик,—

начинаю понемногу во всем сомневаться... Сомненья, Пенкин, сомненья!..

— Да вам, ваше-высоко, надобности нет... Вы от нашего брата куда как отменны, вы как-никак учебу прошли...

— По-твоему, Пенкин, ученому человеку верить не надо?..

— Не то что не надо, оно, конечно, это никому не мешает, а только у ученого человека выходит это совсем по-другому...

— Как по-другому?..

— Да, так, ваше высоко, у нас вера как печка, печка избу греет, а вера душу; ученый же человек сроду печки не видал, ему в городу все припасено, у него душа как в ватке лежит... Какой у него недохваток?.. Сходил в магазин да купил...

Иван Палыч ухмыльнулся на Пенкина и сказал Зайчику:

— У Пенкина, ваше высоко, язык колючей ежа...

— А у тебя, Иван Палыч, с защепом, с таким языком хорошо лизать сидячее место...

Иван Палыч нахмурился, но ничего не ответил, он только поглядел на Зайчика, отвернулся, как бы хотел этим сказать: вы видите сами, ваше высоко, какая у нас дисциплина,— но Зайчик хоть и понял это, только ласково на Пенкина улыбнулся и сказал Иван Палычу:

— У Пенкина, Иван Палыч, очень доброе сердце...

— Да вы не глядите на них,— засмеялся Сенька,— их водой не разольешь, а грызутся всегда как собаки...

Иван Палыч и Пенкин посмотрели друг на друга, Иван Палыч хмурился, а Пенкин улыбался во всю бороду и словно собирался просить у Иван Палыча прощенья.

— Иван Палыч тоже хороший человек,— примирительно сказал Зайчик обоим.

— Его одолело начальство,— не унимался Пенкин.

— Я бы вот влепил тебе три наряда, тогда бы и вякать не вздумал!..

— Полноте, Иван Палыч,— сказал строго, по-начальнически Зайчик,— мы не в гарнизоне стоим... а потом ведь... потом — мы односторонцы...

— Эх, верно, ваше высоко, нá, Пенкин, трубку, набивай крепче...

Зайчик обнес солдат папиросами и, выходя, тихо сказал в сторону Сеньки:

— Когда пойдете, зайдите за мной...

Сенька вскочил с нар, вытянул руки по швам и отчеканил:

— Слушаю, ваш-высок!..

САПОГ ЕГО НЕМЕЦКОГО БЛАГОРОДИЯ

Результат от Сенькиной затеи был неожиданный...

Накануне вечером отнесли мы шагов на двести или триста выше по течению от острова кошку и канаты, ненарезанные вожжи, два пудовых мотка.

Сенька разделся донага, привязал двумя мертвыми узлами кошку к концу каната, другим концом наглухо, как пастухи вяжут кнуты, срастил оба мотка и со всем этим добром в темную — глаз выколи — полночь пошел овражистой вымоиной прямо к Двине.

Сердце у нас захолонуло, когда мы смотрели за всеми его приготовлениями, и всех нас немного прохватывала дрожь, как будто и мы тоже вместе с Сенькой разделись и нам по давно не видавшему веника телу тонкой иголочкой колет осенний, моросивший с вечера дождь.

Сенька у самой реки выпил залпом большую бутыль заливухи, прикрепил легким узлом кошку себе на груди, которая, кажется, так и впилась ему в синий сосок отточенным когтем, и, разводя воду руками, сначала пошел в воду, ежась и весь пригнувшись к воде, потом бултыхнул, забрал себе воздуху полную грудь, и перед нами в ночной темноте блеснули только Сенькины пятки.

За Сеньку мы не боялись, все мы хорошо знали, что Сенька старый волгарь, плавать умеет лучше, чем рыба, и быстрее, чем пароход, в воде может сидеть полчаса и только пускать со дна пузыри, когда в грудях сопрется жадно, одним могучим дышком захваченный воздух, а любил Сенька больше воды одну заливуху...

— Поплыл наш карась,— сказал Иван Палыч Зайчику в самое ухо, и Зайчик разглядел в темноте прыгающие

глаза, трясущуюся козлиную бородку и всего Иван Палыча, так дугой и согнувшегося в ту сторону, откуда изредка доносился до нас еще различимый взмах по воде Сенькиных рук.

Видно, что Сенька больше плыл под водой, на поверхность появляясь только выдохнуть воздух, тогда слышен был всплеск, словно большая рыба ударит хвостом по воде; различить, что это плывет человек, было бы трудно.

Зайчик нагнулся к реке и тронул воду рукой, показалась она ему холодной, как холоден лоб у почившего человека.

— Вода скоро замерзнет,— сказал Иван Палыч, тоже опустивши руку по локоть,— да это Сеньке-то лучше: холодная вода ленивей течет!

Никто из нас не подумал, что холодно Сеньке, знали мы все хорошо, что Сенька после долгого пьянства всегда раньше выхаживался летом в колодце, а зимой в проруби или полынье...

Вылезет он, бывало, из полыньи и с полчаса потом еще кружится вприпрыжку возле нее, на волосьях у Сеньки большие сосульки намерзнут, по всему телу, кажись, подернется иней, а он хоть бы что: оденется враз, на печку часа на два забьется, и потом опохмелья как не бывало.

С замиранием сердца смотрели мы, как понемногу разматываются мотки на берегу; Пенкин сидел над мотками, помогал веревке в воду сползать, и был тогда он похож на колдуна, который, как в сказке, хочет веревкой водяного царя изловить: сидит он на корточках, смотрит горящими глазами на пеньковый моток и каждое движение веревки провожает долгим и пристальным взглядом.

Вспомнили мы тогда Сенькин веселый рассказ, как он крест получил.

Сенька, наверное, придумал тогда небылицу лишь для того, чтобы нас посмешить и самому посмеяться.

Скоро от одного мотка ничего не осталось, Пенкин к другому было подсел, но веревка вдруг остановилась и дальше в воду не шла. Пенкин поднял к Зайчику бороду и показал на веревку.

— Крепит,— еле слышно пошевелил он губами...

Через минуту моток сдернуло с места, Пенкин налег на него, сапогом уперся о землю, а мы, не разобравши сначала, подумали все, что с Сенькой неладно.

— Прохор Акимыч, плывет?..— нагнувшись, шепотом спрашивает Зайчик.

— Тише, ваше высоко, а то подшумим. Все в наилучшем порядке: по веревке стегает назад...

Веревка напружилась, очевидно, от каждого перехвата Сенькиных рук она ударялась по верху воды, Иван Палыч в воду по четверть вошел и нажал ее в воде сапогом.

— Чего доброго, дьявол, услышит...

Но излишня была наша тревога и осторожка, немцы как перемерли на этот раз, должно быть, и им надоело попусту палить, да и против островка навели мы тишину, как в церкви, изредка только для отвода глаз наши баловались из винтовок, но гораздо ниже того переката, в котором мы сейчас ставили якорь, да и немцы, видно, после неудачной стрельбы с нашей батареи слишком уверились в неприступности острова при невыгодном расположении наших окопов.

Сенька назад появился так неожиданно, что всех испугал, фыркнул он, из воды высунув нос, Иван Палыч сапог зачерпнул, а Прохор вскочил с мотков и бросился в воду, подал Сеньке правую руку, а левую к нам протянул,— вытащили мы их обоих.

Сеньку накрыли, двое взяли под мышки, и скоро мы сидели в своем блиндаже, поздравляя Сеньку с удачей.

— Ай да Сенька,— говорит Иван Палыч,— не человек, а водолаз ты, Семен Семеныч, выходишь.

Сенька то ли от усталости, то ли от холода ничего не говорил, только нервно время от времени стучал зубами и дрожал, отвесивши синие губы.

Был он смертельно бледен и за этот час в воде похудел, словно после тяжелой болезни.

Только когда все улеглись на покой, Сенька допил до дна вторую бутылку и захрапел вместе со всеми довольным, раскатистым храпом.

* * *

Наступил желанный вечер, когда все было готово. Еще в обед, спустя два дня, как Сенька плавал на середину Двины, четыре артиллериста с соседней нам батареи приволокли на себе трехаршинный баллон, набитый пироксилином да, наверно, и всем, что у них нашлось под рукой.

Иван Палыч, когда встретил их в сосновом лесу сзади наблюдательного, так только и сказал, гладя по чугунному чреву:

— Здо́рово, здо́рово, прикатили борова!

Борова этого, по указанию Сеньки, мы привязали на плот, с боков и сверху обложили солдатским хлебом большими ломтями, сухарями осыпали, которые у нас по положению на случай перехода имелись всегда, сухарей мы этих не ели, да их и есть было нельзя, они были твёрды как камень и переходили который уж год от одной роты в другую, сверху положил Сенька целый хлеб, круглый, как поповская шляпа, а в хлеб врезал маленьким складничком солоницу и в солоницу соли насыпал.

Понравилось всем это нам, потому что на войну не походило, а походило больше на игру и забаву.

— Пусть немец об наши сухарики зубы во рту обломает!..

* * *

Наступила темная ночь.

Веревку Голубки притащили еще вчера и прикрепили у замаскированного хода к Двине, где на ночь иногда залегали пикеты. По этому ходу сейчас потащили баллон, ход был узкий — двум разойтиться, потому несли плот с баллоном, взявши его на ребро, солдаты все ж сухари собрали в мешок, а целый хлеб с солоницей Голубок донес в обеих руках, боялся он соль по дороге просыпать, что бывает всегда не к добру и к неудаче.

Не хотели солдаты нарушать обряд угощенья, твердо веря помраченной душой, что, может, эти-то вот сухари и трудная, политая их же по́том и кровью краюха черного хлеба как раз и взорвется под самым сердцем остро-

вушного немца и отобьет у него надолго охоту мешать спокойно спать мужикам и думать во сне о своей сироте полосе, о женах, впрягшихся в плуги, и ждать в бессонные ночи светлого часа, когда придет на сиротскую ниву чудесный гость с колосяным снопом за плечами, в одной руке с острым серпом, в другой — с большим пучком чернополосной ромашки и синих, как небесная синь, васильков,— нивный гость, захожий странник, незримый страж деревни: мир!

* * *

К счастью нашему, немец и в этот вечер, должно быть предчувствуя лихую минуту, опять настороженно молчал, то ли ему надоело попусту лупить в наши окопы, то ли были какие иные причины, только все было сделано, как Сенька в своем водяном мозгу рассчитал, и плот с черной краюхой, с сухарями и под сухарями с пороховым боровом в самом низу поплыл к немецкому острову в полночь.

Сенька держал в руках конец от веревки, чтобы узнать, когда плот стукнется в берег, артиллерийский поручик разматывал сноровисто шнур от запальника, вода била в рулевую доску, и плот уходил, судя по поспешности, с которой Сенька перехватывал веревку в руках, со скоростью, которой трудно было ждать от такого устройства. Скоро Сенька прикрепил веревку за кол от колючки и, повернувшись к нам, в полшепота, задыхаясь, проговорил:

— Стоп, Матрена, дальше поеду после обеда...

Спеша и толкая друг друга, мы побежали на берег, надо было засесть за прикрытие, так как осколки от пироксилиновой бомбы и нам могли навалиться за ворот.

Ждали мы, и казалась каждая минута за долгие годы.

Несмотря на опасность, все мы перегнулись через окопы, и что дальше случилось, едва ли кто из нас хорошо разобрал.

* * *

Слышали мы, как разъяренная Двина бросилась, громко всплеснувши водяные вспененные руки, как разбились эти водяные руки о берег, на котором стояли наши окопы, как из водяных рук лизнул вдруг беспросветное небо огромный красный язык...

Потом в глазах все потемнело, в уши словно налилась вода, сама земля, показалось нам, сдвинулась с места, подбросило нас, повалило и придавило коленкой в песок в окопном ходу, в ушах же поднялся такой перезвон, будто у каждого в голове было по большой колокольне, куда больше чем в Чагодуе, и на всех колокольнях звонари посходили с ума...

Вверху шипит, визжит, охает, криком кто-то исходит и стоном — то ли осенняя темь наклонила низко на землю свое черное, укутанное в вихри и ветры лицо, то ли отлетают немецкие души в осеннюю высь, негодуя на вероломство черного русского хлеба, смешавшись в одно с водянистою пылью, земляною трухой, с осколками от минометных гранат, которые Сенька на сухари выменял немцам, то ли грызет высоко под небом живучий, неискоренимый немец волчьими зубами твердый солдатский сухарь и плюет на нас сверху смешавшейся с кровью слюной, недовольный такой невыгодной меной.

Расползлись мы по блиндажам, залегли в кучи на нарах, и как потом Зайчик вошел, артиллерийский поручик, а за ними и Пенкин — никто не заметил.

Вскочили мы, только когда у входа в блиндаж раздался веселый искристый голос и сам Сенька спрыгнул со ступенек в блиндаж в руках с сапогом.

— Сапог его немецкого благородия, ваш-высок,— сказал Сенька и поставил его Зайчику в ноги,— только бы из ходу подняться, а сапожок-то, вижу, идет сам ко мне по гребенке окопа... я уж оробел было: вижу, сапожок не нашего покрою!..

Из сапога бежала алою струйкою кровь, на ботах висело мясо кусками, и только носки у сапога лоснились, вычищенные, видно, недавно хорошею немецкою ваксой, и на пятке шпора звенела серебряным звоном, словно жа-

луясь русским солдатам на жестокую судьбу немецкого лейтенанта.

— Молодец,— сказал Иван Палыч, хлопая Сеньку по плечу,— молодчачина: немцу смерть перевез!

Глава девятая

СВЯТОЙ И РАЗБОЙНИК

ДВИНСКИЙ ЧАЙ

Прошли две или три недели после того, как островушный немец взлетел на воздух и в наших окопах воцарились опять тишина и покой.

Немцы так, должно быть, и не сведали причины, почему получился на острове взрыв, батарейной стрельбы в эту ночь не было.

Приписали они, наверное, это тому, что лейтенант, сапог которого Сенька принес в блиндаж, как единственный трофей своей победы над немцем, слишком от скуки на острову любил курить свою трубку и не выполнил самой простой предосторожности в обращении с живой смертью в руках.

К тому же была такая пора, когда во всем, в людях, в природе, в небе — по тому, как по небу в утро плывут облака, по тому, как под вечер садится солнце в пепельно-серую тучу, обведенную только по краю ярко-золотою каемкой,— в небе и на земле, как бы кончающей на глазах у людей свой таинственный обряд, в котором деревья, птицы, трава, бесчисленные полевые цветы да и сами люди для самих себя незаметно, торопливо проходят предназначенный круг,— была такая пора, когда все и всё ждали скорого наступленья зимы.

Встанешь утром после долгой, кажется, навсегда наклонившейся над землей осенней ночи, выйдешь взглянуть за окоп на прозрачную гладь млеющей в первых зазимках Двины, и в самые глаза тебе бросится склонившийся набок цветок на плешине окопа, которого раньше и не замечал, да и сам он прятал голову в траве, словно тоже боялся шальной, наудалую пущенной пули,

а теперь все равно, бояться больше нечего, скоро наступит пора, когда все живое на земле без жалобы и сожаления начнет умирать...

Все это наводило на солдатскую душу еле уловимую в потускневших глазах тоску и беспредметную необъяснимую грусть и усталость, как будто кончена вот полевая уборка и ждет мужик на печи, когда жена дотреплет последнее льняное паймо и испечет ему, трудолюбу, душистый каравай из нового хлеба.

Должно быть, то же самое чувствовал и немец, так как ни стрельбы по ночам, ни тревоги по ту сторону захмелевшей осенней брагой Двины мы не замечали, и с каждым днем становилось все тише у них и у нас.

Поутру, когда Иван Палыч первый выходит из блиндажа, еще не ополоснувши руки водой, взглянуть через окоп: все ли на месте, нет ли чего, на что немец хитер,— утром Иван Палыч долго стоит, будто через плетень смотрит на задворки, пока из-за Двины тоже заглядевшийся немец миролюбиво не крикнет ему:

— Страствуй, Русь...

— Фатерия-материя, стравствуй,— откликнется Иван Палыч и спокойно, не торопясь пойдет к елочкам.

* * *

Больше всего мы сидели около своих блиндажей, поставили даже такие скамейки у входов, чтоб всегда посидеть, поглядеть, как солнце заходит и какая завтра будет погода, как сидели некогда на завалках в Чертухине, поджидая соседа или к соседу после устатка и трудного осеннего дня подсевши побалакать о том да о сем или так посидеть: помолчать.

Просиживали мы целые дни, и забудешь, что немцы у тебя за плечами, что к вечеру Иван Палыч нарядит в Акулькину дырку, в наблюдательный пункт, где надо стоять как в пасхальную ночь, не подгибая колени.

Прошел Покров, на Двине по утрам все больше и гуще текло поверх воды густое розово-лампадное масло, вот-вот встанешь и увидишь не воду, а пенку, похожую на молочный снимок в махотке с разводами и с морщинами

по краям, вот-вот ударит на реку лед, рябой от предзимнего ветерка.

Наступила пора, когда мужику, привыкшему к спячке, все равно где бы ни спать, только б его не будили: зима постучала в окно блиндажа култышкой с дороги.

— Холодно, Прохор Акимыч,— скажет Иван Палыч, сбегавши наскоро поутру за нуждой,— холодно, Прохор Акимыч...

— А ты говоришь — купаться,— весело ответил Прохор, и Сенька рядом с ним захохочет, и говорить дальше, спорить и препираться совсем не годится: на окопном загибе опустил лепестки неведомый мужицкому слову цветок с синей головкой иль с потемневшей красной короной на голове, как будто это совсем и не цветок, а безвестный, безыменный царенок, у которого корона завяла, и надо ему дожидаться новой весны, чтоб надеть новую мантию, на голову новую роскошную корону надеть, чтоб по всему мужичьему зеленому царству шел нескончаемый звон, веселая немолчно-ветровая погудь и каждый бы мужик в этом царстве был царь и каждый цветок — королевич...

Да и как не вздрогнуть солдатскому сердцу, когда, достаивая смену поутру, взглянет солдат на застывший в захолоделых руках штык от винтовки, по которому с острия льется алая кровь осеннего рассвета, и, чуть приподняв глаза, разглядит: бог ее знает, какая-то птаха, должно быть собравшись в далекий отлет и приняв этот штык за облетевшую ветку, сядет на самый конец острия и пропоет свой последний чуви-чувиль-виль,— примет тогда солдат ее за издалека прилетевшую прощаться с ним близкую душу:

— Может, бог прибрал поскрёбыша-сына...

...Будет солдат с нетерпеньем ждать вести из дома, кто у него из домашних ему в этот день долго жить приказал...

* * *

Прикатил Михайла на коне звонкоподкованном по промерзлой дороге, подошел наш полковой праздник — Михайлов день... из полка Иван Палыч получил извещение о

приеме подарков для нас, и к вечеру, в канун, Иван Палыч с нашим каптером приволокли на обозной линейке два больших тюка с разным добром, а поверх тюков шестипудовый мешок сахару.

— Привезла приданое кобыла буланая!.. — весело шутили солдаты, перетаскивая тюки и сахар по окопным ходам в блиндаж к Ивану Палычу для дележки.

Разобрали мы тут же эти подарки, кому досталась теплая рубаха, кому кожух на овечьем меху, а Пенкин выбрал себе телогрейку без рукавов.

— Так,— говорит,— я больше на бабу похож.

Посовался он по карманам и в одном кармашке на дне достал в телогрейке записку:

По доброму жаланью шила баба Маланья, Федота не дождалась, телогрушка осталась. Носи другой солдатик телогрушку на вате, насколько хватит. Маланья Храпкова.

— Ай да Маланья,— весело говорит Иван Палыч,— везет тебе, Пенкин, с этими бабами.

— Федот, значит, да не тот,— печально ответил ему Пенкин.

Выбрал себе Иван Палыч теплые портянки, поверх портянок уложил пару шерстяных рубах и кругом на всех поглядел: не много ли?

— Бери, бери, Иван Палыч, тебе больше всех надобно сряды,— загудели солдаты.

— Спасибушки, и то хорошо...

А сам нахохлился и думает про себя: возьми-ка попробуй, сейчас загудят из углов, как шмели.

Разделивши одёжу, уселись на нары, стал каждый примеривать да охорашиваться в обновке, любит мужик добро в руках подержать, а Иван Палыч и каптер стали развешивать сахар.

Как гусь, вытягивал то и дело в руке у каптера длинную соску безмен с привязанным к нему котелком для развески. Иван Палыч по списку всех выкликал, каждый торопливо подбегал и подхватывал сахар в фуражку.

Последний котелок высыпал себе на изголовье Иван Палыч и хлопнул по лбу:

— Ах, я — пень чертуховый... ребята, надо сызнова вешать.

Мы недовольно все повернулись к Иван Палычу.

— Как же это мы командира забыли?.. Ведь это подарки.

— Да, пожалуй, что надо,— отозвался Сенька, пересчитывая сахар кусками,— я позапрошлысь был у него, так видел: на нитке висит кусок над столом, это я, говорит, чай пью вприглядку...

— Верно,— говорит и Пенкин,— вроде как надо.

— Вот что, ребята,— просиял Иван Палыч,— давай каждый сюда по куску, и будет что надо.

Иван Палыч бережливо отодвинул подальше свой сахар, расстелил потималку, а мы все по куску положили, выбирая который поменьше.

* * *

На другое утро солнце встало красное, должно быть, совсем перевалило на зиму.

Уселись мы на лавку возле блиндажа, в праздничный день и в деревне мужик с утра не знает, куда руки девать, разве разойдется, когда понаедет сватьё да деверьё да на стол жена поставит ковш с устоявшимся пивом, а тут и подавно: сидим мы, словно попа ждем на водосвятье, а поп, должно быть, раздумал.

К обеду пришел к нам Миколай Митрич и поздравил нас с полковым торжеством.

— Благодарю вас, ребята, за сахар,— прибавил Зайчик,— только вот что, Иван Палыч: я не люблю в долгу оставаться... сахар ваш, а мой чай и водичка!

— Ну, да вода-то, ваше высоко, найдется, все время у нас на парах, вот чайку, если положите, чтоб было погуще.

— Дай мне, пожалуйста, Иван Палыч, свой котелок...

Смотрим на Миколай Митрича и не можем хорошо разобрать, о какой это водице он говорит, когда воды, куда ни толкнись, сколько хочешь, в каждой ямке тут же возле окопов, да и дело ли командиру ходить за водой. Иные же по простоте душевной да от тоски, что давно во рту не бывала, на радостях подумали на заливуху...

Однако Иван Палыч принес котелок. Зайчик посмотрел в него и понюхал, потом подошел к окопному козырьку,

схватился одной рукой за выступ, занес ногу на колышек, подпирающий окопную стену, и вмиг, не успели мы спросить, что это вздумалось выкинуть Зайчику, перескочил через бруствер.

Смотрим мы, идет он во весь рост с берега прямо к Двине, пробираясь не спеша и осторожно через колючие загражденья.

«Ну,— подумал каждый из нас,— сейчас немец трескотню поднимет».

Но по непонятной для всех нас причине никакой стрельбы по Зайчику немец не поднял.

Зайчик спокойно подошел к воде, зачерпнул один раз котелок и сполоснул его, выливши воду на берег, потом снова нагнулся и снова в него зачерпнул, отпил немного из котелка и пошел обратно, перелезая через проволоку; в одном месте он зацепил брюками за колючку и немало времени, показалось нам, провозился, отцепляя ее, чтоб штанов не разорвать.

Все мы бросились к Зайчику, когда он занес ногу, чтобы с котелком, полным двинской воды, спрыгнуть в окоп.

— Затейник же вы, ваше высоко... герой... теперь уж видим своими глазами.

— Давайте качать командира! — крикнул Сенька, взявши Зайчика наперелом.

Пенкин подбежал, Иван Палыч, а за ними и мы.

Зайчик взлетел высоко над козырьком, но на втором же маху мы одумались и поставили его на ноги: в бруствер цокнула запоздавшая пуля.

— Ну, ребята, давайте-ка чай пить,— весело сказал Зайчик.

Бултыхнул Иван Палыч котелок с двинской водой в большой чайник, кипевший в блиндаже на лежанке, а мы уселись опять и приготовили кружки...

Смотрим мы на Миколая Митрича, и никто хорошо разглядеть его будто не может, только взглянешь ему прямо в лицо, а он отвернется, было у него в глазах что-то очень чудно́е, все время он, должно быть, о чем-то думал, а нас всех хоть и видел и понимал все, что ни скажешь ему, но отвечал все же больше себе, словно сам с собой говорил, а не с нами.

— Вот ты говорил, Пенкин,— начал вдруг Миколай

Митрич,— прошлый раз как-то о вере... а что можно об этом сказать, так чтобы было это правдой наверно, знаешь, так на верную... без всяких сомнений?

Пенкин нахмурился и тут же ответил:

— О вере думать много не надо... нам есть о чем думать: о хлебе, о доме, о детях, а вера сама плывет мимо хаты, и берега у ней крутые, ваше высоко...

— А я полагаю, Пенкин, что верить в наше время становится все трудней и труднее...

— Опять же, от непривычки к тяжелой работе и к тяжелой жизни.

— Нет-нет, Пенкин, жизнь наша вот как эта война: ты видел, Прохор Акимыч, героев, легко быть героем?

— Дело это, геройство, пустое... ничего нет смерти страшнее...

— Я думаю то же... Выходит, Прохор Акимыч, человек, где бы он ни был, страхом живет, а не верой.

— Ворона, когда мимо куста летит, тоже крылом крестится.

— Вот, Прохор Акимыч, страшно стало и мне.

— Нет, ваше высоко, с верой человеку все же менее страшно... в нашей темноте у нас только и есть одно окошко, куда на свет поглядеть: наша вера... не поповская, конечно, вам объяснять этого неча...

— А барин, Прохор Акимыч... тому ведь, пожалуй, не страшно? — вставил Сенька, наивно на Пенкина разинувши рот во время его разговора с Зайчиком.

— Барин уперся в науку,— сказал Прохор, не обернувшись к Сеньке,— у него обо всем свое рассуждение и другие мозги... барин мозгует без бога прожить...

— По-твоему, Прохор, науку выдумал черт? — спрашивает Зайчик.

— Черта человек непременно поборет, для того и науку человек изобрел, а вот бога...

— Тоже поборет?

— Не побороть... Не побороть!..

Зайчик курил папиросу за папиросой, и, словно внутри у него перед глазами стояли видения, глаза у него то расширялись и ярко горели, то потухали и тускли под нахмуренной бровью. Прохор же был спокоен, и только иногда возле губ собиралась смешливая складка и мор-

щинки словно кто стягивал в крепкий и злой узелок.

— А Страшный суд, Прохор Акимыч,— спрашивает Сенька,— будет?..

— Пожалте чай кушать, ваше высоко! — крикнул из блиндажа Иван Палыч.

— Пойдем-ка чай пить, дурья голова,— сказал в сторону Сеньки,— пожалуйте, ваше высоко,— поклонился Пенкин Зайчику.

Но так и не суждено было узнать любопытному Сеньке, будет Страшный суд или нет.

Только вошли мы все в блиндаж, как с первого поста недалеко от блиндажа раздался свисток, и Иван Палыч заспешил к постовому.

— Что там такое, Иван Палыч?..— спросил Зайчик фельдфебеля, когда тот в блиндаж воротился...

— Немец, ваше высоко, стоит на том берегу и тоже... черпает воду...

Зайчик вскочил и весь загорелся.

Показалось нам, что он немного шатался, держась рукой за плечо Прохора Пенкина.

— Дай-ка мне, Иван Палыч, винтовку.

— Любую, ваше высоко,— показал Иван Палыч на груду винтовок в углу.

Зайчик схватил винтовку, и не успели мы даже подумать, что она не заряжена, как он уже висел на том месте, где недавно перелезал за двинской водой, торопясь просовывал штык и нервно целил в кого-то, приложившись к прикладу красной воспаленной щекой.

— Она не заряжена, ваше высоко,— шепчет, словно боится вспугнуть немца на том берегу, Иван Палыч и сует ему под руку зарядку...

В это время Зайчик, не слушая его, спустил курок, грянул выстрел, и по окопу поплыл едкий запах от выстрела, а вниз с бруствера покатился к воде серым кольчиком дым...

Мы так и прилипли к бойницам: действительно, на том берегу стоит немец, трубку курит и в нашу сторону смотрит и котелок с водой держит.

«Страствуй, Русь...» — будто послышалось всем нам с того берега, но в это время как раз грянул выстрел, и немец выронил котелок и схватился за грудь, потом он

вдруг поднял высоко обе руки кверху над головой и, будто нырнуть захотел, повалился в воду.

Смотрим, плывет немец вниз по Двине и в воде еще все машет руками, словно это не немец плывет, а вода подмыла крутой берег и выбила из него большую корягу, и вот теперь играет этой корягой двинская волна, переворачивая ее с боку на бок теченьем.

Когда мы обернулись назад, Зайчика около нас уже не было...

ПРОХОРОВА РАЗГАДКА

Блаженная, счастливая, разголубая страна...

Есть ли такой кусок на земле, закрытый со всех сторон синей горой или синею тучей, обнесенный снежным валом непроходимых вершин или высоким забором из непотухающих молний? Есть ли такой кусок на земле, где бы нашел себе приют зеленый лес от топора человека, куда бы от жадности ненасытной его зверь убежал, где бы мог укрыться и сам человек, уставши от злобы к другому, посеявши в землю вместо зерна ни за что в черный час, ни про что в лихой час пролитую кровь?

Есть ли ты, блаженная разголубая страна, куда укатил Петр Еремеич, спасая от смерти любимых коней... Впрягла бы их солдатская смерть со смехом и гиком, с плачем и стоном вместо Петровой кибитки в патронный возок... Слава быстрым коням, Петру Еремеичу — слава! Вот только доехал ли Петр Еремеич?.. Нашел ли он эту страну?..

Петр Еремеич теперь под дубом десятитысячелетним чистит коням пыльные гривы с дальней дороги, в гривы вплетает лавровые ветки, в хвосты завивает алые маки и васильки.

— Здравствуй, юность и радость, здравствуй, невеста прекрасная — жизнь!

Лиха у Петра Еремеича тройка, велико и обширно у Петра Еремеича сердце, текут по нему мирные чистые реки, цветут в нем заливные луга, поют в нем веселые птицы, славят тебя и не могут не славить, невеста-невестная...

Слава жизни, слава!..

Смерть смерти, смерть!..

Сойди с горы, великан, полно тебе камни бросать на дорогу!

По дороге путник идет по горе через горы, полно тебе сеять страх на тропу, пугая и без того его перепуганный взор; перед этим взором, быть может последним, раскрылись золотые ворота, и путь под ногами у путника — в разголубую страну.

Лучше выломи дубовый стяг из горного леса, да и пройдись с ним по всему человечьему стаду, наведи в этом стаде толк и порядок, постращай хорошенько его пастуха, да и гони, гони, гони, если само не пойдет и будет пугать тебя мыком и ржаньем, повернувши к тебе хвосты и копыта, гони к берегам рек живоносных на водопой живой воды, а коль не пойдут — уничтожь!..

Смерть смерти, смерть!..

* * *

Так Зайчик часто мечтал в последние дни перед тем, как повалить с высокого двинского берега немца, проводя целые дни в своем блиндаже и не показываясь на глаза никому, принимая даже доклады Иван Палыча по телефонной бечевке.

Привык он к долгому лежанью на походной койке поутру, с которой, казалось, словно с высокой горы, недавно еще, между сном и пробужденьем, был виден весь мир, перед глазами земля лежала как на ладони, и за землей на земле сияла разголубая страна...

Казалось вот только, что были могучи и страшны его заклинания смерти, и на слова его заклинанья с высокой горы, откуда падает солнце, машет ему Аксинья, Петрова жена, передником с розовой каемкой и платком с синим разводом и как бы с живыми на нем васильками.

Смотрит Аксинья, как поновленная изба, и на ведьму уже не похожа...

Бросился б Зайчик к ним, не испугался б ни великана, бросающего камни с горы, ни воды, в которой цыганка гадала ему утонуть, бросился бы, не глядя уж ни на что, если бы не держал его в эти минуты за руки крепко маленький карлик с большой головой, с кривыми ногами, с голоском сладким, как сахар, и грозным, как

смерть, если б не держал этот карлик игрушечную пищаль у самого сердца и не направлял бы в глаза при каждом движении Зайчика немецкий штык, похожий на нож, которым русский мужик режет быков, на самом конце с запекшейся человеческой кровью.

«Кровь человечья липче и слаще, чем мед... прекрасна она, и страшна, и страшлива, и... по пятам за ее страхом ходит убийство»,— думал так Зайчик, закрывая рукою глаза (кажется, вот-вот) перед самым штыком...

В глаза же впивался штык, медленно уходил по рукоятку, Зайчик вскрикивал вдруг, сваливался с походной кровати и пробуждался.

Все больше и больше при пробуждении росла в нем непонятная злоба, и он часто перед сном, когда по окопам пройдет только разве Иван Палыч, проверяя посты, подходил к окопному козырьку и, высунувшись за бруствер, по целым часам не мог оторваться от берега, на котором с каждым днем становилось все безлюдней и тише...

* * *

Странное чувство было у нас, когда мы, немца проводивши под высокий бугор, за который невдалеке загибала Двина, собрались в блиндаж допивать чай из дорогой двинской водички.

Почему нам всем этого немца было так жалко?.. Словно каждый что потерял...

Вспомнилось мне, как мы с Пенкиным шли с братского кладбища, где похоронили нашего общего приятеля Василия Морковкина...

В одном месте Пенкин зашел за куст помочиться.

— Ты иди,— говорит,— я тебя догоню...

Полверсты я тогда, должно быть, прошел, думая про себя о своем, и не скоро заметил, что Пенкин и забыл меня догонять.

Вернулся я обратно, а Пенкин лежит под кустом и плачет, как баба...

И сейчас поглядишь на него: в лице какая-то строгость, борода золотая, как епитрахиль во время причастия, а глаза как уголья в кадиле, когда поп затя-

гивает писклявым голоском возле гроба: «Вечная память...»

Вздумал было Иван Палыч пожурить нас за то, что мы не разрядили винтовки и подкачали его в глазах командира, да на этот раз пригодилась солдатская лень, командир из-за нее успел немца свалить, а это — немалое дело...

— Герой у нас командир,— сказал он, кладя в кучу винтовку...

Никто ему не перечил, хоть у всех у нас шевельнулось к Зайчику недоброе чувство, только Сенька погодя немного сказал:

— А по-моему, немца командир зря повалил...

— Вот еще, почему бы... Мало они нашего брата перекокошили...

— Это, Иван Палыч, другое дело... Тут же немец заклад потерял...

— Ну и черт с ним...

— Как же, Иван Палыч, он и вышел, наверно, для ради спора...

— Не спорь... Ангелы спят, когда черти дерутся!

— Нет уж, когда спорят двое, остальные глядят...

— Дудки, одного немца не стало, и ладно...

— А про между прочим... что ж... с дураками нечего спорить... проспоришь...

Иван Палыч насмешки не понял...

Сенька прилег на нары с Пенкиным рядом. Пенкин молчал, все мы тоже молчали, а Иван Палыч достал нарядный лист, долго пальцем водил по истрепанной желтой бумаге, потом строго, ни на кого не глядя, пробасил:

— Сегодня в Акулькину, Пенкин, надо бы...

— Что ж, наряжай,— тихо Прохор ответил.

Не ладится никакой разговор.

Иван Палыч все переделал, чай весь допил, даже уронил в кружку крышку от чайника, наряды назначил, а после нарядов одно дело: спать, потому почесался Иван Палыч всей пятерней под рубахой, и скоро, как и все, захрапел, прилегши с другого бока с Пенкиным рядом...

По блиндажу прошел общий предобеденный храп.

* * *

— Прохор Акимыч,— говорит на ухо вполголоса Пенкину Сенька,— мне что-то немца... вот жалко... не знаю сам почему... Зачем командир этого немца ухлопал?..

— Ну, а если бы командира немец с котелком повалил?..— тихо тоже вполголоса спрашивает Пенкин...

Сенька чмокнул губами и ничего не сказал... Прохор, должно быть, о чем-то трудно думал, потом повернулся еще ближе к Сеньке и зашептал ему в самое ухо:

— Видишь ли, дурья твоя голова, я расскажу тебе вот какую исторью.

— Расскажи-ка в самом деле, Прохор Акимыч,— шепотком ему отвечает Сенька.

— Слушай. Шел однажды святой человек, пустынник такой, по дороге из пустыни в село, и ничего у него не было, окромя как в руках пудовый крест да на плечах власяница.

Крест святой человек носил вместо вериги и благословлял им встречный народ.

Вот и встретился святому лихой-лиходей, подмостовный разбойник. Хотел его святой, как и всех, благословить пудовым крестом, а тот, должно, что подумал, быдь святой его хочет убить, потому что сам-то ничего другого не делал, как только убивал добрых и недобрых людей, да и полыснул ему аршинным ножом прямо под крылушко.

В первый раз святой человек осерчал, размахнулся он перед смертью пудовым крестом и со всего размаху разбойнику прямо по темю — разбойника-то и убил пустынник.

Умерли они в одночасье: снизу разбойник лежит, а сверху святой...

Ехал в это время на осиновой палке неразумный черт по этой же самой дороге, поднялся под чертом осиновый конь на дыбы, сбросил черта с себя, когда на дороге увидел двух мертвецов, одного — в пустынной рясе, а другого — в острожном халате.

Черт рога на обоих уставил: чью тут душу засунуть в суму да в ад волочить?..

Стоял так, стоял черт, до самого вечера простоял, за ухом дыру прочесал и так и не решил,— у одного под

мышкой аршинный ножик торчит, а другому — пудовый крест в голову, как в тесто, ушел...

Думал, думал черт, да и сунул, когда месяц взошел, а солнце за край земли укатилось, и стало на земле темно, как у этого черта под мышкой,— сунул черт в свою сумку обоих...

Когда Прохор замолчал, кончив рассказку, Сенька опять только причмокнул губами: дескать, мало что можно понять из того, что человек вытворяет, лучше об этом не думать и не забивать мужицкую голову разным дерьмом,— отвернулся от Прохора, ничего не сказавши, и захрапел в ожиданье обеда.

САХАРНЫЙ НЕМЕЦ

К вечеру в тот же день пошел Иван Палыч к Зайчику... Крадучись приотворил он дверь, просунув сперва одну голову, словно заранее зная, что у хозяина после такого дня не все слава богу. Иван Палыч не сразу разглядел в полутьме от коптилки рослую фигуру Миколая Митрича, сидел он возле стола на походной кровати, руки у него были стиснуты и раскинуты на столе, а между рук зарыта голова.

На столе стояла бутылка с четырьмя звездочками и грязный стакан с окурком на дне...

— Добрый вечер, ваше высоко,— тихо сказал Иван Палыч...

Зайчик, должно быть, спал или был в сильной задумчивости и потому не ответил на приветствие Иван Палыча...

— Добрый вечер, говорю, ваше высоко,— повторил громче Иван Палыч...

Зайчик дернул плечом и показал Ивану Палычу молча на табурет возле стола, а потом на бутылку.

— Выпей, Иван Палыч,— сказал он тихо.

— Покорнече балгодарим, ваше высоко, я...

— Выпей, Иван Палыч,— я один пить не люблю...

Иван Палыч выкинул окурок и налил до половины в стакан, отпил глоток и стакан поставил назад, удивленно поглядевши на Зайчика: в бутылке была двинская водичка, у нее вкус особый, совсем отменный от окопной воды, из которой солдаты чай себе ставят...

— Покорнече благодарим, ваше высоко,— испуганно прошептал Иван Палыч,— должно быть, отвыкши: вкусу не слышу!

— Я и сам, Иван Палыч, пью без удовольствия...

Зайчик долил стакан и залпом его выпил.

«Перехватил раньше,— подумал Иван Палыч,— а теперь водичкой отхаживается».

Зайчик опять уронил голову на руки.

— Неможется,— говорит,— Иван Палыч, страсть как,— и пальцы хрустнули, словно сломанные ветки на морозном ветру.

Иван Палыч присел на табуретку, трубку выкурил, недоумевая, что это творится с Зайчиком, потом, разглядевши на призрачном свету от коптилки чистую струйку, бегущую из-под Зайчиковых глаз, поднялся и тихо про себя сказал:

— Дела твои, господи...

Подумал было Иван Палыч, не прислать ли на сегодняшнюю ночь кого к командиру, потом махнул рукой, человек он был до всего равнодушный, потому только и подумал:

«Глаза на мокром месте! Тюря!»

Попятился Иван Палыч к двери и, не дожидаясь ответа, взял под козырек:

— Прощенья просим, ваше высоко!

* * *

Где явь и что сон — все слилось в один незабываемый день, выжженный в огненный знак на душе. Как это могло случиться, как это случилось, за каким углом простоял в эту минуту белый ангел и не отвел вовремя Зайчикову руку, и не толкнул под нее былым крылом?

Уронил Зайчик голову на стол, широко раскрытыми глазами смотрит в темный угол, где паук все заплел в паутину.

Вот она, счастливая, разголубая страна!

Посреди нее стоит дуб десятитысячелетний, покрыл он ветками селенья и поселки, города и деревни, запутался у него в ветках полуночный месяц, улыбается месяц в обе щеки, наклонился низко и чертит по земле своими ресницами...

Плывут к нему девичьи туманы по полям бескрайним и тихим, в туманах заливистые переборы комковской тальянки, плачет тальянка, только плачет она от радости, что некуда подевать эту радость, рыдает она от избытка веселости, бумажной могучей грудью задыхаясь под рукой разудалого песенника Ваньки Комкова...

В новой хате, бревнышко к бревнышку, словно строка к строке в староотеческой книге, в новой хате сидит Петр Еремеич, пьет чай с своей Аксиньей из голубых кумочек, а кони его пасутся на приречном скате, и весело оттуда звенят с шелковых ошейников их бубенцы; слились они с туманом, и у пастуха в руке не дудка, а луч от полуночного месяца, и в сумке, пропахшей хлебом, свежий, душистый каравай — потому, знать, и льется в далекие дали свирельнатая песня и ему подпевает каждая былинка и каждый цветок кивает головкой:

Ой, луга — куга шелковая!
Книга вещая, толковая!
Синь, густынь, чаща полесная,—
Жизнь — невеста неневестная!..

Хохрются на налишинах сирины и алконосты, расправляя свои голубые, сизые, сизо-розовые и синие перья, поднявши тонкие клювы к полночной луне, гургукает с крылечка надвходный голубок, машет крыльями, словно манит ими путника с дороги:

«Входи, мирный путник, да будет мир в твоем сердце под мирным кровом...»

* * *

Сморгнет Зайчик слезу, и исчезнет виденье, колыхнется в углу паутинная сеть, и за нею снова вспыхнут далекие страны.

Что это там, в тумане полевом?..

Не заря ли раскинула золотые уборы?.. То ли золоченые кровли хат, крытых новой соломой, то ли в светлый праздник горят перед образом свечи?..

Смотрят на Зайчика две синих лампады, росятся у них человечьи ресницы, с ресниц падают крупные слезы...

Не город ли это там Чагодуй на заре?..

Не Колыгинов ли загородный дом, где у окна плачет печальная Клаша?..

Или это только за туманом туман?..

Только видит все это Зайчик, видит как наяву... Хочет Зайчик встать из-за стола, шагнет шаг в паутинный угол, и совсем под ногами потечет быстрая Незнайка-река... Посмотрит Зайчик в воду: чиста вода, как девичьи слезы, звонка водица, как девичья песня, желт прибережный песок, как девичья коса...

Только на том ее берегу темно вверху, все покрыто черной овчиной, а по берегу искрится не то снег на морозе, не то рассыпан искристый сахар, и по сахару вьется от берега алой бровкою кровь...

Пойдет Зайчик глазами по бровке и словно пропадает вместе с ней в темноте, сначала вроде как ничего и никого не видно, потом будто откуда-то издалека-далека услышит Зайчик тонкий и слабый, как детский, голосок:

— Сдраствуй, Русь!..

Вздрогнет Зайчик, наклонится над водой, и захолонет в сердце...

— Сдраствуй, Русь! Али ты меня не разглядишь?.. Что же ты, Русь, не стреляешь в меня?.. Стрели, стрели, Русь...

Смотрит Зайчик пристально, инда глаза больно: бежит, бежит и чешуится Незнайка, а тот берег и глазами едва достанешь, на том берегу, на сахарном, стоит у самой воды маленький немчик с игрушечным ведерком и черпает воду, за спиной у него игрушечная пищаль, а из кармашка высунул широкий язык штык от немецкой винтовки...

Смотрит Зайчик и слышит, как у него холод ползет по рукам и ногам, как выскакивают гусиные пупырышки по телу, а немчик снимает ружье, достает из кармашка острую пулю, намазанную смертным ядом, и кричит ему с того берега громовым голосом:

— Стой, Русь, не бойся, ты мой, я твой, ты стрелял, теперь я стрелять буду...

И не может Зайчик пошелохнуться, видит он, как подымается к плечу игрушечная пищаль, как выскочил и приподнял заячью лапку курок.

— Читай, Русь, молитву...

Но не может Зайчик пошевелить языком, лежит он во рту, как покойник в гробу...

— Не бойся, Русь, не бойся, у меня ружьецо незаправское, и пуля не пуля, а леденец сладкий, сахарный, только слаще леденца человечья кровь...

Видит Зайчик — побагровел немец, напружил он леденцовые ручки и дернул пищальный курок, и сдернулась земля с места, и зазвенела, как разбитый чугун...

* * *

Упал Зайчик навзничь и закрыл лицо руками...

Могучая рука схватила его, приподняла высоко на воздух и трясет им, и кто-то сладким сахарным голоском шипит ему в ухо:

— Пришел, видно, Русь, тебе кончик...

Все потемнело в глазах, земля плывет из-под ног, под ногами шуршит прозрачная, как девичьи слезы, водица, и чувствует только Зайчик, что никакого мира больше не стало, а есть только темный паутинный угол, в котором он на гвоздь свою шинель вешал, что уперся этот гвоздь ему больно в затылок, и висит он вместе с шинелью на нем на шелковой тесемке от нательного креста, и под ногами у него звенит и струится Незнайка-река, и вода в этой реке чиста и прозрачна, как девичьи слезы,— оттого, может, и хорошо теперь Зайчику, и обо всем он теперь позабыл...

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Любит мужик первый снег.

В деревне как-никак — переменка!

Хорошо забраться в дубленую шубу, особливо из новой овчины, крашенной под осеннюю зо́рю,— целый десяток овец на плече — тепло, и душок такой идет на морозе и от тебя самого, и от шубы!

За пазухой тогда тихо копится немудрое наше мужичье довольство!

В дому матереет, в сундуке, в закроме растет убогий прибыток, поутру курчавится над соломенной крышей весе-

лый рыжеватый в восходном лучике ус, от которого пахнет сочнем, бараниной... ах, да и чем он не пахнет, неблагодарен и черен труд мужика, и все ж он похож на литургию!

Дело не дело, а как выпадет снег, прикроет черноту и убогость завядшей земли, каждый спробует сани, а сани известно: по первому снегу катятся сами!

Не говоря уж о том, что на такой случай мужик чаще держит кобылку, хотя мерин ему в хозяйстве сподручней!

Хорошо объезжать самому по первому снежку приплод от нее, третьяка, чтоб потом, в лихой час, цыгану спустить за бесценок: конь, в первый раз вошедши в оглоблю, дороги не понимает, вожжей не слышит и несет тебя прямо, как ветер,— по ветру!

В этот день и во сне будешь за вожжи держаться: и куда тут... занесет!

Любит мужик первый снег! Первачок!

Любит еще как раз потому, что с первого снега спится с захрапом, крепко спится, работа останется только девкам да бабам: лен трепать, капусту обихаживать, снедь заботу бабью любит, а мужик по окна избу новой соломой запележит — и до весны!..

* * *

Не на радость только в ту самую пору выпал глубокий снег для нашего брата в окопах.

Как раз ввечеру того самого дня, в который Зайчик ухлопал немца, только солнышко завалилось за тучу, пошел он как-то сразу, без примет, солдатня даже про случай с немцем забыла.

— Идёть! — радостно говорил Пенкин, протирая руки о белую вату.— Важно идёть, не торопится — значит, к утру на пол-аршина навалит.

— Ишь, премудрость! — улыбается Голубок, уловивши на широкую ладонь снежинку.

Только было собрались все возле входа в блиндаж, принюхиваясь к снежку и щурясь в его меркотню, как неподалеку в стороне вдруг разорвалась граната, ударившись чугунным лбом в промерзлую землю, и небольшим осколком у стоявшего впереди всех Абыса

откинуло шинельную полу и вырвало в ней большую прореху.

Абыс матюкнулся и обеими руками схватился за середину.

— Дома?— пошутил Пенкин.

Однако убрались в блиндаж и больше уже без большой нужды не совались, к тому же Иван Палыч от Зайчика не возвращался и не звонил, а к полуночи немцы совсем посходили с ума и подняли такую канонаду на нашем участке, что было уже не до снега.

— Это он, братцы, за немца нас лупит! — сказал Сенька, растягивая слова, как будто отгадывал какую загадку.

— Полно ты,— усмехнулся Прохор,— это он нам дает лупцовку за то, что едим мурцовку!

— Нет, Прохор Акимыч, нет. Зря командир немца ухлопал!

Прохор стрельнул глазами на Сеньку, но ничего не ответил. Какой может быть человечий разговор, небось не в гостях. Все молчали, поеживаясь под шинелями на нарах и изредка подымая голову, чтоб посмотреть, цел потолок али уже обвалился.

* * *

Немцы давно пристрелялись к нашим окопам и били теперь наверняка, снаряды, слышно было, ложились то ли чуть впереди, то ли по-за окопу, заворачивая землю, как бабий подол, и раздирая ее на лоскуты. Знали мы, что не каждый угодит куда надо, да если и попадет, так с одного разу только в нос земли набьет, окопы на этом участке были прочные, укрытия под блиндарями и трехаршинным настилом, наступления же ждать после бомбардировки не приходилось, потому что Двину еще не заковало.

— Вот и платись теперь за командирское геройство! — шепнул Сенька Прохору под шинель.

— Смерть причину найдет,— ответил было Прохор, но осекся на последнем слове, схватился за нары, привскочил и оглядел всех чудными глазами, потому что в это время бабахнуло, кажется, у самых ушей, земля тяжко

вздохнула, в ушах звон пошел, и в глазах зеленые круги завертелись, весь блиндаж ёкнул и будто глубже осел в землю, придавленный сверху могучим коленом, со стен посыпалась во многих местах земля в широкие пазы из-за сруба, и в оконце, глядящем в тыл, над самой головой Прохора лопнули стекла, и из темной оконной дырки запело на разные лады, засвиристело, зажукало, как в пьяном хору.

— Позвони-ка, Прохор Акимыч, командиру,— зашептал опять Сенька, подвинувшись к Прохору ближе,— Иван Палыч, наверное, у него засиделся!

— Да что тебе без Иван-то Палыча умирать, что ли, скушно? — ответил Прохор, не повернувшись к Сеньке.

— Все-таки, Прохор Акимыч, без начальства как-то страшнее!

— Полно тебе, дурья башка!.. А промежду прочим, взял да позвонил!

— А в сам деле, Прохор Акимыч!

Сенька подбежал к аппарату и неловко завертел трубку в руках, в ушко поглядел, потом пригнулся к нему и состроил серьезное и озабоченное лицо.

— Эй ты, дрыгалка... слушай! Слушаю... хто?.. А, ты, значить, будешь, Иван Палыч?.. Слушаю, господин фельдфебель... Палят, говорите?.. Как же, как же, у нас тоже нáхорошо расписывает: у Фоки сползли офтоки и у Сеньки присеменьки — вот уж лупит, господин фельдфебель...

— Да ты спроси, несь, по делу, чего дело с бездельем путаешь,— подошел к Сеньке Прохор, спустившись нехотя с нар,— чего ты там мелешь!

— Прохор, спрашиваешь?.. Ничего, героем!

Прохор выхватил у Сеньки трубку из рук и сам приник крепко ухом, чудно скособочившись:

— Ты, Иван Палыч?.. Иван Палыч, слушаю, слушаю!

Сенька отвернулся и почесал в затылке.

— Галаня! — сунул Прохор Сеньке кулак.— Тоже нашел время шутки шутить: немец провода перекусил!

— Я, Прохор Акимыч, больше для-ради страху...— улыбнулся Сенька.

И не поймешь: что больше Сенька, трусит или смеется?

Как там никак, а, уходя, Иван Палыч оставил Прохора наместо себя, коли что такое случится, хотя какие мы были солдаты? Переодетые мужики, нечесаные бороды, все больше из крестовиков, да еще второго разряда.

— Да нам-то что — больно наплевать! — Лег Прохор на нары и завернулся с головой в полу шинели.

* * *

Но спать в эту ночь не пришлось.

Блиндаж вздрагивал поминутно, и в пустое оконце залетали обезумевшие снежинки, напуганные визгом осколков и грохотом гранатных разрывов.

Думали, видно, они, что, упавши с облака, найдут тишину, уснувшую сладким сном зимнюю землю, а тут и нечистый бы не подсунул рога.

Трясся под нарами земляной пол, и там под ним тоже гудело и глухо рокотало под самым пупком у земли. Каждый в полусне часто привскакивал и торопливо спросонок протирал затекшие глаза, оглядываясь в темноте и ничего хорошо не разбирая, по привычке сначала хватался за винтовку, другою рукой — за сердце, потом крадливо подсовывал под себя обе руки, как будто боялся, что их в темноте оторвут, будто хотел ими удержать себя в таком удобном положении, когда все будет валиться в пропадину, которая, кажется, вот тут раскрылась уже под ногами, спущенными с нар, и из-под них в темноте уползает земля.

— Прохор Акимыч,— шепчет на ухо Прохору Сенька,— а Прохор Акимыч, пойдем, друг, лучше на волю! А?..

Но Прохор как лег, так и головы ни разу не высунул, хотя видно, что тоже не уснул ни минуты.

— Ей-богу, обвалится блиндарь и придушит! Смотритка, пляшет, как лошадь с мороза.

— Спи, Сенька: сонному человеку на том свете прибавят веку! — тихо ответил Прохор, и видно по голосу, что у него за губу задевает губа.

— Хоть бы Иван Палыч вернулся!

— А пущай его погуляет! Человек немолодой, с большой бородой — не заблудится!

Но Иван Палыч так и не вернулся.

* * *

Вышел он в этот памятный вечер от Зайчика, ничего такого в нем не заметил, потому что мужик был не мозголовый и не дотошный в чужие дела.

Вышел и сразу вздохнул полной грудью и широко улыбнулся: пока он сидел у Зайчика, навалило снегу на палец, перед глазами белым-бело, белы далекие взгорья, где немцы, словно разостланы новины по дороге к нашему штабу, поседела хребтовина у окопа, из снега сохлой щетинкой торчит травка да облетевшие стебли цветков, а сверху стало будто еще темнее, туча нашла из-за немецкого берега, низкая, опадающая белыми пушистыми хлопьями на землю,— словно вот сколько времени лежал черный покойник, ожидая терпеливо своего часа погребения, теперь его обрядили в белёный холст и убрали по чину: спит земля сном белопушистым и сладким...

— Эхма, зима-матушка...— вздохнул Иван Палыч всей грудью, чувствуя, как по ребрам побег мягкий снежный душок, и большими шагами зашагал по окопу.

Не доходя с сотню шагов до взводного блиндажа, Иван Палыч вздрогнул от неожиданности и присел в окопном ходу на корточках: из-за Двины бухнуло с батареи, и скоро невдалеке морозная земля звякнула, задзинькала, и бруствер облизал красный язык,— перед глазами у Иван Палыча испуганно заметались снежинки...

Немцы сразу с трех батарей открыли пальбу. Второй разрыв пришелся совсем за плечом у Иван Палыча, осколки, комья земли, кажется, совсем немного чуть повыше фуражки пролетели, но Иван Палыч, еще издалека заслышав «жука», успел, видно, присесть, и его не задело. Прижался он было к окопу, согнувши коленки, но вспомнил, что лучшее спасенье во время обстрела — яма после разрыва; пополз на карачках вперед по окопу и едва успел доползти и подобрать под себя ноги калачом, как снова зажукало с немецкой стороны, залетел «жук» высоко, будто обогнуть Иван Палыча хочет, и потом как раз хлопнулся на том самом месте, где только что стоял Иван Палыч, притулившись к окопу, оттуда снова вспыхнуло, и в пламени опять земля жалобно зазвенела, как разбитый чугун.

«Нечистая сила, важно было наметил! — радостно подумал Иван Палыч, еще плотнее подбирая под себя длинные ноги.— Мимо! Мимаком теперь пойдут!»

* * *

Снаряды ложились и вправо, и влево от Иван Палыча, и казалось ему в страхе и смятении, что пляшут, подскочивши над землей, раскаленные гранаты, видно, кажется, их в темноте, так что вот поймать даже можно, лосные, как сомы из верши лезут, салом для легкого хода смазаны немецким, и вокруг них вьются и взвиваются снова с земли, улетают назад в небо испуганные снежинки. Там и тут то и дело ухало, охало, ахало, и визжало вверху, и сама земля в этом уханье, кажется, металась как безумная, не находя на земле себе места.

Иван Палыч уткнулся носом в рукав, припал к земле лицом и стал думать о том, как теперь на деревне без него справляется баба, не балуется ли, ляд ее возьми, как другие, с пастухами, и как бы хорошо теперь переменить старую кобылу на меринка, потому что какой год не жеребится.

Любит трусливого смерть!

Храбрецов же... совсем не бывает!

Страшного не страшиться?.. Эн он роет, сразу с одного маху, могилу — тридцать мертвецов уложишь!

* * *

Всю ночь Иван Палыч пролежал в ямке, рукой не шевельнул, головы не поднял!

Только к самому свету как-то вдруг немцы оборвали стрельбу. Иван Палыч пролежал с полчаса в тишине, еще не веря ей, в ушах продолжало греметь и грохотать, как будто в них катилась с большой бочкой телега.

К тому же было Ивану Палычу тепло, несмотря на шинеленку, в которой ветер ходит, густо его закидало землей и сверху припорошило снежком. Одним глазом, чуть высунувшись из ямы, Иван Палыч недоуменно

различил на востоке красную бровку, нежно положенную на самый закраек земли: вот-вот свалится!

Как будто там кто-то тоже высунулся и теперь пугливо заглядывает за окопную стенку, еще не доверяя затомелым в страхе глазам.

Иван Палыч привстал на колени, отряхнулся от земли и от снега и широким крестом перекрестился на бровку:

— Отцу и сыну: солнышко вижу!

Поднялся на ноги и опять перекрестился; кругом и не узнаешь, словно кто за ночь подменил всю местность! Вчера лежало все черное, неуветливое, обугленное от осенних рвучих ветров, теперь — словно после бани, в чистой белой рубахе, с лицом покойным и счастливым. Вон деревцо за окопом, прямо у Иван Палыча перед глазами, опустило свои оббитые шрапнелью руки и так на него и смотрит, словно втихомолку сбегало в солдатский околоток, где ему положили на руки повязку, запеленавши их в белоснежную марлю.

Даже ям от разрывов не видно, припушило их пухлым снежком — и незаметно, только в окопном ходу вырван бок и разрушена стенка вправо от Иван Палыча, и в этой окопной прорехе такая же тишина и чистота убеленная; Двина — как крыло прямое сизое, упавшее с неба в полуночи между немцем и нами, как вещий знак мира и тишины.

— Немец свое, а бог свое! — сказал вслух Иван Палыч.— Экая же благодать! Первое дело теперь — доложиться, потому чего бы не вышло!

Иван Палыч быстро зашагал по окопу, как раз на полпути к Зайчикову блиндажу должен быть пост, кстати проверить часового.

Но ни часового, ни караулки Иван Палыч не нашел, в том самом месте замахнулось на него из-за окопа бревно, застывши над головой, а в прогале, в окопном ходу торчала из снега нога в солдатском сапоге с широкой казенной подошвой и вверх каблуком, на котором весело горела подковка.

Иван Палыч скосился в немецкую сторону и, пригнувшись к земле, прошмыгнул через яму.

* * *

Больно заколотилось у Иван Палыча сердце.

Был человек — нет человека, легко тоже говорить да ставить похеры в чередовом листу! И то уж нарядный листок больше похож на кладбище, на котором спутались могилы и похилились набок кресты.

Видно, что в этой части окопов был самый сильный обстрел, как будто и в самом деле мстил с того света злополучный немец, неживыми глазами из двинской воды разглядев, в каком месте Зайчик схоронился в землянку.

Вини не вини Зайчика, а случай для немцев был и в самом деле обидный!

Зато и накорежило за ночь: Иван Палыч то и дело пригибался, держась за фуражку, перегибая в прорывах, и даже в расплохе, после сапожка с веселой подковкой, проглядел Зайчиков блиндаж,— как раз в этом месте торчали, как ребра, обглоданные волками, столбы и подпорки окопной стены, и там и тут зияли глубокие впадины от разрывов, а колышки, на которых еще вчера густо висела перед окопом заградительная колючка на случай атаки, должно быть, убежали со страху, потому что духу от них никакого, косточки нигде не видно.

Только когда пробежал окопный прорыв и разогнулся, Иван Палыч заметил прошибку и обернулся: посредине прорыва стояла землянка, запорошенная снегом, как бы присела она еще ниже к земле и издали похожа была на могилу.

Иван Палыч плюнул и пополз обратно, носом тыкаясь в снег.

— Главное — из-за чужого дела, а не ровен час, застрелют! Ну да как-никак командир!

Подобрался Иван Палыч под бугорок и сначала было рукой махнул: Зайчиков блиндаж скособочило в три погибели, слева он еще глубже подался в землю, а справа ему выворотило стену и накренило ее на блиндаж; от дверки только на петле щепка осталась, и сквозь заднюю стену в небольшой прогал, вырванный бомбой, мирно смотрит небо — синим недрогнущим глазом.

Просунул Иван Палыч голову и только мыкнул: Зайчик неподвижно лежал в углу, прислонившись к сбитой на-

бок стене, стена вот-вот завалится, а с потолка уперлись в пол два переклада, из-за которых высунулась углом цементная плитка и выдавилась мясистая желтая глина.

Стол отбежал со средины к стене, видно ища у нее приюта, но она навалилась на него, и у стола под тяжестью перепутались ножки, а на походной койке развалился поперек большой комель от бревна, выскочивший, словно с испугу, из стенки.

— Ваше высоко! Ваше высоко! — зашептал Иван Палыч, не попадая зуб на зуб.— Живы аль нет?.. Миколай Митрич, родимый, слышите, что ль?..

Но Зайчик не шевельнулся. Разметалась под ним шинеленка, и один сапог по колено уже завалило сверху песком.

Подобрался Иван Палыч на локтях к лежащему Зайчику и тронул его за рукав, рука подалась, потянул ее Иван Палыч — теплая, слышно даже, как под кожей стучит кровь, перепуганная смертью, лицо бледное, только у мертвенных губ жалобно застыла тихая улыбка.

«А ведь жив! Жив! — радостно подумалось Иван Полычу.— Ей-богу, только половину мертвый! Скажу, голыми руками командира откопал!»

Подхватил Иван Палыч Зайчика одной рукой наперехват и, трудно дыша и обливаясь пóтом от усилия и страха, что вот теперь, в последнюю минуту, блиндаж и обвалится, стал пятиться к выходу. Зайчик покорно за ним подавался, чертя по полу головой и обдавая Иван Палыча тяжелым перегаром.

«Так бы пьяненький на тот свет и заявился, святых-то всех бы пересмешил, чудная́ душа,— думает Иван Палыч, учуяв этот душок,— вижу вчера, что нарезался через меру!»

Выкарабкался Иван Палыч на волю, уклал Зайчика под ноги и стал оттирать ему снегом виски и затылок. Зайчик чуть шевельнул рукой, приподнял ее, как будто падал и хотел в этом падении ухватиться за штанину Иван Палыча, показалось, открыл красные набухшие веки и одну секунду поглядел на сапоги Иван Палыча непонимающими глазами, в которых еще не обсохли и тихо теплились вчерашние, совсем Иван Палычу непонятные слезы.

— Ваше высоко! Ваше высоко! — радостно вскрикнул Иван Палыч, но Зайчик только передохнул и снова крепко зажмурил глаза.— Отойдет авось... отойдет; первый снег, он лучше лекарства помогает, быть тебе, Иван Палыч, теперь кавалером!

Взвалил Иван Палыч Зайчика на плечо и, прикрываясь им на дурной случай от немецкой пули, во весь рост, не сгибаясь, пошел по окопу, откидывая перед собой чудну́ю, ни на что не похожую тень.

Встало солнце: кругом горели снега!

1922—1923 гг.

АЛЕКСЕЙ ГАНИН

ЗАВТРА

Роман

Описание жизни деревни Загнетино, прошлой, настоящей и будущей

Часть I

I

ЧЕРЕЗ БОЛОТО

Несколько предварительных слов о Загнетинской вотчине и о нравах ее обитателей.

Кто встанет на середину чищенья Прохорова, увидит: по всей Загнетинской вотчине, с неизвестных времен, хлестнулась с востока на запад широкая просека. На востоке, где стрелкой теряется просека, горит в синеве золоченая маковка Дионисия Глушицкого «чудотворца», а на западе, тотчас за чищеньем Прохоровым, болото казенное, а еще дальше — зеленый пригорок; туда и лежит дорога загнетинских к дому.

Широко раскидались загнетинские угодья — леса, пустыри да болота; так широко — не окинешь и взглядом.

Вправо и влево от просеки — кусты да веселый кудрявый березник. Стоят кусты да березник зеленой стеной, и никто не помнит, чтоб в этом угодье вырос березовый лес, как будто приказано кем: быть этому березнику вечно молодым мелколесьем. Даже поверье в народе такое, будто лес этот именно загражден «преподобным» от высокого росту, чтоб дальше виднелась монастырская золоченая маковка.

Но это не верно, это — только глухое поверье. А нет здесь высокого лесу потому именно, что ездят сюда загнетинские из году в год по зимнему первопутку за

дровами. Рубят всем обществом кому что попало, рубит всякий где хочет, и, таким манером, каждая береза, каждое деревцо в две-три сажени уничтожается,— вот и весь зарок, и «преподобные» тут ни при чем.

Будь там похуже земля, может, и кустарника в помине не было бы, но земля еще родит, и жадны на соки земли древесные корни.

Густо растет березник. Крепко засели кусты, переплелись — не пролезешь.

За кустами по обе стороны просеки тянутся, чуть не до самого Дионисия, загнетинские «чищенья». И тоже из году в год, с неизвестных времен, каждое лето приходят сюда загнетинские на сенокосы. Не поймешь ничего у загнетинских. Дрова рубят — кто где попало, а косят каждый свое чищенье, хотя, по правде, никто там отроду ничего не чистил, а есть там по зарослям лесные поляны, прогалины, от полян «рукава» меж кустами, и, значит, где хорошему дереву встать неохота, растет трава; вот загнетинские и косят.

Травенка худая: на приболотках — резун-осота да заяшник, на мягком — шабурка, да травка вроде ласточкина хвоста, да крикливые желтые лютики, а больше всего суходол с лишаями, где множество белоперых, с желтыми сердечками, попиков.

Если бы высчитать трату сил на дорогу да принять во внимание попутное болото и два-три дня работы, то вышло бы и ходить не пошто, в травенке — мышь за версту видно, но загнетинские и этому рады, а ноне особенно. Кстати сказать, у загнетинских лучше этого и покосов нету. Пожалуй, сиди, а «кто же сидит без дела в рабочую пору»? К тому же ноги не купленные, времени хватит. Зима, она все подберет.

II

МАЛЕНЬКОЕ НАЧАЛО ГРЯДУЩЕГО

Идут загнетинские по Прохорову чищенью, прихваливают все, что на глаз лезет,— и погоду и все.

— Благодать.

— Ежели у всех экая трава, как у дяди Прохора, сена будет нонче чуть не вдвое.

— Да, поднакосим...

— Чево тут, облегченье народу великое. Сено нонче будет — мед.

— Эх мы, дядя ты хороший, Иван... Коли это мед, значит, ты меду не видал...

— И то верно, а трава все-таки барину бы и кушать... Верно...

— Да бар-то, вишь, скушали.

— А трава, дядя Иван, налицо, любуйся: попики одни скалятся да вон — заяшник блазнит... и все. Рази и это трава? Нет, ты бы настоящей-то посмотрел травы, где, значит, по-настоящему травосеяние,— сказал бы: да, трава. Там зайдешь в траву-то, не выйдешь, а трава — клевер, тимофеевка и все такое... От запаху сыт будешь.

— Ну, экая нам не к чему, штоб до шеи-то. Наши косы не выйдут,— кто-то серьезно резонничает из мужиков.

— Да и грабли сдрефят,— ухмыляется в бороду Чепа.

— Ничево, братцы-товарищи, там не сдрефят, там не наше горе. Вон хоша бы в Германии... Там и сеют, и жнут, и косят все машинами... Там рабочий человек за делом вроде на тарантасе, только сиди да правь, а машина, она и скосит тебе, и выгребет.

— Ну, и врать же ты, Клюка, обучился.

— Чево, врать...— поддерживают мужики, которые помоложе.

— Да я не спорю, только едва ли. У меня вот тоже Митюшка в плену бывал, и грамоте учен, а што-то не сказывал про машины... Да я так полагаю, машины по нашему климанту не к чему.

— Нет, к чему,— продолжает Клюка, как будто честных слов и нету, да и самого Чепы нету,— иное дело: нам всему бы Загнетину ковырять на неделю, да еще не сделать, а они двое да трое в рабочий день управят, да меньше нашево и устанут... А все машина...

— Правильно...

— Как не надо... Пора уж.

— Рази мы не люди...

— Правильно, люди-то мы — люди, только рукой размахивать... Вот, скажем, Клюка размахивает. А ты бы, Миша, легче рукой-то, а то всех лягушат да филинов заболотных в испуг вгонишь, они сами спать не будут и нам не дадут; пожалуй, подумают: и впрямь с машиной приехали...

— И приедем, будет время, и приедем.

— Приедем... А вы слюни спервоначалу в кулак смотайте, потом уж и милости прошу к болотному шалашу, хоть и на машинах...

— А вёдро ноне — благодать...

— И птица ноне поет утвердительно, значит, ведро еще постоит.

— И комары вчерася к закату толкли высоко... Значит, и сеногною не будет.

— Управимся: и покосов-то всего — ничего.

Калякают загнетинские весело и разбредаются по всему лесу, каждый к себе на чищенье.

— Хорошее будет сено...

Большинство загнетинских, особенно кто постарше или кто отсиделся в великую передрягу за сарафаном у бабы, привыкли считать хорошим не то, что действительно хорошо, а если что-нибудь, скажем, ноне лучше прошлогоднего: вот и хорошо, хотя бы в прошлом году и совсем ничего не было. Это еще от дедов. «На худой овце шерсть — все равно что находка»,— говорят загнетинские и радуются, но этой радости приходит конец.

Ноне первый год, после многих черных и бурных годов,— покой и раздумье. Вернулись к бабам мужья, вернулись и те, что любы девичьему сердцу. Все за мирной работой.

Было тяжелое, черное,— взорвалось, прошло. Будто и не было их, этих черных годов, будто никто не стоял и под пулями. Только те, что так долго и упорно боролись за жизнь, разумнее любят жизнь и по-новому знают цену хорошему.

III

КОЕ-ЧТО О СВИСТУЛЬКАХ

Третий день в лесу по чищеньям деревни Загнетина говорливо и весело. Все прутья обиты, что кучами лежат по чищеньям с зимней порубки. Все кочки и пни обкошены.

А сегодня все торопятся дометывать стоги. Стоги встают зеленые, высокие. Выше березника стоги... на редкость; погода тоже на редкость.

Ноне не то, что было в те годы: вдовьи слезы за каждой наставкой косы да непосильные стоны у стога под тяжелым навильником сена. Мужичья работа опять в мужичьих руках. Вот и весело, особенно бабам.

Звонко переливается по чищеньям рассыпчатый бабий говор; кувыркаются за кустами мужичьи резоны. А когда работа пришла к концу, назойливо заметались по зарослям перелетные мальчишьи свистульки. Свистят мальчишки — не насвищутся,— им только раз в году смастерить себе из дремучего дудля забаву.

Ну, и свистят...

Мальчонки — они тоже народ нужный на дальнем покосе, особенно здесь, в заболотье, а, к слову, чищенья эти называются заболотье. Они и дров на костры натаскают, валежин разных да прутьев, и чайники скипятят, а главное, мальчишкам первое удовольствие.

На дальнем покосе, в лесу, их мало ругают и совсем не дают подзатыльников. Загнетинские отцы по опытам знают: ежели дашь подзатыльник, непременно и матерное слово сорвется.

Между собой мужики, по привычке за красное слово, ругаются и в лесу, но тут и привычки этакой нету, чтобы мальчишек... Мальчишкам и весело.

Играют они с утра до вечера в «успрятки», гоняют по чищеньям зайцев, мышей, а еще главней — бродят они по кустам, разыскивают «дремучие» дудли и мастерят из дремучего дудля свистульки, чтоб с переборами, и еще «чиркаушки» — насосы такие.

С чиркаушками они бегают к лесному колодчику, плещут друг друга водой сколько им надо. Никто их не ви-

дит, не слышит, не остановит, а наплещутся — идут на чищенья. Солнышко высушит. Свистульки же мастерят на дорогу, чтоб веселей до дому добраться... Даже примета завелась у загнетинских: ежели на каком чищенье засвистели, значит, «сдвиг», значит, с того чищенья к дому уходят... Тогда начинают поторапливаться и все.

Даже те, кто постарше и помечтательней, очень любят эти свистульки...

Во-первых, любят потому, что молодость беззаботную вспоминают; во-вторых, и не только глазом, но и слухом еще лишний раз после тяжелой работы убеждаются, что трудятся они и собирают добро свое не зря, не на ветер; а в-третьих, и на душе как-то светлей,— опора на случай старости очевидна, она тут, и живет, и присвистывает.

Таким образом, если по-настоящему разобраться, то можно сказать, свистульки эти для загнетинских — как бы вещественное доказательство высшего смысла жизни.

IV

НЕМНОГО О ДЯДЕ ПРОХОРЕ И ДОЧЕРИ ЕГО АГАФИЙКЕ

Чтобы не отстать от соседей, торопился и дядя Прохор.

Дядя Прохор — мужик крепкий, светлобородый, этакая грудища да плечи,— прямо бессмертный. Ноги у дяди Прохора тоже не сковырнешь — даром, что сороковую страду ходит он по пням да болотам.

Босой, в полинялой пестрядинной рубахе, половоротый, с взлохмаченной бородой, вихрастый, он целые копны подбрасывал на стог в охапки проворной дочери Агафийки. Только вилы поскрипывали.

Ловко укладывала Агафийка косматое ползучее сено, росла над кустами, росла над березником, разгоралась.

И когда была на секунду задержка у дяди Прохора, она выпрямлялась на стоге. Упруго колыхалась под белой расшитой рубахой ее высокая девичья грудь, и от того, что была она выше березника и лес расстилался перед

ней кудрявой зеленой пустыней, а небо было ясно и голубо, в самое небо летели из груди ея ауканья, упругие и веселые, как и сама Агафийкина грудь.

Много заподымалось из кудрявой зеленой пустыни таких же ответных.

— Ау! — И ау заплеталось с мальчишьими пересвистами.

Будто незримые, звонкокрылые птицы, ныряли отовсюду девичьи переклички, плавали в Синем и Солнечном, и будто выше подымалось над лесом и без того высокое небо.

Грудь Агафийки колыхалась сильней и задорней, да и все другие аукали, может быть, не столько от того, чтобы слушать друг друга, а от того, что неудержимо звенели девичьи груди, разгоряченные работой и молодостью. Еще бы — тут любые, тут и соперницы.

Глядя на дочь, дяде Прохору тоже весело. Собственно, ему всю жизнь весело было слушать работу и свою и соседскую.

Он знает, поработаешь всласть — и отдохнешь в усладу.

Но вот где бы уж радоваться не только за работу, но и за конец работы, дяде Прохору вдруг стало не по себе:

— И к чему это?

Он бросил последний навильник сена, отошел по старой привычке на середину чищенья к просеке взглянуть — стог не кривой ли? Взглянул и потух, будто что лопнуло, да так лопнуло — и не свяжешь.

Гмут ты, какая досада, экая право досада — выползли у него словами незнакомые думы. Они, туманные и тяжелые, заворочались в голове, загромыхали. Точно вешние льдины, едут думы, не остановишь.

— Фу-т-ты, право, досада...— А какая досада — и сам не знает. Смотрит на стог, точно глаза ему подменили, бормочет: — Нет, стог не кривой, стог справедливый... и стог не меньше суседских,— а вот — не глядел бы...— Хотелось высказать дяде Прохору что-то еще, но слова неуклюже запутались в бороде, а в душе поднялось такое, будто затем он и жил, чтобы делать ненужное, все навыворот.

— Экое искушение...

Хочется что-то понять, и не может, и пуще растет у него досада. Пухнет досада, и будто в груди у него не сердце, а стог прошлогоднего сена.

Конечно, дядя Прохор, он не такой, чтобы встать перед делом да на зряшные думы тратиться, вроде как время бы проваландать; а тут надо бы косы да грабли увязывать, а он как вколоченный.

Даже портошницы у дяди Прохора свисли как-то неладно, растерянно, одна короче, другая длинней. И вилы в руках у Прохора ни к чему; стоит, хмурится.

И, будто птица, улетела из глаз у Прохора радость за прожитый день.

V

НЕСКОЛЬКО О ДЯДЕ ИВАНЕ И ЕГО РАДОСТИ

Заметно остыла на приболотке золотая теплынь.

Накренилось с павжны к закату отяжелевшее солнце, и густо завысыпали загнетинские на широкую просеку. О просеке я уже говорил, одна линия — чищенье дяди Прохора, а за чищеньем болото.

Переплетаются человеческий гомон и молвь с гомоном всякой твари лесной в незримое звонкое кружево, расстилается по скошенным луговинам, виснет в кусты, никнет к белолицым березкам.

Агафийка еще раз привстала на самой верхушке стога, попробовала легким раскачиванием, крепок ли стог, аукнула еще раз в синеву и, будто белая птица, ловко юркнула на землю.

Она быстро и ловко связала полотенцем пустые, из-под еды, корзины и, точно не она, а красные петухи с полотенца, крикнула:

— Тять... я ухожу...— и убежала вперед, в болото бродить до народу за красной морошкой.

Сарафан на Агафийке темно-синий, с белыми горошинами, совсем как звездное небо; метнулся сарафан — и утонул за кустами.

Но дядя Прохор не замечает. Он как встал, так и

стоит, только суковатая рука медленно по привычке выбирает из лохматой бороды прилипшее сено.

— Бог помочь, дядя Прохор... Сенцом любоваешься?!— Это сосед Иван окликнул его.

Иван — старый дружок Прохора. Вот уже сороковую страду ходят они и на работу и с работы все вместе, а началась эта дружба здесь за болотом.

Были они тогда мальчонками на покосе, искали дремучие дудли и заблудились. Целую ночь бродили по лесу. Исцарапались по кустам да болотам, перепугались, думалось — заклубило. Они не знают и до сих пор: может, вправду клубило. Думалось им: возле чищений ходят, а утром очутились у Дионисия. Сидели на восходе у монастырской белой стены, рассказывали друг другу о своем приключеньи. Закусывали, голодные, сочной верхушкой дремучего дудля, а из комля мастерили свистульки, и тут же у монастырских ворот пробовали — чья звонче — на пересвистку и разбудили привратника.

Как теперь было: громыхнуло тяжелым ключом, и вышел из-за ограды монах. Троекратно оградил он себя крестным знаменьем,— думал — бесовское наважденье,— а потом подошел, порвал им немного уши за нарушенье обительской тишины, а потом ласково расспросил: чьи да откуда. Принес по кусочку вкусного монастырского хлеба и отвел на чищенье.

Отцы их, давно покойные, от беспокойства и от радости тоже поругались немного и за уши выдрали, а потом ничего... С той поры и дружба с Прохором у Ивана.

— Бог помочь, говорю... Здоров ли? — снова окликнул Иван.

— Здоров... Спасибо... Дядя Иван, что ли?.. Спасибо...— не оборачиваясь, откликнулся Прохор. И будто воротом его оттянули у шеи за стог. Бросил в первый попавшийся куст свои любимые вилы, будто вилы всему виной — и досаде виной, и глухонемому раздумью.

— Экое искушенье... Люди к дому, а у меня косы не связаны и сам неодетый,— засопел.

— Ладно, солнышко высоко, успеем. А ночь застанет, преподобные выведут... Помнишь? — А сам идет и сияет.

На плече у Ивана косы, тряпочкой перевитые грабли.

Идет Иван, путается в кустарниках, звякает жестяной точилкой, и качаются в лицо ему мягкие ветви березы, будто заигрывают.

Он ближе выходит на чист. Садится поодаль от стога на старый пень у потухнувшей теплины и снова говорит:

— Здоров ли ты, Прохор?

А Прохор ходит за стогом от куста к кусту, собирает косы да грабли, точилку и все прочее. Бормочет...

— Наше с кисточкой другу великому. А я ничево... здоров.

— То-то,— переливает Иван,— а я думал, мало ли какой грех. Может, вода переменная, али што... Бывает. Помнишь Федюху-то Кокоренка, отца-то Мишухина,— тоже был жив-здоров, птица был человек, а попил воды за болотом, видно не в час, пришел с покосу, и окочурило.

— Как же... У меня тогда цыгане лошадь присватали... помню...

— Да-а... А погода стоит — благодать. Неизреченная радость ноне. Мне вот, дядя Прохор, на шестой десяток ровно бы три, да и тебе, поди-тко, не меньше, а таково году не помню. Нонече, Прохор, птице лесной — и той — ягоды всякой хоть отбавляй... Великое урашенье... Ишь, птицы-те, прямо молебствие... не ушел бы...— и лицо у Ивана еще довольней.

Весело разбегаются по иконному лицу у Ивана светлые лучики-морщинки у глаз, и сквозь голубые глаза — и небу, и высокому солнышку, и лесу сегодня, может, в тысячный раз снова заулыбалось Иваново сердце.

С виду Иван совсем преподобный, а пиджак на Иване настоящий мужичий, помят и землей выпачкан.

— Благодать...

VI

КОЕ О ЧЕМ И О ЧЕПЕ

Действительно, веселье в лесу. Каждый крутышек густо увешан птичьими говорами; от того и лес как будто крылатый на воздухе. Вдруг будет какой-то миг, и подымется он в синеву, улыбнется оттуда кудрявый белолицый березник

и поплывет. Поплывет он, загнетинский лес, за солнцем, наполненный птичьими говорами и звонами загнетинских голосов, как зеленое облако, и растает... Но это только кажется: он будет вечно стоять на земле, и загнетинские тоже не сгинут.

— Не нагляделся бы,— лепечет Иван.

А у дяди Прохора на все нехотя смотрят глаза: он увязывает косы да грабли, наколачивает на закорузлые ноги витоносые сапоги; и все: и косы, и грабли, и сапоги, даже он сам — он вроде убогий, не настоящий.

А дядя Иван сияет, точно птичью судьбу перенял:

— Благодать... ноне...

— Благодать-то оно, Иван, благодать, а коси вот, к примеру, коси, а масло, скажем, от коровы снеси. Вот притча... А себе и губы помазать нечем...— неожиданно проговорил Чепа и как-то ползком на брюхе выехал из-за соседней березы.

— Ничего, Михей Митрич, нам бабы опять напахтают,— добродушничает Иван,— а ты и без масла хорош, вон рожа-то у тебя — хоть прикуривай.

А «Чепа» — Михею прозвище.

Действительно, он Чепа; он все в задор, борода у Чепы рыжая, и весь он от большой бороды с головы до ног кажет шерстнатым и рыжим.

Чепа тоже сосед Прохоров, сосед по чищенью и по деревне. Только дядя Иван с одного боку, Чепа — с другого. Мужик он, Чепа, богатый и не дурак, только хитер. Он никогда не скажет людям ни «здравствуйте» и ни «прощайте». А придет, как из-под земли выползет, и не заметишь — уйдет, вроде огонь болотный. Вот и сейчас, когда он пришел на чищенье — неизвестно, а лежит, ухмыляется:

— Да я-то што,— бахвалится Чепа,— мы проживем. А вон, которые маломошные, чево с коровой, чево без коровы,— все едино жрать нечево. А по крайности нет живота... и мученья эково нету...

— Ну, это ты пустое,— вмешивается Прохор.— Корова нашему брату — все равно што земля.

— А што земля?..— И при слове «земля» острые Чепины глаза загорают. Было время, было у Чепы много земли. Земля ему по наследству от деда досталась, а дед

в старостах был — нахапал, ну и панствовал Чепа. Сам он никогда не пахал, не сеял. Широкая жизнь у Чепы была. Чепа торговал всячиной и в деревне и при селе, а главное лен и всякий продукт крестьянский закупал для города. Скотину целыми «нутами» гонял, голов по сотне, бывало; а землю справляли работники. Но вышла воля, и все изменилось, а землю излишнюю взяли.

— Земля... Ну? нахватали вот и земли, а толку нет... И земля родить перестала. Земля, она тоже хозяйственную руку знает, а теперь разве хозяева? ишь, докатились, все трун на труне...

— А если по Чепину быть?

— Загнетину умирать надо...— Кто-то громко откликнулся с просеки.

Один за другим, в одиночку и кучами, подходят и остальные загнетинские...

Поскрипывают корзинами бабы и девки, пестрят сарафанами, ягоды на ходу хватают, а мужики — все они издали, как и дядя Иван и Чепа, только бороды разные, всякие. Судачат.

— Бог на привале. Хрещеные...— и все располагаются, кто как, около Чепы и дяди Ивана.

Кто замечал, как садятся загнетинские, знает: любопытно они садятся. С виду как будто и в голову никому не приходит сидеть, а так, нечаянно как-то выходит: идут-идут, остановятся и будто завянут, опустятся руки сначала, потом ноги подкосятся и сядут, точно их придавила тысячепудовая ноша. Даже прилягут некоторые, как будто отчаялись встать и вставать незачем. О самом существенном после дела.

На привале калякают мужики о всем; раньше о рае, о чудесах, о всяких бесовских проделках, а ноне ни рая, ни аду. Разве мельком помянут, а больше всего толкуют о людях, о политике всякой, а главное — как бы жизнь на земле устроить.

Сидят загнетинские на манер журавлей, пока все к привалу не соберутся, калякают.

Закручивают беспрерывно в оброшные книги колючую самосадку. Пыхтят, и, будто зайчата, прыгают с мужичьих бород дымки. Как-то смешно: выпрыгнет дым, совьется в серый клубок, постоит перед носом, точно

сказать собирается: ну и гадость, братец ты мой, куришь,— а потом вспугнется, прыгнет в сторону и растает.

— Нет, братцы-товарищи,— начинает Мишка Клюка,— этак больше нельзя, а то все сдохнем от голоду да от глупой работы... Вот, примерно, заболотье; да разве это покосы, да и везде-то? На сыром у нас вымокло, на сухом лишаем подернуло, а где бы траве — пни, да кустарник...

— Правильно...— и дядя Прохор понял, от чего пришла ему такая досада. Сегодня он, в первый раз за сороковую страду, понял не только свою, но и всех, всего Загнетина мучительную, бесполезную работу, идущую изо дня в день, из года в год... Прохор и раньше слыхал, даже от своих сыновей, и о лучшей жизни, обо всем, но только сегодня, может быть от усталости, когда он стоял перед стогом на просеке, ему предстала вся его жизнь. Вспомнилось все, что видел и слышал, и все его дни серые, будто толпы оборванных нищих по серой дороге, под серым небом, прошли у него перед глазами. Вот торгаш и сейчас...

— Рази это жись... наша-то... да работа, мученье одно, а не жись. Ну, вот што,— кивает он на стог,— рази это дело... три дня от зари до зари руки вывертывал, а што говорю... Хорошо вёдро, так и это сено, а чуть што промочит,— и получи — хуже навозу. Бывает. Правильно,— продолжает Прохор.— Иной год, уж на што животина, наши коровы, и те — принеси, понюхают, да и рыло прочь....

— На то и заболотина.

— А где лучше?

— Нигде...

— Правильно дядя-то Прохор сказывает — не жись, а мученье,— горячо начинает Клюка.— Нет, братцы, всему обновленье надо, да через труд человечий, да через разумный. Вот, примерно, сено, откуда ему хорошему быть-то? Выродится сено, хуже оно будет, а в крестьянстве оно всему голова.

— Да головы-то у нас худы, Клюка...

— Тут, Чепа, вся и загвозка.— Клюка и раньше не стеснялся называть своего прежнего хозяина Чепой, а теперь особенно.— Да, Чепа, а где головы поумней —

там по триста да по пятьсот пудов с десятины снимают, а мы и двадцать не снимем.

— Ну и мели, коли ветру много.

— И мелю, хорошее житье рядом в дверь просится, только ум в руки надо, и все... Вот, к примеру,— заболотье. Квадрату у нас, у загнетинских, сто десятин.

— Верно, по плану — сто. Ну?— ухмыляется Чепа.

— А накосим мы всего миром загнетинским шестьсот пудов, значит, по тридцать пудов на нос хозяйский.

— Не больше, а что у людей по триста да по пятьсот — доподлинно.

— А дай-ко,— продолжает Клюка,— расчисти, да травосеяние,— значит, и у нас то же. Ежели сто да триста — што тут...

— Сена бурум было бы.

— А гляжу я, Прохор, Агафийка у тебя мастерица стоги метать, право... што выточила...

— Оказывается, Чепа, стоги не тот мечет, кто на стоге стоит, а тот, кто то сено наметывает...

— А сено-то рази такое при травосеянии: травина в вершок одна, а в аршин другая; то шабара гниючая замараха да заяшник непроглотный, а то клевер.

— Небось разница, знаем...

— И все-таки она, Агафийка, молочина,— перебивает назойливо Чепа.

Чепе зазорно, что Клюку, его бывшего работника, слушают, а Михея Митрича будто и нету.

— А правда ли молва, Прохор, будто Клюку ты в подживотники в дом метишь... Зря... Ей бы жених настоящий надо да пофартовей; вот, скажем, как мой Колюшка.

— Где нам...

— Ничево...

— А только, Митрич, ты про себя разумел бы...

— Правильно... Тут о деле, а он со своим обормотом... зубы точит...

— Чепа, Чепа и есть...

— Гы... да я к слову... зря пропадет девка. Ишь, врать-то, одно слово — пленный...

— Ладно, к тебе за солью не ходим и за советом тоже...

— Ну, товарищи... Все в сборе?

— В сборе... Пора, вон солнышко-то...— И снова зазвякали жестяные точилки...

— А ты што сидишь? — сердито обращается Прохор к Ивану.— Пойдем, что ли, неча на пне красоваться...

— Успеем, а я вот все слушаю, Прохор, чему птица эта так радуется?.. а?..

— Гы,— огрызается Чепа,— а чево бы, к примеру, ты экой? Благодать да благодать, вроде тебе изюму в рот-то накладено... ну? Да и все, ишь, языками треплют, а придут домой — и пожрать неча... Жуй воду... А так и птицы твои... от глупости, не иначе... Да-а...

И, будто назло кому-то, Чепа обломал каблуками обгорелый таган, где недавно кипела вода и варила краснощекая Агафийка крепкую овсяную кашу.

Плюнул Чепа зачем-то на черный пожег и ушел. Пошел и Прохор.

Гуще упали Прохору в брови, в бороду тени.

Бормочет: «Невзаправдышные мы... вот што...»

Тени от берез тоже сгустились. Будто мертвые монахи, хлеснулись широкополые тени по луговинам. Притихли, как будто что чуют. Может, им скучно, что уходят загнетинские?..

Загнетинские уходят до нового лета...

Стоги тоже о чем-то задумались...

VII

ВЕСЕЛАЯ ЯГОДА

Будто цветной говорливый поток, идут загнетинские мимо чищенья Прохорова. Торопятся. Бабам надо засветло домой к коровам и ребятишкам, девкам и молодухам — за красной морошкой, а мужикам тоже надо.

— Восемь верст — дорога и лошади,— говаривал кто-нибудь из мужиков, подымаясь с привалу.

А до дому действительно восемь верст, да болотом, и болота загнетинским ни обойти, ни объехать, как девкам и молодухам не пройти мимо ягоды.

Жадность какая-то у загнетинских девок и молодух к ягодам, особенно на морошку. Уж чего бы морошка,

крепкая, с «каменным» соком — иной старухе и не разжевать, а кто «хороший человек» — если попробовал, больше и в рот не возьмет, а кто не пробовал — пожалуй, и выплюнет. Странно. И чем объяснить такую любовь к морошке, неизвестно. Может, оттого, что собирать ее хорошо, а может, оттого, что она красива, особенно на корню. Когда ее много, большие бурые кочки кажутся красными островками в мертвых зыбунах и корягах. Глянешь нечаянно, и будто красный говор стоит по болоту...

— Веселая ягода... Вот и торопятся, и говорливей цветистый поток.

Но мужикам не до ягод.

Покамест идут по сухой дороге, приятно утомленные хозяйской работой, не наговорятся. Все у них ладно. Клеится слово к слову в узорную быль, и всякая сказка кажется как возможная и близкая явь.

Идут загнетинские, говорят разговоры, что и как, чтобы лучше, а заходят в болото — и цветной поток рассыпается, ломается о пни да кокоры. Все вразброд. И думы вразброд. Крюкают загнетинские, прыгают с кочки на пень, с пня на колоду.

Удивляются:

— Оказия... И откуда это взялось болотище.

— Да-а-а... Обходы да переходы.

— А в мертвый зыбун не полезешь.

— Што?

— Ничево...

— Путем дорожкой, говорю,— весело покрикивает дядя Иван каждому, с кем поравняется на болоте, и ему всегда отвечали:

— Милости просим, ежели так.

— Да люба дорожка.

— Хошь и не больно дорожка,— улыбнется Иван,— а ходить можно, други. Можно еще...

А ныне кто-то ляпнул по-матерному и прибавил:

— Тоже, кадило гороховое... Нашел дорожку...

— А все от себя...— добавляет Клюка.

— Правильно,— бормочет в бороду Прохор.

Болотная сырость охватывает загнетинских. Осыпают загнетинские матерщинами каждый пень, каждую кочку,

где довелось им споткнуться, и шире расползаются по болоту. Кричат:

— Куда, направо али налево? Кто куда?

— Влево ягоды больше... валяй... влево.

— Ишь наворочена дороженька,— сердито буркнул Прохор и захлюпал... где попрямей.— Вот уж лешево кладбище — лешево.

— Да-а-а... Дурачье...

А дядя Иван обертывается, снимает картуз и несколько раз крестится на утопающую в синеве золоченую маковку. Кто-то ворчит:

— Ну, игуменья, вышагивай... вон люди-то.

— Не отстанешь...

— Молись, Иван, молись, может, не утонешь...

— Мы привышные... Не утонем...

И снова обходы, и снова ругань. Хлюпают мужики по болоту, лезут, где гуще сосны, чтоб суше, а сосны цепко хватают сучьями за полы, больно стегают упругими лапами руки и лица и, будто назло, бросают пригоршнями колючую хвою в лохматые бороды.

Сосны в болоте шершавые, низкорослые. Оттого и болото кажет глухим, низколобым. Издали видно, как пялятся из-за кочек бурые пни да коряги и дремлют залипшие белыми мхами «мертвые» зыбуны.

— Нет, братцы-товарищи, где это слыхано, чтоб на самом нужном месте и ни пути, ни дороги,— горячится Мишка Клюка.

— Дурачье, говорю, вот и загибай околесины,— кто-то стонет из-за коряги.

— А по-моему, вот што, Клюка, родивсе ты тоже от нашего дурака. Значит, как жил, так и живи... этак ту легше.

— Легче, так ложился бы в жижу, вот она, чего легче, да и подох бы, а вишь нет, тоже ищешь, где суше, а нет суши — и через грязь тяпаешь.

— Нет, братцы,— пора за ум, да по-новому...— пуще горячится Клюка,— а то все пропадем...

— Ну, ладно, што бог даст, то и будет.

— Не знаю, што бог даст, ежели будем так хлюпать...

— В обход.

— В обход так и в обход... все едино, везде грязи до пупа.

— А ты гляди, а то рожу своротишь, колокольня.

— Ничево.

— Нам тут вроде у себя на сарае, каждая колода исхожена...

— А погода, братцы, благодать... Ишь солнышко-то...

И шире, все шире расползаются по болоту. Глуше становятся голоса, и будто их проглотило болото. В болоте прохладно.

VIII

МЕРТВЫЙ ЗЫБУН

О ПРЕСТАВЛЕНИИ СВЕТА, О ВШАХ, О НОЮЩЕМ ЗУБЕ И ПРОЧЕМ

Ближе в ночь огнетается отяжелевшее солнце. Белесым туманом вдали закурились мертвые зыбуны, и видно, как в самые зыбуны расползаются пестрые сарафаны, будто их манит куда рогатая сухорукая нежить. Тараторят.

Крепче запахло угаром от желтых кустов колючей душницы...

— Ой, и не говори, Авдеевна,— где-то в стороне за корягами заливается большеротая Чепиха,— а по всем приметам, милая, скоро преставление.

— И антихрист, сказывают, народился...— кто-то выплывает из баб,— хорошие люди сказывают.

— Ну ищте бы не народиться. Была я ономняся в городу, матушка ты моя Фекла Серафимовна, там, о-ой, и чево только нету.

Кто-то из мужиков рассказывает в другой стороне:

— Прихожу я, брац-ты мой, позапрошлом году к фершалу, зуб прихватило. Говорю: так и так, будь доброй,— говорит, ладно, устроим. Приходи завтре, сегодня паек получать надо и масло. Ну, масло так масло... Прихожу завтре.

— Народился... народился. Гляжу это я, Серафимовна, эстоль церквей, и все будто зря... Идет мимо живой

человек и храму господнему ничево, хошь бы не взаправду перекрестился, нет, а живому человеку — ни здорово тебе, ни прощай. Срамотушка прямо...

— Ну, это, Авдеевна, пустое.

— Право слово.

— А ежели которые «блаородные», они никогда не здоровкаются... Вон у меня хозеин... у нас бывают хорошие люди, ...а штоб здоровкаться, и заведенья этово нету.

— Да рази это дело,— слышится крепкий голос Митьки Клюки,— тут и отцы наши ходили — маялись, и деды ходили — не радовались, ходим и мы, всем миром загнетинским грязь топаем, и ничево не стыдно... Вишь, дожили, тово и смотри... либо по уши в грязь, либо глаза выворотит...

Болото, знакомое сызмалу, кажется глухим, незнакомым.

Глубже засасывает болотная грязь и без того уставшие ноги, и кажется всем, нет ему, проклятому, конца и нет им, загнетинским, отсюда исхода...

— Да разве кому стыдно, ежели бы мы и совсем сдохли... А?

— Пропадем...

А бабы обиднее и назойливее бродят в болотном тумане.

— И чево же это, Фекла Серафимовна, Анфирей-то смотрит...

— Беззаконие... чистое беззаконье...

— Уж и не говори. Была я, этта, после ранней до поздней у батюшки, у отца Корнелия, да за чайком разговорились, а чаек у батюшки хороший экой, с медом, и пирогов матушка наворотила, только из печи, горячие, гору... Ну, милая, и разговорились...

— Ну, братец мой, и зуб прямо глаза выворачивает. А он говорит: «Ты из Загнетина?» — «Да».— «Так проваливай. Ваши сбору· не выполнили».— «Как так? Да мы и продналог, и мясо, и масло, и молоко, и все...»— «Это,— говорит,—нас не касается... Проваливай...»—«Уж будь,— говорю,— милостив, выхвати... Как я с зубом-то... сам знаешь...»— «Проваливай,— говорит,— мелкая буржувазия, беспортошный»,— да за шиворот. «Да ты,— говорю,— не грабай, сучий твой потрох»,— а зуб у меня

еще больше, да размахнусь, да кэ-эк брякну ему по зубам... да и на убег...

Путаются человеческие голоса по глухому болоту. Голоса и хлюпанье, шуршанье о сосны и эта вечная тишь глухонемого безлюдья вплетаются в белесый туман, и кажется на минуту, не люди идут и мучаются смехотворной и страшной жизнью, похожей на бред, а ожили кокоры и низколобые сосны, бродят кругом и мелют наобум все что попало, чего не было и не будет.

— Но это было, и больше не надо.

— Ты говоришь, дорогу?

— Да и настоящую, вот бы и не мотало...

— Гы, да где бы дорогу кидать, нас вон куда кинули... Иной гашник портошной не бросит под этакой дождь да под вьюги, а нас кинули.

— До Концберху кидали, да еще из пушек прихлопывали.

А сзади несется, откуда-то из-за сосен, исступленно и яро:

— Погоди, мать твоя расперемать, кривоглазый...

— Ничего, может, сам хуже будешь, чудашка, а петух твой тоже ходит...

— Да я тебе говорю по совести, ежели еще раз замечу, убью, так и знай.

— Чудашка ты, право. Да на привязи, што ли, курицу-то держать, чай, не лошадь...

— И привяжешь, все равно решу...

— Попробуй, сам долго ли наживешь.

— А вон в других-ту странах не так,— продолжает Клюка,— там чуть что застой, лужа, сечас дренаж — канава, значит, по-нашему. Вот она и дорога...

— Где это? В людях!

— Да вон хошь в Ермании.

— А ты слушай его, он не то намелет: в Ермании, завел — Ермания да Ермания; так Ермания тебе не Загнетино. Вон мы в Ерманию-то прибыли, и вши этой с нами в плен прибыло, хошь лопатой...

— Ну, братец ты мой, он свалился, а я убег, а, в час молвить, с тех пор и не баливал.

— Умора с этими зубами, а я так сам взял клещи

да и выворотил. Ха-ха-ха... три раза принимался, а выворотил...

— Ну и дурак ты после этого, Шкиля.

— Ты умен, а про нас хватит. К тебе займовать не пойду.

— А все-таки дурак, смотри-ка ты, бабу-то чуть не убил. Ну, немного возжой бы постегал, а ты обухом... дурак. Право...

— И вшей, говорю, с нами прибыло в плен, хошь лопатой греби, а привели нас да в баню, а кунды-мунды в бочку.

— Ну?

— Вот тебе и ну... У нас этих вшей еще на сто царей хватило бы, а там единочасно... Вшу-то потом за деньги не купишь...

— Правильно. Инда рад вошке-то... Укусила бы, почесал, вроде как дома побыл, да нет...

— Ищо бы, чужая сторона — не тетка, не приласкает.

— Ну отчево бы ему не выхватить, ежели получил. Значит, тоже масла-то не понюхал... И заводы, знаем, ходят, вот товарищи-те, которые маломошные, тоже брюка на улицу, а пуп голый. Вот тебе и дешевые ситцы.

— А так и дранаж-то... Вон нужда-то всех, как меленку, треплет... Кончи покосы — жни, выжни — молоти, измолоти — да скорее хлеб зарабатывать.

— Вот тебе и дранаж,— вздувается Чепа,— у нас лопаты хорошей нету... дранаж.

— А нужды-то, говорю, она што туча грозная, охлобучилась. Свету не видно... вот дунет и свалит... все Загнетино с ног свалится, и унесет, как перья вороны трепаной — и следа не сыщешь...

— Ну, никто, как бог...

— Да и бога, говорят, нет... Унесло... тоже как перья...

— И привяжешь, тебе говорю.

— Да как же я привяжу курицу, чудашка?

— Привяжешь...

— Не буду...

— Не будешь? Ах ты, в гроб твою мать, на...

— О-с-о, прра-славн... У-у-у,— и кто-то глухо хлюпнул с разбегу в болотную жижу.

— Гы, так и надо скаредам, нищетрепам,— ухмыляется Чепа...

— Ну и разбойники... убьют ведь друг дружку...

И все на минуту смолкают.

Выше выросла болотная тишина, и глухо уставились в сумерки низколобые сосны.

IX

ОБ ОГЛОХШЕЙ МИНУТЕ

Кто знает — тот знает: в загнетинском времени есть такая минута, когда застывает язык, и станет страшно за все: и за себя, и за мир, и за что-то еще, от чего подымаются волосы дыбом.

Это минута рождения нелепой и самой страшной загнетинской скуки, когда станет человеку вдруг темно, жутко и пусто. Только что по-детски смеявшийся человек сделается хуже, чем зверь, и нелепей, чем сам нелепейший идиот, когда хочется рвать ему свою последнюю рубаху в лепестки, изодрать до крови себя и других, вдребезги растоптать свою последнюю чашку, выщелкать стекла и орать в разбитую раму куда-то туда, а потом — либо сунуться в петлю, либо захлебнуться каким-нибудь зельем и воткнуться башкой к первой попавшейся подворотне.

Это минута бессознательных, глухонемых прорастаний, слепых и беспутных прозрений в глухонемые века, полные бреда и всяческой скверны и ужасов, в века, прошедшие над Загнетиным и везде...

Вот и сейчас кто-то тяпнул чем-то кого-то, а тот проорал.

— А бабы вон, тоже о переставлении света с громами и золочеными трубами мекают,— ехидно улыбается Чепа,— а умные люди говорят — не будет... Не стоит, говорят, трубы архангельские портить из-за одних мертвых, а живые больше набольше сперва: их не проймешь ни трубой, ни обухом, и не нужны они ни раю, ни аду, по этому случаю Страшного суда и не будет, а выйдет глупый черт в образе жабы, всех слопает, да и сам лопнет,

и расчеты все; от мертвых вреда нет, пусть на здоровье...

— Да-а, притча...

— Вот оно... А все это от безделья... Болото в башках-то у всех, да от темноты, а темнота от глупой работы...

— А глупая работа отчево? Уж начал молоть — мели...

— А глупая работа — от бездорожья да от этаких Чеп. А штоб — вот дорогу-то настоящую бросить? Оно бы и прямо, и ноге легко, и глазу приятно, и дурь бы всякая в голове не разгуливала.

— Да подить-ко и с булеваром дорогу-то надо... А? — ехидничает Чепа.

— А зубы тут скалить неча... Тут самое важное, а ты зубы скалишь.

— А ты гляди про себя, рыло,— опять ухмыляется Чепа, и снова пучится болотным огнем Чепина борода, бормочет: — Вот оно...— а сам сгорбился, точно плешью разглядывает.

Дядю Прохора охватывает болотная грусть. Ему кажется — это от Чепиной плеши, и болото, и загнетинская глухая тоска, и нищие серые дни, и нищие, что толпами бродят по дорогам позагнетина. Это он накликал его, этого глупого черта.

И он пришел.

Вот он, большой и глупый как Алала, покамест загнетинские метали стоги за звонко аукали по чищеньям, ходил из края в край по болоту, раскачал зыбуны, вытоптал кочки и ямы, навыворачивал из-под земных глубин гнилые кокоры, коряги и всю, всю гнель вековую, болотную с целого света стаскал он, а глупой забаве сюда, на дорогу, загнетинским, нарочито, чтоб рассыпать цветистый поток, чтоб поглумиться над каждым загнетинским в одиночку.

Медленно расползается оглохшее время в ушах загнетинских обитателей, и никто не поручится теперь ни за себя, ни за друга, что вот, за малейший пустяк, он не тяпнет по затылку кого-то, кто ближе, косой или выгнившим пнем, и не свалит. У всех одна и та же ноша: нелепая обида и безвыходная скука, скука пней и коряг и низколобого шершавого сосняка.

— Может, и впрямь переставление света,— спрашивает кого-то Прохор. Вот он накуралесил, рассыпая цветистый поток, прикинулся жабой и тут же, где-нибудь тут сидит под корягой и смотрит, как мучаются загнетинские.

А загнетинские идут, будто и не идут, и никто не знает, кто поглумился над ними...

— Разве это ноша,— думает дядя Прохор,— косы, да грабли, да жестяная точилка? Ноша? Нет, это он да Чепа превратили в стопудовую ношу жестяную точилку...

И дяде Прохору захотелось тяпнуть, именно тяпнуть по Чепиной плеши косой...

— Раздробить, и все бы сделалось ясно...

Крепко схватилась Прохорова рука за косьевище... А жаба? — проносится мутным туманом под картузом у Прохора: ее никто не найдет под корягами, и все будет так, и будет тоскливей...

— Экая, право, досада...

Он испуганно и подозрительно заозирался кругом на коряги, и неожиданно ярко плеснулась ему в глаза морошка и будто над чем красно и весело засмеялась.

— Веселая ягода...— думает Прохор,— значит, ничево и не будет. Ежели переставлёнье, зачем эстолько морошки... И Агафийка где-то собирает морошку...

И мертвая скука упала, рассыпалась. И упала с косьевища ослабевшая рука.

— Так как же нам, братцы, быть-то... а? — снова спрашивает кого-то Прохор.

Но глухая минута еще не прошла... Все молчат, облипшие древними суеверьями хлопают, звякают жестяными точилками и грузно вытаскивают, издерганные корягами и обсосанные жижей, отяжелевшие ноги.

Только Миша Клюка, он много ходил по свету, он бодро шагает и не боится болота, да мальчишки... Шмыгают мальчишки перед ногами у мужиков, ягоды у баб из-под рук обивают; им что? — их не утомила еще ни болотная жижа, ни белые мхи, ни коряги; им что? — им бы пересвистеть друг друга — и ладно.

X

О СВИСТУЛЕШНИКАХ

ГЛУХАЯ МИНУТА ПРОШЛА

- Да как же нам быть-то? — снова спрашивает Прохор.

А кто-то из мальчишек забрался на кочку и пронзительно свистнул Прохору в ухо...

— Вот как...

— Свистулешники, оглушили...— обрывает мальчишек Прохор.— Гу-у,— и снова заперекатывали говоры тут и там.

— Ну и чудашка ты, право,— раздается за соснами.— Долго ли бы убить... Не свались я в зыбун, убил бы, а за што?..

— А вот не попадайся под руку, и штоб курицы твоей тоже не было, понял? — отвечает другой. И голоса у обоих — как будто двадцать лет не видались два друга, а вот сошлись и беседуют...

— Никто, как Бог; хуже, говорю, бывало, Прохор...

— Нет, братцы-товарищи. Бог тут ни при чем. Он у всех разный.

— Боги, говорю, у всех разные,— продолжает Клюка, и голос его, как нож, врезается в болотную глухомань...— А я говорю — живому жить надо.

Вот Александро Прохорович как-то сказывал, говорит: поговорку «никто, как Бог» надо бросить, а надо говорить: никто, как сам человек. И верно. Рази люди с неба добро натаскали? Нет. Дадена земля человеку — ее и люби. И делай как те удобней, да чтоб твоя удоба сотне каторгой не была. Вот. Вон, люди целы болота высушивают, моря отпехивают. А говори: не Бог, а все мы, от малолетних до набольших. Свистулешники. Где бы обсудить да за дело, мы от дела да за свистульки, да сотни годов и играем, а чья свистулька не вышла — в зубы... Вот и получилось: дороге верста, а мы на этой дороге десятую версту в околесины загибаем...

— Да кабы все порядошные, да все по порядку, о чем бы и речь.

— Да из-за чего ломать-ся? — пучится Чепа.— Сам говоришь, пустяшина, и резун, и двадцать пудов... а тут ему подавай дорогу и машины.

— Так я и говорю: пустяшина она — с Чепиной плешью, а ежели на умных — тыщи пудов...

— Правильно,— поддерживают те, кто помоложе.

— А ты гляди под ноги-то, колокольня, а то рыло своротишь. Тыщи...

— И сворочу... Вот считай. Ежели сто десятин да по триста пудов, што тут?.. Эй вы, долой свистульки, ну-ко...— командует Мишка Клюка школьникам.

И мальчишки, как воробьи в конопле, засовались меж сосен, ищут, чтоб толще сосна и глаже кора. А те, что разбитнее, давно уже сами высчитывают...

Царапают косариками на шершавой коре умножение, притихли, забегут вперед и опять...

— Где им, разе их чему учат, безбожников,— огрызается Чепа.— Им бы собачиться да обутку портить...

— Ничево...

— А по-моему, что ни делай, а у Бога силой не вырвешь...

— Нет, вырвешь. На наше почтенье вырвешь...

А мальчишки перебегают от сосны к сосне и звонко кричат:

— Тридцать!

— Триста!

— Три тысячи!

— Тридцать тысяч!

И звонко врезаются детские голоса в болотную глушь.

Людям свое и болоту свое. И по-новому насторожилось болото. Тысячи лет дремало оно под лягушечий квак. Стонами кулика, да плачем пугливой пичуги, да хохотом гулкого филина пугивало оно запоздалых прохожих; красной морошкой да журавикой заманивало богомолку и болтливую ягодницу в мертвый зыбун, где от века маячит туман и бластится сухорукая нежить...

Под шумы сосен дремало оно, глухими ветрами рыдало в осенние сумерки, и было оно господином, могучим, как смерть, на тысячи людских поколей, в синих просторах загнетинских вотчин.

Дремало оно и дурманило... А тут — таково от века не

было. Не новые ли колдуны, безбородые, появились,— вот они царапают тайные знаки на шершавой коре и по-новому заклинают болото...

— Три тысячи, тридцать тысяч...

XI

ВЕСЕЛО СЛОВО И ВЕСЕЛЫЙ ПОЖАР

— Вот тридцать тысяч. Значит, на двадцать хозяев — по полторы тыщи на нос. Вот вам и Бог и пустяшина. Да, по-моему, с дураками и Богу не весело... Дураку тридцать пудов, а умному тысяча пятьсот.

— Не знаю,— неуверенно ухмыляется Чепа,— бирывал я и клеверу, а выросли поди-тко три клеверинки, а больше какая-то стерва колючая.

— С Богом-то оно и лутше.

— А трава у тебя не лутше...

— А дай-ко бы по-настоящему свет-то да машины, оно бы во сто раз и скорее, и пользы в тысячу раз больше. Вот, вместо тридцати пудов заяшника, накосил бы в одном заболотье тысячу пятьсот пудов, да в лугах у дому, да в полях, значит, где одна корова, было бы двадцать; да што и другое прибавилось бы, да этак по всей вотчине...

— А и верно, братцы, жисть-то, она, што ни день, конем заиграла бы...

— Тут и голопупые не ходили бы; да при таком деле, чем тратиться на глупой работе, все гуляючи сделал бы, и около дому порядок завел бы каждый — и садик, и пчельник, и все... И книгу полезную, разумную почитал бы, на все время хватило бы...

— И не трепало бы этак, как ме́ленку, верно...

— А все от чево? и вот и нищета и темнота от глупой работы да от бездорожья. Одуреет человек на негодной шабуре, ну и блазнит ему всякое по эким дорогам.

— Долго ли бы дорогу?.. Песок вон, сосняк — рядом, вози да вали, руби да откладывай, а канаву руками выкидаешь, не то што...

— Верно, братцы, долго ли бы... для себя же... А польза видимая.

— А по бокам канавы, кусты да березник, вот тебе, Чепа, и булевар...

— Не выйдет... Потому, скажем, мы согласны, Черничины — нет, а Говорухины и придут, да делать не станут...

— Вот тут-то мы и свистулешники. Язык есть, голова есть, руки — быков убивать можно, и простору у нас не измеришь, а толку, говорится, нет. Вот, примерно, дорога... надо? — надо. Придут нам дорогу делать, скажем, архангелы?— нет. И ни француз, ни немец, ни англичанин не придут, а придут — и остальную спортят... Значит, што? а вот што: чуть што — дело, сечас собранье, на то и свобода добыта кровью.

— Да што толку? одному — то, другому — то.

— Правильно, тут и ясно будет, кому чево надо, а помоему, нет ни одной животины, чтобы худова хотела... А договорились, скажем: быть дороге... сейчас постановление, а постановили, значит — закон...

— Законы, Миша, без Бога до совести не помогут, Миша, нет.

— Нет, помогут. Што Бог? Ты молись пню, а я коноплю, а каши с маслом всякому надо, значит, и добывай кашу свою разумной работой, разумный труд — вот совесть... А с дураком и резоны короткие — запрягайся с нами и на работу, а не хошь — вот тебе: вьюг, асток и запад, долой, а с нами тебе не дорога... На умное и полезное дело за шиворот дурака тащить надо, а будет время — и дураку слюбится... Нет, Иван, не Бог тут надо, молитвой дороги не сделать, молитвой и поля не засеять, а дураку да лодырю-живодеру оправданье,— тут надо организация.

— Как? — переспрашивает Иван.

— Орр-гани-и-за-ция.

— Веселое слово... Только едва ли.

— Чево: едва ли?

— Правильно,— поддакивает Прохор, и то, что гнело в груди у Прохора, как стог прошлогоднего сена, вспыхнуло и загорелось. И закорчились в груди у Прохора древние страхи и бреды болотные, сгорая в веселом пожаре...

XII

КОНЕЦ БОЛОТУ И НОВЫЙ ЗАРОК

Дохлюпывают загнетинские последнюю грязь. Один за другим выходят на зеленый пригорок. И снова сплетаются в цветистый поток.

Выше встали туманы на мертвые зыбуны, но они позади, и слышно, плывет из тумана:

— Ну, Корнелий и говорит... говорит, хошь я тебя, Фекла Серафимовна, и очень уважаю, и мать моя тебя любит, а переставленья свету не миновать...

— Не-э-эт, Серафимовна, не миновать, милая, не-э-э-э...

— А ты, Чепиха, все пустое.

— А ты еще молода невенчанная вдова, во щте... Агафнюшка...

— Ну ее.

— А мед... Это и сладко, и для здоровья пользительно.

— Ище бы: мед от озыку — первое дело...

— А здоровый человек да неизмаянной, он и на работе пригожей, и в деле ласковей... везде.

— Ну, здоровый мужик али хворый, разе сравнишь...— весело щекочут молодухи и девки и тоже выходят из стороны на пригорок. Туго скрипят корзины, полные красной морошки, и скрип этот, будто музыка, льется в прозрачные сумерки, льется и отмечает бабьи следы.

— Агафийка!— окликает Прохор еще из болота...

— Я тут, вышла. Ты-то иди поскорее.

А впереди закат, и светло на зеленом пригорке.

— Вон бабы-то меду хотят... надо пчельники оборудовать...

— И это не штука... Пчелу али клевер выдумывать нечего, они готовы, возьми да с толком пользуйся.

— Верно.

— Правильно.

И снова клеится к слову слово в узорную быль. Новые думы печатаются в мужичьем уме. Новые небывалые силы ширятся в груди у загнетинских; вот еще и разум опустится в руки, чтобы претвориться в дело и наполнить радостной жизнью безбрежный простор загнетинских вотчин...

— И организацию выдумать неча... тоже есть кооперация и советы... только по-настоящему возьмись, по правде, во всю их ширь, и не сгинешь.

— Правильно, Мишка...

— Правильно.

— Ну, братцы, пошагивай... пора.

И торопливей шагают загнетинские.

Ярко бьет в закорузлые лица загнетинских заходящее солнце, путается красное в лохматые бороды, и кажется, не к дому они идут, а льются с зеленых пригорков цветистым потоком туда, в зарю, в веселое и говорливое завтра.

— Только как же, Прохор, без Бога-то? а? Без Бога и этак весело? — чмокает дядя Иван.— Вон как весело пошли загнетинские... любо...

— А ты слушай, ты все о птице да о том о сем, а птица — она не резон человеку. Человеку другой зарок, чем птице. Ему трудом да разумом украшаться надо,— и оба выходят на зеленый пригорок.

Дядя Прохор обернулся и плюнул в глухое беспутье последнюю горечь. А дядя Иван посмотрел в синеву и истово перекрестился на золоченую маковку Дионисия, в последний раз блеснувшую в вечернем тумане.

— Ноне великое облегчение народу... пусть бы...

А кто-то в болоте сзади еще ворочается, хлюпает жижу, и печально несется из болотных туманов:

— И-и-гоо-ре... бр-а-ц ты мо-о--о-й, не знаю... Как она увидела да вдоль по чугунке, а он все ближе, ближе; я ему крычу: будь доп... Свороти... А он, сволочь, свистнул, да што было, уж и не помню... Очнулся это я,— лежу под откосом, а рядом хвост да копыто, и все, а его и след простыл. Только дымок за лесом. Не-э-э знаю, такая была, братц ты мой, покойница кобыла-то...— снова теряется за соснами и корягами голос.

А впереди толпятся на западе облака, но облака в огненно-красном пожаре. И плывут они, облака, над загнетинской вотчиной, с востока на запад. И подгорают...

<1923>

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

ЯР

Повесть

Часть первая

Глава первая

По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

— Волки,— качнулась высокая тень в подлунье.

— Да,— с шумом кашлянули притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.

На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.

— Кабы не лес крали,— ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.

В запотевшие щеки дунуло ветром.

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с иннистым визгом стукнула о пробой.

— Кто едет? — процедил его охрипший голос.

— Овсянники,— кратко ответили за возами.

— То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.

— В чапыжнике,— глухо крякнул он, догоняя сивого мерина.

Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

— Идут,— позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

— Эй, Фанас,— дернул его Филипп за казинетовую поддевку.— Волки пришли на свадьбу.

— Никакой свадьбы не будет,— забурукал Ваньчок.— Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехнувши, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

— Волки, говорю, на яру.

— Ась? — заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке.

Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.

— Чукан, Чукан! — кликнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хряснули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было на приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.

Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил»,— мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки»,— заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

— Откулева?

— С Чухлинки.

— Далеконько забрел.

— Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками.

— Я ведь гнал-то.

— Ты?

— Я...

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.

— Коли гнал, поделимся.

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

— Скидывай кожух-то?

— Я хотел тебе сказать — не замай.

— А что?

— Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.

Незнакомец весело закачал головою.

— Так ты, значит, беги за салазками.

— Сейчас сбегаю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.

— А как тебя зовут-то?

— Карев,— тихо ответил, запихивая за пояс нож.

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

— Блюешь?..

— Брр...— задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза.— Похмели меня...

— Вставай... проветришься...

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.

Ваньчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.

Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.

— Медведя убили...

— Самдели?

— Без смеха.

Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.

— Ты идешь?

— Иду...

— И я пойду.

Подковылял к полатям и вытащил свою шубу.

— Пойдем... подсобишь.

Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль.

— Там выпьем.

Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сочилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.

С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.

Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег,

покатилась, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.

— Ух какой! — протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст.— Ну и лопатки!

— Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то,— заговорил Филипп,— да угости пришляка тепленьким.

— А есть разве?

— Есть.

Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.

— Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем.

Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.

— Волков я тоже думаю взвалить.

— А где они?

— Недалече.

В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

— Пугаются,— крякнул Филипп и скинул ношу на салазки.

Крученый тяж повернулся концом под грядку

— Эй, вставай,— крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

— Не встану,— кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморозью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег и колол растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий

нанос; на салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

Глава вторая

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружко.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

— Чи-их!— фыркнуло около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.

— К твоей милости,— низко свесился дружко.

— Зубок привез?

— Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

— Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

— Расколешь!— заботливо поддерживая донышко, крикнул работник.

— Небось,— выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

— Смачная!— лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу:— Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.

— На колымагу!— замахал рукою дружко.— Выходит сейчас.

— На колымагу так на колымагу,— крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно.

— Есть,— щелкнул дьячок под салазки.

— Опосля, опосля,— зашептал дружко.

— Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обгрызанным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

— Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом.

— Ишь ты какой сурьезный,— говорил шепелявя дьякон,— в засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.

Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.

— Ты больно широко раздвинулся,— заметил он ему.

Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»

— Эй, матушка!— крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол.— Н-но, дьявол!— рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.

— А ты, пожалуй, нарочно уселся так,— обернулся поп опять к дьякону,— грязь-то вся мне в лицо норовит.

— Это, батюшка, бог шельму карает,— огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

— Тпру, тпру!— кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.

Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.

— Не тпрукай, дурак, когда лошади стали,— искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста — с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с придаными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:

— Пей, гусь, да пути не мочи.

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился — как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.

Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около налоя краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налепок.

Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца.

По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове-соседке.

Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником.

— Женится — переменится,— говорил Анисиму уважительный кум.— Я сам такой смолоду олахарь был.

Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи.

Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались.

До замужества Анна спуталась со своим работником.

Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто.

Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опеча-

лить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаенная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь.

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала.

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.

На рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху.

Анна с батраком ходила в ригу, и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.

После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.

— Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим,—

говорила она и, закинув за подмышки зарукавник, развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...

Вечером на масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались прибаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к куму в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза.

Анна обернулась и отвела его руки.

— Пойдем,— покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

— Ничего, Степан, не бойся,— подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок,— ты парень хороший...

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

— Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь — я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На прощеный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

— Ничего,— говорил он спокойно и ласково.— Завтра к вечеру все как рукой снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником.

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.

Анна присела с краю.

— Благословите меня,— сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо.

Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

— К страстной вертайся,— сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.

Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

— Ну, прощай, Анна!— проговорил тихо и кротко.— Не обижай стариков.— Немного задумался и гладил ее щеку.— Совсем я...

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

— Костя!— гаркнула она.— Вернись!

— Ись...— ответило в стихшем ветре эхо.

Глава третья

— Очухайся!— кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу.

Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот.

— Снегом его,— тихо сказал Карев.

— И то снегом...

Филипп сгорстал путровый окоренок и, помыв над рукомойником, принес снегу.

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ваньчка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

— Пи-ить...

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

— С перепою,— тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал. Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.

— Пей,— поднес он стакан Кареву.— Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить,— почесался Филипп и вышел в теплушку.

— Липа? Лип?..— загукал его сиповатый голос.— Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.

— Убью,— усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

— Не боюсь,— тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.

Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

— Тетенька ушла,— сказал он ей, как они пришли из церкви.— Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

— Отчего он не тает?— спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

— Лучше я повешусь на ветках березы,— говорила она,— чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого.

Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

— Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

— А я возьму тебя и съем,— шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давался искаться.

— Пусти ты,— отпихивал он ее руки.

— Ложись, ложись,— тянула она его к себе.— Я расскажу тебе сказку.

— Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку?— пришлепывая губами, выговаривал Юшка.— Расскажи мне ее... мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

— Готов,— сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

— Славная штука,— ухмыльнулся Филипп,— рублев двести смоем... Чтой-то я тебя, братец, не знаю,— обернулся он к Кареву:— Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

— Я пришляк, у просфирни проживаю.

— Пономарь, что ль, какой?

— Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

— Зорит...— поднял блюдце Карев.— Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

— Ишь наклюкался,— рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом.— Гусь жареный, тоже свататься приехал!

— Ох,— застонал Ваньчок и откинул полу.

— Кто там?— отворил дверь Филипп.

— Свои,— забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

— Есть дичь-то?— затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

— Есть.

— А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

— Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.

— Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

— Ну, так, знычит, Филюшка, двести с четвертью да за волков четверть.

— Коли не обманываешь — ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.

— Получай,— слюнявя пальцы, отсчитывал он.

— Счастлив, брат, ты,— ткнул в бок Филипп Карева,— и скупщик, как нарочито, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.

— Так ты помоги,— скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

— Ишь какой здоровый!— смеялись скупщики.

— Мерина своротит,— щелкнул кушаком Филипп.— Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

— Он убил-то?

— Он...

На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.

— Н-но!— крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, засемно поплелись шагом.

Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.

Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.

— Не надуешь проклятого.

— Хитрой мужик,— подхватили скупщики и задергали башлыками.

— Дели,— выбросил Филипп на стол деньги.

— Сам дели.

— Ну, не ломайся.

Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.

— Кто это?— мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.

— Всю память заспал,— ухмыльнулся Филипп.

— Нет, самдели?

— Забыл, каналья?

— Эй, дядя,— поднялся Карев,— аль и впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?

— Смеетесь,— поднес к губам корец.

— А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.

К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.

— Тебе полтораста, а мне сто,— встал Карев и протянул руку.

— Как же так?

— Так... я один... А ты с сестрой, вишь.

Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.

— Ай и скупщики были?..

— Были.

— Вон оно что...

Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.

— Погоди,— останавливал Филипп,— выспишься.

— Нет, поторапливаться надо.

В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.

На крыльцо выбегла Лимпиада.

— Заходи!— крикнула она, махая платком.

— Ладно.

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная морока и, как рукав, обвивала одинокие разбросанные липы.

— Садись, касатик, подвезу!— крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

— И то думаю.

— Знамо, лучше... Ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

— Что ж пустой-то?

— Продал.

— Ишь бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.

— Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

— Раменки!— крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

— Подбирай, бабушка!— крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забили крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала накрытые соломой ноги под поддевку; ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

— Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

— Экай ты какой!— крикнула укоризненно баба.— Погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

— Закуривай,— оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз.

Глава четвертая

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были зашиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатигодовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл по округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотные деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

— Фюи, фьи,— шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

— Ух, ух,— лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

— Придут,— говорил он, гладя мухортую собаку.— Где-нибудь и нас так поджидают.

Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом ходу хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку.

Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза — шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

— Мотри, богу молись,— наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

— А далеко будем ехать-то?— спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.

— Две ночи спать будешь,— ухмыльнулся он,— а на половину третьей приедем...

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

— Заблудишь,— ворчал Афонька,— не броди далеко.

— Я, дяденька, не боюсь теперь,— смышлено качал желтой курчавой головой Кузька.— Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

— Ишь какой догадливый,— смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росою.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач. Афонька спустил курок... Облаком заклубился дым.

— Где он, где он?— крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...

— Вот он, вот он!— кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло,

может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

— Лови, лови!— кричал Афонька.— Эх ты, сопляк,— протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам.— Гони в кусты!— кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиною.

— Погоди,— сказал Афонька,— я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

«Буль, буль!» — забулькало над головами лилий.

— Кши, дьявол!— гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.

— Не нарвись!— крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, схолясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

— Тех, тех, тех,— щелкал в березняке соловей.

— Тинь, тинь, тинь,— откликались ему желтоперые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой мшанину вы-

бежал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось как подкошенный упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.

«Убил!» — мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным страхом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом; на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельницу.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали — он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкою около жернова.

Крепко задумался он — не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче

связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь.

Он обвязался, как путом, круг этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

— Здорово, дедунь!— крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи. Лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

— Здорово,— кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу,— нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

— Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим...

Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.

— Останься,— грустно поникнул он головою.— Один я..

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.

— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем,— толковал он с Каревым.— Всю молодость свою думал поставить церковь. Трать,— вынул он пачку бумаг,— ты как Кузька стал мне... словно век я тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на завалинке; Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки.

— Не гляди, что мы ковылем пахнем,— грустно усмехнулся он,— мы всю жисть, как вино, тянули...

— Что ж, захмелел?..

— Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью... лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

— Чтоб те пусто взяло!— выругался сотский, спуская осторожно мешок.— Не мудрено и брыкнуться...

— Крута лестница-то, крута...— зашамкал, упыхавшись, Афонюшка.— Обвалилась намедни плоская-то, новую заказал.

Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.

— Сыпь!— крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.

Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.

Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.

— Хруп,— обратился он к Кареву,— спусти еще.

На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дыхал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.

«Людям обрадовался»,— подумал он с нежной радостью и подпустил помолу.

Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка.

— Что такую рваную повесили!— крикнула она со смехом, кидая под жернов фуражку, и задрожала...

— Фуражка, фуражка!— застонал Афонюшка и сунулся под жернов.

Громыхающий поворот приподнял обмучнелый комок и отбросил на ларь.

На полу рассыпались красные ягоды.

Думы смялись... Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуйя, аллилуйя...

Глава пятая

Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем.

Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент.

Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника.

Рядом валялось ружье и с чесаной паклей кожаная пороховница.

Тихо качались кусты, по хвоям щелкали распериввшиеся шишки и шомонила вода.

Быстро поднялся, вскинул ружье и пошагал к дому. За спиной болтался брусниковый кузов.

Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихорадочно пересчитав, кинулся обратывать лошадь.

Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами.

Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь.

С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и махала зарукавником.

Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась; спрыгнул и поздоровался.

— Дома?

— Тут.

Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну.

— Ставь!— крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар.

Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне.

С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки.

— Хватит!— крикнул, улыбаясь, Карев и пошел к крыльцу.

— Вот что, Филюшка,— сказал он, расстегивая пиджак,— Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег

у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне три тысячи. А ведь с ними каши не сваришь.

Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами.

— Что ж надумал?— обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы.

— Школу на Раменках выстроить...

— Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чухлинки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что...

— Так и я думаю... сказать обществу, чтоб выгоняло подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед.

От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня.

Карев глядел молча на Лимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки.

Закрасневшись, она робко вскидывала свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали.

Она сама не знала, почему не могла смотреть на пришляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась.

Но бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям.

Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.

Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.

Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.

Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.

В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться.

В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыханье.

— Кто там?— крикнул он, откидывая кошель.

— Я...— тихо и кратко было ответом.

— Кто ты?

— Я...

— Я не знаю, кто ты,— смеясь, зашевелил он кудрявые волосы.— А если пришел зачем, так подходи ближе.

Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.

— Чего ж ты таишься?

К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.

— Так,— брызнул он сквозь зубы слюну.

Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.

— Ты бел, как мельник,— сказал отрывисто парень.— Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь... Ты сегодня не ел калину?

Карев качнул головою.

— Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.

— Что ж ты здесь делаешь?— обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.

— Дорогу караулю...

Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.

— Зря все это...

Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную луньею ступеньку.

— Как тебя величают-то?..

— Аксютка.

Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.

— Правда, Аксютка... Когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.

— Чай хочешь пить?— поднялся Карев.

— Не отказываюсь... Я так и норовил к тебе ночевать.

— Что ж, у меня места хватит... Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил... она, вешняя отава-то мягче будет и съедобней... Расставь-ка таганы,— указал он на связанные по верхушке три кола.

Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в ку-

чу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец.

Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег.

— Не воруй, Аксютка,— сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма.— Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи... поймают тебя, изобьют... зачахнешь, опаршивеет все, а не то и совсем укокошат.

Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался.

— Ладно тебе жалеть-то,— махнул он рукой.— Либо пан, либо пропал!

Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.

— Ох,— повернулся Аксютка,— хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною.

— Ну-ка...

Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.

— Пошел я по весне с богомолками в лавру Печерскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.

С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми.

В корогоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка, всю дорогу перхала.

Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней.

С ней шла годов восемнадцати али меньше того внучка.

Я и так к девке, и этак,— отвиливает, чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря.

Потихонечку стала она отставать от бабки, стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась.

Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею.

Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей; да чтоб того... незаметно было.

Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю.

Смотри, мол, карга, какой я путевый; внучка-то твоя как исповедуется со мной.

Стала и бабка со мной про божеское затевать, а я начал ей житие преподобных рассказывать. Помню, как рассказал про Алексея божьего человека, инда захныкала.

Покоробило исперва меня, да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло.

Пришли все гуртом на постоялый двор, я и говорю бабке... что, мол, бабушка, вшей-то набирать в людской, давай снимем каморочку; я заплачу... Двохлая такая была старушонка, все время перхала.

Полеглись мы кой-как на полу; я в углу, а они посередке.

Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях.

Ощупал и тихонечко к изголовью подполз.

Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то...

А она, старая, хотела повернуться, да почуяла мою руку и крикнула.

Спугался я, в горле словно жженый березовый сок прокатился.

Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне.

Хвать старуху за горло и туловищем налег...

Под пальцами словно морковь переломилась.

Сгреб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит... Куда, думаю, бежать...

Вперед пойду — по спросу урядники догадаются; назад — люди заметят... Повернул я налево и набрел через два дня на село.

Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о щипульник; ночью все старуха бластилась и слышалось, как это морковь переломилась...

Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана...

Вошел, снял картуз и уселся за столик.

Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлы-

шко «жулика». «Из своих»,— подумал я и лукаво подмигнул.

— А, Иван Яклич!— поднялся он.— Какими судьбами?..

— Такими судьбами,— говорю.— Иду богу молиться.

Сели мы с ним, зашушукались.

— Дельце,— говорит,— у меня тут есть. Вдвоем, как пить дадим, обработаем. «Была бы только ноченька сегодня потемней».

Ехидно засмеялся, ощурив гнилые, как суровикой обмазанные зубы.

Сидим, пьем чай, глядим — колымага подъехала, из колымаги вылез в синей рубахе мужик и, привязав лошадь, поздоровался с хозяйкой.

Долго сидели мы, потом мой хлюст моргнул мне, и мы, расплатившись, вышли.

— К яру пойдем,— говорит он мне.— Слышал я — ночевать у стогов будет.

Осторожно мы добрались до стогов и укутались в промежках...

Слышим — колеса застучали, зашлепали копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать.

Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели гужи.

Ночь и впрямь, как в песне, вышла темная-претемная.

Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет. «Не спит все»,— думаю.

Тут я почуял, как по щеке моей проползла рука и, ущипнув, потянула за собой. Подползли к оглоблям; он спал за задком на веретье.

Я видел, как хлюст вынул из кармана чекмень и размахнулся...

Но тут я увидел... я почувствовал, как шею мою сдавил аркан.

Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче.

— Да,— протянул Аксютка,— как вспомнишь, кровь приливает к жилам.

Карев подкладывал уже под скипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксюткину трубку.

— Что же дальше-то было?

Аксютка вынул платок и отмахнул пискливого комара.

— Ну и дока!— прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник, и стал грызть на моих руках веревку.

Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног.

Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать...

Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась. Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги.

Покуль я развязывал, он ему штук пять вогнал.

Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный... к нему... Только он хотел вонзить тычинку,— я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко...

Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю да так... и богу душу отдал.

Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевало грудь сердце.

Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи, и ухал филин.

Глава шестая

На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей.

Сняли портки и, свернув их комом, бросили в щипульник. На плече Карева висел длинный мешок. Вьюркие щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени.

— Кто-то идет,— оглянулся Аксютка,— кажись, баба,— и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками.

Карев увидел, как по черной балке дороги с осыпающимися пестиками черемухи шла Лимпиада.

Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу.

— Какая ты сегодня нарядная...

— А ты какой ненарядный,— рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы.

Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почуял, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показывать рыбу.

— Вот и к разу попала. Растагарю костер и ухи наварю...

— Во-во!— замахал весело ведром Карев и, скатывая бредень, положил конец на плечо, а другой подхватил Аксютка.

— Ведь он ворища,— указала пальцем на него.— Ты небось думаешь, какой прохожий?..

— Нет,— улыбнулся Карев,— я знаю.

Аксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав.

— Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол?

— К кому ж мы пойдем?

— Как к кому?.. Там у меня тетка...

— Хорошо,— согласился он,— только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.

Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.

С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.

— Ну, теперь садись с нами к костру,— шумнул Карев.— Да выбирай заранея большую ложку.

Лимпиада весело хохотала и указывала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.

— Аксютка,— крикнула, встряхивая раскосмаченную косу,— иди, поищу!

Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.

Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.

Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.

Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.

В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.

Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.

Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.

«Подружки голубушки,— выговаривал, как камышевая дудка, гребешок,— ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».

— Будя,— махнула старуха,— слезу точишь.

Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.

— В расходку!— кричал в новой рубахе Филипп.— Ходи веселей, а то я пойду!

Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.

На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.

С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками.

В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.

— Ух, леший тебя принес!— засуетился обидчиво Филипп.— Весь пляс рассыпал.

Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.

— Ты не ругайся,— сдавил он мехи,— а то я играть не буду.

— Ты чей же будешь, касатик?— подвинулась к Кареву старуха.

— С мельницы,— ласково обернулся он.

— Это что школу строишь?..

— Самый.

— Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь... Ведь ты нас на воздуси кинаешь — звезды, как картошку, сбирать.

Карев перебил и, отмахиваясь руками, стал отказываться:

— Я тут, как кирпич, толку... Деньги-то ведь не мои.

— Зрящее, зрящее,— зашамкала прыгающим подбородком.— Ведь тебе оставил-то он...

Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.

За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.

Аксютка запер хату и пошел в Раменки.

Ему хотелось напиться пьяным и побуянить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.

Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.

— Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал!— крикнула она и пнула в лицо ногой.

Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем; каждый думал — как вырастет, пойдет к нему в шайку.

— Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые,— говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка,— потому знает, что я крепче всех люблю его.

— А я кашеваром буду,— тянул однотонно Федька,— Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю.

— Сибирь,— передразнивал Микитка.— А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.

— Ты все сычишься наперед,— обидчиво дернул губами Федька.— Твоя вся родня такая... твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок что хошь сделает.

— Поди-ка съешь кулака,— волновался Микитка.— А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. Это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете... накось...

Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.

Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.

— Где ж Аким-то?— спросил, оглядывая пустую лежанку.

— У свата.

— Обсусоливает все,— смеясь, мотнул головой.

— Что ж делать, касатик, скучно ему. Вдовец ведь...

Надел фуражку и покачнулся от ударившего в голову хмеля.

— Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драчонку, да все вышли. Оладьями, хошь, угощу?

Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду. Аксютка выглядел, какие порумяней, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу.

У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить ему в голову.

Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь.

Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа.

Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку.

— Бей живореза!— кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам.

Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени.

Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи.

Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красно-черной пеной...

— Эх, Аксютка, Аксютка,— стирал кулаком слезу старый пономарь,— подломили твою бедную головушку!.. Что ж ты стоишь, чертовка!— ругнул он глазеющую бабу.— Принесла бы воды-то... живой, чай, человек валяется.

Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами.

— Подкачнуло тебя, окаянного. Мою душу загубил и себя потерял до срока.

— То-то не надо бы горячиться,— укорял пономарь.— Оно, вино-то, что хошь сделает.

Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь.

— На... а... мель...— дрогнул он всем телом и упал навзничь.

— На мельницу, вишь, просится,— жалобно заохала бабка.— Везите его скорей...

Парень, бивший топором Аксютку, болезно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы.

Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксютки водой.

Вода лилась с подбородка струей и, словно подожженная, брызгала на кончике алостью...

Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку.

Карев сидел с Лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы, и к крыльцу подъехали с Аксюткой.

Он почуял, как в сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату.

— Ложись, ложись,— шептал бледный как снег...

Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину.

Аксютка встал и провел по губам рукой...

— Поди...— глухо прошептал, поманув Карева.— Хвастал я... никого не убивал,— закашлялся он.— Это я так все... выдумал...

Карев прислонил к его голове мокрую тряпку.

Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня, месяц.

На плесе шомонили вербы, и укромно шнырял ветерок.

— Липа!— крикнул Аксютка, хватаясь за грудь.— Сложи мне руки... помирать хочу...

Лимпиада, с красными глазами, подбежала к постели и опустилась на колени.

— Крест на меня надень...— опять глухо заговорил он.— В кармане... оторвался... Мать надела.

Судорожно всхлипывая, сунула в карман руку и, вынув из косы алый косник, продела в ушко креста.

Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер.

За окошком кугакались совы.

Часть вторая

Глава первая

Покосилась изба Анисима под ветрами, погнулся и сам старый Анисим.

Не вернулся Костя с охоты, а после пасхи пришло письмо от вихлюйского стрелка.

Почуял старый Анисим, что неладное принесло это письмо, еще не распечатывая.

«Посылаю свое почтение Анисиму Панкратьеву, я знал хорошо твоего сына и спяшу с скорбью поведать, что о второй день пасхи он переправлялся через реку и попал в полынью.

На льду осталась его шапка с адристом, а его, как ни тыкали баграми, не нашли».

Жена Анисима слегла в постель и, прохворав полторы недели, совсем одряхлела.

Анна с бледной покорностью думала, что Костя покончил с собой нарочно, но отпихивала эту думу и боялась ее.

Степан прилип к ней, и смерть Кости его больше обрадовала, чем опечалила.

Старушка мать на Миколу пошла к обедне и заказала попу сорокоуст.

Вечером на дом пришел дьякон и отслужил панихиду.

— Мать скорбящая,— молился Анисим,— не отступись от меня.

В седых волосах его зеленела вбившаяся трава и пестиками щекотала шею.

Анисим махал над шеей рукой и думал, что его кусает муха.

— Жалко, жалко,— мотал рыжей бородой дьякон,— только женили и на поди какой грех.

— Стало быть, богу угодно так,— грустно и тихо говорил Анисим, с покорностью принимая свое горе.— Видно, на роду ему было написано. От судьбы, говорится, на коне не ускачешь.

Запечалилась Наталья по сыну. Не спалось ей, не елось.

— Пусти меня, Анисим,— сказала она мужу.— Нет моей мочи дома сидеть. Пойду по монастырям православным поминать новопреставленного Константина.

Отпустил Анисим Наталью и пятерку на гайтан привязал.

«Тоскует Наталья,— думал он,— не успокоить ей своей души. Пожалуй, помрет дома-то».

Помаленьку стала собираться. Затыкала в стенку веретена свои, скомкала шерсть на кудели и привесила с донцем у бруса.

Пусть, мол, как уйду, поминают.

Утром, в петровское заговенье, она истопила печь, насушила жаровню сухарей и связала их в холщовую сумочку.

Анна помогала ей и заботливо совала в узел, что могло понадобиться.

В обеды старуха гаркнула рубившему дрова Анисиму, присела на лавку и со слезами упала перед иконами на колени.

От печи пахло поджаренными пирогами, на загнетке котенок тихонько звенел заслоном.

— Прости Христа ради,— обняла она за шею Анисима.— Не знаю, ворочусь ли я.

Анисим, скомкав шапку, утирал заголубевшую на щеке слезу.

— А ты все-таки того...— ласково обернулся к ней.— Помирать-то домой приходи.

Наталья, крестясь, подвязала сумочку и взяла камышовый костыль.

— Анна,— позвала она бледную сноху,— поди, я тебя благословлю.

Анна вышла и, падая в ноги, зарукавником прикрыла опухшие глаза.

-- Господь тебя благословит. Пройдет сорокоуст, можешь замуж итить... Живи хорошенько. Пойдем,— крикнула она Анисиму,— за околицу проводить надо.

Анна надела каратайку и тихо побрела, поддерживая ей сумку, к полю.

— А ты нет-нет и вестку пришли,— тягуче шептал Анисим,— оно и нам веселей станет. А то ведь одни мы...

Тихо, тихо... В смолкших травах чудилось светлое успокоение... Пошла, оборачиваясь назад, и, приостановившись, махала костылем, чтобы домой шли.

От сердца как будто камень отвалился.

С спокойной радостью взглянула в небо и, шамкая, прошептала:

— Мати дево, все принимаю на стези моей, пошли мне с благодатной верой покров твой.

Анисим стоял с покрытой головой и, закрываясь от солнца, смотрел на дорогу.

Наталья утонула в лоску, вышла на бугор и сплелась с космами рощи; он еще смотрел, и застывшие глаза слезились.

— Пойдем, папаша,— дернула его за рукав Анна.— Теперь не воротишь ведь.

Шли молча, но ясно понимали, что печаль их связала в один узел.

— Не надо мне теперь землю,— говорил он, безнадежно оглядывая арендованное поле.— Затянет она меня и тебя разорит. Ты молодая еще, жить придется. Без приданого-то за вдовой не погонятся, а так весь век не проживешь, выходить все равно придется.

— Тебе видней,— отвечала Анна.— Знамо, теперь нам мускорно.

Покорился Анисим опутавшей его участи. Ничего не спихнул со своих ссутуленных плеч.

Залез только он ранее срока на печь и, свесив голову, как последней тайны, ждал конца.

Анна позвала Степана посмотреть выколосившуюся рожь.

Степан взял назубренный серп и, заломив картуз, пошел за Анной.

— Что ты думаешь делать?— спросила она его.

— Не знаю,— тихо качнул головою и застегнул ослаблый ремень.

— Я тоже не знаю,— сказала она и поникла головою.

Вошла в межу, и босые ноги ее утонули в мягкой резеде.

— Хорош урожай,— сказал, срывая колос, Степан.— По соку видно, вишь, как пенится.

Анна протянула руку за синим васильком и, поскользнувшись с межи, потонула, окутанная рожью.

— Ищи!— крикнула она Степану и поползла в соседнюю долю.

— Где ты?— улыбаясь, подымался Степан.

— Ау,— звенел ее грудной голос.

— Вот возьму и вырву твои глаза,— улыбался он, посадив ее на колени.— Вырву и к сердцу приколю. Они синей васильков у тебя.

— Не мели зря,— зажимала она ему ладонью гулы.— Ведь я ослепну тогда.

— А я тебя водить стану,— отслонял он ее руку,— сумочку надену, подожочек вытешу, поводырем пойду стучать под окна: подайте, мол, Аннушке горькой, которая сидела тридцать три года над мертвым возлюбленным и выплакала оченьки.

Вечером к дому Анисима прискакал без фуражки верховик и, бросив поводья без привязи, вбежал в хату.

— Степан,— крикнул он с порога,— скорей, мать помирает!

Степан надел картуз и выбежал в сени.

— Погоди,— крикнул он,— сейчас обратаю!

Лошади пылили и брызгали пенным потом.

Когда они прискакали в село, то увидели, что у избы стояла попова таратайка.

В избе пахло воском, копотливой гарью и кадильным ладаном.

Акулина лежала на передней лавке. Глаза ее, как вшитая в ложбинки вода, тропыхались.

Степан перекрестился и подошел к матери.

Родные стояли молча и плакали.

— Степан,— прохрипела она,— не бросай Мишку...

Желтая свечка задрожала в ее руках и упала на саван.

Одна осталась Анна. Анисим слез с печи, надел старую хламиду и поплелся на сход. Она оперлась на подоконник и задумалась. Слышно, как тоненько взвенивала осокой река и где-то наянно бухал бучень.

«Одна, совсем одна,— вихрились в голове ее думы,— свекор в могилу глядит, а у Степана своя семья, его так и тянет туда.

Теперь, как померла мать, жениться будет и дома останется. Может быть, остался бы, если не Мишка... Подросток, припадочный... ему без Степана живая могила.

Бог с ним,— гадала она,— пускай делает как хочет».

В душе ее было тихое смирение, она знала, что боль, которая бередит сердце, пройдет скоро, и все пойдет по новому руслу.

К окну подошел столяр Епишка. От него пахло водкой и саламатой.

— Ты, боярышня круглолицая, что призадумалась у окна?

— Так, Епишка,— грустно улыбнулась она.— Невесело мне.

— Али Иван-царевич покинул?

— Все меня бросили... А может, и я покинула.

— Не тужи, красавица! Прискачет твой суженый, недолго тебе томиться в терему затворчатом.

— Жду,— тихо ответила она.— Только, видно, серые волки его разорвали.

— Не то, не то, моя зоренька,— перебил Епишка,— ворон живой воды не нашел.

Кис Анисим на печи, как квас старый, да взыграли дрожжи, кровь старая, подожгла она его старое тело, и не узнала Анна своего свекра.

Ходил старик на богомолье к Сергию Троице, пришел оттолева и шапки не снял.

— Вот что,— сказал он Анне,— нечего мне дома делать. Иди замуж, а я в монахи. Не вернется наша бабка. Почуял я.

Ушел старый Анисим, пришел в монастырь и подрясник надел.

Возил воду, колол дрова и молился за Костю.

— На старости спасаться пришел,— шамкал беззубый седой игумен,— путево, путево, человече... В писании сказано: грядущего ко мне не изжену вон,— бог видит душу-то. У него все мысли ее записаны.

Анисим откидывал колун и, снимая с кудлатой головы скуфью, с благоговением чмокал жилистую руку игумена.

По субботам он с богомолками отсылал Анне просфорочку и с потом выведенную писульку.

«Любая сношенька, живи хорошенько, горюй помалу и зря не крушинься.

Я молюсь за тебя богу, дай тебе он, милосердный, силы и крепости.

Житье мое доброе и во всем благословение божьей матери.

Вчера мне приснилась Натальюшка. Она пришла ко мне в келью с закрытым лицом. Гадаю, не померла ли она... Утиральник твой получил... спасибо... Посылаю тебе артус, девятичиновную просфору, положи их на божницу и пей каждое утро со святой водой, это тебе хорошо и от всякого недуга пользительно».

Анна радостно клала письмо за пазуху и ходила перечитывать по базарным дням к лавочнику Левке.

По селу загуторили, что она от Степки забрюхатела.

Глава вторая

Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.

Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский Пасик.

Пасик — еланка и орешник — место буерачное и неприглядное.

Но мужики каждой осенью дробились на выти и почти по мешку на душу набирали орехов.

Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи.

Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами.

Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева.

— Далеко?

— Да в Чухлинку,— сердито махнул он, заворачивая к мельнице.— Отрезали ведь,— поморщился и стер со лба остывающий пот.

— Плохое дело...

— Куда хуже.

— Ты погоди ехать в Чухлинку,— сказал Карев.— Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду.

День был ветреный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли.

Филипп отпустил повод, завязал его за оглоблю и отвел лошадь на траву.

Летняя томь кружила голову, он открыл губы и стал пить ветер.

— Ох,— говорил Карев,— теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что! Подкупил их помещик, отмерили ему этой астролябией без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии. Думают: не смекнут мужики.

— Где смекнуть второпях-то,— забуробил Филипп,— тут все портки растеряешь.

— Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки... Нужно вот только посмотреть бумаги — как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано — плевое дело. У нас на яру ведь нет впадин и буераков, кроме этой долины, а в старину земли делили не как сейчас делят.

— Говоришь — война будет, значит, не миновать... Кто их знает: целы ли бумаги.

Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.

Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.

Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо.

Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник мох, и веяло пролетней вялостью.

Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.

Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.

— На сход!— кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам.

Скоро оравами затонакали мужики и, следом за ними, шли, поникнув, пожилые вдовы.

Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.

— Православные,— заговорил он,— Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.

Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.

Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.

Порешили выписать инженеров и достать бумаги.

Карев опасался, как бы бумаги не пропали.

Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.

Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам.

— Уж ты выручи нас,— говорили мужики,— мы тебя за это попомним...

Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.

— Ничего мне не надо, табак пока у меня завсегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.

Смеялись и с веселым размахиваньем шли в трактирчик.

— Одурачить-то мы их одурачим,— возвращался он

к старому разговору,— вот только б бумаги не подкашляли...

Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами.

Ставни скрипели, как зыбка.

Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.

Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.

— Ты что ж это околицу-то прозевала,— весело поздоровался Карев.

Лимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.

— Забылася,— стыдливо ответила она.

— Эх ты, разепа,— шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза.

Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку.

— Гыть-кыря!— пронеслось над самым окном.

— Кто это?— встрепенулся Филипп.— Никак пастухи... Федот, Федот,— замахал он высокому безбородому, как чухонец, пастуху,— ай прогнали?

— Прогнали,— сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух.

— Вот, сукин сын, что делает,— злобно вздохнул Филипп,— убить не грех.

— На Афонин перекресток гоним!— крикнул опять пастух.— Измокли все из кобеля борзого... петлю бы ему на шею.

Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.

Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокресть.

— Пойдем в лес сходим,— сказал Филипп.— Нужно на перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.

Сосны пряно кадили смолой, красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы.

— Ау!— крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.

— У-у-у!— прокатилось гаркло по освеженному лесу.

Карев отбежал и тряхнул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.

— Недаром тебя зовут русалка-то,— захохотал он,— ты словно из воды вышла.

Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера...

Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.

— Проиграет твое,— говорил робко работник.— Там за них какой-то охотник вступился — бедовая, говорят, голова.

Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.

— Знаю я вас, мошенников... михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.

— Я ничего,— виновато косился работник,— я сказать тебе... может, сделаешь что...

Помещик, косясь, уходил на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха:

— Деньги только драть с хозяина. Опять не чистил, скотина... Заложи живо овса!..

Конюх, суетясь, тыкался в ларь, разгребал куколь и, горстью просеивая, насыпал в меру.

Мякина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри.

— Ты еще что мешаешься!— ткнул ее помещик ногой.— Вон пошла, стерва!

«Ишь черт дурковатый,— думал конюх,— не везет ни в чем, так и зло на всех срывает!»

— А где он живет?— обратился к вошедшему за метлой работнику.

— Он живет в долине, на Афонином перекрестке, помол держит.

— Так, так,— кивал головой конюх,— сказывают, охотой займается еще.

— Так ты вот что, Прохор,— обратился помещик к конюху.— Заложи нам гнедого в тарантас и сена положи. А ты, брат, пей поскорей чай да со мной поедешь.

Карев увидел, как к мельнице подкатил тарантас и с сиденья грузно вывалился барин.

Он, поздоровавшись, сел на лавку и заговорил о помоле.

«Хитрит,— подумал Карев,— не знает, с чего начать».

— Трудно, трудно ужиться с мужиками,— говорил он, качая трость.— Я, собственно...— начал он, заикнувшись на этом слове,— приехал...

— Я знаю,— перебил Карев.

— А что?

— Хотите сказать, чтобы я не совался не в свои сани, и пообещаете наградить.

— Н-да,— протянул тот, шевеля усом,— но вы очень резко выражаетесь.

— Я говорю напрямую,— сказал Карев,— и если б был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку.

Помещик сузил глазки и стал прощаться.

Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз.

— Гони сильней!— ткнул он его ногой.

— Больше некуда гнать,— оглянулся работник,— а ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь.

Глава третья

Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Колосился овес.

Мужики собрались на сходку и порешили косить луга.

Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в половодье на делянках ямы.

Они осторожно, не сминая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку.

К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги и забренчали косы.

По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку.

За лукой, на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой.

Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь.

Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали во внутрь сундучок с посудой и снедью.

Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги.

В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос.

— А я и работника не наймал,— говорил он, улыбаясь издалека.— На тебя надеялся... Ты не бойся, нам легко будет, на семь душ всего; а ежели Кукариху скинуть — и того меньше...

Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор.

— А я уж вилы готовлю.

Филипп по порядку отыскал четвертную стоянку и завернул на край.

У костра с каким-то стариком сидел Карев и, подкладывая плах, говорил о траве.

— Трава хорошая,— зашептал Филипп, раздувая костер.— Один медушник и кашка.

— А по лугам один клевер,— заметил старик.— И заболъно так по впадинам чесноком череда разит.

Небо щурилось и морщилось. В темной сини купола шелестели облака.

Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц.

Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу.

Милый в ливенку играет,
Сам на ливенку глядит,

А на ливенке написано.
В солдатушки итить.

Карев пил из железной кружки чай и, обжигая губы, выдувал колечко.

Пели коростели, как в колотушку, стучал дупель, и фыркали лошади.

Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал.

Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел.

Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву.

Зарило.

— У... роса-то,— зевнул Филипп,— пора будить.

Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой.

— Костя... а Кость...— трепал он за ногу.— Кость...

Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки, он достал чайник и стал полоскать.

— Ого-го-го... вставать пора,— протянулось по стоянке.

Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку, сам, а другую подал Кареву.

Косы звякнули, и косари разделились на полувыти.

— Наша вторая полувыть,— подошел к Филиппу вчерашний старик.— Меримся, кому от краю.

Филипп ухватился за окосье, и стали перебираться руками.

— Мой конец,— сказал старик,— мне от краю.

— Ну, а моя около,— протянул Филипп,— самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся.

— Бреди за ним по чужому броду,— указал он Кареву на старика,— меряй да подымай косу.

Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь: на них прилип слет трав и роса.

— А коли побредешь,— пояснил старик,— так дер-

жи прям и по цветкам норови, лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь.

Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе семь, а старику — три; потом он стал на затирку и, повесив на обух косы фуражку, поднял ее.

По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след.

Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить.

Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла, частой кучей.

На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни.

Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала.

— Вж... Вж...— неслось со всех концов, и запотелые спины, через мокрые рубахи, обтяжно вырезали плечи и хребет.

Пахло травой, по́том и, от слюнявых брусниц, глиной.

— Ох и жара!— оглянулся Филипп на солнце.— До спада надо скосить. С росой-то легче.

Карев снял брусницу, подошел к маленькому, поросшему травой озеру и стал ополаскивать.

Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал пить через него.

Потом выплеснул с букашками на траву и пошел опять на конец.

Филипп гнал уж ряд к озеру. Вдруг на косу его легло, как плеть, что-то серое, и по косе алой струйкой побежала кровь.

— Утка,— поднял он, показывая ее Кареву, за синие лапы.

Из горла капала кровь и падала на мысок сапога.

С двумя работницами пришла Лимпиада и, сбросив кузов, достала с повети котел.

— Прось,— обратилась к высокой здоровенной ба-

бе,— ты сходи за водой, а мы здесь кашу затогарим.

Костры задымили, и мужики бросили косить.

Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой, за ним следом.

— Дед Иен, погоди!— крикнул отставший Филипп.— Дакось понюхаем из табатерки-то.

К вечеру по окошенному лугу выросли копны, и бабы пошагали обратно домой.

Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком.

Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку.

— Эво, что захотели!— тыкал в нос щепоть зеленого табаку.— Вот кабы вы Петруху Ефремова послухали, так он вам наврал бы — приходи любоваться.

— Ну и ты соври что-нибудь,— засмеялся Филипп.— Ты думаешь — мы поверять, что ль, будем.

Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву.

— Имелася у одного попа собака, такая дотошная, ин всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп собаку поучить говорить по-человечьи. Позвал поп работника Ивана и грить ему так: «Пожжай, балбес, в Амирику, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе сто рублев, ин нехватки, так займи там. У меня оттулева много попов сродни есть». Хитрой был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей. Да тулился, как бы люди не мекали. Пшел Иван, знычит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озер. Минул год, к попу стучится: «Отопри-де, поп, ворота». Глазеет поп. Иван почесал за ухом и грить попу: «Эх, батько, вышколили твою собаку, хлеще монаха псалтырь читала, только каналья, и зазналась больно, не исть хлебушка, а давай-подавай жареного мяса. Так и так грю ей, батько, мол, наш не ахти богач, зря, касатка, не хрындучи. Никаких собака моих делов не хочет гадать. «К ирхирею, гарчит, побегу, скажу про него, гривана, что он с кухаркой ёрничает». Спугался я за тебя и порешил ее».— «Молодчина,— похвалил его поп.— Вот тебе еще сто рублей».

Дед Иен кончил и совал в бок соседа.

— Ну-с, Кондак, это только присказка, а ты сказку кажи.

Мужики слухали и, затаив дыхание, сопели трубками.

Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью.

Просинья тыкала в лапти травяниковые оборки и, опустив ногу на пенек, поправляла портянку.

Дед Иен подошел сзади и ухватил ее за груди.

— Ай да старик!— засмеялись бабы.

— Ах ты, юрлов купырь!— ухмыльнулась Просинья.— Одной ногой в гроб глядишь, а другой в сметану тычешь. Ну, погоди, я тебе сделаю.

Дед Иен взял, не унимаясь от смеха, косу и сел на втулке отбивать.

Из кармана выпала табакерка и откатилась за телегу.

Просинья подошла к телеге, взяла впотайку ее двумя пальцами и пошла на дорогу.

С муканьем проходили коровы, и на скосе дымился помет.

Просинья взяла щепку и, открыв табакерку, наклала туда помету.

Крадучись, она положила опять ее около его лаптей и отошла.

Дед слюнявил молоток и тонко оттягивал лезвие.

Он сунул руку в карман и, не замечая табакерки, пошел в шалаш.

Перетряхивал все белье, смотрел в котлы и чашки, но табакерки не было.

«Не выскочила ли?— подумал он.— Кажется, никуды не ховал».

Просинья, спрятавшись за шалаш, позвала народ, и сквозь дырочки стали смотреть...

— Ишь где оставил,— гуторил про себя Иен,— забывать стал... Эх-хе-хе!

Он открыл крышку и зацепил щепоть... Глаза его

обернулись на запутавшуюся на веревке лошадь, и он не заметил, что в пальцах его было что-то мягкое.

В нос ударило поганым запахом, он поглядел на пальцы и растерянно стал осматривать табакерку.

— Ах ты, нехолявая!— ругал он Просинью.— Погоди, отдыхать ляжешь, я с тобой не то сделаю. Ты от меня огонь почуешь в жилах.

— Сено перебивать!— закричали бабы и бросились врассыпную по долям.

Карев взял грабли и побежал с Просиньей.

Лимпиада побегла за ним и на ходу подтыкала сарафан.

— Ты куда же?— крикнул ей Филипп.— Там ведь Просинья.

Она замешливо и неохотно побегла к другой работнице и зашевелила ряды.

— Труси, труси!— кричал ей издалека Карев.— Завтра навильники швырять заставим.

Лимпиада оглядывалась и, не перевертывая сена, метила, как бы сбить Просинью и стать с Каревым.

Она сгребла остальную копну и бросилась помогать им.

— Ты ступай вперед,— сказала она ей,— а я здесь догребу.

— Ишь какая балмошная!— ответила Просинья.— Так и норовит по-своему.

— Девка настойчивая,— шутливо кинул Карев.

— Молчи!— крикнула она и, подбежав, пихнула его в копну.

Карев увидел, как за копной сверкнули ее лапти и, развеваясь, заполыхал сарафан.

— Догонит, догонит!— кричала Лимпиаде с соседней гребанки баба.

Он ловко подхватил ее на руки и понес в копну.

Лимпиада почувствовала, как забилось ее сердце, она, как бы отбиваясь, обняла его за шею и стала сжимать.

В голове закружилось, по телу пробежала пена огня. Испугался себя и, отнимая ее руки, прошептал:

— Будя...

Глава четвертая

Карев лежал на траве и кусал тонкие усики чемерики.

Рядом высвистывал перепел и кулюкали кузнечики.

Солнце кропило горячими каплями, и по лицу его от хворостинника прыгали зайчики.

Откуда-то выбежал сельский дурачок и, погоняя хворостинного коня, помчал к лесу.

Приподняв картуз, Карев побрел за ним.

Был праздник, мужики с покоса уехали домой, и на недометанные стога с криком садились галки.

Около чащи с зарябившегося озера слетели утки и, со свистом на полете, упали в кугу.

Дурачок сидел над озером и болтал ногами воду.

— Пей,— нукал он свою палку,— волк пришел, чуешь — пахнет? Поди сюда,— поманул он пальцем Карева.

Отряхивая с лица накусанную траву, Карев подошел и снял фуражку.

— Ты поп?— бросил он ему, сверкая глазами.

— Нет,— ответил Карев,— я мельник.

— Когда пришел?— замахал он раздробленной палкой по траве.

— Давеча.

— Дурак.

Красные губы подернулись пьяникой, а подбородок задергал скулами.

— Разве есть давеча? Когда никогда — нонче. Дурак,— крикнул он, злобно вытаскивая затиснутую палку, и, сунув ее меж ног, поскакал на гору.

— Отгадай загадку,— гаркнул он, взбираясь на верхушку:— За белой березой живет тарарай.

— Эх, мужик-то какой был!— сказал, проезжая верхом, старик.— Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался. Вот и орет про нонче. Дотошный был. Все пытал, как земля устроена... «Это, грил, враки, что бог на небе живет». Попортился. А може, и бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки

к дьячку ходили аз-буки узнать, а болей не моги. Ин, можа, и к лучшему, только про бога и шамкать не надо.

Желтой шалью махали облака, и тихо-тихо таял, замирая, чей-то напевающий голос:

Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я.

С горки шли купаться на бочаг женихи, и, разводя ливенку на елецкую игру, гармонист и попутники кружились, выплясывая казачка.

Кто-то, махая мотней, нес, сгорбившись, просмоленный бредень и, спотыкаясь, звенел ведром.

На скошенной луговине, у маленького высыхающего озера кружились с карканьем вороны и плакали цыбицы.

Карев взял палку и побежал, пугая ворон, к озерку. На дне желтела глина, и в осоке, сбившись в кучу, копошились жирные, с утиными носами, щуки.

«Ух, сколько!» — ужахнулся он про себя и стал раздеваться.

Разувшись, он снял подштанники, а концы завязал узлом.

Подошел к траве и, хватая рыбу, стал кидать в них.

Щуки бились, и надутые половинки означались как обрубленные ноги.

— Вот и уха,— крякнул он,— да тут, кажется, лини катаются еще.

Не спалось в эту ночь Кареву.

«Неужели я не вернусь?» — удивлялся он на себя, а какой-то голос так и пошептывал: «Вернись, там ждут, а ты обманул их». Перед ним встала кроткая и слабая перед жизнью Анна.

«Нет,— подумал он,— не вернусь. Не надо подчиняться чужой воле и ради других калечить себя. Делать жисть надо,— кружилось в его голове,— так делать, как делаешь слеги в колымаге».

Перед ним встал с горькой улыбкой Аксютка. «Так я, хвастал...» — кольнула его предсмертная исповедь.

Ему вспоминался намеднишний вечер, как дед Иен переносил с своего костра плахи к ихнему огню, костер

завился сильней, и обгоревшие полена дольше, как он заметил, держали огонь и тепло.

Из соседней копны послышался кашель и сдавленный испугом голос.

— Горим!— крикнул, почесываясь, парень.— Пожар!

Карев обернулся на шалаш, и в глаза ударило пламя с поселка Чухлинки.

Бешено поднялся гвалт. Оставшиеся мужики погнали лошадей на село.

— Эй, э-эй!— прокатилось.— Вставай тушить!

К шалашу подъехал верхом Ваньчок.

— Филипп!— гаркнул он над дверью.— Ай уехали?

— Кистинтин здесь,— прошамкал, зевая, дед Иен.— Что горит-то?

— Попы горят,— кинул Ваньчок.— Разве не мекаешь по кулижке?

— Ано словно и так, да слеп я, родной, стал, плохо уж верю глазам.

— Ты что, разве с пожара?— спросил Карев, приподнимая, здороваясь, картуз.

— Там был, из леса опять черт носил, целый пятирик срубили в покос-то.

— Кто же?

— Да, бают, помещик возил с работниками, ходили обыскивать. А разве сыщешь... он сам семь волков съел. Проведет и выведет... На сколько душ косите-то,— перебил разговор он,— на семь или на шесть?

— На семь с половиной,— ответил Карев.— Да тут, кажется, Белоборку наша выть купила.

— Ого,— протянул Ваньчок,— попаритесь. Липка-то, чай, все за ребятами хлыщет,— потянул он, разглаживая бороду.

— Не вижу,— засмеялся Карев.— Плясать вот — все время пляшет.

— Играет,— кивнул Ваньчок.— Как кобыла молодая.

Пахло рассветом, клубилась морока, и заря дула огненным ветерком.

— Чайничек бы догадался поставить,— обернулся он, слезая с лошади.

— Ано на зорьке как смачно выйдет: чай-то, что мак, запахнет.

Филипп положил в грядки сенца и тронулся в Чухлинку. Нужно было закупить муки и пшена.

Он ехал не по дороге, а выкошенной равниной.

Труском подъехал к перевозу и стал в очередь.

Мужики, столпившись около коровьих загонов, на корточках, разговаривали о чем-то и курили.

Вдруг от реки пронзительно гаркнул захлебывающийся голос: «Помогите!»

Мужики опрометью кинулись бегом к мосту и на середке реки увидели две барахтающиеся головы.

Кружилась корова и на шее ее прилипший одной рукой человек.

— Спасайте,— крикнул кто-то,— чего ж глазеть-то будем!

Но, как нарочно, в подвозе ни одной не было лодки.

Перевозчик спокойно отливал лейкой воду и чадил, вытираясь розовым рукавом, трубкой.

Филипп скинул с себя одежу и телешом бросился на мост.

Он подумал, что они постряли на канате, и потряс им.

Но заметить было нельзя, их головы уже тыкались в воду.

Легким взмахом рук он пересек бурлившую по крутояру струю и подплыл к утопающим; мужик бледномертвенно откидывал голову, и губы его ловили воздух.

Он осторожно подплыл к нему и поднял, поддерживая правой рукой за живот, а левой замахал, плоско откидывая ладонь, чтобы удержаться на воде.

Корова поднялась и, фыркнув ноздрями, поплыла обратно к селу.

Шум заставил обернуться перевозчика, и он, бросив лейку, побежал к челну.

Филипп чуял, как под ложечкой у него словно скреблась мышь и шевелила усиками.

Он задыхался, быстрина сносила его, кружа, все дальше и дальше под исток.

Тихий гуд от воды оглушился криками, и выскочившая на берег корова задрала хвост, вскачь бросилась бежать на гору.

Невод потащили, и суматошно все тыкались посмотреть... Тут ли?

Белое тело Филиппа скользнуло по крылу невода и слабо закачалось.

— Батюшки,— крикнул перевозчик,— мертвые!

Как подстреленного сыча, Филиппа вытащили с косоруким на дно лодки и понеслись к берегу.

На берегу, засучив подолы, хныкали бабы и, заламывая руки, тянулись к подплывающей лодке. В лодке на беспорядочно собранном неводе лежали два утопленника.

С горы кто-то бежал, размахивая скатертью, и, все время спотыкаясь, летел кубарем.

— Откачивай, откачивай!— кричали бабы и, разделившись на две кучи, взяв утопленников за руки и ноги, высоко ими размахивали.

Какой-то мужик колотил Филиппа колом по пятке и норовил скопырнуть ее.

— Что ты, родимец те сломай, уродуешь его?— подбежала какая-то баба.— Дакось я те стану ковырять морду-то!

— Уйди, сука,— замахнулся мужик кулаком.— Сам знаю, что делаю.

Он поднял палку еще выше и ударил с силой по ляжкам.

Из носа Филиппа хлынула кровь.

— Жив, жив!— замахали сильней еще бабы и стали бить кругом ладошами.

— Что, стерва,— обернулся мужик на подстревшую к нему бабу,— каб не палка-то, и живому не быть! Измусолить тебя надыть.

— А за что?

— Не лезь куда не следует.

Филипп вдруг встал и, кашлянув, стал отплевываться.

— Рубахи?— обернулся он к мужику.

— Там они, не привозили еще.

Жена перевозчика выбежала с бутылкой вина и куском жареной телятины.

— Пей,— поднесла она, наливая кружку Филиппу.— Уходился, ин лучше станет.

Филипп дрожащими руками прислонил кружку к губам и стал тянуть.

Бабы, ободренные тем, что одного откачали, начали тоже колотить косорукого палкой.

Филипп телешом стал, покачиваясь, в сторонку и попросил мужика закурить.

Мимо, болезно взглядывая, проходили девки и бабы.

— Прикрой свои хундры-мундры-то,— подошла к нему сгорбившаяся старушонка и подала ему свою шаль.

Его трясло, и солнцепек, обжигая спину, лихорадил, но выпитая водка прокаливала застывшую кровь, горячила.

С подтянутого парома выбегли приехавшие с той стороны, и плечистый парень подал ему рубахи.

С шумом в голове стал натягивать на себя подштанники и никак не мог попасть ногой.

— Ничего, ничего,— говорил, поддерживая его, мужик,— к вечеру, все пройдет.

Народ радостно заволновался: косорукий вдруг откинул голову и стал с кровью и водой блевать.

Глава пятая

— Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь!— говорил, хлебая чай, Ваньчок.

— Болтай зря-то,— вылез из шалаша дед Иен.

— Сичас только Ляля приехал.

— Кочки, сказывает, да прохлябы. Это ты, видно, с вина катался так.

— Эй, заспорили!— гаркнул с дороги мужик.— Не слыхали, что Филька-то утонул.

— Мели,— буркнул дед.

— Пра.

Мужик сел, ковыляя, на плаху и стал завертывать папироску.

— Не верите, псы... Вот и уговори вас. А ведь на самом деле тонул.

И начал рассказывать по порядку, как было.

— И ничего,— заметил он.— Я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю. Косорукий, баил аптешник, полежит малость.

— Полежит, это рай!— протянул дед Иен.— А то б навечно отправился лежать-то. Со мной такой случай тоже был. В Питере, знычит, на барках ходили мы. Всю жисть помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело, достаться черту воду возить. Тогда проклянешь отца и матерю.

— А вправду это черт возит воду на них?— прошептал подползший малец.

— Вправду? Знамо ненароком.

— Мне так говорил покойный товарищ — водоливом были вместе,— что коли тонет человек, то, знычит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает.

— Кто это?— переспросил малец.

— Кто?.. Про кого говорить нельзя на ночь.

Дед поднял шапку и обернулся к зареву.

— А прогорело,— сказал он, зевая.

— А как же обманывает-то?— спросил Ваньчок.— Ведь небось не сразу узнаешь.

— Эва,— протянул дед Иен.— Разве тут помнишь чего!

Ехали мы этось в темь, когда в Питере были; на барке нас было человек десять, а водоливов-то — я да Андрюха Сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся Сова. Быдто тут, думаю. А он вышел наверх да с лоцманом там нализался как сапожник. Гляжу я так. Вдруг сверху как бултыхнет что-то. Оглянулся — нет Совы. Пойду, спрошу, мол, не упало ли что нужное. Только поднялся, вижу — лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» — спрашиваю его. «Дело, грить, делаю: Сова сичас утопился». Я туды, я сюды, как на грех, нигде багра не сыщу. Кричу, махаю: кидайте якорь, мол, человек утоп. Смекнули накладники, живо якорь спустили, стали мы шарить, стали нырять, де-то, де-то и напали на него у затона.

Опосля он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал.

«Упал, говорит, я как будто с неба на землю; гляжу: сады, все сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафато на баб». А распутный был,— добавил дед Иен, кутаясь

в поддевку.— Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места... ахальник.

«Эх!— говорит.— Взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно, идет ко мне одна, да такая красивая, да такая пригожая, на земле, видно, такой и не было. Идет, как павочка, каблуками сафьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алы губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит: «Напейся, Иван-царевич, тебя жажда берет». Как назвала она меня Иван-царевичем, сердце мое закатилось. «Что ж, говорю, Василиса моя премудрая, я попью, да только из рук твоих». Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжьи, меня и вытащили»... Вот она как обманывает-то. Опосля сказывал ему поп на селе: «Служи, грить, молебен, такой-сякой, это царица небесная спасла тебя. Как бы хлебнул, так и окадычился».

— Тпру!— гаркнул, слезая с телеги, Филипп и запутал на колесо вожжи.

— Вот он,— обернулись они.— На помине легок.

— Здорово, братец!— крикнул, подбегая, Карев.

— З-з-здорово,— заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп.— От-от-отвяжи п-поди вож-жу-у...

— Ну, крепок ты,— поднялся дед Иен.— Вишь, как не было сроду ничего.

Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воздух.

— Ты ложись лучше,— уговаривал дед Иен.— Угорел, чай, сердешный, ведь. Это не шутка ведь.

Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив постель, накрыл, перекрестив, веретьем.

Филипп поднимался и старался схватить его за ноги.

— Голубчик,— кричал он,— за что ты меня любишь-то, ведь я тебя бил! Бил!— произнес он с восхлипываньем.— Из чужого добра бил... лесу жалко стало...

— Будя, будя,— ползал дед Иен.— Это дело прошлое, а разве не помнишь, как ты меня выручил, когда я девку замуж отдавал. Вся свадьба на твои деньги сыгралась.

Кадила росяная прохлада. Ночь шла под уклон.

От пожара нагоревшее облако поджигало небо.

Карев распряг лошадь и повесил дугу на шалаш. Оброть звякала и шуршала на соломе.

— За что он бил-то тебя?— переспросил около дверки деда Иена.

— За лес. Пустое все это... прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех и обидно. Перестраивал я летось осенью двор, да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр, воровать, значит.

Ночь темная... ветер... валежник по еланке так и хрипит орясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю две-три сосны, и не услышит при ветре-то. Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я четыре сосны здоровых-праздоровых. Срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. Только я стал рубить, хвать он меня за плечо и давай валтузить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды; сел на дроги и не слезает. Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество, и поминай как звали. «Филипп,— говорю, затулившись в мох,— пусти ради бога меня». Услышит это он мой голос — и шасть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, инда кости хрустели.

Потом, слышу, гарчет он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старосте».

Вышел я да бух ему в ноги, не стал бить ведь боле. Постращал только. А потом, чудак, сам стал со мной рубить. Полон воз наклали. Насилу привез.

«Прости,— говорил мне еще,— горяч я очень». Да я и не взыскивал. За правду.

В частый хворостинник в половодье забежали две косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо.

Как из сита моросил дождь, и дул порывистый с луговых полян ветер.

В размашистой пляске ветвей они осмотрели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевеля.

Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав реки на этот остров.

Косули услышали плеск воды и сквозь оконца курчавых веток увидели нагое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде.

Дед Иен вслушался, ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он, осторожно крадучись по тине, вышел на бугорок; перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми удилами, стояла другая.

Он повернул обратно, и ползком потянулся, как леший, к воде.

Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром, и затаенно толкнула свою подругу; та подняла востро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свесилась за белевшим мохрасто цветком.

Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, побежал за кусты; на ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчал к стоянке.

Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почуял запах дичи.

Он окликнул согнувшегося над косой Карева и вытащил из шалаша два ружья.

— Скорей, скорей,— шепотом зашамкал дед Иен,— косули на острове. Бегим скорей.

У таганов ходила в упряжи лошадь Ваньчка, а на телеге спал с похмелья Ваньчок.

Они быстро уселись и погнали к острову; вдогонь им засвистали мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето.

Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатилось обратно.

— Шути,— ухмыльнулся дед, надевая рубаху.— Как смажем этих двух, и рты разинете.

— Куда?— поднялся заспанный Ваньчок.

— За дровами,— хихикнул Филипп.— На острове, кажут, целые груды пятириков лежат.

Но Ваньчок последних слов не слышал, он ткнулся опять в сено и засопел носом.

— И к чему человек живет,— бранился дед,— каждый день пьяный и пьяный.

— Это он оттого, что любит,— шутливо обернулся Карев.— Ты разве не слыхал, что сватает Лимпиаду.

— Лимпиаду,— членораздельно произнес дед.— Сперва нос утри, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту кралю надо? Вот тебе это еще под стать.

Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ваньчка.

Но в душе его гладила, лаская, мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый.

— Брось,— сказал дед,— я ведь знаю его, он человек лесной, мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Росею обходил, а мы дальше Питера ничего не видали, да и то нас таких раз-два и обчелся.

Подвязав ружья к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега.

Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы набок, и бечевки резали щеки.

Филипп опустил правую ногу около куги и почувствовал землю.

— Бреди,— показал он знаком и вышел, горбатясь, на траву.

— Ты с того бока бугра, а я с этого,— шептал он ему,— так пригоже, по-моему.

Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги.

Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли.

Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка.

— Ваньчок, Ваньчок,— будил дед, таская его за волосы.— Встань, Ваньчок!

Ваньчок потянулся и закачал головою.

— Ох, Иен, трещит башка здорово.

— Ты глянь-кась,— повернул его дед, указывая на мокрую, с полосой крови на лбу, косулю.— Другую сейчас принесут. А ты все спишь...

Ваньчок слез с телеги и стал почесываться.

— Славная,— полез он в карман за табаком.— Словно сметаной кормленная.

С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины.

— Ты со мной едем!— крикнул он Ваньчку.— Навивать копна станешь.

— Ладно,— ответил Ваньчок, заправляя за голенище портянку.

Лимпиада с работницами бегала по долям и сгребала сухое сено.

— Шевелись, шевелись!— гаркала ей Просинья.— Полно оглядываться-то. Авось не подерутся.

С тяжелым возом Карев подъезжал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку.

После воза метчик обдергивал граблями осыпь и, усевшись с краю, болтал в воздухе ногами.

Скрипели шкворни, и ухали подтянутые усталью голоса.

К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых.

Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе чухлинскую церковь.

— Шабаш,— крякнули все в один раз,— теперь, как бог приведет, до будущего года.

Роса туманом гладила землю, пахло мятой, ромашкой, и около озера дымилась покинутая с пеплом пожня.

В бору чуть слышно ухало эхо, и шомонил притулившийся в траве ручей.

Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку.

Отстраняя наразмах кусты, в розовом полушалке и белом сарафане с расшитой рубахой, подобрав подол зарукавника, вышла Лимпиада.

На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце.

— Ждешь?

— Жду!— тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья.

— Фюи, фюи,— стучала крошечным носиком по коре березы иволга...

Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала.

«Где была, где шаталась?» — спросит Филипп, думала она и, краснея от своих дум, бежала, бежала...

«Дошла, дошла,— стучало сердце.— Где была, отчего побледнела? Аль молоком умывалась?»

На крыльце, ловя зубами хвост, кружился Чукан. Филипп, склонясь над телегой, подмазывал дегтем оси.

— Ты бы, Липка, грибов зажарила,— крикнул он, не глядя на нее,— эво сколища я на окне рассыпал, люли малина!

Лимпиада вошла в избу и надела черный фартук; руки ее дрожали, голова кружилась словно с браги. Тоненькими ломтиками стала разрезать желтоватые масленки и клала на сковороду.

Карев скинул ружье и повесил на гвоздь. Сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы.

К окну подошел Ваньчок и стукнул кнутовищем в раму.

— Тут Лимпиада-то?— кисло поморщился он.— Я заезжал, их никого не было.

— Нет,— глухо ответил Карев.— Она была у меня, но уж давеча и ушла. Ты что ж стоишь там, наружи-то? Входи сюда.

— Чего входить,— ответил Ваньчок.— Дела много: пастух мой двух ярок потерял.

— Найдутся.

— Какой найдутся, хоть бы шкуру-то поднять, рукавицы и то годится заштопать.

— Ишь какой скупой!— засмеялся, глухо покачиваясь всем телом.

— Будешь скупой... почти три сотни в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня зарок дал. На год. Побожился — ни капли не возьму в рот.

— Ладно, ладно, посмотрим.

— Так я, знычит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кой о чем.

Когда Ваньчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял.

— Да ты трезвый никак!— удивился он.

Ваньчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву.

— Не вызрела еще,— нагнулась Лимпиада,— зря напушил только. Целую поставню загубил.

— Мало ли ее у нас,— кинул с усмешкой Филипп,— о крошке жалеть при целом пироге нечего.

— Ну, как же?— мигнул Ваньчок в сторону Лимпиады.

Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас...

Лимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть.

— Не говорил еще,— зашептал Филипп,— не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу.

— А ты мотри за ней, кабы того... Мельник-то ведь прощелыга. Живо закрутит.

Филипп обернулся к окну и отворил.

— Идет,— толкнул он заговорившегося Ваньчка.

Лимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник.

— Распутывай, Ваньчок,— сказала, улыбаясь, она.— Буду ткать, холстину посулю.

— Только не обманывать,— сел на корточки он.— Уж ты так давно мне даешь.

— Мы тогда сами отрежем,— засмеялся Филипп.— Коли повязано, так давай подавай.

Лимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге.

Всю жизнь она дальше яра не шла. Знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее.

И любовь к Кареву в ней расшевелил яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек

пришел, чтобы покинуть ее,— так ей ее сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое.

Не могла она идти с ним потому, что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева; идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели.

Ей больно было потерять Карева, но еще больней было уходить с ним.

Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его насмерть...

— Стой, стой!— крикнул Ваньчок.— Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то. Сучи теперь ее.

Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала ссучивать нитку.

— Ты долго меня будешь мучить?— закричал Филипп.— Видишь, кошка опять лакает молоко.

— Брысь, проклятая!— подбежал Ваньчок и поднял махотку к губам.

— А славно, как настоящая сметана.

— И нам-то какой рай,— засмеялся Филипп:— Вытянул кошкин спив-то, а мы теперь без всякой гребости попьем.

— Ладно,— протер омоченные усы.— Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукнут. Было бы, мол, что кусакать.

В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи.

Кошка приготовила прыжок и, с шумом повалив мотальник, прижала его когтями.

— Ай, ай!— зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, с сердитым мяуканьем схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно.

Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею.

— Чукан,— крикнула она собаку.— Вчизи, Чукан!

Собака погналась по кулижке вдогонь за кошкой напересек, но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну.

Позади с Филиппом бежал Ваньчок и свистом оглушал тишину бора.

— Вон, вон она!— указывая на сосну, приплясывала Лимпиада.— Скорей, скорей лезьте!

Ваньчок ухватился за сук и начал карабкаться.

Кошка злобно забиралась еще выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать.

— А, проклятая!— говорил он, цепляясь за сук.— Заскулила! Погоди, мы те напарим.

Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь, вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала наземь.

Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно.

— Брысь, проклятая, брысь!— кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами.

Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве.

— Вот проклятая-то,— приговаривал, слезая, Ваньчок,— прямо в голову норовила.

Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв.

Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв.

— Заела, проклятая, заела,— проговорила она жалобно.— Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза.

— Да, кошки бывают злые,— сказал Филипп.— Мне рассказывал Иенка, как один раз он ехал на мельницу. «Еду, говорит, гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота. Повернулся мой кот, бежит за мной — не отстает. Приехал на мельницу — и он тут. Пошел к сторожу — и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут. Спугался я, подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу — так, мол, и так. «Берегись, грить, человече; постелю я тебе на лавке постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку». Когда стали ложиться — то я прыг да под лавку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку, так когти-то и заскрипели. «Вылезай,— кличет сторож.— Наволоку за это с тебя да косушку». Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый».

Вечером Лимпиада накинула коротайку и вышла на дорогу.

— Куда?— крикнул Филипп.

— До яру,— тихо ответила она и побежала в кусты.

Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым; щеки ее горели, и вся она горела как в лихорадке, сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи.

«Что я скажу?— думала она.— Что скажу? Сама же я сказала ему, куды хошь веди».

Каратайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла.

— Пришла?— с затаенным дыханием спросил он.

— Пришла,— тихо ответила она и бросилась к нему на грудь.

Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза.

— Ну, говори, моя зозуленька,— прислонился губами к ее лбу.— Я тебя буду слушать, как ласточку.

— Ох, Костя,— запрокинула она голову,— люблю, люблю я тебя, но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду.

— Что ж,— грустно поник Карев,— и я с тобой буду ждать.

Она обвилась вкруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.

Часть третья

Глава первая

Тяжба с помещиком затянулась, и на суде крестьянам отказали.

— Подкупил,— говорили они, сидя по завалинкам,— как есть подкупил. Мыслимо ли — за правду в глаза наплевали! Как бог свят, подкупил.

Ходили, оторвав от помела палку, огулом мерить. Шумели, спорили и глубокую-глубокую затаили обиду.

На беду появился падеж на скотину.

— Сибирка,— говорили бабы.— Все коровы передохнут.

Стадо пригнали с луга домой; от ящура снадобьем аптешника коровам мазали языки и горла.

Молчаливая боль застудила звенящим льдом на сердцах всех крестьян раны.

Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Поп, дай не дай, четвертную ломит.

— Ты, батюшка, крест с нас сымаешь!— кричали мужики.— Мы будем жаловаться ирхирею.

— Хоть к митрополиту ступайте,— ругался поп.— Задаром я вам слоняться не буду.

Шли с открытыми головами к церковному старосте и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньем и хоругвями обойти село.

Староста вышел на крыльцо и, позвякивая ключами, заорал на все горло:

— Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете — вас много, так с вами и сладу нет... Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!

— Ладно, ребята,— с кроткой покорностью сказал дед Иен,— мы и без них обойдемся.

Жила на краю села стогодовалая Параня, ходила, опираясь на костыль, и волочила расшибленную параличом ногу, и видела, знала она порядки дедов своих, знала — обидели кровно крестьян, но молчала и сказать не могла, немая была старуха. Знала она, где находилась копия с бумаг.

Лежала тайна в груди ее, колотила стенки дряблого закоченевшего тела, но, не находя себе выхода, замирала.

Проиграли мужики на суде Пасик, забилась старуха головой о стенку и с пеной у рта отдала богу душу.

Разговорившись после похорон Парани о старине, некоторые вспомнили, что при падеже на скотину нужно опахивать село.

Вечером на сходе об опахиванье сказали во всеуслышанье и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна.

При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший — колдун, который и наслал болезнь на скотину.

Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть.

В полночь старостина жена позвала дочь и собрала одиннадцать девок.

Девки вытащили у кого-то с погребка соху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в соху.

С пением и заговором все разделись наголо, и только жена старосты была укутана и увязана мешками.

Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали:

— Видишь?

— Нет,— глухо она отвечала.

После обхода с сохой на себе болезнь приутихла, и все понемногу угомонились.

Но однажды утром в село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик.

— Только хотел орешину сорвать,— говорил он,— как подкрался и цапнул железной тростью.

Мужики, сбежавшись, заволновались.

— Кровь, подлец, нашу пьет!— кричали они, выдергивая колья.

На кулижку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу.

— Житья нет!— кричал он.— Так теперь и терпеть все!..

Собравшись ватагой с кольями, побежали на Пасик. Брань и ругань царапали притихший овраг Пасика.

Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам.

— Моя собственность!— грозил он кулаком.— Права не имеете входить; и судом признано — моя!..

— Бей его!— крикнул дед Иен.— Ишь, мошенник, как клоп нажрался нашего сока! Пали, ребята, его!

Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок ему.

Взмахнул руками и как подкошенный упал в овраг.

— Бегим, бегим!— шумели мужики.— Кабы не увидали!

По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками.

На дне оврага, в осыпанной глине, лежал с мертвенными совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью.

Филипп взял посох и пошел на Чухлинку погуторить со старостой. Он выкатился на бугор и стал спускаться к леску.

Вдруг до него допрянул рассыпающийся топот и сдавленные голоса.

«Лес воруют»,— подумал он и побежал что силы вдогон.

Топот смолк, и голоса проглотил шелест отточенных хвой.

Он побежал дальше и удивился, что ни порубки, ни людей не видно.

— Зря спугались,— пробасил неожиданно кто-то за его спиной.— Выходи, ребята, свой человек.

Из кустов вышли с кольями мужики, и сзади, с разорванным рукавом рубахи, плелся дед Иен.

— Молчи, не гуторь!— подошли все, окружив его.— Помещика укокошили. В овраге лежит.

Филипп пожал плечами, и по спине его закололи булавки.

— Как же теперь?— глухо открыл он губы и затеребил пальцами бороду.

— Так теперь,— отозвался худощавый старик, похожий на Ивана Богослова.— Не гуторить, и все... Станут приставать — видом не видали.

— Следы тогда надо скрыть,— заговорил Филипп.— Вместе итить не гоже. Кто-нибудь идите по мельниковой дороге, с Афонина перекрестка, а кто — стежками, и своим показываться нельзя. Выдадут жены работников.

— Знамо, лучше разбресться,— зашушукали голоса.— Теперь небось спохватились.

По дороге вдруг раздался конский топот. Все бросились в кусты и застыли.

. . . .

К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав, после тяжбы с крестьянами он как-то скоро завязал дружбу с полицией и приглашал то исправника, то пристава в гости.

Конюх стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади.

Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял, заранее приготовившись, шапку и стал ждать.

Когда пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но тот, как бы не замечая, отвернулся в сторону.

— Где барин?— спросил он выбежавшую кухарку, расстилавшую ему ковер.

— В Пасике, ваше благородие,— ответила она.— Послать или сами пойдете?

— Сам схожу.

— Борис Петрович!— крикнул он, выпятив живот и погромыхивая саблей.

По оврагу прокатилось эхо, но ответа не последовало.

В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов, он протянул руку и, очистив от листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб.

— Борис Петрович!— крикнул он опять и стал спускаться в овраг.

Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом.

В овраге на осыпанной глине лежал Борис Петрович.

Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая, труп.

Рядом валялся со взведенным курком пистолет.

— Горячий еще!— крикнул вслух.— Мужики проклятые, не кто иной, как мужичье!

— Проехали,— свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа.— Трое, кажись, проскакали. Впереди всех без картуза пристав. Теперь, ребята, беги кто куды знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй бог.

Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села.

Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому.

У окна на скамейке рядом с Лимпиадой он увидел Карева и, поманув пальцем, подошел к нему.

— Беда, Костя!— сказал он.— Могила живая.

— Что такое?

— Помещика убили.

Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот.

— Пристав поехал.

— Пристав,— протянул Карев и бросился бежать на Чухлинку.

Лимпиада почуяла, как упало ее сердце; она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон.

— Куда, куда ты?— замахал переломленным посохом Филипп и, приставив к глазам от солнечного блеска руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Лимпиаду.

— Вот сумасшедшие-то!— ворчал он, сердито громыхая щеколдой.— Видно, нарваться хотят.

Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.

— Живо сход, живо!— закричал он.— Ах вы, оглоеды, проклятые убийцы, разбойники!

Десятские бегом пустились стучать под окна.

— А... пришли!— кричал он на собравшуюся сходку.— Пришли, живодеры ползучие!.. Живо сознавайтесь, кто убил барина? В Сибирь вас всех сгоню, в остроге сгною, сукиных детей! Сознавайтесь!

Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.

— А... не сознаетесь, нехристи!— скрипел он зубами.— Пасик у вас отняли... Пиши протокол на всех!— крикнул он уряднику.— Завтра же пришлю казаков... Я вам покажу!— тряс он кулаком в воздухе.

Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.

— Понюхай, моя родная,— произнес он вслух.— Может, более не придется.

— Ты чего так шумишь-то?— подошел он, пристально глядя на пристава.— У тебя еще матерно молоко на губах не обсохло ругаться по матушке-то. Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься. Ишь ты тоже, какой липоед!

— Тебе что надо?— гаркнул на него урядник.

— Ничего мне не надо,— усмехнулся дед.— Я говорю, что я убил его и никого со мной не было.

Глава вторая

— Не тоскуй, касаточка,— говорил Епишка Анне.— Все перемелется в муку. Пускай гуторят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожалиться.

— Ох, Епишка, хорошо только речи сыпать. Ты один, зато водку пьешь. Водка-то, она все заглушает.

— Пей и ты.

— Пью, Епишка, дурман курю... Довела меня жизнь, домыкала.

В зыбке ворочался, мусоля красные кулачонки, первенец.

— Ишь какой!— провел корюзлым пальцем по губам его Епишка.— Глаза так по-Степкину и мечут.

Анна вынула его на руки и стала перевивать.

— Что пучишь губки-то?— махал головой Епишка.— Есть хочешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую.

Взял со стола черствый крендель и стал разжевывать; зубы его скрипели; выплюнул в тряпочку, завязал узелок и поднес к тоненьким зацветающим губам.

— У-ю-ю, пестун какой вострый! Гляди, как схватил! Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. В канаве седня дядя ночевал.

Анна кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки.

— Ничего, подлец, не понимаешь,— возился на коленях Епишка,— хоть и смотришь на меня... Ты ведь еще чередом не знаешь, хочется тебе есть али нет. А уж я-то знаю... Горе у матери молоко твое пролило... Ох, ты, сосунчик мой. Так, так, раба божия Аннушка,— встал он.— Все мы люди, все человеки, а сердце-то у кого свиное, а у кого собачье. Нету в нас, как говорится, ни добра, ни совести; правда-то, сказано, в землю зарыта... У него, у младенца-то, сердца совсем нету... Вот когда вырастет большой, бог ему и даст по заслугам... Ведь я говорю не с проста ума. Жисть меня научила, а судьбина моя подсказала.

Анна грустно смотрела на Епишку и смахивала выкатившиеся слезы.

— Он-то ведь, бедный, несмысленный... Ничего не знает, ни в чем не виноват. Аннушка бедна, Аннушка горька,— приговаривал Епишка,— сидеть тебе над царем над мертвым тридцать три года... Нескоро твой ворон воды принесет... Помнишь?

Старая, плечи вогнуты, костылем упирается, все вдаль глядит. Коротайка шубейная да платок от савана завязаны. В Киев идет мощам поклониться.

В красной косыночке просфора иерусалимская... У гроба господня склонялась.

Солнце печет, пыль щекочет, а она, знай, идет и ни на минуту не задумается, не пожалеет. У куста села, сумочку развязывает... сухарики гложет с огурчиком.

— Зубов нет,— шамкает побирушке,— деснами кусаю, кровью жую...

— Телом своим причащаешься,— говорит побирушка.— Так ин лучше богу заслужишь...

Ходят морщины желтые, в ушах хруптит, заглушает.

— Берегешь копеечку-то?— спрашивает искоса побирушка.

— Берегу — всю жисть пряла, теперь по угодникам разношу. Трудовая-то жертва дорога.

По верхушкам сосен ветерок шуршит.

— Соснуть бы не мешало,— крестится побирушка.

Приминая траву, каратайку под голову положила. Мягкая она, постель травяная, кости обсосанные всякому покою рады. О Киеве думает, ризы божеские бластятся.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных...» — голос дьякона соборного в ушах звенит...

«О-ох, грешная я»,— думает.

— Фюи, фюи,— гарчет плаксива иволга. Тени облачные веки связывают.

По меже храп свистит, побирушка на сучье привалилась.

Тихо кусты качаются... Тень господня над бором ползает.

— Господи,— шепчут выцветшие губы,— помилуй меня грешную.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных»,— гудит в ушах.

— Тетенька,— будит прикурнувшую побирушку,— встань, тетенька.

— А-ат?— поднимается нищенка.

— Бедная ты бездомная, возьми вот сумочку-то. Деньги тут. Ни сумы, ни сапог, в писании сказано...— плачет. Упокоилось сердце. Комочком легла. Глаза поволоклись морокой.

— Фюи, фюи,— гарчет плаксиво иволга.

— Идем,— подвязывает лапти побирушка,— провожу... До Маркова доберемся, а там заночуешь.

В осиннике шаги аукают.

— Это, я думаю, ты не от сердца дала мне... Лишние они у тебя.

Глядит вдаль, а в глазах замерла безответность.

— Что молчишь-то?— дергает ее за руку.

— Ни сумы, ни сапог, тетенька, камни с души своей скинаю.

— То-то... камни... знаем мы вас, прохожалок. Нахапите с чужой крови-то, а потом раздаете. Ишь и глаза, как озеро, пышут... Знаем мы вас. Знаем!

— Лазарь, ты мой Лазарь,— срывается кроткий шепот.— Ничего у бога нет непутевого,— ударяет клюкой по траве.— Все для человека припас он... От всего оградил. Человек только жадничает.

— Вишь, мушки мокреть всю спили с травы. Прошли бы, оброснились. Чай, с снохами-то неладно жила?— пытливо глядит ей в глаза побирушка.

— Нет, родная, никого не обижала.

— Врешь поди.

— Я к мощам иду,— тихо шепчет.— Что мне душу грязнить свою, непутевое говоришь. Не гневи бога, не введи во искушение,— поют на клиросе.

— То-то, вот вы такие и искушаете,— сердито машет палкой.— Святоши, а деньги кроете.

— О-ох... Устала...— опускается на траву.— Прогневаю бога ропотом. Прости ты меня, окаянную.

Побирушка, зажав палку, прыгнула, как кошка.

— У-у-у...— защелкала зубами.

Зычный хряст заглушил шелест трав. Кусты задрожали.

— Отдай деньги, проклятущая...

— Фюи, фюи,— гарчет иволга.

Глаза подернулись дымкой. К горлу подползло сдавленное дыханье, под стиснутыми руками как будто скреблась мышь.

Старый Анисим прилежным покаяньем расположил к себе игумена монастырского.

— Как ты, добрый человек, надоумил мир-то покинуть? Ведь старая кровь-то на подъем, ох, как слаба.

— Так, святой отец,— говорил Анисим.— Остался один, что ж, думаю, зря лежать на печи, лучше грехи замаливать. Сын, вишь, у меня утонул. Старуха не стерпела, странствовать ушла. Дома молодайка есть, пусть как хочет живет. Сказывают, будто она несчастная была, и сын-то, может, погинул с неудачи... А мне дела до этого нет, такая она все-таки добрая, слова грубого не сказала, не обидчица была.

Похоронил Степан мать, сходил к Анисиму, получил с него деньги и дома остался жить. Оставила мать припадочного братишку, зорко заставила следить.

— Нет тебе счастья и талана,— сказала она,— ползай, как червь, по земле, если бросишь его.

Побоялся Степан остаться с Анной, а жениться на ней, гадал,— будут люди пенять.

«Что, мол, девок тебе, что ль, не хватает, бабу-то берешь».

Поехал он как-то в Коростово к тетке на праздник да остался заночевать. На улице девчата под окнами слонялись, парни в ливенку канавушки пиликали.

— Поди,— сказала ему тетка,— тебя девки-то зманывают.

Степан надел поддевку, заломил набекрень шапку, пошел к девкам.

Девки с визгом рассыпались и скрылись.

— Кто?— окликнули его парни.

— Свой.

— Нет, не свой,— заговорил кто-то.— По ухватке

видно — не свой... У нас, брат, так девок не щупают. Больно хлесток...

— Невесту, что ль, выглядываешь?— спросил гармонист.

— Невесту,— тихо ответил Степан.

— Так ты, брат, видно, сам знаешь... у нас положение водится... четверть водки поставь.

— Ладно,— сказал Степан,— поставлю, только не четверть, а три бутылки... Денег не хватает...

— Не хватает, не надо,— кивнул гармонист.— Мы не такие уж глоты.— Завозился на каблуках.

Степан отдал деньги ребятам и пошел к девкам. Девки сидели на оглоблях пожарной бочки и, опершись на багор, играли песни.

Степан приглядывался, какая покрасивее, и, сильно затягивая папиросу, светил.

В середках одна все закрывалась рукавом, и он смекнул, что он ей нравится.

Зашел сзади и, потягивая к себе на колени, свалил. Девка смеялась и, обхватив его за грудь, старалась повалить.

Закружив, начал целовать ее в щеки и отвел в сторону.

— Пусти ты,— отпихивалась она.— У, какой безотвязный... пусти!..

— Не пущу,— прижимался к ней Степан.— Хоть кричи, не пущу.

Прижал ее к плетню и силился расстегнуть коротайку.

— Ты, тетенька, меньше ста рублей не бери,— говорил он утром о приданом.— Ведь я не бобыль: две лошади, три коровы да овец сколько...

— Да чья она?— спрашивала тетка.— Куда идти-то мне?

— Черноглазая такая. Кудри на лоб выбиваются.

— А, ну теперь знаю. Ишь какую метишь,— она ведь писарева...

— Отдадут — сама говорила.

— То-то...

Она надела новую шубейку, покрыла белую тужильную по покойному мужу косынку и пошла свахой.

— Ты что, Марьяна?— спросила писариха и помахнула ее ладонью.

— Посвататься, касатка, пришла, за племянника. Может, знавала Степку-то, без порток все у волости бегал махоньким...

— А,— протянула писариха.— Что ж, разве он не женат еще?

— Нет.

— Мы было хотели ведь погодить, с приданым никак не собрались.

— Да мы и немного берем-то.

— Сколько?

— Да как тебе сказать, не меней сотни.

— Ладно,— кинула в заслон мочалку,— сговорено.

— А он-то,— указала она на спящего на лавке писаря,— как же?..

Писариха подняла ногу и плюнула на каблук.

— В пятках он у меня, я с ним и разговаривать не стану.

Марьяна поклонилась и, подвязавшись, пошла обратно.

Глава третья

Откулева-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток.

По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов, и вдогон зашептал вихорь.

Шнырявшая в сединах осины синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь.

Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы.

Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина.

Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья.

Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозою и унестись далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя.

Яр зашумел, закачался, и застонала земля.

Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке.

«Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там, у околицы, чего ждешь? — шептал ему какой-то тайный голос.— В ожиданьях только погибель. Или силы у тебя не хватает подняться и унестись отсюда, как вихорь?»

«Нет, все не то,— подумал он.— Это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильней натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать».

Яр шумел...

Черная навись брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника.

Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами.

С бородки его, как веретено, сучилась холодноватая струйка, шел босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер.

В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи.

С околицы выбежала Лимпиада и зазвенела серебряным смехом.

Она была мокрая, и с косы ее капала роса.

— Дождь фартуком собирала,— сказала она и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы.

Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхивать с мокрых штанов грязь.

— Иди, замою... Филиппа нет,— обняла его за плечи.— Тес пилит.

Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на нее. По щекам ее с черными мушками грязи покатилась вода, она одбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но, поскольззшись, упала.

Поднял и со смехом понес на крыльцо.

Лимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, закрасневись, качала ногами.

— Костя,— притиснула она его голову,— милый, не уходи. Как хорошо-то!

Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем Чукан и, оскаливая зубы, ловил мотавшийся на чоге Лимпиады башмак.

К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда Иена в холодной.

— В остроге сидит, сердешный,— говорил он.— Скоро, наверно, погонят.

— Жалко,— вздыхала Лимпиада,— хороший мужик был.

Прояснившееся небо опять заволоклось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен.

Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку.

В дверь кто-то заскребся; Лимпиада отворила и увидела кошку.

— Милая,— нежно протянула руки,— где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя.

Посадила на колени, стала гладить.

Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки.

Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладилась об ее руки.

— Ты убил...— покосился с пеной у рта пристав,— ты убил?..

— Я,— отозвался дед Иен.— Говорю, что я.

— Связать его!— крикнул он мужикам.— Да с понятыми в холодную отправить.

Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.

— Вяжи покрепче, Петро,— сказал он мужику,— а то левая рука выскочит.

— Ладно,— мотнул головой Петро,— ты больно-то не горячись, мы ведь для близиру.

Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка.

Пристав толкнул его на крыльцо холодной и ударил по голове тростью.

По щеке зазмеилась полоска крови.

— Эй,— крикнул грозно Петро,— ты что делаешь!— и, схватив замахнувшуюся трость, сломал о худощавое колено пополам.

— Ты не хрындучи!— затопал пристав.— Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!

— Видал?..— показал ему кулак Петро.— Мы такую шваль-то видывали.

— Молчать!— крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.

Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу.

Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно.

— Ой, караул!— закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к Пасику.

— Ну, дед, сиди,— сказал Петро,— а я теперь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают.

— Прощай, Петро,— обернулся дед, подавая развязать руки.— Мне теперь, видно, капут — дух вон и лапти кверху.

— Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере.

— Помнишь?

— Не забуду.

Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.

— Жалко,— ворчал Петро,— таких и людей немного остается.

Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал перевертывать онучи.

— Бабка-то теперича у кого твоя останется?— болезно гуторил сторож.

— Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело. Не помрет с голоду.

— Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет?

— Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты.

Говор смолк. Слышно было, как скреблась за переборкой мышь. В запаутинившееся окно билась бабочка.

Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки.

Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол.

— «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина,— громко и раздельно произнес исправник.— В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».

— На вас креста нет,— зашумели мужики.— Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением. Гляди на нас,— обернулись все лицами к приставу,— узнавай, кого посылал вчера.

— Мошенники!— кричал пристав.— Мы вас на поселение сошлем!

— Куда хошь ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, а нам мать родная.

Деда Иена привели на допрос под конвоем.

— Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?

— Да.

— В какую пору дня вы его убили?

— В полдень.

— Имеешь ли оправдания, при каких обстоятельствах совершилось убийство?

— Все имеем,— закричали мужики.

— Молчать!— застучал кулаком исправник.

— Вам известно,— сказал дед Иен,— болей я говорить не стану.

— Тридцать горячих ему!— закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую, с кровоподтеками губу.

Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи.

Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровяная полоса.

— Кровопийцы!— кричали мужики, налезая на стражников и выламывая колья.

— Прошу не буянить,— обратился исправник.— Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите.

— Братцы,— крикнул староста,— все равно ничего не поделаешь! Угомонитесь на минутку.

— Ишь какой братец заявился,— крикнул кто-то.— Сказали ему, а он и рад стараться.

Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожа и путаясь руками, он стал застегивать портки.

— Прощайте, братцы,— кричал он, снимая шапку,— больше не свидимся.

— Прощай,— как стон, протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.

Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег.

— Возьми обратно,— крикнул стражник.— Не полагается. Опосля суда...

Лимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.

— Поедем,— сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.

— Едем,— сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулки.

День заутренне гудел, и с бора несся неугомонный шум.

— Ну и изверги!— говорил Карев.— В глазах хватают за горло, кровь сосать.

По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб.

— Н-но, родная,— потрагивал Карев вожжами.— Тут, чай, за спуском недалече. Ну, как же ты думаешь?— спросил, обернувшись, заглядывая Лимпиаде в глаза.— Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься.

Лимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням.

— Какое бесцветное небо,— сказала она после долгого молчания.— Опять гроза будет.

Глава четвертая

Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман.

В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы.

Жаль ему было мельницы старой.

Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге.

«Сходи, взгляни и, не показываясь, уходи обратно. Так надо, так надо».

После этого на другой день Лимпиада заметила на лбу его складку, которой никогда не видела.

— Милый, ты о чем-нибудь думаешь?— спросила она.— Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя, останься только здесь, послушай хоть раз меня, ты уйдешь, я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо.

— Любая моя белочка,— говорил, лаская ее, Карев.— Ты словно плотвичка из тесного озера синего, которая видит с мелью ручей на истоке и, боясь погибели, из того не хочет через него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя. Оденься ты странницей, возьми из своего закадычного друга яра посох и иди. Ты можешь ведь весь этот яр унести с собою. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь,— сердце ничего не теряет.

— Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно,— сказала Лимпиада.— Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я лесная русалка, полюбила тебя живого, тут и я несчастлива и ты.

— Эй вы, голуби!— крикнул Филипп.— Полно вам ворковать, помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил.

— Дешево же ты, воробей, платишь,— засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы.

Анна спеленала своего первенца свивальником, надела на бессильную головку расшитую калпушку и пошла к бабке на зорю.

Не спал мальчик, по ночам все плакал и таял, как свечка.

Вошла в низенькую, с короткими сенцами хату и, став около порога, помолилась богу.

— Здорово, бабушка.

— Поди здорово, касатка. Чего скажешь?

— Не спит он. Заговорить пришла, просто никак за ним не уходишь.

— Погоди, погоди, родимая, сейчас бросим камешки, жив ли он будет...

Боялась, что последняя радость покинет ее.

Бабка налила в полоник воды и бросила туда из жаровни засопевшие угли.

— С глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили.

Достала из сумочки, пришитой к крестовому гайтану, три камешка и, посупив их, кинула в воду.

— Помрет,— сказала.— Не жилец на белом свету.

Анна побледнела и ухватилась за сердце.

— Бабушка, обмани хоть меня,— рыдая, судорожно забилась.— Не отнимай надежду мою.

— Погоди, касатка, сейчас на зорю сходим, может, ему и полегчает.

Вышли на крыльцо. Багрянец пенился в сини и красил кровью облака.

Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать:

— Заря-зоряница, красная девица. Перва заря вечорошная, вторая полуношная, третья утрошная. Вынь, господи, бессонницу у Алексея-младенца. Спаси его, господи, от лихова часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, господи, его скорби изо всех жил, изо всех член.

«Умрет, умрет,— колола тоска Анну.— Опять одна... опять покинутая...»

— Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего не будет.

Прижала к груди, ножки его в кулачок и грела... в закрытые глаза засматривала.

— Милый, милый, малюсенький.

Шла, как ветер нес. Вдруг Епишка повстречался.

— Где была, куда бог носил?— подошел он, заглядывая на ребенка.

— На заговор ходила.

— Ути, мой месяц серебряный, как свернулся-то... Один носик остался. Ты не плачь, Аннушка,— обратился он к ней,— а то и я плакать буду, ведь он мне что сын родной.

— Ох, Епишка, сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве.

— Ты, голубушка, не убивайся так, может, господь пожалеет его. Ты себя-то береги, пока жив он.

— Карев ушел,— сказал Филипп.— Он тебе, Липа, не говорил, когда вернется?

— Он, вишь, пристал к варнакам охотиться,— ответила Лимпиада.— Верно, после выручки.

— Экий расслоняй, все время бегает по ветру.

Лимпиада сидела за столом и ткала холсты.

— Я хотел с тобой поговорить, Липа,— начал Филипп.— За Карева, я чую, ты не пойдешь замуж, а оставаться в девках тебе невозможно... Ваньчок вот все просит твоего согласия, а то хоть завтра играй свадьбу...

— Что ты привязался с своим Ваньчком, разве мне еще женихов нету?

— Вот чудная такая! Ведь я знаю, что тебе советую. Ваньчок возьмет тебя, ты опять при мне останешься. Случись что со мной, если ты не выйдешь, тебя погонят ведь отсюда, А с ним... У него деньги...

— На что мне они, его деньги?— бросила Лимпиада.— Ими горло ему надо засыпать.

— Ну, как хошь, я тебя не насилую...

Филипп стал на лавочку и обмел на потолке копотные паутины. Веник осыпал березовые листья и разносил пряный пах. В окно стучался ветер.

С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу.

Летели листья, листья, листья и, шурша, о чем-то говорили.

— Пожар,— сказал Филипп, указывая на огненную осину.— Вот что делает холодная пора-то.

«Хорошо,— с сверкающими глазами подумала Лимпиада.— Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него...»

Ветер подсвистывал.

Карев ушел... Он выбрал темные ночи бабьего лета, подлинней расчесал свою бороду и надел ушастую шапку.

Сердце его билось, когда он подходил к своему селу;

под окнами сидели девки и играли с ребятами в жгуты.

Боялся, оглядывался и нерешительными шагами стал подходить к дому. Подкрался к вербе и стал всматриваться; горел огонь.

Из окна выглянула соседка.

— Епишка,— окрикнула она его,— поди почитай письмецо.

Пристыл, но, спохватившись, быстро замахал на конец села.

Было тихо, и лишь изредка лаяли собаки. С реки подымался туман и застилал землю.

Сел околь гумна и глядел на жевавшую желтую траву лошадь.

— Дзинь-дзинь,— позвякивала она, прыгая, железным путом и, подняв голову, гривой махала.

— Коняш, коняш,— захрипел за плетнем старческий голос, и зашлепала оброть.

Как будто обжог почуял и бросился, зарывшись с головой, на солому.

Старик тпрукал лошадь и, кряхтя, отчаливал путо.

Стук копыт стал таять, и звенящая тишина изредка нарушалась петушьим криком.

Свежо, здорово, стелился туман.

Когда Анна вернулась, мальчику сделалось еще хуже. Она байкала его, качала, прижимая к груди, но он метался и опускал свислую головку.

Подстелив подушечку, положила на лавку и заботливо прислоняла к головке руку.

Что-то пугало ее, что-то грозило, и она вся трепетала при мысли, что останется одна.

Мальчик качнул головкой, дернул, вздрагивая ножками, и пустил пенистую слюну.

— Ах!— вскрикнула она и ухватилась за сердце.

Ноги ее сползли, и вся она грохнулась на пол.

Подбежал котенок и, покачивая бессильные пальцы, начал играть.

Через минуту она встала и уставилась в одну точку.

Понемногу она успокаивалась, но по крови ее желчью разливалась горечь и будила какую-то страшную решимость.

Она случайно повернулась к окну — и вся похолодела. У окна, прилепившись к стеклу, на нее смотрело мертвое лицо Кости и, махнув туманом, растаяло.

— Зовет,— крикнула она,— умереть зовет!— и выбежала наружу.

Рассвет кидал клочья мороки, луга курились в дыму, и волны плясали.

В камышах краснел мокрый сарафан, и на берегу затона, постряв на отцветшем татарнике, трепался на ветру платок.

Черная дорога, как две тесьмы, протянулась, резко выдолбив колеи, и вилась змеей на гору.

С горы, гремя бадьей и бочкой, спускался водовоз.

Глава пятая

Сказал старый Анисим игумену:

— Пусти меня домой, ради бога, ноет вот тут,— указывал он на грудь.— Так и чую, что случилось неладное...

— Иди, бог с тобой,— благословил его игумен.— Святые отцы и те ворачивались заглянуть на своих родных.

Накинул Анисим подрясник, заломил свою смятую скуфью и поплелся, сгорбившись, зеленями шелковыми.

Идет, костылем упирается, в небо глядит, о рае поет, а у самого сердце так и подсасывает — что-то там дома творится?

Проезжие смотрят — всем кланяется и вслед глядит ласково-ласково.

На тройке барин какой-то едет, поравнялся, спрашивать стал:

— Разве ты меня знаешь — кланяешься-то?

— Нет, не знаю, и не тебе кланяюсь,— лику твоему ангельскому поклон отдаю.

Улыбнулся барин, теплая улыбка сердце согрела. Может быть, черствое оно было сердце, а тут растопилось от солнца, запахло добром, как цветами.

— Прощай, старичок, помолись за меня угодникам да вот тебе трешница, вынимай каждый день просфору за раба божьего Сергея.

— Не весна, а весной пахнет. Свете тихий, вечерний свет моей родины, приими наши святые славы,— шепчет он.

И опущенные белые усы ясно вырезают разрез посинелых губ.

— Здорово, дедушка,— встретили его у околицы ребятишки.— Анны-то нету дома... утопилась намедни она, как парень ее помер; заколочен дом-то ваш.

Вдруг почувствовал, ноги подкашиваются, и опустился.

— Устал, дедушка, посиди, мы тебе табуретку принесем.

— Спасибо, родные, спасибо, немного осталось, хоть на корточках доползу.

Встал и, еще более сгорбившись, поплелся мимо окон; ребятишки растерянными глазами провожали.

Прохожие останавливались.

— Ой, Анисим, Анисим, не узнаешь тебя,— встретила у ворот соседка.— Поди закуси малость, небось ведь замытарился, болезный.

Слезу утирает, на закат молится.

— Как тебя бог донес такую непуть? Ведь холод, чичер, а ты шел.

Ничего Анисим не ответил, застыл от печали глубокой.

С пьяной песней в избу взошел Епишка.

— «Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как...» Мое почтенье, челом бью, дедушка Анисим, прости, что пою песню, я ведь теперь все на панихидный лад перевожу...

— Присаживайся,— подставила хозяйка скамью,— гостем будешь, вместе горе поделим, мы все ведь какие-то бесталанные.

— Про то и пою, тетень, эх-а!.. «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» Не могу, ей-богу, не могу... Слезы катятся, а умирать не хочется. Ведь могила-то когда хошь приют даст, жить бы надо, да что-то как жестянка ломается жизнь моя, и не моя одна. Ты, дедушка, меня в монахи возьми, можа, я там хоть пить перестану. Ведь там нет вина, стены да церковь.

— Убежишь,— засмеялась старуха.— Не лезь уж, куды не надо. Так живи.

— Не хочу я так-то жить, мочи моей не хватает, с тоски помру.

Епишка был пришляк на село, он пришел как-то сюда вставлять рамы и застрял здесь. Десять лет уж минуло.

Где-то в дальней губернии у него осталась жена, которая пустила его на заработки.

Каждый год Епишка собирался набрать денег и отослать жене на перестройку хаты, но деньги незаметно переходили к шинкарке Лексашке, и хата все откладывалась.

Каждое рождество он писал домой, что живет слава богу, что скоро пришлет денег и заживет, как пан.

Но опять выпадал какой-нибудь невеселый для него день, и опять домой писалось коротенькое письмо с одним и тем же содержанием.

Жена его знала эту слабость, она писала ему, чтоб он вернулся, что дом давно перестроен, но он никогда не читал дальше поклонов. Не хотел, а может быть, и наперед чуял, что пишут.

— Возьми меня, дедушка, ради бога возьми, там ведь жалованье платят, может, скоплю сколько-нибудь, домой пошлю.

Анисим молчал и грустно покачивал головою.

— Ты сегодня, Епишка, пьян, завтра ты по-другому скажешь. Ты лучше вот что я тебе посоветую, выписывай сюда жену да живи на моей усадьбе. Дом-то мой ведь первый на селе. Я подпишу тебе все, ничего не оставлю. А коли помру, если хватит доброй совести, поставь мне крест на могилу.

— Родной ты мой,— упал Епишка на колени.— Спаситель, как мне тебя благодарить?

— Встань, Епишка,— сказал Анисим.— Пустое все это, ведь мне все равно ничего не надо. Ты закусывай лучше сейчас, ведь небось после Анны тебя никто не накормил.

— Нет,— всхлипнул Епишка,— разве я пойду просить... Стыдно... Была Анна, так она все понимала... Царство ей небесное, хорошая баба была.

Хозяйка начала рассказывать, как вытащили Анну из воды.

— Отец ты мой родной,— приговаривала, пришлепывая губами.— Как положили два гроба-то рядом, инда сердце кровью обливалось.

— Ты посмотри,— указал Епишка на разрубленный палец.— Гроб делал... Как вспомню, что делаю для Анны, топор из рук валится и рубанок не стругает... Отцапал ведь до самой кости.

Анисим решил пождать жену Епишкину. «Пропьет еще все,— думал он.— Баба-то лучше удержит».

Через неделю им пришел ответ, что жена Епишки три года тому назад померла, а оставшаяся вдовой дочь продала все пожитки и едет.

«Как же так?— думал Епишка.— Неужели я три года не писал?..»

Он как-то состарился, съежился и жалел, что Анисим подписал ему свое имущество.

«Охо-хо!— думал он.— Уехал, девке-то десять годов было, уж вдова стала. Вот она какая жисть-то, самому сорок годов стукнуло, а я все думал — тридцать».

«Как же она замуж вышла?— спрашивал себя.— И откуда набрали денег, когда присылу не было?.. Впрочем, что же, баба была здоровая, за семерых работать могла...»

Через два дня Епишка встретил на телеге молодую бабу и с слезами бросился целовать ее.

Старый Анисим сам не одну смахнул слезу. Жалко ему было Епишку... Мыканец он.

«И в кого она у меня такая красивая,— думал Епишка,— ни на меня, ни на мать не похожа».

— Ты теперь брось пить-то,— говорил Анисим.— А ты, родная, поудерживай его, слаб он...

— Дедушка, ей-богу, одну рюмочку, с радости. Ведь я сейчас словно причастился, весь мир бы обнял, да головы у него нет.

Дочь Епишки улыбалась и, налив себе рюмку, почомкалась.

— Ты ведь у меня единая, ненаглядная моя. Мы теперь тебе такого жениха сыщем, какой тебе и во сне не снился.

Погорбился старый Анисим за эту неделю, ще-

ки ввалились, а подбородок качался, будто шептал.

Простился с Епишкой и дочерью его и пошел опять с костылем, сгорбившись еще ниже.

— Ты как-нибудь, папаша, лошадь купи,— говорила Марфа отцу,— пахать станем.

— Теперь мы с тобой заживем, Марфунька,— говорил Епишка.— Земли у нас много, хлеба много, скота семь голов рогатого, лошадей только, жаль, увели. Недоглядки.

Плетется Анисим, на солнце поглядывает, до захода в монастырь надо попасть.

По дорожке воронье каркает, гуси в межах на отлет собираются.

Пришел в келью, к игумену, пыльный с дороги, постучался.

— Благослови, отче... Вернулся. Теперь не пойду.

— Ну что, не обмануло тебя сердце твое?

— Нет, отче, сноха утонула. Господь меня надоумил сходить... Господь.

— Ты отдохни поди, вишь, как выглядишь плохо. А что ж старуха-то твоя не вернулась?

— Нима, отче; видно, к угодникам в подножие улеглась. Сильная духом была, знал я, что ей не вернуться.

В келью пришел свою, на столе просфора зачерствелая, невынутая.

Кусает зубами качающимися, молитву хлебу насущному читает.

И опять все как было: на стене скуфья на гвоздике, у окошка на подставочке цветы доморощенные не поливаны.

На мешочном тюфяке в дырки солома выбилась, в коричневых выструганных сучьях клопы гнездятся.

— Слава тебе, Христе боже наш, слава тебе.

Около рукомойника рушничок висит, покойная сноха вышивала.

— Всех похоронил, теперь самому на покой пора. Ой, как тяжело хоронить!

Захолодало. По селу потянулись с капустой обозы.

Хорошо молиться в осень темной ночи за чью-нибудь непутевую душу.

Обронили вербы четки зеленые, краснотой подернулись листья — удила шелковые.

Вечер. Голоса на дороге про темную ноченьку поют.

Прощай, ты, пора нудная, томящая. Вылила ты из пота нашего колосья зернистые, кровью нашей напоила ягоды свои.

Марфа принялась за хозяйство. Сперва ей казалось все как-то по-чудному. Ночью она не могла дверь найти спросонья, вместо порога к загнетке печной забиралась.

Стало подсасывать что-то опять Епишку, не сиделось ему дома, горько было на чужое добро смотреть. Чужое несчастье на счастье пошло.

Ходил в лес, осин с кореньями натаскал, а потом у окошка стал рассаживать.

— Марфунька,— кричал он, запихивая в землю скрябку,— воды неси поливать.

Люди засматривали, головой покачивали.

— Что это с Епишкой-то сталось: дочь привез, вино бросил пить и в церковь ходит.

В монастырь бегал причащаться, всю дорогу без одышки бежал.

— Так ин,— говорит,— лучше бог простит все... да и думы грешные в голову не полезут.

Старый Анисим просфорочку ему дал, советовал лучше кобылку купить, чем мерина.

— Ты кобылу-то купишь — через три года две лошади, ой, ой, каких будешь иметь!

Послухался Епишка старого Анисима, пришел домой и сказал Марфе, что хочет кобылу купить.

В базарный день повели продавать двух коров и выручили три сотни.

— Теперь ты, папаша, в город иди, там-то, чай, лучше купишь.

Снарядила Марфа отца в дорогу, зашила деньги в подштанники и проводила.

Приковылял Епишка в город, в трактирчик зашел отогреться. Люди винцо попивают, речи деловые гуто-

рят. Подсела к Епишке девка какая-то, наянная такая, целоваться лезет.

— Жисть свою пропиваю!— кричит Епишка.— Хорошая ты моя, жалко мне тебя, пей больше, заливай свою тоску, не с добра, чай, гулять пошла.

Когда на другое утро Епишка полез в кошелек купить калачика, там валялась закрытая бумажкой единая заплесневелая старинная копейка.

Ждала Марфа отца и ждать отказалась, уж замуж успела выйти, мужа к себе приняла, а он как в воду канул.

Через два года, в такое же время, она получила письмо от него:

«Добрая доченька, посылаю тебе свое родительское благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и навеки нерушимо.

Дорогая Марфенька, об деньгах прошу тебя не сумлеваться, скоро приеду домой. Кобыла тут у меня на примете есть хорошая, о двух сосунков. Как только вернуся, заживем опять с тобой на славу».

Карев запер хату и пошел в другой раз к сторожке. Лимпиада просила оставить на память вырезанную им солоницу.

Филипп окапывал завалинку и возил на тачке с подгорья загрубелую землю.

— Отослал Иенке денег ай нет?— спросил он, не оборачиваясь, поправляя солому.

— Отослал... сам возил, прощаться ездил.

— То-то долго-то.

— Да.

— Ну, входи,— сказал Филипп.— Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.

Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.

Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.

— Принес?— спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.

На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.

Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.

Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.

— Ну, ты что ж молчишь?— обратился он к Ваньчку.— Рассказывай что-нибудь.

— Чего рассказывать-то?— протянул Ваньчок.— Все пересказано давно.

— Ну,— засмеялся Карев,— это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послухал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.

— Лучше Фильке пойду подсоблю,— сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.

Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.

— Идешь?— спросил глухо он.— Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.

Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:

— Иди, я не пойду.

— Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.

Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.

— Не уходи, милый Костя,— ради всего святого, пожалей меня.

— Нет, я не могу оставаться,— сказал Карев и отдернул ее руку.

На пороге показался Филипп.

— Ты что же, совсем уходишь?

— Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья...

Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.

Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.

«Куда же ушел?» — подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.

— Ох!— вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.

В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.

Прибежала и, запыхавшись, села у окна.

«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне... что делать?..»

Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.

«Вытравить, избавиться»,— мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.

«Преступница»,— шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.

«Господи,— упала она перед иконой,— научи!»

На брусе — для мора тараканов, в синей бумажке,— в глаза ей бросилась спорынья.

С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.

Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.

Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.

Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.

Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной. Под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.

Лицо ее было как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.

Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.

Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.

— Тут надо бы примерить,— сказал староста.— Сбегай-ка до дому за рулеткой.

Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.

Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.

В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада — и около нее разбитая чашка.

— Отравилась!..— крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.

Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.

Холодел.

Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.

— Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудрявую косу, не выскакивала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы ты девичью честь.

Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.

— Ох ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.

Ваньчок трепал за ухо своего подпаска.

— Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, харя твоя поганая, до смерти захлыщу.

— Я, дя-аденька, ни при чем,— плакал Юшка.— Вот те Христос, не виноват...

— Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь сопляк какой подхалимный!

Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.

Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.

Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веревочку»:

Эх, да как на этой на веревочке
Жисть покончит молодец...

С концом песни ввалился в избу и остолбенел.

— Это он!— крикнул с брызгами пены у рта.— Это он... Он весь яр поджег, дымом задвашил...

Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.

Голова закружилась безумием и хмелем.

Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.

Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.

Хвои шумели.

Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.

Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.

В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.

На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.

Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.

«Филипп,— подумал Карев,— на охоту, видно, напоследок зовет...»

Грянул выстрел, и почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.

Упал... по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.

Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.

— Ку-гу, ку-гу...— шомонила за мельницей сова.

<1915>

ПРИМЕЧАНИЯ

Николай Клюев

С РОДНОГО БЕРЕГА

Статья впервые опубликована в сб. Русский фольклор. Вып. 15. Социальный протест в народной поэзии. Л.: Наука, 1975.

Печатается по тексту, опубликованному в журнале «Москва», № 11, 1987. Написана в форме письма Н. Клюева к редактору и издателю В. С. Миролюбову (1860—1939). Статья была послана А. А. Блоку 1 сентября 1908 г. для пересылки Миролюбову во Францию. Оригинал не сохранился. Впервые статья опубликована была по рукописной копии Блока.

«Из брошюр: «Что такое свобода», «Хитрая механика» и «Конек Скакунок» — автор книги «Хитрая механика», направленной против политики царского правительства,— В. Е. Варзар; *«Конек Скакунок»* — агитационная поэма-сказка, автором которой был С. А. Басов-Верхоянцев.

В ЧЕРНЫЕ ДНИ

(из письма крестьянина)

Впервые статья была опубликована в «Нашем журнале», № 1, 1908. Авторство Н. Клюева установлено К. М. Азадовским.

«Так и г. Энгельгардт в своей статье...» — статья публициста М. А. Энгельгардта «Без выхода» была опубликована в 1908 г. № 35.

«Портреты Марии Спиридоновой...» — Мария Спиридонова (1884—1941) была одним из лидеров партии левых эсеров.

ВЕЛИКОЕ ЗРЕНИЕ

Впервые статья была опубликована в газете «Звезда Вытегры» 6 апреля 1919 г. Входит в цикл статей об искусстве, опубликованный в вычегорской печати в 1919—1923 гг.

ОГНЕННАЯ ГРАМОТА

Впервые статья опубликована в журнале «Грядущее в 1919 г.», № 7—8. В основе данной статьи лежит «Откровение Иоанна Богослова» (Апокалипсис).

«Жена, обличенная в солнце...» — образ, заимствованный у В. С.Соловьева (1853—1900), русского философа.

КРАСНЫЙ НАБАТ

Впервые статья была опубликована в газете «Звезда Вытегры» в 1919 г., 4 июня. Статья написана для публичного выступления на одном из митингов, на которых выступал в Вычегре Н. Клюев в 1918—1919 гг.

ПОРВАННЫЙ НЕВОД

Впервые статья опубликована в газете «Звезда Вытегры» в 1919 г., 3 августа. Статья относится к циклу статей об искусстве.

Пимен Карпов

ПЛАМЕНЬ

Первое издание романа — СПб.: Союз, 1914.

Пимен Карпов так объяснял смысл своего романа: «...то, что приведено в мысли «Пламени»,— не беллетристика, а боль моя и кровь: все это я пережил, через все это я прошел, и от этого я почти дотла сожжен. ...Не виноват же я, что никто не знал до сих пор выведенного в моей книги мира, а мир этот — новый мир грядущего Светлого Града. Вот моя идея: ненависть, зло — необходимы жизни, чтобы воспламенять чистые, не полумертвые елейные сердца на любовь и добро *действенные* (ибо, повторяю, бездейственная любовь, христианская — пошлость, ханжество — оговариваюсь, христианская в том смысле, в каком ее понимают иезуиты, дорелигиозные ханжи). ...эти сатанаилы — ужас, я сам все это видел, и, конечно, не следовало выводить всего того, что я видел, но для образного выражения идеи я ввел в мир добра и красоты — мир зла, смрада и тлена, чтобы именно ярче разгорелось и забило ключом *спокойное,* а стало быть — *неполное, не все* добро — красота»[1].

---

[1] Отрывок из письма П. Карпова В. В. Розанову публикуется впервые. ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 481.

Сергей Клычков

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕЛЬ

Сокращенный вариант романа «Сахарный немец» под этим заглавием вышел в Харькове в издательстве «Пролетарий» в 1928 г. Печатается по этому изданию. Впервые роман «Сахарный немец» был издан в издательстве «Современные проблемы» в 1925 г. Второе издание, исправленное и дополненное, вышло в Москве, в издательстве «Федерация» в 1929 г. Третье издание вышло в издательстве «Советская литература» в 1934 г.

Зауряд-прапорщик — зауряд-офицер — военнослужащий русской армии XIX — начала XX веков, находившийся в офицерской должности, но не имевший офицерского чина. Звание зауряд-прапорщика предписывало ношение офицерской формы без эполет, со всеми отличиями на погонах.

Покров — по народному календарю Покров приходится на 1 (14) октября.

«...а я начал за тебя положу...» — Начал у раскольников — начало молитвы, семь начальных поклонов.

«...но задолго еще до Ильи» — Илья считался властителем ветров и дождевых туч. Ильин день отмечался в народе 2 августа по новому стилю.

«...Пелагея родит, плод оставит лешихе...» — По народному поверью, брошенные дети становились русалками, лешими и прочей нежитью.

Отжинки — осенний праздник, приходящийся на конец жатвы. С этого времени начинались осенние хороводы.

«...в Успенье после отжинок...» — В Успеньев день сеяли озимый хлеб, начиная после окончания жатвы за три дня до Успенья и продолжая засевать еще три дня после.

Петровки — июньский праздник. В народе бытовала примета, что если на Петров день пойдет дождь, то сенокосы будут мокрые.

Штабс-капитан — звание обер-офицерского состава.

Подпоручик — воинское звание в русской армии в 1703—1917 гг

«Прокатил Михайла на коне звонкоподкованном по промерзлой дороге...» — Михайлов день приходится на 21 ноября. После Михайлова дня наступали морозы.

«Хохрются на налишниках сирины и алконисты...» — на наличниках, на лубочных картинках изображались райские птицы сирины (птицы радости) и алконисты (алконосты) — птицы печали.

Алексей Ганин

ЗАВТРА

Роман был опубликован в журнале «Кооперация Севера» в 16—17 и 18—19 номерах за 1924 г. По свидетельству Н. Парфенова (Север. № 9. 1973), в журнале были опубликованы отрывки из романа. Полного текста отыскать не удалось. Роман печатается по журнальному варианту.

Сергей Есенин

ЯР

Повесть была написана в селе Константинове летом 1915 г. Опубликована в журнале «Северные записки», Пг., 1916, февраль — май.

Название повести идет от реально существовавшего хутора, который находился близ села Константинова и принадлежал константиновскому помещику Кулакову. Многие персонажи повести списаны с константиновских крестьян, знакомых поэта.

Словарь

Артус — просфора, освященная в день Пасхи.

Бластиться — казаться, мерещиться.
Болезновать — страдать, сочувствовать.
Бочаг — яма на дне реки, омут.
Брус — крайний ряд кирпичей у чела печи.
Брусница — деревянный футляр для точильного бруса.
Брыкнуться — упасть.
Бурыга — ухаб, рытвина.
Бутиться — быть заваленным щебнем, известью.
Бучень — птица, выпь.

Варначить — делать кое-как, халтурить.
Веретье — большой брезент, на котором сушат на солнце зерно.
Воронок — медовая брага с хмелем.
Выбень — выбитое место.
Выть — часть села, в которую входило 50—60 дворов.
Вяхирь — сетчатый кошель для сена.

Гайтан — шнурок, на котором носили нательный крест.
Гасница — коптилка, самодельная лампа без стекла.
Голица — кожаная рукавица без меха, не обшитая материей.
Гребать — брезговать.
Грядки — две продольные жерди, образующие края кузова повозки.
Гужем — вереницей, гуськом или толпой.

Донце — дощечка со специальной рамкой, на которую садится пряха, вставляя в нее гребень или кудель.
Дышло — часть оглобли, входящая в ось повозки.

Еланка — прогалина.

Жарница — глиняная миска для запеканок.
Жеглая — жженая, горелая.
Жерлика (жерлица) — рыболовная снасть для ловли щук.

Забурукал — забормотал.
Загнетка — углубление на шесте русской печи.
Задвашить — задушить.
Засемать — засуетиться, зачастить ногами.
Засычка — драка, скандал.
Захряслый — затверделый.

Казенка — каморка, чулан, клетушка.
Калишки — башмаки, обувь косцов и пастухов.
Калпушка — детский чепчик.
Катник — накат от полозьев саней по дороге.
Конурка — круглая прорубь во льду.
Коротайка — женская одежда на вате, не доходящая до колен.
Косник — лента в косе.
Кочатыг — тупое, широкое, плоское шило для плетения лаптей и кошелей.
Куга — болотное растение.
Кудель — вычесанный и перевязанный пучок льна или шерсти, приготовленный для пряжи, и рогулька, к которой привязывается шерсть или лен.
Куколь — сорная трава или ее семя.
Кулага — заварное жидкое тесто из ржаной муки с солодом.
Кулижка — часть улицы перед домом.
Кока — яйцо; лакомство, гостинец.
Куп — волчья трава.
Купырь — луговая трава с резким, пряным запахом.

Лапость — ступня, стопа.
Лата — жердина и решетина на кровлю.
Лещуга — грубая луговая трава, растущая в низинах.
Лоск — лог, лощина.
Лушник — ситный хлеб, испеченный с луком, пережаренным в масле.
Любовина — постная часть соленого свиного мяса.

Майдан — площадь, сборное место.
Махотка — небольшой глиняный кувшин для молока с длинным узким горлом.
Мелинит — одно из названий динамита.
Метчик — человек, мечущий стог.
Мокрыжина — болото.
Мотальник — приспособление в прялке для снятия пряжи.
Мотня — мешок посередине невода.
Мурмолка — шапка.

Навильник — захваченная вилами охапка сена.
Навь — мертвец, покойник.
Наянно — навязчиво.
Нехолявый — неопрятный, неряшливый.

Оберемо — беремя, охапка.
Ободнять — рассветать.
Оборки (оборы) — веревочные завязки у лаптей.
Оброть — недоуздок.
Окадычиться — умереть.
Околица — городьба вокруг селения.
Окорёнок — деревянная кадочка с ручками.
Олахарь — оболдуй, непутевый.
Орясник — жердниинк (кустарник, пригодный для заготовки жердей).
Отава — трава, растущая после первого укоса.

Падина — настил из хвороста под стога сена.
Пестун — годовалый или двухгодовалый медвежонок, остающийся при матери.
Поветь — соломенная крыша.
Пожня — сенокос, луг.
Помело — мочальная метла, которой заметают золу с пода печи перед выпечкой хлеба.
Попки — связанные пучки ржаной соломы, кладущиеся наверх соломенной крыши.
Посевка — деревянная лопаточка с длинной ручкой для размешивания теста.
Поставня — круглая корзиночка, плетенная из соломы, перевитой мелким лозняком.

Постельник — хворостяная плетеная подстилка по дну саней, телеги.

Прострунить — пройти, проехать мимо.

Почомкаться — чокнуться.

Поязать — обещать.

Путо — веревка или цепь, которой связывают передние ноги лошади, чтобы не ушла далеко.

Путро — месиво с мучными высевками для скота.

Пьяника — голубика.

Пятерик — бревно, из которого можно напилить пять поленьев.

Разёпа — разиня.

Свивальник — длинная, узкая полоса из материи, которой обвивают младенца поверх пеленок.

Сиверга — холодная мокрая погода при северном ветре.

Скрябка — железная лопата.

Скуголить — хныкать, плакать.

Скуфья — головной убор церковнослужителей.

Суровика — лесная ягода.

Сушило — настил из жердей под крышей двора, где хранится корм для скота, сеновал.

Тубылича — в том месте, в той стороне.

Тужильная косынка — белая косынка, которой женщины покрывают голову в дни похорон и поминания близких людей.

Тяж — ремень или веревка, идущая от переднего конца оглобли к передней оси.

Ушук — мгла.

Хамлет — хам.

Хижка — кухонька; землянка.

Хилить — болеть.

Хруп — крупный помол муки.

Хрындучить — ерепениться, куражиться.

Цыбицы — чибисы.

Чапыга — частый кустарник.
Чекрыжник — мелкий лес, перемешанный с кустарником.
Черет — тростник, камыш.
Чимерика — луговая трава с толстым стеблем и широкими листьями.
Чичер — резкий холодный ветер.

Шалыган — шалун, бездельник.
Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.
Шушпан — летняя женская одежда.

Щипульник — шиповник.

Ярка — молодая овца.

СОДЕРЖАНИЕ

Последний Лель: Проза поэтов есенинского кру-
П62 га/Сост., авт. вступ. статьи и примеч. С. С. Куняев.— М.: Современник, 1989.— 574 с.

ISBN 5—270—00476—3

Сборник «Последний Лель» является логическим продолжением книги «О Русь, взмахни крылами...». В нем представлена проза Сергея Есенина и поэтов «новокрестьянской плеяды» — Николая Клюева, Пимена Карпова, Сергея Клычкова, Алексея Ганина. Некоторые включенные в сборник произведения не переиздавались более полувека.

П $\frac{4702010200\text{-}267}{М106(03)\text{-}89}$ 132—89 ББК84Р7

Литературно-художественное издание

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕЛЬ

Проза поэтов есенинского круга

Составитель **Куняев Сергей Станиславович**

Редактор *И. Е. Плахотникова*
Художник *А. Д. Бисти*
Художественный редактор *О. Г. Червецова*
Технический редактор *В. М. Котова*
Корректор *Г. А. Голубкова*

ИБ № 5304
Сдано в набор 25.04.89. Подписано к печати 04.09.89. Формат 84×108[1]/[32]. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,66. Уч.-изд. л. 29,45. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. Заказ 154. Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Книжная фабрика № 1 Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25



